

Кирилл Ковальджи



МОЯ МОЗАИКА

или
по следам кентавра

кирилл ковальджи

МОЯ МОЗАИКА

ИЛИ

ПО СЛЕДАМ КЕНТАВРА

Союз писателей Москвы

Academia

**Москва
2013**

УДК 882-8
ББК 84(2Рос=Рус)6
К56

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы)

Обложка работы Натальи Черловой

К56 Ковальджи К.В.
Моя мозаика или По следам кентавра. – М.: Союз писателей Моск-
вы, “Academia”, 2013. – 472 с.

ISBN 978-5-87532-120-1

«Моя мозаика или По следам кентавра» известного поэта Кирилла Ковальджи – это книга эссе и миниатюр, – с улыбкой и всерьёз. Это наблюдения и размышления, житейские картинки, короткие рассказы-воспоминания, а также портреты и статьи о современных писателях. Части книги печатались в журналах «Вопросы литературы», «Октябрь», «Нева», «Дружба народов», «Дети Ра», «Кольцо А», «Наша улица», альманахах «Истоки», «Муза», «Эолова арфа» и на многих сайтах в Интернете. Отдельные главы переведены на болгарский язык в книге «Теб. До поискване» (Изд. «Буквите», София, 2011).

«Моя мозаика» – вполне самостоятельный том и одновременно – продолжение первого, вышедшего под названием «Обратный отсчёт» (Изд. «Книжный сад», 2003), который был встречен с большим интересом.

В книге четыре части. Первая – короткие рассказы, страницы биографии, вторая – «Литературные портреты» (русские писатели, молдавские, румынские), третья – вольная, своеобразная – похожая на «Опавшие листья» Розанова или на «Жизнемыслие» Гачева. Беглость записей, ассоциаций, полемики чередуется свободно, прихотливо, создавая насыщенную культурную, интеллектуальную атмосферу вообще и внутренний мир автора в частности. Четвёртая часть – мысли об искусстве, философии, религии, политике.

© Союз писателей Москвы, 2013
© К.Ковальджи, 2013

КАДРЫ, ЭПИЗОДЫ И МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Лет шести-семи я сочинил первое стихотворение. По-румынски (русских школ тогда в Бессарабии не было). Сохранилось в старой тетради начало, написанное детским корявым почерком.

Стихотворение было про котенка, оно взрослым понравилось и мне предложили прочитать его на празднике по случаю окончания первого класса. Выйдя на сцену, я запнулся, не знал как сказать – чье стихотворение. Кто-то подсказал: «de subsemnatul» то есть «нижеподписавшегося». Я так и сказал под одобрительный смех. Потом были аплодисменты. Они мне понравились, захотелось еще. Придя домой я решил продолжить стихописание. Была, правда, еще одна причина. Какой-то мой одноклассник сказал, нехорошо ухмыляясь: – Это не ты сочинил. Это твоя мама. – Как? – возмутился я. – Она даже говорить по-румынски не очень-то умеет! – Ну и что? Она написала по-русски. А ты списал по-румынски...

Откуда ему было знать, что рифмы не «списываются» с языка на язык?

Решил срочно сочинить что-нибудь еще. Но в голове пусто! Тогда я перебелил первое, заменив котенка на щенка, и побежал прочитать маме с папой. Никогда не забуду выражение неловкости и разочарованности на их лицах. На несколько лет пропала охота писать стихи...

ЧЁРНЫЙ ПЁС

Весна в Аккермане. Я был еще школьником, десятиклассником. Бегал за Зиной. Отправился я как-то к ней домой, а ее нету. Мать говорит – пошла, кажется к Свете. Я – туда. Подхожу к воротам, дом в глубине двора, но хорошо слышно – баян играет, в окнах за занавесками колыхаются тени танцующих. Повадились к Свете какие-то офицерики, затевали компании. Меня вот не позвали.

Только я толкнул калитку – навстречу черный пёс, дрожит от ярости. Я – туда-сюда, вдоль забора и обратно, пёс захлёбывается лаем, брызжет пеной. Что делать? Зина там танцует к кем-то, чертовка. А я здесь мечусь, как дурак в тубетейке (я тогда ходил в тубетейке для форсу). И вдруг от отчаяния приходит в голову шальная мысль. Я беру тубетейку в зубы, становлюсь на четвереньки и страшно рыча, распахиваю калитку и ползу прямо на пса. Тот сначала как-то странно подпрыгнул, потом стал отползать к своей конуре. Я, не обращая на него внимания, но холодея от страха, подобрался к окну и стал стучать «лапой».

Услышали, пустили... Долго хохотали и никак не верили, что меня не тронул черный пёс, ни для кого не делавший исключений...

Конечно, я вечером же написал об этом стихи, они получились вполне «есенинскими» – в ту пору собственные переживания легко преломлялись через любимые литературные призмы:

*Чёрный пёс! Ах, этот пёс проклятый!
Часто гнал меня он от ворот ... и т.д.*

МИНИДЕТЕКТИВ

В Перловке (дело было в году пятидесятом) соседка моего двоюродного брата, Димы, пришла из театра в роскошной шубе. Никак не могла успокоиться, охала, ахала, рассказывала, что в антракте пошла в туалет, там какая-то прилично оде-

тая дама любезно предложила ей «подержите мою сумочку, пока я схожу, потом я – вашу...» Взаимная услуга, ничего особенного.

Но когда наша соседка после спектакля пошла в гардероб, ей вместо старенького пальто дали шубу. Она, конечно, отказалась, стала шуметь.

Пришлось однако дожидаться, пока ушли все зрители. Не помогло. В гардеробе осталась только та самая шуба. Что было делать? На улице холодно, ехать домой надо на электричке, – до выяснения, оставив адрес, надела ту роскошную шубу. И только вышла на улицу – ее какие-то штатские цап и в машину. Пока везли, поняли, что взяли не ту. В отделении заставили всё изложить письменно, тщательно обследовали шубу, и пока суд да дело разрешили в ней ехать домой...

Соседка убеждена, что это была шпионка, хитро заменившая гардеробный номерок. Учужала слежку и юркнула в театр... Ну а шуба? Шуба, возможно, осталась соседке. Или была изъята потом в качестве вещдока... Не знаю.

МАЛЕНЬКИЙ ЦЕНЗОР

Таинственное слово «лит», производные от него: «залицовано» или, не дай Бог!, «незалицовано»... Никто не мог толком расшифровать аббревиатуру «Главлит», зато все знали, что это – цензура. Она была табуированной, с цензорами общались только главные редактора или уполномоченные им лица. На решения Главлита нельзя было ссылаться (со временем этот запрет неофициально перестал соблюдаться). Цензура была, известно, свирепой, но и глупой. Первое моё столкновение с ней было заочным. По моей инициативе в Кишинев по командировке прибыл мой польский друг – еще студент Литинститута – Рышард Данецкий. Принимали его в союзе писателей и в газете «Молодёжь Молдавии», где я работал. Я попросил его написать очерк для газеты, он охотно согласился, успел мне дать материал перед самым отъездом. Очерк был вполне добротный, все зубы на месте. Я поставил материал в

номер, вычитал полосу, а наутро ахнул: очерка в газете не было, чем-то его заменили. Я – к главному, к Чащину. Он разводит руками:

– Лит снял, я ничего не мог сделать. Говорит – кто такой? Может быть, ревизионист (поляки уже в 55-ом году вели себя сомнительно). Пусть союз писателей подтвердит, что это их гость, тогда публикуйте...

Я, естественно, бегом в союз писателей, к оргсекретарю Льву Мироновичу Барскому:

– У вас Данецкий отмечал командировку?

– У нас.

– Подтвердите, пожалуйста, – всего несколько строк для редакции. Он написал прекрасный очерк о Молдавии, а Главлит задерживает, говорит, что даст добро, если вы подтвердите, что он был вашим гостем!

Барский мгновенно преобразился, изобразил крайнее возмущение

– Я? – вскрикнул он – я буду потакать всяким трусам и перестраховщикам? Ни за что!

– Лев Миронович, дорогой, я хочу, чтобы очерк был опубликован. Помогите, чего вам стоит? Вы же отмечали командировку, принимали его, он талантливый польский поэт, мой друг!

– Нет, нет, нет! Не буду я унижаться перед всяким трусом! Не те времена. Не нужны никакие всякие там справки!

Расхрабрился!

И я ушёл ни с чем. Но не сдался. Я позвонил в Москву, намекнул Рышеку в чём дело. Он обратился в своё посольство, поднял шум, те позвонили в наш МИД, из МИДа Кишинёву выразили удивление. Очерк был немедленно напечатан (Чащин шепнул мне, что цензор, фамилия которого была замечательная – Зайчик, схлопотал выговор).

Но Зайчик меня запомнил. Через некоторое время я сидел в типографии ночью как дежурный по номеру (очень кстати, потому что шло мое стихотворение «Однажды осенью»), «свежая голова» – в последний раз вычитывал полосы, ждал штампа цензора, чтобы отправить номер на подпись главно-

му редактору. И вдруг третья полоса возвращается ко мне с моим стихотворением крест-накрест перечеркнутым красным карандашом.

Я знал, что цензор располагался в соседнем помещении на том же этаже и решительно направился туда, толкнул дверь, на которой не было никакой надписи. В глубине комнаты за небольшим столом сидел человек в защитном френче – Зайчик. Увидев меня, он быстро поднялся: – Я разговариваю только с главным редактором... – Знаю, но я ответственный по номеру и кроме того автор стихотворения. – я пересёк комнату и сел напротив него – будьте добры, что вас смутило? Стоит ли посылать машину за главным, задерживать номер?

Зайчик помедлил и тоже сел:

– Стихотворение безнравственное.

– Почему? – искренне изумился я (стихотворение было просто лирическим и даже назидательным).

– А вот посмотрите. Вы пишете о девушке: «И к ночи ждёшь свиданья с новым другом»... К ночи... с новым... Это же разврат.

– Что вы! Видно по контексту, что я упрекаю знакомую, хорошую девушку за некоторое легкомыслие. Но если вас смущает ночь, давайте смягчим «Под вечер ждёшь свиданья...»

Я простодушно заулыбался. Зайчик вскинул брови, видимо, подумал – стоит со мной заедаться или нет. И решил:

– Ну это совсем другое дело. Исправляйте. Я подпишу.

... Вернусь к Барскому, раз уж я его вспомнил. Он был «левобережный», то есть настоящий советский, тёртый калач и большой хитрован (по тогдашним меркам – писатель). Однажды на собрании поэт Михня с трибуны резко и возмущенно критиковал его. Как на это отреагировал Барский? Во время перерыва я слышал, как он деловито подошел Топпельберга, председателя республиканского Литфонда и дал указание: – Завтра же выделите материальную помощь Михне, вы же знаете, у него закрытая форма туберкулёза, печатается редко...

НЕЗНАКОМКА

Как-то в студенческие годы в Москве я ехал на троллейбусе по Тверскому бульвару. Вдруг с удивлением замечаю, мне улыбается совершенно неизвестная миловидная девушка. Улыбается, как хорошо знакомому и пробирается ко мне, вежливо расталкивая пассажиров. Я не могу ее узнать, чувствую себя виноватым и на всякий случай пытаюсь улыбнуться. Девушка добирается до меня, и очень мило произносит по-румынски:

– *Hai să ne regulăm!* (что по-русски, говоря сегодняшним языком, означало «давай потрахаемся»).

Можете себе представить выражение моего лица?! Мне показалось, что я спятил. Сказануть такое да еще по-румынски? Это сон, что ли? ... А она, глядя на меня, перестала улыбаться:

– Что такое? Что я сказала?

В глубине троллейбуса раздался гогот. Это задыхался от смеха мой сокурсник Майореску, научивший свою знакомую москвичку «поприветствовать» меня по-румынски.

– Что-то непонятное ... – пробормотал я.

УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Рано утром я прибыл в Бухарест и часов в шесть утра поселился в гостинице «Амбасадор». Первая мысль – отоспаться. Что я и сделал. Уткнулся в подушку, зажмурил глаза и только стал погружаться в сладкую дремоту, как зазвонил телефон.

Я схватил трубку и услышал: – *Gutten Morgen!*

Что такое? Почему по-немецки? Я спросил по-румынски: – В чем дело? – Вы просили вас разбудить в семь! – Ничего я не просил, я только прибыл! – Извините, пожалуйста. В вашем номере жил датчанин, он требовал будить его в семь...

Я конечно извинил.

На следующее утро ровно в семь раздался звонок – Guten Morgen! Вы просили... – Я не датчанин, я еще вчера сказал! – Ах, простите, он, наверное, уехал до срока...

Я опять извинил, но на следующее утро в семь опять зазвонил телефон. Я бросил трубку мимо рычага и повернулся на другой бок. Но через десять минут в дверь стали барабанить. Я вскочил в чем был – в дверях стоял швейцар: – Вы просили вас разбудить, но не отвечаете на звонки. Мы беспокоимся...

– Хватит с меня! – я оделся и бросился в администрацию: – Объясните в чем дело? Ваш датчанин давно отбыл в свою Данию, я сказал телефонистке, а вы продолжаете... – Ах, простите, у нас несколько смен! – Сколько? – Пять. – Прошу вас, сейчас же, при мне, возьмите все пять списков и вычеркните просьбу этого призрака! – Ах, конечно, конечно, непременно.

Настало следующее утро. На сей раз телефон зазвонил в шесть! Тут мне пришлось напомнить, что я иностранный гость и что мне придется обратиться в родное посольство по поводу издевательства над гражданином великой державы.

Как они извинялись! Оказалось, что в это утро злополучный датчанин должен был улететь, и его просьба была записана отдельно. А так как он был отменный скандалист и нагнал такого страха на всю службу, что его распоряжения неукоснительно выполнялись, пока он не «улетел», хотя он почему-то улетел на несколько дней раньше...

Вот это сервис!

ВЕСЁЛЫЕ ПЬЯНИЦЫ

Я заметил, что мои румынские друзья-писатели, если пьют, то непременно веселеют (с выпивохами другого круга я не имел дела). В наших пробуждается дикий скиф, а румын кейфует, как древний римлянин. Никита Стэнеску, например, выпив, буквально расцветал, сыпал экспромтами, талант его фонтанировал. Поэт Николае Стоян, сопровождавший нашу делегацию в 1965 году, был неутомимый весельчак. Глаза шаль-

ные, но с хитрецей. Он сам без конца пил «шприц» (вино, разбавленное водой) и нас угощал. Сыпал солеными анекдотами, пел песни румынские и почему-то болгарские («Либе-ле!»). Развлекал нас рассказами о своих бесконечных победах на женском фронте. Раскукарекался, как петух. Когда мы проезжали какой-то трансильванский городок, не помню какой, он вдруг предложил нам погулять минут десять – он хочет забежать к одной знакомой, которую давно не видел, и поваляться с ней. Мы конечно, отпустили его. Переглянулись: во-первых, не верили, во-вторых, подумали, что советский сопровождающий ни за что бы так себя не повел. Балканы! Минут через пятнадцать он появился – сиял, потирая руки:

– Порядок! Поехали дальше!

... Лет через двадцать я случайно встретил его в поезде по дороге в Яссы. Постарел, я не сразу его узнал. Я поблагодарил его за перевод (он опубликовал мое стихотворение о комете Галлея), а он с болью, рассказал трагедию, которую пережил: его взрослый сын сгорел с мотоциклом (возился в гараже, почему-то бензин вспыхнул)...

В чем-то похож на него был поэт Александру (Санду) Андрицою. Такой же неумный бабник, хвастунишка, но пил похлеще (правда, не теряя при этом соображения и остроты ума!). Среди прозаиков выделялся яркостью темперамента и веселым пьянством блистательный прозаик Фэнуш Нягу

Рассказывали такую байку: Однажды жена послала Санду Андрицою в булочную за хлебом. Он пошел и не вернулся. День прошел, к ночи жена стала обзванивать всех знакомых – где Санду. Нигде нет. Вдруг вспомнила про одну актрисульку – Виолетту. Позвонила ей. Та божилась, что никакого Санду давно не видела. Но что-то в ее ответе насторожило жену Андрицою, она взяла такси и помчалась к Виолетте. Ворвалась к ней в дом, та испуганно запричитала: – Да нет у меня твоего Санду! – но жена пробежала по всем комнатам, закоулкам и вдруг наткнулась на запертую изнутри ванную:

– Санду, вылезай!

– Нет его там!

– Вылезай, говорю!

Вдруг дверь ванной приотрывается и появляется голая нога до колена.. Шевелит пальцами.

– Ой, Фэнуш, извини! – вскрикивает жена Андрицою и убегает.

(Фэнуш Нягу не только известный прозаик, но и не менее известный бонвиван. В отличие от щуплого поэта он крупный, дородный, эдакий добрый лев).

А Санду появился на третий день – спьяну он оказался почему-то в другом городе..

Еще про Фэнуша Нягу:

Приехал я как-то в Бухарест с дикой зубной болью. Фэнуш тут же потащил меня к своей знакомой, знаменитой дантистке. Тем более, что и у него были проблемы с пломбой.

... Усадила она меня в кресло, полезла бормашиной в мой разинутый рот, а Фэнуш, из-за ее спины заглядывая, как она сверлит, стал рассказывать анекдоты. Рассказывал он великолепно, дантистка давилась со смеху, я же открытой пастью издавал неопределенные звуки. Больно не было. Волшебница за раз справилась с тем, что в нашей поликлинике растянула бы на три приема, как минимум. Сделав укол, высверлила зуб, извлекла нерв и запломбировала. Всё.

– Теперь садись ты. – сказала она Фэнушу. Тот сел на мое место, а я, подражая ему, стал за ее спиной и начал тоже рассказывать анекдот. Вдруг мой Фэнуш, могучий детина, поседел лицом, рванулся с кресла и выбежал вон. Я за ним. В полном недоумении настиг его в туалете: – Фэнуш, что случилось? – Не могу! Я видел, что она с тобой делала, нет, не могу!

Юмора как не бывало...

ЗАСТОЛЬНИКИ

В ялтинском «Доме творчества» (в ту пору, когда он еще был наш!) за одним столом оказались я, Лапин, Бабеньшева и некий крупногубый шахтер. Каждый чем-то отличился. Лапин тем, что никогда не заказывал заранее, как мы все, из меню на следующие дни. Я спросил почему. Он ответил чистосердечно:

– Понимаете, если я закажу, а потом увижу, что вам принесли, мне вдруг захочется того же, и буду завидовать. Так лучше я сначала увижу, что вам принесут...

А Бабеньшеву я спросил, когда она уезжает. Она чуть ли не обиделась.

– Я не хочу этого знать!

– Как так? У вас же путевка на срок...

– Никаких сроков. Захочу – уеду раньше. Или позже. Я не выношу ничего заранее установленного...

– Но вы же заранее заказываете билет!

– Нет, я просто вышла в Переделкине на дорогу, проголосовала, машина довезла меня до аэропорта, там я купила билет...

А шахтер однажды заискивающе обратился ко мне:

– Вы писатель?

– В некотором роде...

– Так помогите мне. Я хочу подруге послать звуковое письмо к 8-му марта. Составьте мне, пожалуйста, красивый текст...

Я как можно вежливей отказался:

– Поймите, я же напишу по-своему, а вы должны сами, по-вашему...

Он слегка надулся и отошел. На другой день после обеда пригласил меня в холл, где была радиолоа:

– Идёмте. Я уже записал, послушайте...

Он достал голубоватую виниловую пластинку, установил ее, запустил. Зазвучал его баритон:

«Дорогая Маша! Горячо поздравляю тебя с международным женским днем 8 марта. Желаю тебе успеха в труде и в жизни. Послушай мою любимую песню... Твой Марат»

Дальше шла песня «Самое синее в мире Черное море мое!»

– Ну как? – спросил Марат, с надеждой заглядывая мне в глаза:

– Замечательно, – сказал я. – А вы сомневались...

– Но это еще не всё! – засуетился он, прибодренный и поставил на диск еще одну пластинку:

«Дорогая Вика! Горячо поздравляю тебя с международным днем 8 марта! Желаю тебе успеха в труде и в жизни. Послушай мою любимую песню. Твой Марат».

И опять – «Самое синее в мире...»

...Всего оказалось шесть звуковых писем. Только имена разные. Мне пришлось их все прослушать.

– Смотрите, не перепутайте при рассылке! – попытался я пошутить.

– Что вы! Я никогда ничего не путаю! – ответил он серьезно.

Он гордился собой и причмокивал губами..

ЗЛОЙ СОСЕД

Умерла наша соседка, в ее квартиру вскоре поселился противный старик. Угрюмый, с темным недобрым взглядом исподлобья (вообще он старался в глаза не глядеть). Молчун, ворчун, даже здороваться не желал, когда сталкивались с ним в коридоре. Кто-то сообщил, что он всю жизнь работал надзирателем в тюрьме.

Моя жена его избегала. Боясь, что наш беленький кот Васька перелезет к соседу на балкон (общий, лишь символически перегородженный посередине), Нина натянула сетку.

– Зачем? – спросил я. – Он же всегда лазил и возвращался.

– Нет, этот тип обязательно Васеньку пристукнет. Или сбросит с третьего этажа!

Но однажды она услышала какую-то возню на балконе. Выглянула и застала такую сцену:

Кот Васька просунул мордашку в ячейку сетки, а старик дрожащей рукой, что-то жалко пришептывая, протягивал ему рыбку. Угощал...

Мы и не заметили, как старик исчез. Однажды появилась тощая старушенция и объявила, что она его вдова (до того жила отдельно, где-то за городом) и теперь по праву займет его освободившуюся комнату...

... От угрюмого человека осталась нечаянная сентиментальная деталь.

ШАХМАТИСТ...

Однажды я в последнюю минуту поспел к поезду Кишинев-Москва, влетел в купе, там, к счастью, оказался всего один сосед, он уже расположился, сидел без пиджака. Упитанный, благообразный, был похож на завскадом. Познакомились, я спросил играет ли он в шахматы, оказалось – охотно! Я без труда выиграл подряд несколько партий. Он удивился:

- У вас высокий разряд!
- Нет, – говорю, – я любитель.
- Ладно, не притворяйтесь. Вы сильный игрок.
- Почему вы так думаете?
- Я неплохо играю. Я у себя на работе у всех выигрываю!
- А кем вы работаете? – вдруг заинтересовался я, поняв, что в данном случае это очень важно.
- Я президент Молдавской Академии наук. Гросул.
- ...Бедный, он не догадывался, почему он у всех выигрывал.

ПРЕФЕРАНС

Отец до войны был картежник. Страстно играл в покер, нет-нет да и проигрывался в дым. Мама извелась. Брала меня ночью с собою, мы ходили по знакомым адресам, искали его. В одном доме (это было в Кагуле, в румынские времена) через окно увидели, как он за столом играет. Ему подносят, он пьет. Накурено. На полу пустые бутылки... Мама хотела послать меня к нему, но так и не решилась.

Однажды, помню, отец заявился домой под утро, весь зеленый, спросил «где мой портфель?» – а тот висел на стене прямо перед ним. Отец проиграл казенные деньги (он работал помощником нотариуса). Дал телеграмму сестре Зине – «срочно высылай сто тысяч». Муж тети Зины – Леонид Чубук работал в банке. Отца выручили... .

После войны было не до покера (к тому же за азартные игры сажали). Отец перешел на преферанс. Я часто наблюдал за игрой, отец после игры увлеченно объяснял свою тактику и стратегию... Он частенько выигрывал, ибо в преферансе не

нарывался на блеф, да и никто его не подпаивал (суммы-то были не ахти какие!).

Но вот я, уже будучи студентом Литинститута, после восстановления легких попал в Дом творчества санаторного типа «Малеевка» по бесплатной путевке. Играл в шахматы, часто следил за игрой в преферанс. Из игроков помню Константина Седых и Корнева, директора издательства «Советский писатель». Смотрел, смотрел и вдруг отважился (теоретически я чувствовал себя вполне подкованным!). Кто-то из партнеров встал из-за стола, я занял его место. Константин Седых спросил: – А деньга есть? – Есть. Но я не собираюсь проигрывать. – ответил я и вскоре сыграл мизер так, что вылетел в трубу. Я выложил все, что у меня было, остался должен еще сто рублей. – Молодой человек, карточный долг – святое дело! – сказал Седых. Я на него смотрел с изумлением: неужели он изнасилует бедного студента? Но он не шутил. Я, скрепя сердце, побежал к единственному хорошо «знакомому» – к зам.директора нашего института Серёгину, который в это же время тоже отдыхал в Малеевке. Он меня пожурил, но, конечно, дал сто рублей. Я вернулся к Седых с деньгами, все еще не веря, что он возьмет. Взял.

Но все оставшиеся дни он меня опекал, покупал мне сигареты, водил в кино, но в руки не дал ни рубля. Урок оказался настолько чувствительным, что я невзлюбил преферанс и больше никогда в него не играл. В остальные игры – в «пятьсот одно», в «кинга» – играл охотно и сыновей пристрастил. Со временем однако сначала Саня, потом Володя перестали составлять мне компанию, а потом и я остыл.... Пожалуй, последними моими партнерами были Саша Кушнер с женой на Пицунде в восьмидесятых годах...

ТАРМА

Когда мы получили новую квартиру на Малой Грузинской, мы наскоро забросили в комнаты всю мебель, пожитки и уехали в отпуск, оставив ключи мастеру – эстонцу Тарме,

чтобы он к нашему возвращению сделал стеллажи, антресоли и встроенные шкафы. Тарма был мужем моей сослуживицы, долговязый, флегматичный, но работающий, золотые руки. Объем работ был велик, срок ограничен, Тарма вздыхал. Признался, что ему страшно вато начинать. Однако, когда мы вернулись, всё было готово. Мы стали разбирать вещи. Я распаковывал коробки с книгами, попутно заглянул в свою коллекцию монет (мы побросали все вещи открыто, только один ящик стола, где помещалась коллекция, был заперт). Перебирать монеты – это прекрасный отдых и немалое удовольствие (недаром Розанов частенько свои записи сопровождал пометкой «за нумизматикой») Вдруг я натыкаюсь на странность. Я собирал современные советские рубли по годам, но передо мной лежали четыре рубля одного и того же стандартного, самого распространенного 1964 года. Да еще грязноватые. Этого быть не могло! Я таращил глаза на эти злосчастные рубли и чувствовал, что ум за разум заходит.

Через некоторое время, терзаясь этой загадкой, я стал просматривать всю коллекцию. Всю было на месте, кроме... Кроме золотой николаевской пятирублевки. Единственной, доставшейся мне от тети Кати. Это уже было слишком! Целую неделю я надеялся найти монету, выискивал в памяти всевозможные места, куда я мог ее засунуть или куда она могла сама завалиться при переезде. Но тщетно. Я лег на диван носом к стенке и тут, в полусне меня осенило. Я сразу увидел всю картину, целый сюжет.

... Тарма старался, работал, как зверь. Немудрено, что ему захотелось выпить. Он был подвержен внезапным запоям, потому жена строго за ним следила, денег не давала. Получается, я сам указал Тарме путь к чему-то ценному: всё было открыто, кроме одного ящика стола. Туда он и заглянул. «Одолжил» четыре металлических рубля и пропил. Однако совесть мучила, он раздобыл четыре «таких же» рубля и положил их на место (откуда ему было знать по какому принципу я их собирал?).

Но опять подступило к горлу. Долго крепился, потом взял золотую пятирублевку (не догадывался, что некоторые не-

взрачные античные медяки куда дороже!) загнал ее по дешевке и власть напился. А уж положить что-нибудь обратно, разумеется, не смог...

И действительно, спустя полгода я наткнулся на улице на пьяного в дым Тарму, он, пытаясь меня обнять и с трудом выдавливая из себя слова, убежденно произнес:

– Я, понимаешь, сволочь..

ИДИТЕ К ЗУБНОМУ ВРАЧУ

Вдобавок ко всему придется идти к зубному врачу.

Была еще надежда, что удастся избежать этого визита: с утра зуб как-то присмирел, затаился, ныл неуверенно и вяло, вот-вот перестанет совсем.

Авось пронесет, думал Игорь, однако за десять минут до конца рабочего дня зуб ни с того ни с сего взвился, стрельнул коротко, но недвусмысленно, показал характер: не пойдешь к врачу – ночью опять спать не дам,...

Все понятно. Игорь смирился, тупо защелкнул портфель и выскользнул из офиса, ни с кем не попрощавшись. Зуб, догадавшись, что сигнал дошел и решение принято, удовлетворенно отключился. До поликлиники минут сорок, можно было ехать и думать.

А думать было противно. Что за день, господи, не приведи! Одни колючки, и все зря. Он-то, имея, так сказать, полное право на раздражительность, вел себя кротко и грустно, предупреждал сослуживцев: зуб у меня...

Но сослуживцы, как все люди, любили страсти, а не тихие жалобы, потому пропускали его слова мимо ушей и переходили к своим, куда более жгучим новостям.

Такую же оплошность он допустил и утром, когда, стеснительно улыбаясь, сказал жене, что зуб опять... Она, торопясь на работу, как-то уж очень брезгливо поморщилась:

– Хорош! Говорила тебе – дёрнуть его надо... У меня сегодня оперативка. Вот будет скандал!...

Рыжая, воинственная, готовая за свою правоту взойти на костер...

– Желая удачи... – прошептал он и, держась за щеку, заторопился в офис.

Ну почему жена раздражается? Почему вообще грубит? Он однажды попытался выяснить: так мила и любезна с чужими, а дома... И получил такой ответ: «Дорогуша, на то они и чужие, а ты свой, родной, что мне перед тобой на цыпочках ходить? Ты же знаешь, я за тебя любому горло перегрызу!» Игорю вовсе не хотелось, чтобы кому-то горло перегрызали.

Жизнь состоит из мелочей, думал Игорь. Как дом – из кирпичей и прочих деталей. В повседневности происходит тихая борьба: одни кладут кирпичи, другие вытаскивают. Вот курьер, к примеру. Как он должен реагировать, когда ему вручают срочный пакет? Известно как. А лохматый парень в джинсах, студент какого-то вечернего вуза, развалившись в кресле, нога на ногу, никакого интереса к пакету не проявил:

– Вы мне машину дайте. Наша в разгоне.

Игорь стал объяснять: так, мол, и так, время не терпит, можно и на метро, а тот ни в какую, отсылает к директору – дескать, попросите его машину:

– Вам надо, не мне.

Парню было чрезвычайно важно, чтобы его не принимали за курьера. Всем своим поведением он ревниво подчеркивал: я к вам случайно попал, вам не чета, чихать мне на всю эту бумажную возню. Я свое возьму, не волнуйтесь.

Пришлось спросить напрямик:

– Вы отказываетесь отвезти пакет?

– Почему? Киньте. Пусть лежит.

Что делать? Жаловаться на курьера – унизительно, недостойно. Самому съездить – некогда, предстоит немедля договариваться с саратовским филиалом, а это волынка, легче с Владивостоком созвониться. Закурил, чтобы зуб приглушить, нервы успокоить. Повздыхал и позвонил в министерство:

– Слушай, друг, пакет для твоего шефа готов, но наш курьер на бюллетене, пришли своего...

В трубке загудел, заурчал басок:

– Ну, знаешь, всегда с тобой сложности...

Пропади вы пропадом, подумал Игорь, пошел и кинул пакет – пусть лежит! – на стол курьеру, который ворковал по телефону с какой-то кралей.

А с совещанием в Саратове вообще не повезло. То есть сперва повезло. Он против ожидания дозвонился сразу, застал всех на месте, за пять минут договорился о совещании во всех деталях и, обрадованный, побежал докладывать начальнице отдела, Красавице, как ее называли. Та выслушала, тщательно обтачивая карандаш (она любила самолично чинить карандаши), покивала головой и вдруг спросила:

– Письма не вижу. Где письмо?

Оказалось, без письма нельзя. Коллеги из филиала должны сперва письменно обратиться с просьбой провести совещание у них.

– Так они же согласны!

– Бумага должна быть. В деле.

Никакие объяснения не помогли. Вначале было слово, теперь бумага...

Пришлось опять звонить в саратовский филиал, изложить ситуацию. А с того конца провода – идея: давай упростим, мы тебе по факсу наш бланк, напиши-ка за нас это самое письмо, раз уж оно вам позарез необходимо, подмахни похожей подписью – и дело в шляпе...

Действительно, чего канительить? За десять минут сочинил письмо «от них» по всей форме, набрал на компьютере, и понес начальнице отдела, бойко отрапортовав, что вот, кстати, только что по факсу пришло требуемое письмо. «Они, молодой человек, оказались умнее вас!» – сказала Красавица, начертала сбоку резолюцию, но этим дело не кончилось: «Теперь пишите им ответ, что мы благодарим и согласны. Перечислите все пункты. Я подпишу».

Фу ты, черт. Назвался груздем, полезай в кузов. Накатал, значит, и ответ на собственное сочинение.. Понес на подпись.

Красавица изучала, изучала бумагу и повела левой бровью:

– Вы текст вычитали?

– Разумеется.

– Нет, не вычитали. Посмотрите предпоследний абзац, – И раздраженно вернула письмо.

Фраза как фраза. Все нормально. Ах, вот – запятой нет! Зануда. Могла бы сама проставить, читала ведь с ручкой на весу. Ладно, получай удовольствие.

– Извините, – сказал он. – Я не выспался... – И запнулся: стоит ли про зуб?

– Ночью надо спать, – неопределенно улыбнулась Красавица.

Пришлось молча достать шариковую ручку и аккуратно внести недостающий знак. Но начальница письма не приняла, и только хотела что-то сказать, как ее упредил телефон, прошло не меньше четверти часа, пока она вела с кем-то любезную и хитрую игру...

Раз не отпустили – стой и жди, разглядывай стол, поблескивающий, как ледяное поле для фигурного катания. Потом еще столько же времени выслушивай комментарий начальницы по поводу того, какой прохвост тот, кто ей звонил, и как надо было балансировать (Красавица любила демократически объяснять свои действия). Наконец она запустила пальцы в свою прекрасную черную шевелюру, напоминающую всем, что в ее годы она еще хоть куда (хотя все знали, что она крашенная). Тряхнула головой, вспомнила про письмо:

– Нет-нет, я не люблю поправок. Перебелить!

Она была весьма скрупулезна во всем, что касается формы.

Тут уж притихший зуб взорвался, Игорь чуть не взвыл: Шатаясь, отправился к принтеру...

... Рабочий день клонился к концу, когда бумага была подписана,

Красавица не преминула подчеркнуть, что, извольте запомнить, в архивах должен остаться след каждого мероприятия, прошу впредь не отнимать у меня времени попусту... И, наконец, обе бумаги – “их” письмо и копия ответа – подшиты в дело, а первый экземпляр он у себя в кабинете изорвал в клочки и швырнул в корзину...

Совсем потерял чувство юмора, подумал он. Вместо того чтобы пробежаться по отделам и рассказать живой анекдот,

как сам себе писал и отвечал, вместо этого уставился в стенку и трясся, словно псих. К тому же зуб, явно издеваясь, выстрелял, как из засады.

Понятно. Зовёт бормашина!..

Тошно жить на белом свете...

В поликлинике обреченно занял очередь (с острой болью уже стояло трое!) и со злорадством повторял: будет больно, ах, как больно, невыносимо больно! За дверью гнусно свистела бормашина. Старушка слева поинтересовалась, к кому он записался на прием, и руками всплеснула от удивления, что он не знает. «Врача надо с умом выбирать, молодой человек. Я-то знаю, к кому иду!»

...И настал черед взойти на плаху. Сел в проклятое кресло, откинул голову, как петух под ножом, раскрыл рот – инструмент с зеркальцем отправился на разведку по тылам его челюстей. На всякий случай зажмурил глаза. И поймал себя на том, что даже не разглядел врача, совсем отупел – безразлично, в чьи руки попал. Некто в белом халате, и все. Да и врач, наверное, столь же отвлеченно воспринял очередного пациента: некто с разинутым ртом. Так и сидел, давя затылком предательски уютную подставку кресла: скорей бы все началось и кончилось.

Некто в халате, по-видимому, отошел, листанул его карточку, послышался шорох, потом мелодично прозвучал женский голос, назвавший его по имени-отчеству и пожуривший за то, что он так невнимателен к себе – начал год назад, лечение и бросил...

Голос был теплый, участливый, это было так неуместно, что он открыл глаза, неловко повернул голову и увидел лицо молодой женщины, доброе, ясное и словно давным-давно знакомое, чуть ли не с детства.

Женщина взяла хоботок бормашины, утешительно и слегка устало улыбнулась:

– Запустили вы коренной, будем спасать... Завтра еще повожмися немножко, прочистим канал – и готово!

Ей-богу, в ее голосе было что-то материнское, мамино.

Он почувствовал совершенную покорность, почти невесомость. И не успел Игорь под свистящим сверлом вздрог-

нута от боли, как ласковая рука уверенно прижала его голову, и он услышал необыкновенные слова:

– Потерпите, солнышко. Пожалуйста!

И вдруг ему захотелось, чтобы еще раз посверлили. Но, к несчастью, не понадобилось. Женщина отпустила его голову, захопотала, погрузила лекарство в канал зуба, поставила временную пломбу. Быстро, ловко, аккуратно, но молча.

Всё. Надо уходить. Так скоро?

Прощаясь, он замялся у полуоткрытой двери – а в нее уже протискивался человек с флюсом, – всё равно не выдержал и спросил:

– Вы говорите, завтра? Вытаскивать нерв? – Но его слова прозвучали вовсе не испугано, а по-мальчишески звонко, словно он пропел и взмахнул крылышками.

Человек с флюсом посмотрел на него, как на идиота.

ЛГУНИШКА

– А правду надо говорить совсем всегда? – спросил Валерик.

– Конечно, всегда. Однако... – начал отец и остановился озадаченный. Потом прошел по ковру, привычно загибая то вправо, то влево. Потому что если пойти напрямик – паркет заскрипит.

– Лучше я тебе сказку расскажу...

Тут же наспех придумал сказку. Волк поймал козленка и стал выспрашивать, где его мама, потому что хотел ее съесть. Козленок знал, где мама, но не сказал (видишь, волку нельзя говорить правду!). Волк козленка мучил, мучил (отец крутил руками, будто белье выжимал, и рычал), даже хвостик у него откусил, но ничего не добился. Так волк ни с чем и ушел.

Сын внимательно слушал, полуоткрыв рот, и ждал еще чего-то. Довольный, отец хотел было уйти, но Валерик спросил:

– А дальше?

– Что дальше? – удивился отец.

- Ну, папа, – взмолился Валерик. – А хвостик?
- А! Мама прибежала, поблагодарила козленка, что он ее спас, и приклеила ему хвостик. Валерик счастливо улыбнулся.
- Бэ-эф? – спросил он.
- Да. Клеем БФ. Зайчик, то есть козленок, опять хвостиком махал.
- Ты у меня у-умный, папа. И прекрасный.
- Сам ты умный, – засмеялся отец, погладил его по голове и ушел в кабинет, к своим тетрадам.

Назавтра, вернувшись из школы, отец обнаружил лист амарилуса на столе. Вчера неудачно подвинул к цветку настольную лампу. Когда хватился, было уже поздно. Лист, еще недавно изогнутый красиво, как ятаган, теперь повис. На месте ожога он пожелтел и сморщился. Решил не срезать его – а вдруг еще оправится...

- Чья это работа? – спрашивает жену.

Он входит в столовую, держа лист в вытянутой руке. Жена пытается читать книгу. Валерик строит возле нее на стуле небоскреб из кубиков. Кубики то и дело летят на колени матери.

- Кто сорвал лист? Я же просил не трогать!

Жена удивленно смотрит на лист.

- Понятия не имею!

- Валерик, ты сорвал лист?.

- Не знаю... Может быть, бабуля.

Отец видит, что лист не срезан, а именно сорван.

- Бабушка? – спрашивает он сурово.

Валерик кивает. Лукавыми глазами с интересом смотрит на отца. «Опять лжет. Такой маленький и так уверенно лжет», – сердито думает отец. Прошелся по ковру так, чтобы пол не скрипнул.

- А бабушка мне сказала, что это ты сорвал лист.

- Значит, неправду сказала...

– Как ты можешь, бесовестный! Бабушка никогда не обманывает! Видишь, – обращается к жене, видишь, что с ним делается. Пора за него взяться всерьез...

- Я тебя спрашиваю, кто сорвал лист?

Валерик берег с маминых колен кубик, вертит его в руке – на какую сторону его поставить, все вроде одинаковые..,

– Ну?

Валерик вздрагивает, кубик падает.

– Я не знаю.

– Как ты не знаешь? Ты же только что говорил, – бабушка...

– Папа, ты знаешь, я сегодня жука поймал...

– Отвечай, когда тебя спрашивают. Почему ты не признаешься? Я же не волк, я папа, которого ты любишь. Скажи правду, я тебя прощу. А за неправду будешь наказан. Кто сорвал лист?

Лист, как улика, появляется перед самым носом Валерика.

– Я его приклею... – У Валерика при этом такая сочувственная мордашка, что отец чуть не прекращает дознание. Но принцип есть принцип. И голос звучит еще суровее,

– Ты сорвал лист?

– Котёнок, милый, скажи правду. Ты ж у меня хороший. И я дам тебе апельсин, – ласково говорит мама. Отец неодобрительно косится на нее, а Валерик задумывается, потом смешно разводит руками:

– Ну что же делать... Я его посажу обратно.

– Валерик, не выкручивайся.

– Валерик, мы тебя просим!

Валерик вздыхает.

– Нет, придется надрать ему уши! – Ты знаешь, – отец рукой отбрасывает возражение жены, – я против таких мер. Но тут принцип. Прощу тебя, не мешай!

Отец, педагог со стажем, чувствует, что его трясёт от возмущения. Стараясь это скрыть, он спокойно и твёрдо, как справедливый судья, цепко хватая ухо Валерика и выкручивает его..

– Ну?

Валерик ревёт. Мать вскакивает и вылетает из комнаты, хлопнув дверью. Отец выжидает с минуту и повторяет операцию. Крик. Мать врывается обратно, вот-вот разразится скандал, но тут Валерик у самого уха ловит руку отца, прижимается к ней щекой и целует.

– Ты? – слегка опешив, спрашивает отец.

Валерик едва заметно кивает.

Родители облегченно переглядываются. Отец торжествует, но дело еще не закончено.

– Ступай в угол, Валерик.

– Почему?

– Потому что ты так долго лгал.

– Оставь его, – просит мама.

– Нет, – говорит отец, – ты своей жалостью ребенка испортишь. Я его люблю не меньше тебя. И именно поэтому...

Валерик вдруг начинает рыдать. Он упорно не хочет идти в угол. Отец силком ставит его к стенке у детской кроватки.

– Это не угол! – отбивается Валерик.

Наконец его упрямство сломлено, он стоит лицом к стене. Уже не плачет. Молчит. Царапает ногтем штукатурку.

– Валерик, я тебя прощу, только скажи, почему ты наговорил так много чепухи?.. Ты боялся? – спрашивает отец.

Валерик вдруг оборачивается, глаза его опять полны слез.

– Папочка, я наговорил так много чепухи потому, что я не помнил.

Тут уж мама смеется, отец пожимает плечами и тоже улыбается.

– Ладно. Иди сюда.

Валерик слабо улыбается и подходит. Отец сажает его на колени и говорит:

– Папа всегда знает правду, тебе его никогда не удастся обмануть. Ты это понял?

Валерик кивает.

– Нужно быть правдивым и всегда говорить только правду. Понял?

– Да, – кивает Валерик.

– Если будешь говорить правду, все будут тебя любить. Понял?

Валерик молча смотрит на кубики.

Отец уходит к себе, достаёт из портфеля тетради. Красный карандаш медлит в воздухе, парит высматривая что-то, нет-нет да и набрасывается на какую-нибудь непослушную

букву, выскочившую из-под материнского крыла правил. Твёрдый острый клюв оставляет кровавую птичку на полях, струйкой подписи подтверждает отметку...

Слышно, как приходит бабушка. Она охает.

– Опять ломит поясницу! О, господи, в этих авоськах целый пуд!

Отец не может удержаться от очной ставки.

– Дорогая, ты знаешь, что на тебя Валерик наговорил? Он сказал, что ты сорвала лист. Вот этот...

– Ну да, я. – Дайте хоть раздеться. – А что?

– Мама?!

– Чего ты кричишь? Что тут такого? Лист был худой, значит – долой... Ты всегда придираешься.

Молчание.

Отец делает шаг по ковру и останавливается – забыл, как пойти, чтобы пол не скрипнул. Чувствует, что краснеет. Пол скрипнул. Отец неловко приседает на корточки перед сыном.

– Давай сыграем в шашки. Или в прятки!.. – Жена порывисто прижимает к себе Валерика. А малыш глядит поочередно на всех, то хмурит бровки, то нервно улыбается. Щеки мокрые, ухо горит.

Хочет понять.

ФУРАЖКА

У Митьки была чокнутая сестра Милка, она всем давала. То есть, конечно, не всем, а по выбору Митьки, к тому же она про то и не подозревала, она всегда была верна своему Аурелу («аур» по-румынски «золото», Аурел – как бы ласкательное – вроде от «злато» – «Златик»).

История на самом деле тяжелая. Еще шла война, когда семья Митьки решила вернуться домой в Бессарабию, они бежали от фронта вглубь Румынии, а когда король Михай решил на сторону союзников, то первым делом беженцам захотелось домой. Мать Митьки вместе с Милкой собственным ходом добрались до Прута, реки, которая еще толком грани-

цей не была, потому на том и на этом берегу их здорово обчистили, а 17-тилетнюю Эмилию долго и власть насильовали. Она и тронулась после этого.

А был у нее, повторяю, единственный любимый – Аурел, молодой капрал, его после контузии списали с фронта в запас. Эмилия любила его без памяти. Он тоже души в ней не чаял. Само собой, румынского парня в советскую Бессарабию не пустили, да он и не пытался. Милка жить без него не хотела, пыталась топиться, но Аурел ее спас, пообещал тайком вернуться к ней, пусть ждёт и никому ни гу-гу.

Вот так и получилось, что Милка стала тихой сумасшедшей, ее из дому в город не выпускали, – к тому времени, когда я рассказываю, ей было уже лет девятнадцать, она всё путала, жила в каком-то своём мире и неизменно ждала своего Аурела. И – как вы уже догадались – тайно «встречалась» с ним. Митька с осторожностью вербовал очередного хахалю, договаривался о подарке себе за услугу и отводил его в темный сарай к Милке. Полная конспирация, хахаль вступал в роль «Аурела», якобы скрывающегося от советских властей. . .

Она, бедная, охотно верила.

Я спросил у Митьки после школы – это правда? Он сделал таинственное лицо и ответил шепотом, чтобы я пришёл вечером в парк.

Итак, мы встретились. Митька протянул мне папиросу, я отказался – ещё не курил. . .

– Стасик, – сказал Митька, чиркая спичкой. – Я тебя знаю. Ты парень свой, трепаться не будешь, я тебе устрою. Тебе уже пора. Если ты мне подаришь «Смену». Мне очень хочется снимать, а на аппарат никак деньгу не соберу. Милка добрая, ласковая, только я должен тебя научить. . .

Я едва скрыл испуг, сказал, что подумаю, ночь не спал, мучился от стыдных видений, днём на уроках в школе ничего не понимал, время от времени меня бросало в жар, наконец, я понял, что деваться некуда. Я принес Митьке фотоаппарат.

Вечером я с трудом отделался от знакомых, город у нас маленький, кружным путём пришёл к Митьке, он провёл меня через огород к сараю и дал мне в пакете румынскую фуражку.

– Вот это самое важное – фуражка. По ней она «своего» узнает, в темноте нащупает. Ты, значит, Аурел, ври, что вздумается, она поверит. Говори по-румынски, а можешь и по-русски, скажешь – научился.. Но всё по-доброму, не обижай, ладно? Не бойся, она не беременеет, что-то ей там испортили гады.. Жди, она придёт..

В сарае было темно, я с трудом различил у стены топчан, натялил на себя фуражку, с трудом сдерживая дрожь. Кажется вечность прошла, пока дверь скрипнула и девичья фигурка метнулась ко мне: – Аурел?

Не успел я что либо промямлить, как она обняла меня, горячо зашептала: – Ты! Ты наконец пришел, я уж боялась, что тебя поймали.

Она сняла с меня фуражку, стала гладить по волосам, по щекам. – Ты похудел, ты стал какой-то маленький.

– Конспирация, – прошептал я хрипло, страшась собственного голоса и, дурея от внезапной близости теплого тела, ткнулся в волну ее волос, неловко искал её губы, представляя ее красавицей, чуть ли Диной Дурбин, а она быстро поцеловала меня в обе щеки, провела по ним ладонью, заворковала:

– погоди, погоди, вот я тебе пончики принесла, ты же любишь пончики, ты же голодный, беденький мой. .

И достав откуда-то горячий пончик, чуть ли не силком сунула мне его в рот. Пока я, давясь, жевал, она засыпала меня вопросами, на некоторые, торопливо, как бы понимая, отвечала сама, на иные, не дожидаясь ответа (я что-то мычал, жуя) перескакивала к другим, потом прошептала прямо в ухо:

– Тебе страшно жить? Страшно? Мне тоже. Но я тебя люблю, – хочешь, умрем вместе? Мы будем ангелами, будет летать, куда захотим, миленький ты мой, Аурел, я знаю, чего тебе надо, я сейчас разденусь, но я только ради тебя, мне это зачем? С тех пор, как меня обидели у меня в животе здесь внизу, как будто змея кусачая, ты только погладь, мне легче станет – и она взяла мою руку и подвела к низу живота, я погладил и всхлипнул.

– Что с тобой? – спросила она.

– Ничего, закашлялся, я простужен, Милочка.

– А эти кто? – я почувствовал, что она озирается. – Вот видишь, стоят, смотрят, вот там!

Я никого не видел. Темнота и только. Но я взял себя в руки и храбро сказал:

– Не бойся. Сейчас всех выгоню!

– Нет, нет, не связывайся, ты не знаешь их. Их сразу станет много. Они пахнут кровью и дымом. Лучше пусть смотрят. Они и тогда смотрели, когда меня топтали. Давай, я разденусь. Давай скорее, миленький, покончим с этим. Они тогда исчезнут, а мы поговорим.

Я не успел сообразить, как она уже легла на точан.

– Иди сюда...

Я сдуру, не раздеваясь, стал на колени и ткнулся в нее головой. Потом наши руки встретились.

– Аурел, только ты меня любишь...

– А Митька?

– Митька добрый, но строгий. В кино меня не пускает. Говорит, в городе бандиты. В мире одни бандиты... Таких, как я, хватают. И таких, как ты... А я только вышивать умею, целый день вышиваю и жду тебя... Аурел, спой мне нашу песенку, тихо спой и делай, что хочешь. А я буду слушать и плакать.

Вот тебе на! Какую песенку?

– Ну, пой! Видишь, они приближаются. А песенки боятся...

Я покашлял – нет, я вовсе не забыл ту, нашу, но, может, я непременно спою в другой раз, сейчас не получится, я простужен, прости, Милочка, – и руками стал блуждать по ее телу, мне становилось жарко, а она замолчала, вся как-то сжалась, повернувшись боком.

– Мне холодно. – наконец сказала.

Я нашарил на полу ее платье, набросил на нее и лег рядом. Она повернулась ко мне, я неловко потыкался наугад в ее тело и, смущенный, затих. Она и не думала помочь.

– Ты сегодня какой-то... Но успокойся. Мне хорошо, миленький. Можно мы с тобой, как тогда, после той ночи, на скирде, просто будем смотреть в небо и улетим?

– Ну, да, конечно. Как тогда... на скирде...

Так мы лежали молча минут пять или сто лет. Скорей всего, она задремала. Я жалел её и сгорал от стыда.

И вдруг раздался условный стук в дверь. Это Митька мне давал знать, что моё время истекло.

– Милочка, мне пора! – я встал, нащупал фуражку, она тоже вскочила, вцепилась в меня, покрыла поцелуями, я тоже обнял ее, голую, дрожащую, прижался к ней, в первый раз прижался к девушке, которая так любила «меня». Ей тело и запах помню до сих пор...

Но ее я не разглядел. Понятия не имею, как она выглядела.

... Митька взял из моих рук пакет в фуражкой.

– Лады? – спросил он.

– Угу... – отвечал я, пряча глаза – А по-моему, она не совсем спятила, можно вылечить...

– Зачем? Что ей делать в этом мире?

ПАНИ ХАЛИНА – МУДРАЯ ЖЕНЩИНА

На экране телевизора появилась не первой молодости, но еще весьма привлекательная дикторша. Пани Халина несколько раздраженно переключила канал. Заметив мой удивленный взгляд, она извинительно улыбнулась.

– Давайте выпьем за ту встречу в Карпатах, когда мы с вами танцевали в румынском ресторане, вы написали стихи, я их не забываю:

*Пора, идёт рассвет.
А нам по сорок лет,
Танцуем вальс последний
Последней ночью летней...*

Я разомлел, уютная варшавская квартира. Миловидная, оживленная, остроумная пани Халина. Ее муж только что ушел по делам, интеллигентный тонкий пан Марек. Мы беседовали часа два, хозяева обворожили меня. Замечательная

семья, свободная, непринужденная откровенность, взаимопонимание. А вокруг нас Европа – мир, полный надежд и страхов – середина семидесятых годов.

– Мы очень внимательно следим за всем, что делается у вас в Москве, – говорит пани Халина, – от этого зависит наша судьба, и не только наша... Вы знаете, мой Марек был известный диссидент, теперь его карьера оборвалась. Потерять политическую роль для мужчины – это катастрофа. Я тогда его самого чуть не потеряла.

– Но у вас крепкая семья, – говорю я и невольно смотрю на фотографии на стенах, где счастливо улыбаются Халина и Марек на фоне городов и пейзажей разных стран, дочь пианистка, – с ними и отдельно, – гравюры старого Львова...

Пани Халина помолчала, вздохнула:

– Семья – не фунт изюма, так, кажется, у вас говорят. Марек стал пропадать, приходил иногда под утро, дошли до меня слухи, что он завел любовницу. Так сказать, утешение. Стала я думать. Плакала и думала. Вижу, это не просто эпизод. Он стал рассеянный. Иногда переставал меня слышать. Решила я узнать, в чём дело. И узнала. Это была не простая женщина, а серьезная соперница. Та самая дикторша, какую вы видели. Извините, я выключила. Но и на самом деле её выключила.

...Я мгновенно представил себе, как разъярённая пани Халина устроила головоломку телевизионной диве, пригрозила скандалом и т.п. Обыкновенная история, такими в Москве я объелся.. Однако передо мной была не москвичка, а пани Халина. Печальная и умная. Она улыбнулась.

– Он выступал в ее передаче как один из лидеров оппозиции. Ванда острая, эффектная чертовка. Я понимаю, почему она вскружила голову моему Мареку. Миллион поляков едят ее глазами. А он ей импонировал. Марек любит меня, но от нее сдурел. Мучился. Что мне было делать? Уступить? Дудки.

Я осторожно, с разных сторон стала наводить справки, изучила всю подноготную знаменитой красотки и, представьте себе, мне «повезло». Оказалось, у этой звезды экрана, как и положено, был не один мой Марек. Был еще художник, довольно известный, помоложе. Простите, я стала Шерлоком

Холмсом, я нашла подруг, которые всё знали и доложили мне когда и где королева изменяла моему рыцарю. И я своими руками изготовила записку от «доброжелательницы», подбросила ее Мареку – дескать, сходи по такому-то адресу в такой-то час и постучи в дверь. Будет тебе сюрприз.

Представьте себе, сработало. Марек, вернулся домой вдребезги пьяный. Он у меня гордый, порвал с ней сразу. Но как от неё избавиться? У неё был экран!. Врывалась без спроса в нашу квартиру. Марек терпел, не переключал. Притворялся безразличным. Хотя моментами я чувствовала, что он готов «убить» ее одним нажатием кнопки.. Я делала вид, что ничего не понимаю. Так и сидели рядышком, как голубки. Конечно, пытка. Но за победу надо расплачиваться.. Впрочем, какая победа? ...

Марек стал пить. И не просто пить, а спиваться. Видно, переживал, сильно ранила его эта фея, а тут еще политическая обструкция, потерял работу, перебивался случайными заработками в газетах. Вижу, пропадает мой Марек, на глазах пропадает...

... На сей раз я не стал по московской логике представлять себе, как жена пилит мужа за пьянку. Ждал продолжения попольски. И оно действительно последовало.

У Марека была заветная мечта, которая чуть было не сбылась в пору его политического успеха – он хотел иметь машину. Так вот – пани Халина разбилась в лепешку, влезла в немислимые долги, а машину ему купила. И в день рождения вручила ему ключи. Так сказать, бутылка или баранка!

Марек бросил пить. Колдовал в моторе, завёл гараж, Катался с женушкой днем и ночью, колесил по стране как сумасшедший, напрашивался в самые дальние командировки. Прекрасно водит машину, в рот не берет.

Действительно, я заметил, – Марек, чокаясь с нами, поднимал бокал с грейпфрутовым соком.. Но вертелся на языке щекотливый вопрос, однако пани Халина меня упредила:

– Мужчина с машиной – вдвойне мужчина, хотите сказать. Может, и так. Все вы шалуны. Да в конце концов, что за муж, если он вообще не нравится женщинам? Я не беспоко-

юсь, правда,. Не чувствую пока опасности. В тот раз он слишком сильно обжегся, тогда был не флирт, пахло бедой.

... На этом я бы закончил эту нравоучительную новеллу (в назидание нетерпимым нашим подругам!), когда б не отблеск предыстории, точнее – сама история..

Пани Халина была совсем седая. Молодое лицо, без единой морщинки и –белые-белые волосы. Парадоксальная красота.

– Я с четырнадцати лет такая, – сказала мне она еще при первой встрече, в Румынии, и объяснила:

– В 1939 году я с родителями жила во Львове, когда пришли ваши. Что тебе сказать? Одни поляки бежали от немцев, другие – от русских. Львов остался у русских. Я не вникала, я училась в школе, а вот в 1941 году, война, мы попали к немцам. К этому времени мои родители разошлись, отец был наполовину еврей и коммунист, а мама ярая католичка. Разошлись, а всё равно взяли его, а потом и её, сунули вместе в гетто недалеко от города. Вот тут-то и случилась чертовщина, Шекспиру не снилось: немцы изолировали евреев, а евреи в гетто изолировали моих родителей. Нашлись фанатики, которые распустили слухи, что эта нечистая парочка приносит несчастье. Мама была полячкой, папа ни то, ни сё. Их выгнали из барака в какую-то сторожку, похожую на конуру. Беда не сблизила моих родителей, их будка тоже была идейно разрублена пополам, они чурались друг друга, в одном только сходились – надо спасти меня. Ничего они не придумали, а сами погибли.

В одну из ночей, когда я спала в соседнем бараке, их сторожку подожгли, они кричали и горели заживо. Трещал мороз, трещали горящие доски. Во время суеты кто-то меня вывел через лаз из гетто (я была тоненькой, как змейка), силком вытолкал в поле. Почти раздетая, я зарылась в сугроб, прожектора рыскали, свистели пули. Я до утра ползла наугад – видишь, я живая, меня спасли крестьяне ближнего села, но я стала седая. Сразу. В четырнадцать лет..

Что сказать? Живая, спасибо. Живу, как все, только у меня другая оптика...

... Я поцеловал руку пани Халине.

ЭЛЕН

Где-то в середине шестидесятых годов по приглашению союза писателей Румынии я приехал в Бухарест. Меня встретили, как положено, и познакомили с сопровождающей (на завтра надо было отправиться в поездку по стране). Эта была шальная девица, востроносенькая, круглолицая, лет за тридцать. Не назовешь красивой, но такая живая, кокетливая, женственность – прямо, как силовое поле. Тараторила не умолкая. Звали ее Элен Фуртуна. Надо сказать, что кроме «фортуны» в ее фамилии звучала и «фуртуна», что по-румынски означает «буря, гроза» – это ей больше подходило.

За ужином я узнал, что она из Олтении (где и я оказался в конце войны), было ей лет шестнадцать, когда пришли русские, и в нее влюбился молодой капитан, осыпал подарками, был щедрый, удалой. Он буквально вскружил провинциальной барышне голову, потому что еще недавно она смертельно боялась большевиков, считая их грубыми дикарями, азиатами. А этот капитан, который квартировал у них в доме, был обходительный, жизнерадостный, настоящий кавалер, хотя и был представителем другого мира. Он немножко владел французским, на школьном уровне, но этого было вполне достаточно, чтобы объясняться с Элен, которая легко болтала на этом языке, как все уважающие себя румынские гимназистки.

Капитан хвастался своей родиной, несущей свободу всем трудящимся, насмеялся над богами, королями, всякими условностями и церемониями. Молодой русский победитель с голубыми глазами, он подъезжал к ее дому на трофейном автомобиле, бросал к ее ногам цветы. Элен чувствовала себя принцессой.

Он громко смеялся, увлеченно учил ее водить машину и разным русским словам. Завернув в какой-нибудь безлюдный переулок, целовались они бешено. Еще месяц назад могло ли такое прийти ей в голову? Месяц назад русские были врагами. А теперь... Война еще продолжалась, она откатилась на запад, но Элен казалось, что никакой войны и не было. Судьба, как ветер с Востока, принесла ей любовь. Как это глупо, что народы враждуют, что незнакомые люди вслепую убива-

ют друг друга. Губы к губам, голова кружится, – вот ответ на все политические запреты и запугивания. . .

Но счастье было коротким, капитан должен был идти дальше, его часть перебрасывали в Югославию, он вытер ей слезы и, обещая вернуться, на прощанье подарил ей тот самый автомобиль. . .

Всего неделю Элен лихо разъезжала по городу на собственном автомобиле. Волосы ее летели по летнему ветру, прохожие шарахались, а знакомые не верили свои глазам – во даёт эта чертовка!

Однако советская комендатура что-то шепнула румынским властям, а те в свою очередь вежливо, но весьма настойчиво посоветовали ей сдать машину, на которую ни она, ни ее залетный русский ухажер не имели никаких прав. . .

Так Элен, как говорится, спешила, вернулась на землю. Какое-то время она еще надеялась, что капитан вдруг нагрет в ее городок, обнимет с разбега. И вернет её автомобиль. . . Впрочем, бог с ним, с автомобилем. Жив ли тот молодой капитан?

Может быть, он стал генералом, потолстел, обзавелся семьей и забыл свою румынскую девочку. Но она-то его никогда не забудет. Она русский язык выучила и вообще русских любит. . .

После ужина я пошел в гости к поэту Александру Андрицою, выпивохе и вертопраху. Слово за слово, я сказал, что еду завтра с Элен.

– А! Элен! Кто ее только не трахал!

Я смутился. Все-таки мой статус иностранного гостя. . .

– Я тоже должен ее. . . ?

Не помню, что ответил Санду, но помню, что спал я беспокойно, а утром, когда в условленный час спустился в холл гостиницы, меня встретил работник румынского союза писателей, который сказал, что он будет сопровождать меня в поездке, Элен не может по каким-то причинам. . .

Я поймал себя на том, что мне весьма досадно, хотя эту замену я, выходит, сам и спровоцировал. И со стыдом представлял себе, как Андрицою после моего ухода ночью звонил куда надо и советовал не ставить советского гостя в неловкое положение. . .

PS. Элен стала потом переводчицей стихов Ахматовой, спустя несколько лет я с удивлением узнал, что она отбила от жены моего знакомого, переводчика Твардовского и Есенина, вышла за него. Брак оказался долгим и прочным.. Элен продолжала сотрудничать с союзом писателей, сопровождая советские делегации. О ней рассказал мне Василий Росляков, побывав в Румынии, он же вскорости опубликовал в «Огоньке» (№3 за 1969 г.) рассказ, в героине которой угадывалась Элен.

Я, встретившись с ней в Бухаресте, сообщил ей об этом, она сказала «Знаю. Читала. Но при муже не говори...».

Давно их нет на свете. Я все хотел перечитать рассказ Рослякова, и вот, наконец, он мне случайно (а, может, неслучайно?) попался на глаза. Решил, сначала напишу, что помню, потом (чтоб не мешал, не накладывался на мою память) обращусь к рассказу.

Так и поступил. Рассказик оказался сладким, сентиментальным, называется «Много, много люблю вас...». Про подаренный автомобиль – ничего, но описание самой Элен удачное, верное:

«Смутлое личико, заметное, глаза притомленные, томные, блузка с подвернутыми рукавами и мини-юбочка выше круглых коленок. Ни девочка, ни женщина. Сейчас ее лицо было расслабленно, безвольно и уже далеко не юное. Через стол она притронулась пальцами к моей руке, чтобы я придвинулся поближе. Глаза ее смотрели на меня в упор.

– Я любила, Васька, одного человека, вашего, советского. Я была тогда маленькая, красивая, учила гимназию...»

НАДПИСЬ НА ОБОЯХ

В тот вечер я шел к ней с твердым намерением «перейти Рубикон». Медлить больше нельзя., завтра будет поздно. Я решил сделать ей предложение – не больше, не меньше. Галя, милейшая студентка биофака, к тому же – моя землячка, я начал приударивать за ней еще дома, и вот, благодаря судьбе,

мы оба оказались в Москве. Уже с полгода я пересекал столицу с севера на юг, заявлялся в общежитие МГУ, где у Галя была отдельная комнатка в двухкомнатном отсеке, очень уютное гнездышко, чистенькое, со вкусом обставленное. Она к моему удовольствию угощала меня бутербродами и чаем, – моя студенческая жизнь сытостью не отличалась.

Мы болтали о том, о сем, о генетике и экзистенциализме, о новых фильмах и книгах, потом начинали, как дети, шалить, валять дурака, в шутку боролись. Я частенько опрокидывал ее на кровать, мы то смеялись, то затихали. Галя не слишком противилась, я не слишком настаивал, ни до чего серьезного дело не доходило. Галя была положительная девушка, честная и умная, с ней нельзя было просто так, я это чувствовал и не переступал черту, всё откладывал, мне и так было хорошо, тем более, что я был влюблен не в нее одну, каюсь.

Время шло и – работало не на меня

На горизонте появился Виктор. Высокий кудрявый аспирант, он запросто заходил к Гале (жил в соседнем корпусе) и не только стал нарушать мой привычный ритуал и поедать часть «моих» бутербродов, но, восторженно не сводил с неё глаз и явно питал весьма основательные намерения. А что Галя? Она благосклонно приняла его в «компанию», поддерживала вежливую и ровную атмосферу, предоставляя нам решать – кто кого пересидит. Легко сказать. Я жил на другом конце города, а этот кудряш был всегда под боком. После одиннадцати мне нельзя было оставаться в общежитии, я ему – можно.

Я понял, что стою на краю. Осознал, что Галя мне дорога и что уступать тому ученому парню не собираюсь. Как я мог быть таким размазнёй? Трус я, что ли? Галя ко мне привыкла, привязалась, готова полюбить – что ж я медлю – жду, чтобы она сама мне бросилась на шею?

Её образ стал преследовать меня. Миловидное личико, тающее неожиданную изменчивость – задумчивое, сосредоточенно сдвинутые бровки – она будто собиралась хмуриться и ни с того, ни сего озарялась удивительной детской улыбкой. Она была смешливой. Голос низкий, словно слегка просту-

женный, но опять же неожиданный контраст – смех получался звонкий, тоненький.

Итак, в тот раз я отправился к Галя, готовый к решительному шагу. Как нищий студент или неотёсанный чурбан, я пришёл с голыми руками – ни цветочка, ни пирожного – зато с продуманным намерением. Я присел к столу напротив нее, разговор как-то не клеился, я силился перебороть волнение, молот всякую чепуху, а она, терпеливо слушая меня, вполне по-домашнему принялась вязать. Мелькание спиц буквально загипнотизировало меня, в горле стоял ком, я замолчал. Трус несчастный! – ругал я себя, но ни встать, ни подойти – приклеился к стулу. «Галя, выходи за меня замуж!» репетировал я мысленно, а она продолжала спокойно вязать, цепляя петельки одну за другой.

И тут я придумал. Я повернулся к стене и карандашом медленно вывел на обоях: «Будь моей женой!» Галя с интересом глянула, но не ничего разобрала – была близорукой. А я, оглушенный ударами сердца, всё же вздохнул облегченно: вот, я перепрыгнул через Рубикон!. Теперь она встанет, прочтет и...

Но она не вставала.

«Что ты там написал?» – спросила.

«А ты подойди, подойди, прочти!» – хрипло вымолвил я.

«Прочти мне ты»,

«Нет, ты...»

«Ну как хочешь... я потом».

И опять замелькали спицы. Несколько секунд прошли в полной тишине. Внезапно, сам того не ожидая, я схватил карандаш и стал густо зачёркивать написанное.

«Что ты делаешь? Ты портишь обои. Что с тобой?» – заволновалась Галя. Я перевёл всё в шутку, заторопился и стал собираться во свояси...

Боже мой, какими только словами я себя не обзывал! Я всё провалил. Сдрейфил. Я весь горел от стыда. Не помню – когда и как я потом показывался ей на глаза, но через месяц я был приглашен... на свадьбу!

...Как сейчас, вижу такую сцену. Галя, Виктор и гости танцуют в холле девятого этажа общежития. Я, хорошенько

подвыпивший, в состоянии какой-то горькой прострации выхожу на балкон, смотрю вниз – там на площадке маленькие человечки играют в волейбол. Уже смеркалось. Я перелез на ту сторону балкона, повис на руках. Никакого страха. Только жалко себя.

Слава богу, никто не заметил – спустя несколько секунд я подтянулся обратно...

Кажется, даже потанцевал с невестой с видом несчастного и благородного рыцаря. Но наутро, проснувшись, я похолодел от ужаса, вспомнив себя, висящем на балконе девятого этажа. До сих пор нехорошо...

...Но вот прошли годы и годы, и меня однажды осенило: никаким я не был трусом тогда. Просто не догадывался, что на самом деле не хотел того, что собирался сделать.

А если б прочла она ту надпись на стене?

Не знаю. Знала – судьба...

ТРИ РУБЛЯ

В свою пору после обмена квартир, когда мы въехали в коммуналку в Марьиной Роще. Въехали без вещей, – они вдогонку шли из Кишинева малой скоростью. Пока суд да дело, решили переклеить обои. Нина подсуетилась, нашла какого-то дядю Васю и привела его в дом. Пожилой, небритый, он был навеселе, но давал четкие распоряжения. Мне велел обегать ближайшие киоски и закупить побольше газет, Нине поручил обрезать кромки обоев во всех рулонах.

– А я, – сказал, – начну с утра. Дайте три рубля, мне надо подкрепиться...

Дали. Утром однако мы его не дождались. Я обошел пивные ларьки, наконец, обнаружил дядю Васю. Пойдёмте, говорю, время не терпит, надо всё закончить, пока не пришел вагон в вещами... Он неохотно пошел за стремянкой. Через час дядя Вася заявился, торжественно поставил стремянку посреди комнаты и попросил еще три рубля.

– Сердце пошаливает, дело незаладится. Хозяин, а как ты хочешь? Я могу так, что всё заляпается, два дня будете отмывать пол. Или хочешь, что чистенько было?

– Я хочу, чтоб было чисто.

– Вот умница. Могу так наклеить обои, что через неделю будут с треском отскакивать, иди хочешь, чтоб как влитые?.

– Я хочу, чтоб как влитые.

– Тогда дай три рубля, руки дрожат.

– Дам, но сначала хоть газеты наклеи, хоть начни.

Дядя Вася тяжело вздохнул и стал разводить клей. Жена старательно обрезала кромку обоев, а я сел бриться. Дядя Вася тут же заинтересовался электробритвой (в ту пору она была еще новинкой).

– Что это? как она бреет?

– А вот так!

– А мне можно? Вишь, какая щетина.

Я кончил бриться, дядя Вася сел перед зеркалом, опасливо включил машинку и вздрогнул. – Да нет, у меня не поучится. Слышь, хозяин? Помоги!

И вот я обрабатываю щетину дяди Васи. А жена продолжает аккуратно обрезать кромку обоев, а бритва жужжит, жужжит, и тут я удивленно замечаю, что дядя Вася посапывает, блаженно засыпает, губы трубочкой.

– Дядя Вася, ты что?

Жена давится от смеха...

Справедливости ради скажу, что побритый дядя Вася свою работу в конце концов выполнил, намусорил мало, а обои держались крепко...

Другая сценка, тоже с тремя рублями. Кран на кухне стал протекать. Вызвали слесаря. Наконец, под вечер звонок. Дома были только я и шестилетний Саня. Я открыл дверь и на меня чуть не свалился подвыпивший дядька. Я удержал его обеими руками, осторожно довел до кухни. Там он прислонился к стене и уже отлипнуть от неё не пробовал. Посмотрел на кран:

– Текёт? – спросил сочувственно.

– Текёт. – согласился я.

– Пустяки. Щас сделаем. Только ты помоги, хозяин. Мне, видишь, несподручно... Вот – ключ, отвинти кран.

Я растерянно взял гаечный ключ и повернулся к крану.

– Стой! Перекрой сперва воду. Интеллигент! В уборную, в уборную иди, закрути вентиль на трубе!

Пристыженный, я исполнил всё, как полагается – перекрыл воду, затем неловко отвинтил кран.

– Давай его дяде! – сказал дядька. Он глянул в него и вернул мне: – Теперь колупни, пальчиком прокладку вытащи. Я колупнул.

– Видишь, она прохудилась. Дядя даст тебе новую. Он полез в карман брюк, протянул мне новенькую прокладку.

– Суй её туда, на место! Я сунул. – Теперь завинти кран. Я завинтил. – Молодец. Теперь пусти воду. Я поспешил в уборную и открутил вентиль. – Ну как, порядок? Не течёт?

– Порядок, – подтвердил я.

Сынишка смотрел то не него, то на меня, как бы решая – смеяться или нет.

– Скажи папе, чтоб дал дяде три рубля... – произнёс слесарь, довольный своей «работой»...

ТАШКЕНТ

С улыбкой и без улыбки

1.

Сентябрь 1968 года. Конференция писателей Азии и Африки в Ташкенте. Мне, тогдашнему консультанту аппарата правления СП СССР, предложили поработать в пресс-бюро этой конференции. Я согласился. Как на зло накануне отъезда, над левой ягодицей у меня выскочил чирей. В самолете я летел боком – нарыв быстро созрел. Потому первым делом после устройства в гостинице я отправился в поликлинику, благо она была неподалеку, через площадь. Меня со значком московской прессы пропустили без очереди. Весёлый узбекский хирург тут же уложил меня на стол лицом вниз, сделал

обезболивающий укол, подождал сколько положено и вскрыл чирей.

И тут зазвонил телефон. От моего врача срочно требовали какие-то сведения, справки. Я покорно лежал лицом вниз и ждал. Что-то противно текло по боку. Минут через десять мой врач закончил препираться по телефону, подошел ко мне и лихо сделал еще один надрез. В это время распахнулась дверь и кто-то недоумённо спросил:

– А где зубной?

– Какой зубной? Человек на столе! Без штанов лежит.

– Вижу. А зубной где?...

– Ты что – совсем?

– Я с острой болью!

Они перешли на узбекский, бурно выясняя отношения. Тут уж я не выдержал:

– Доктор, дорогой, у меня анестезия проходит!

Хирург всплеснул руками, подскочил ко мне, быстро закончил дело, заклеил мне половину задницы и отпустил восвояси.

Поковылял я грустно к своей гостинице. Вдруг вижу у самых ног сложенную вчетверо пятёрку, по тем временам – деньги. А я нагнуться не могу. Оглянулся, увидел мальчишку лет семи, подозвал – давай, мол, хватай, это тебе! Тот сграбастал пятёрку и отбежал с благодарным визгом.

Я доплёлся до своего номера и лёг. Однако через некоторое время, извиняюсь, мне захотелось в туалет. И тут – о, ужас! – снять штаны невозможно – приклеились! Пришлось осторожно отмачивать бок горячей водой...

На другой день после работы в пресс-бюро я заторопился на перевязку. Спустился вниз, где у парапета стояла прикреплённая к нам машина, говорю водителю:

– Привет, дорогой. Подкинь меня в поликлинику!

Но неожиданно услышал в ответ:

– Я тебя не знаю, ты меня не знаешь.

Оказалось, я забыл нацепить значок Пресс-бюро. Пришлось отчеканить:

– Тебя завтра никто знать не будет! Видел откуда я вышел?

Узбек вскинул брови, посмотрел в небо, подумал и про-
изнёс:

– Так бы и сказал. Садись...

2.

Пишу теперь, через много-много лет. Сама конферен-
ция напрочь забылась, потому я не зря начал с юмористи-
ческой сценки – она-то осталась в памяти! Да еще Евтушен-
ко в связи с Чехословакией. Я и мои коллеги были глубоко
травмированы тем, что случилось, но еще обманывали себя
тем, что возвращение Дубчека домой означает некий комп-
ромисс...

Вечером я и еще кто-то (не помню кто) гуляли по пустын-
ным улицам Ташкента с Евтушенко. Он прочитал стихотво-
рение «Танки идут по Праге, танки идут по правде... И по
сидящим в танках»

Я восхищался им. Потом он рассказал, что в Штатах
встречался с Робертом Кеннеди, тот завёл его в ванную,
включил воду и под шипение кранов сообщил ему, что это
ЦРУ по сговору с КГБ сдали Синявского и Даниэля. (Не
помню, за какую взаимную услугу со стороны наших «орга-
нов»)

3.

Но было еще одно личное событие, которое я ждал с вол-
нением и которое оказалось не таким уж значительным.

Это лирическая предыстория встречи с Ташкентом.

У меня была трогательная любовь с одноклассницей, ко-
торая тоже писала стихи. Она приехала в наш бессарабский
городок из Ташкента, много о нём рассказывала и – увы! –
вскоре вернулась с родителями туда. Мы переписывались, я
мечтал приехать в Ташкент, откладывал рубли, которые мне
мама давала каждый день на бутерброды в школьном буфете.
Я прятал деньги среди страниц Энциклопедии.

Через несколько месяцев однажды, придя домой, увидел
на столе две новых сорочки. Мама сказала: – Я нашла у тебя в

книге деньги, мы с папой решили купить тебе рубашки (этот эпизод я использовал в своих «Лиманских историях»)...

Но через три года она, моя первая, приехала летом с махей в Одессу, ясное дело – я туда полетел, как на крыльях. Но она оказалась уже замужем. И вообще с немалым любовным опытом. Весьма не простым, драматическим, я готов был её «спасать», но мой друг успел между делом воспользоваться ею в Одессе, что меня сразу отрезвило. Я тогда написал:

*На сердце свет холодный месяца.
Ташкент, Ташкент, зелёный город,
Я не хочу с тобою встретиться,
Ты мне теперь ничем не дорог!*

Но встретился. Через двадцать лет. Сумел сообщить ей, она жила неподалёку, в Капламбеке (это рядом с Ташкентом, но уже в Казахстане). Я отправился туда. У остановки автобуса меня встретила её дочь. Муж был в командировке. Забылись подробности, помню только, что я её, в сущности, не узнал. Взрослая женщина, какая-то погасшая, приземлённая. Прошлое давно перегорело, общение было тёплым, но явно поверхностным, не задевающим ни души, ни тела.

Самое интересное были мои письма. По моей просьбе она достала их из «тайника» между спинкой пианино и стеной. И пока она на кухне готовила для меня угощение, я с превеликим любопытством выборочно читал собственные строки. Получилось, что я встретился не с ней теперешней, а с собой – тогдашним...

Еще помню, что смеркалось, когда мы вышли в степь погулять. Говорили о том, о сём, и вдруг она ни с того ни с сего сказала:

– Стара я для тебя...

Хотя в ту пору ей еще сорока не было...

МНЕ 14 ЛЕТ...

«Мне 14 лет»... ни с того, ни с сего название известного эссе Вознесенского вдруг повернулась ко мне вопросом: а что было со мной в том же возрасте?

Мне четырнадцать лет исполнилось 14 марта 1944 года. Однако дело не в игре четвёрок, а в том, что в лицее был особенно запомнившийся мне урок истории. Учитель Нэстасе, темпераментный щеголь вдохновенно рассказывал о Юлии Цезаре, о его блистательных военных победах, государственном таланте, учёности и о его трагической гибели – кстати, случившейся опять же в 44-ом году, – правда, до Р.Х. Римские картины оживали перед моими глазами, заслоня своим светом блики солнца в окнах и отменяя веселое чириканье воробьев. Вот брошен жребий, перейдён Рубикон, вот мимоходом подарена векам формула «Veni, vidi, vici!», а потом в тени пирамид – он прекрасный любовник прекрасной царицы Клеопатры. И какая гибель – смерть красна на миру – в самом Сенате... Картина была куда реальней реального 1944-го года, сотрясающего Европу.

Что такое действительность? То, что мы в данный момент воспринимаем. Она во всём своём объеме никому не видна, а для слепых котят – учеников, она начинается с древних времён, неторопливо догоняя современность, она навязывается воображению, заслоня то, что перед глазами. К тому же в повседневности мы находимся там, где находимся, а на экране истории мы обязательно представляем себя в центре событий. Красочный рассказ о Цезаре делал каждого из нас свидетелем, сопереживателем. А это великое преимущество перед тогдашними гражданами Римской империи! Большинство римлян находились кто где, они в тот час понятия не имели о том, что произошло в Сенате. Был день, как день. Мартовские иды.

Театр истории устраивается для следующих поколений. Современники оказываются куда более посторонними в своей эпохе, чем будущие поколения.. Что сказали бы мы о фантасме, который приземлился бы на машине времени на без-

людной «древнеримской» лесной поляне?. «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Действительность сегодня конкретна, а завтра неисчерпаема, – в этот момент она всего лишь частность, рикошет, косвенная причина несметного числа последствий.

Так вот. Сиял милый весенний день, на переменах мы, ученики румынской гимназии в бессарабском городке Четатя Албэ (ныне Белгород-Днестровский) катались по лакированному мраморному полу огромного коридора, шалили, прыгали, но, войдя в класс, волею преподавателя Нэстасе были вовлечены в тот ужас мартовских Ид, когда на глазах сенаторов был заколот гениальный полководец и вождь римской империи Гай Юлий Цезарь. Завистники и ничтожества осуществили дерзкий заговор против великого героя, он успел лишь накрыться тогой, чтобы скрыть от посторонних глаз безобразную картину убийства, успел еще бросить в лицо своему приемному сыну исторические слова: «И ты, Брут!»

Я почти физически чувствовал, как вонзаются кинжалы в поверженного Цезаря, чувствовал, как он мужественно и горько принимает незаслуженную смерть. А надо бы знать, что всего за несколько сот километров от нас войска Третьего Украинского фронта форсировали Южный Буг, грохотали канонады, в Берлине стучал кулаком по столу с военными картами разъярённый фюрер, а король Михай в который раз прикидывал, как избавиться от своего верного маршала Антонеску, поставившего страну на край пропасти.

По дороге домой я с моим коллегой Санду Кираном горячо обсуждали людскую подлость – тех, кто поднял руку на Цезаря, лучшего из лучших, чуть ли полубога... (Правда, обсуждали не только это – мы оба были влюблены в Алису Абрудяну – сестру нашего друга – сына директора румынского национального банка, расположенного в одном из красивейших особняков нашего города).

Не берусь судить о причинах расправы с Юлием Цезарем, стал ли он, или мог стать тираном, но уж безусловно вопиющей исторической несправедливостью было то, что Гитлер не был убит Штауфенбергом. Летней ночью того же

1944-ого года в Калафате я услышал по радио, что на Гитлера совершено покушение и что он, возможно, погиб (передавал Лондон). Известие было шоковое, но совсем не шекспировское. Гитлер не выглядел героем. Когда бы покушение удалось, война захлебнулась бы в том же 44-ом году (правда, невозможно угадать, как сложились бы отношения между союзниками, которые уже высадились в Нормандии), но совершенно ясно, что миллионы жизней были бы сохранены. Но увы!)

Спасение фюрера выглядело чудом и сам он настаивал на волю самого Провидения, – правда, никакой радости от этого чуда в воздухе не ощущалось – напротив, царило смятение, беспокойство и предчувствие грозных событий. И они не заставили себя ждать – не прошло и месяца, как сам маршал Антонеску был арестован в королевском дворце, а Гитлеру предстояло сделать именно то, что не удалось заговорщикам – убить Гитлера...

Властитель не может уйти от своей судьбы.. Недаром Лев Толстой не смог художественно воплотить легенду о тайном уходе Александра I-го с трона, хотя ему очень хотелось. Да так хотелось, что сам на старости лет ушел из Ясной Поляны. Но это Человек! Это гений, творец и хозяин своей судьбы! А не заложник – раб преступной роли...

Но вернусь к тому, что я находился в воронке мировой войны, и мое положение выглядело двусмысленным. Я еще не так давно был советским пионером, мой отец ушел с Красной армией, а мы с мамой беженцами провели всю осаду 41-ого года в Одессе. А теперь мой друг и одноклассник был румынский мальчик, любитель поэзии Эминеску, он сидел рядом со мной на парте и пристраивался ко мне во время утренней молитвы (кстати, война с лёгкой руки Антонеску называлась «Крестовым походом против большевизма» – походом против моего отца, хотя он не был большевиком, а просто бессарабцем, которого мобилизовали, но оружия не дали – не доверяли, записали в стройбат)...

Мне отец часто снился, даже как бы являлся наяву – шел я как-то по улице и вдруг увидел впереди себя солдата с ран-

цем, он, полуобернувшись, остановился зашнуровать ботинок, и я чуть не кинулся к нему – он был вылитый отец. Вернулся? Как? Пленным? Но уже через мгновение понял – обознался.

Что я тогда понимал? Что-то понимал, но весьма своеобразно. Когда мы с мамой вернулись из Одессы, мы в сущности вернулись домой, да и сами румыны возвратились в Бессарабию, свою освобожденную территорию, жизнь была почти такая же в как в мирное время – казалась, война не сегодня-завтра кончится. Правда, победа немцев и румын становилась с каждым днем всё сомнительней. Ведь это был 44-ый год. Как бы то ни было, а фронт три года раскачивающийся туда-сюда вдаль от наших мест в ту весну явно опять приближался к Бессарабии, и вскоре директор гимназии Истрате, старающийся сохранять спокойствие, позвал лицеистов в библиотеку, сообщил им, что учебный год заканчивается раньше времени и предложил всем ученикам взять любые понравившиеся книги к себе домой – по списку, чтобы потом (после войны) вернуть в целости и сохранности..

Так для нас весной переломился 44-ый год. Внутри большой войны мы, подростки, полностью её не осознавали. Мы играли в войну, лепили из глины танки, самолёты, корабли. Ямка, засыпанная песком во дворе изображала море, в нём были даже подводные лодки. В военных играх нас увлекал некий абстрактный героизм, упоение победой и даже романтика поражения. Подростковая психика каким-то образом умудрялась охранять себя от треволнений, беды и горя взрослых. Этому способствовало и то, что по милости судьбы наш городок мало претерпел от разрушений и смерти. Потому трагедия Юлия Цезаря потрясла меня сильнее, чем события, которые где-то далеко разыгрывали вполне живые современники, Сталин и Гитлер. Между ними и мной не было никакой обратной связи, то есть их действия могли вслепую весьма чувствительно сказаться на мне, в то время, как они сами для меня оставались в другом измерении, представлялись знаками катаклизмов, вроде землетрясений, стихийных бедствий.

Каюсь, но факт: в 1939 году, еще при румынах, мне импонировал Гитлер, его страстные заразительные речи в киножурналах, его сила, сокрушившая Польшу, а вслед за ней Францию и всю Европу. Потом в 1940-ом году, уже советском, мне нравился Сталин, его олимпийское спокойствие, его мечта освободить всех угнетенных и рабов. Потом в 41-ом опять при румынах я видел карикатуры на кровавого Сталина, слышал рассказы о зверствах большевиков, включая Катынь. А осенью 44-го, вернувшись в советскую Бессарабию, узнал о зверствах фашистов – всё это так, но всё-таки я уже понимал полуправду любой пропаганды...

Кстати, Сталин любил называть себя в третьем лице, понимал, стервец, какая фантастическая разница между ним – сыном сапожника из Гори и гениальным вождем всех времён и народов. Он и Гитлер внедрили как инфильтраты в сознание миллионов людей. Их имена действовали уже независимо от них. В жизни и Иосиф и Адольф мучились бессонницей, вставали, умывались, в туалет отправлялись (оба, кстати, страдали желудочными расстройствами), но при банальности их человеческих организмов, почти невозможно проникнуть в их воспалённую психику, которой уже был недоступен здравый смысл нормального человека.

После покушения, после «репетиции» смерти фюрер слепо продолжал проигранную войну. А победитель Сталин упивался тысячами собственных прижизненных памятников, которые не защитят его от одинокой смерти на подмосковной даче в луже собственной мочи...

Я в тот день, когда мне исполнилось четырнадцать лет, не думал о современных мне вершителях судеб. Кто они такие по сравнению с Цезарем, в лучах славы которого светились и героизм, и достоинство, и благородство!

И все-таки в тот день я засыпал с думой об Алисе двенадцатилетней красавице, принцессе моей мечты, она улыбалась мне и по моему телу пробегала странная сладкая теплота, и еще непонятное напряжение... Не знал, что через годик напишу свое первое стихотворение о любви.

РЯДОМ И ВСКОЛЬЗЬ (литературные портреты и эссе)

АЛЕКСАНДР БЛОК. ПОСРЕДИНЕ ПУТИ

Фигура Блока со временем становится все крупней, а как подумаешь – в начале века считали, по сути, равными, равно-великими четырех поэтов на «Б»: Бальмонта, Белого, Блока, Брюсова...

Первым из них умер самый молодой – Александр Блок, ему не исполнилось и сорока одного года (дольше всех прожил самый старший – Бальмонт). Больно думать, что Блоку досталась такая короткая жизнь, а тогда его смерть была воспринята многими без удивления – как закономерный конец «целой поэтической эпохи», по словам Маяковского, который писал: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла».

У каждого времени свое жизнеощущение, потому какой толк задним числом отмечать, что Маяковский сильно ошибся и т. д., тем более, что сам Блок, по свидетельству Чуковского, чувствовал то же самое в мае 1921 года, когда он в последний раз читал стихи в Доме печати и когда на подмостки вскочил кто-то «и стал доказывать собравшейся публике, что Блок, как поэт, уже умер». Блок, пишет Чуковский, «наклонился ко мне и сказал: – Это правда».

Прошло еще тринадцать лет, и критик Селивановский со-общал, как о чем-то хорошо известном, давно установлен-

ном: «Все более уходит в прошлое и становится документом этого прошлого поэзия символизма вообще и поэзия Блока в частности...» Далее он уточнял, что даже такие произведения, как «Двенадцать» или стихи Брюсова советского периода, стали всего лишь наследством, «которое уже утратило свое значение художественного оружия в литературных битвах и соревнованиях сегодняшнего дня».

Таким образом прежние лидеры новой поэзии оказались равно отодвинутыми в прошлое... «Обойма имен» как взошла, так и закатилась.

Но миновали годы, десятилетия, и каждый из четырех посвоему вернулся в круг нашего восприятия, но не на прежние места. В нашем сознании выделился Александр Блок. Мы с испытующей любовью вглядываемся в его строгое «посвященное» лицо – образ поэта и рыцаря – будто о нем сказал Пушкин:

*С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.*

Литература о Блоке давно превысила объем всего, что написано самим поэтом, и она продолжает расти, как снежный ком. Неизменно его присутствие в нашем духовном мире, он навсегда встал в ряд первых русских поэтов, живых собеседников наших. Каждое поколение возобновляет свой диалог с ним.

Что же произошло? Современники отмечали исключительную одаренность «стихийного гения» Бальмонта, «художника жизни» Белого, творческую волю «вождя поэтов» Брюсова. Почему теперь, когда мы оглядываемся, видим прежде всего среди гор вершину Блока?

Писать о Блоке страшно вато не только потому, что столько про него уже сказано и пересказано. Страшно вато, что сам он – помните? – с чувством содрогания писал:

*Печальная доля – так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достойным доцента,
И критиков новых плодить...*

Он пуще забвения боялся «хрестоматийного глянца» и ученой пошлости. Поэт вообще хотел бы избежать этой участи – изучения. В мучительный час своей жизни он был готов отречься от самого себя...

Приведенные строки из стихотворения «Друзьям», переломного стихотворения, написанного посредине его двадцатилетнего творческого пути – 24 июля 1908 года.

В тот же день Блок вспоминает свое стихотворение о поэтах, набросанное пять лет назад, и на волне того же горького вдохновения быстро и точно завершает его. Речь идет о знаменитом стихотворении «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал...»), в нем уже есть катарсис, признаки просветления. Но вернемся к стихотворению «Друзьям». Его можно назвать ужасным. В чем только не обвиняет поэт себя и своих собратьев: «Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды...», «каждый старался свой собственный дом отравить...», «предатели в жизни и дружбе, пустых расчленили слов...», «изверившись в счастье, от смеху мы сходим с ума»!

Это куда мрачнее пушкинского «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю», потому что Пушкин, как бы совестно и остро ни переживал свою жизнь, все-таки не поднимал руку на свое творчество и на друзей-поэтов. А Блок, вслед за своим современником, великим яснополянским старцем, восклицает:

*Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!*

Что же это? Казалось бы, он должен быть счастлив. Он молод, талантлив и красив. Ему еще не исполнилось двадцати восьми лет, его уже овеивает всероссийская слава...

Пожалуй, его собратья по перу чувствовали себя иначе (если обратиться примерно к тому же времени). Константин Бальмонт, заявивший еще в 1901 году: «Я – изысканность русской медлительной речи, предо мною другие поэты – предтечи...», – остался при том же мнении. Он пишет в автобиографии: «Имею спокойную убежденность, что до меня, в це-

лом, не умели в России писать звучных стихов. Чувствую в душе нескончаемую юность».

Валерий Брюсов торжественно обращается не к живым и грешным «друзьям», а к себе и вообще. «Поэту» называется его стихотворение, где он указывает: «Ты должен быть гордым, как знамя», и при этом «всего будь холодный свидетель» и даже «в минуты любовных объятий к бесстрастью себя приневоль», потому что –

*Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-невучих стихов...*

Если отвлечься от того, что Бальмонт с откровенностью избалованного вундеркинда упивается собой, а Брюсов по-олимпийски надменно вещает, оба по сути провозглашают одно и то же: жизнь – всего лишь материал для искусства, для избранного небом творца. И только Андрей Белый в стихотворении, озаглавленном так же, как у Блока – «Друзьям», в момент острого личного прозрения с болью пишет:

*Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.*

Но тут же, после этого пронзительного четверостишия, снижается до жалобы и жалости к себе: «Я не виноват», «Пожалейте, придите...». И наконец восклицает с совершенно детским эгоцентризмом: «О, любите меня, полюбите...»

Итак, примерно в то время, когда Блок в отчаянии, Бальмонт решительно собой доволен, Брюсов призывает к холодной отрешенности от злобы дня во имя вечного искусства, а Белый прежде всего взывает к сочувствию, ибо он так одинок и ни в чем не повинен...

Пусть я и сгущаю краски, выделяя один небольшой отрезок времени, но одно несомненно: Блок ближе всего к эпицентру... Блок принимает на себя и боль и вину. Близится катастрофа, он это знает. И у него достаточно духовной высоты и мужества, чтобы перед грозным ликом грядущего с

гневным отвращением осудить и себя и своих братьев-символистов. До мировой войны всего шесть лет, до крушения царской России – девять... Блок не знает своей будущей роли в дни революции, не знает, что в поэзии она будет связана с его именем, его «Двенадцатью» и «Скифами». Но, судя по жестокости и решительному его разрыву с художественным себялюбием, он что-то знает, к чему-то готовит себя. Ведь уже в стихотворении «Друзьям» среди мрака и ужаса прозвучали слова:

*Что делать! Мы путь расчищаем
Для наших далеких сынов!..*

Насколько это было мучительно и насколько искренне, можно судить по письму, личному письму, которое Блок написал жене 23 июля, то есть за день до стихотворения «Друзьям». Повторяю, это сугубо личное письмо – его и теперь как-то неловко читать, будто без спроса заглядываешь в чужую жизнь.

Человек просит любимую женщину: «Если ты не решила совсем бросить меня, приезжай как только можешь скорее». Но этот человек – Александр Блок, потому личное мгновенно становится всеохватным, перестает быть личным – так серьезно за отдельной человеческой болью встает литература, Петербург и Россия: «Едва ли в России были времена хуже этого. Я устал бессильно проклинать, мне надо, чтобы человекдохнул на меня жизнью, а не только разговорами, похвалами, плевками и предательством, как это все время делается вокруг меня. Может быть, таков и я сам – тем больше я втайне ненавижу окружающих: ведь они же старательно культивировали те злые семена, которые могли бы и не возрасти в моей душе столь пышно. От иронии, лирики, фантастики, ложных надежд и обещаний можно и с ума сойти...» И дальше: «Посмотри, какое запустение и мрак кругом!» И – «лечь бы и уснуть и все забыть» – прямо цитата из стихотворения, которое будет написано на другой день:

Забиться бы сном навсегда!

Поразительная цельность! По сути, никакого различия между «для жены» и «для печати». Пусть художественно пре-

ображенное, но то же самое душевное состояние открывается и «всей публике». Для чего это делается? Ничто человеческое, скажем, не было и Брюсову чуждо, но разве он позволил бы себе предстать перед современниками (и потомками!) в такой беззащитности?

Ответ находится у самого Блока. В августе того же года он работает над статьей «Письма о поэзии», где с первых же страниц подчеркивает:

«В чём же разгадка того странного факта, что прекрасные стихи поэта, нам современного, не радуют нас, и мы принуждены, отдав им дань холодного уважения, идти к другим?»

Мне приходится остановиться на единственной догадке, которую я считаю близкой к истине: на неполной искренности поэта. Я думаю, мы более уже не вправе сомневаться в том, что великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений «исключительно» характера. Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла, — для того ли, чтобы родиться для новых созданий, или для того, чтобы умереть, — только оно может стать великим».

Еще через три месяца Блок в статье «Ирония» приведет высказывание Вл. Соловьева, считая его «формулой», непрелюбимой для каждого, кто «живет сколько-нибудь сильной духовной жизнью»: «Личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма».

Пока еще неясно, во имя чего эта искренность писателя и отречение от эгоизма. Во имя чего жертвенность и страдательный, что ли, пафос?

Покамест отметим, что такой вот ценой платил Блок за каждый свой шаг. Честность, бесстрашие совести, мужество не давали ему сбиться с пути. Словно у поэта был внутренний компас, как у птицы, летящей на север весной...

Теперь самое время вспомнить о теме Куликовской битвы в творчестве Блока. Эта тема неожиданно пересекается со стихотворением «Друзьям», от которого пошли такие круги — в письмах, статьях...

Весь 1908 год прошел у поэта под знаком Куликовской битвы. Перечитывая третий том собрания сочинений Блока, я случайно обнаружил, что переломное стихотворение «Друзьям» по дате как бы врывается в цикл «На поле Куликовом». Оно у меня раньше никак не связывалось с темой Куликовской битвы, даже казалось созданным в другое время, тем более, что оно в третьем томе отделено от упомянутого цикла ста двадцатью двумя страницами! На самом же деле первые три стихотворения цикла написаны в июне, а четвертое – 31 июля, то есть через несколько дней после стихотворения «Друзьям»! И оба стихотворения полностью совпадают по ритмическому рисунку. Если слишком уж рискованно читать их «в продолжении», то по крайней мере можно взять камертоном одну строку –

Зарыться бы в свежем бурьяне,..

– и тогда стихотворение «Опять с вековой тоскою» читается другими глазами:

*...И я с вековой тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!*

Личное здесь выступает совершенно ясно.

Та же тоска, то же смятение, что и в стихотворении «Друзьям». Но чувство исторической сопричастности судьбам России – живительно, оно открывает простор, пусть обгащенный кровью и озаренный пожаром, но в нем, в этом просторе, – такая надежда, что и тоска становится могучей!

*Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне...
Встречаются вольные тучи
Во мглистой ночной вышине.*

*...«Явись мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!»*

У Блока личная жизнь, русская история и ее будущее звучат вместе, разом, в музыкальном нерасторжимом единстве.

*О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?*

Это из стихотворения «Осенний день», первый вариант которого набросан тогда же, в сентябре.

Ровно за десять лет до «Двенадцати», с января 1908 года Блок увлеченно и трудно пишет драматическую поэму «Песня судьбы», пьесу во многом автобиографическую. Но здесь впервые у Блока тема русской истории так конкретно и сильно врывается в личную. Германа спрашивает Друг:

«О чем вы беспокоитесь, не понимаю. Вы страшно заняты собой, вы не находите себе места, вы из кожи лезете,— к чему все это?»

А Герман отвечает:

«Вы спрашиваете — к чему? Считайте меня за сумасшедшего, если хотите. Да, может быть, я — у порога безумия... или прозрения! Все, что было, все, что будет,— обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех времен, живу муками моей родины. Помню страшный день Куликовской битвы.—Князь встал с дружиной на холме, земля дрожала от скрипа татарских телег, орлиный клекот грозил невзгодой. Потом поползла зловещая ночь, и Непрядва убралась туманом, как невеста фатой. Князь и воевода стали под холмом и слушали землю: лебеди и гуси мятежно плескались, рыдала вдовица, мать билась о стремя сына. Только над русским станом стояла тишина, и полыхала далекая зарница...»

Это, конечно, говорит не Герман, а Блок. Поручкой тому стихи:

*...Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.*

А в третьем стихотворении цикла – просто текстуальные совпадения с монологом Германа:

*Орлий клетот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой...*

Поэт чувствует себя участником Куликовской битвы – вчерашней и завтрашней. Знаменательны его слова: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди».

Блок предчувствует новый исторический поворот судеб России. Он и ждет его и страшится, потому что теперь оба стана – внутри самой России. Орде довольных и сытых грозит возмездие, и тут тесно переплетаются обе темы – гневное осуждение братьев-поэтов и себя самого как людей, отравленных культурой сытых («Друзьям»), и тема неизбежности сечи на Куликовом поле. В ноябре Блок пишет статью «Народ и интеллигенция»: «Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание... Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух», летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель».

Прозрение поэта еще захлестывается наваждением «растерзанного сердца» и совести. Он чувствует это, мужественная воля Блока не может смириться с отчаянием и кошмаром. Пусть возмездие, но не гибель! И через месяц, в декабре, Блок еще раз возвращается к образу «двух станов». Это заключительные строки статьи «Стихия и культура»: «Между двух костров распалившейся мести, между двух станов мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под «очерепевшей лавы»?., или это – очиститель-

ный огонь»? Уже не «верная гибель», а мужество и вера – «очистительный огонь». Блок продолжает: «Так или иначе – мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа».

Эти слова, выделенные разрядкой самим поэтом, как раз и определяют отличительное свойство и судьбу большого художника.

Через два года Блок скажет прямо и точно в «Ответе Мережковскому»: «...писатель, верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями, сораспинается с нею... Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотней представляешь ее себе, как живой организм... Родина подобна своему сыну – человеку... Органы чувств ее многообразны, диапазон их очень велик. Кто же играет роль органов чувств этого подобного и милого нам существа?»

Роль этих органов играют, должны играть все люди. Мы же, писатели... должны играть роль тончайших и главнейших органов ее чувств. Мы не слепые ее инстинкты, но ее сердечные боли, ее думы и мысли, ее волевые импульсы».

Пусть еще «сораспинание» отдает жертвенностью, но уже сказано: «волевые импульсы»!

Вот почему именно Блок выделился среди других весьма талантливых поэтов его времени. Он перерос самого себя, осознал свой дар волевым импульсом родины. Так разрешилось мучительное кризисное состояние поэта, выраженное в горчайшем стихотворении «Друзьям».

Разрешилось вещими словами пятого и последнего стихотворения цикла «На поле Куликовом»:

*...узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!*

Волевой импульс – это хочется еще раз повторить. И еще раз подчеркнуть, что самому Блоку принадлежат слова из монолога Германа: «я – здесь, как воин в засаде... я жду всем

сердцем того, кто придет и скажет: «Пробил твой час! Пора!».

Потому что «На поле Куликовом» завершается так же:

*Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал...*

И дата – 23 декабря 1908 года. Заканчивался год, для Блока прошедший под знаком Куликова поля.

Он вышел тогда победителем.

... после «Двенадцати» его уже победителем не назовешь. Но можно ли на этом поставить точку? Разве не аукнулось сегодня его слово – не вернулось к нам живым и – актуальным?

ПУШКИН И МАЯКОВСКИЙ:

«...почти что рядом...»

Пушкин родился в конце восемнадцатого века, прожил около тридцати семи лет, погиб от пули..

Маяковский родился в конце девятнадцатого века, прожил около тридцати семи лет, погиб от пули..

Пушкин перед гибелью (как бы предчувствуя её) подводит итог своему творчеству, пишет «Я памятник себе воздвиг...».

Маяковский перед гибелью (как бы предчувствуя её) подводит итог своему творчеству, пишет «Во весь голос»...

Два памятника. Что ни говори, а стоят они, бронзовые, на соседних площадях Москвы. Сбылось: «После смерти нам стоять почти что рядом...»

Поразительное сходство? Поразительное несходство? Первого убивают, второй убивает сам себя. Первый погибает, как Моцарт. Второй – убивает в себе Сальери? Ведь Пушкин – лёгкое имя, по слову Блока. Маяковский – тяжелоступ, тяжеловес, по слову Цветаевой. Да и сам он пишет о своих стихах: «стоят свинцово тяжело». Пушкин говорит – «мы рож-

дены для вдохновенья», Маяковский – «как делать стихи». Поэзию в этой статье он «разъял, как труп», – метод пушкинского Сальери.

Сто лет можно спорить, утверждать и опровергать, но вот – бесспорно: стоят два памятника в Москве, и это не зря.

Маяковский был обречён всю жизнь оглядываться на Пушкина. На божество, которое давило и мешало самоутвердиться. Как ни бросай его с корабля современности, как ни сотрясай в детской резвости его треножник, а всё равно придёшь к признанию в любви.

«Я люблю Вас, но живого, а не мумию» (не очень ловко сказано, – кто же, собственно, любит мумию?)...

Они с виду антиподы. Пушкин – быстрый, чуткий, естественный с друзьями, с женщинами. Умнейший муж России, интеллигент и светский человек. Никогда не кичился своей гениальностью. Говорят, Амалия Ризнич и не подозревала, что он пишет стихи.

Маяковский – вызывающе-самоуверенный, самовлюбленный: «я – быть может, последний поэт»...

Внешне – именно так, а если присмотреться?

Давайте прочтём «Я памятник себе воздвиг...» и «Во весь голос» как диалог двух поэтов, спор, итог и урок. Увидим тогда нечто иное. Пушкин выступает сверхуверенно, с каким-то заоблачным олимпийским величием, а Маяковский, напротив, требует признания и мучительно старается скрыть свою неуверенность. Он оправдывается перед потомками, подбирает аргументы. Поэты словно ролями поменялись... «Во весь голос» такая громкая вещь, что сразу и не услышишь жалоб, не разглядишь смятения.

Пушкин говорит: – Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

– Мне наплевать на бронзы многопуде! – сердится Маяковский. Но наплевать ли? Он не может не думать об этом.

«Мне бы памятник при жизни полагается по чину», – то ли в шутку, то ли всерьёз говорил он Пушкину в «Юбилейном», тут же обещая взорвать монумент: «заложил бы динамиту, ну-ка – дрызнь!» А если без иронии, то он спорит с

Пушкиным, который воздвигает памятник себе. Маяковский же выше себя ставит «общий памятник», каким будет «построенный в боях социализм» (социализм, ставший памятником?!). При этом Маяковский не растворяется в общем памятнике, его стих прорвётся в будущее «через голову поэтов и правительств». Но прорвется не до конца – может устареть: «с хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемо-хвостатых...». Но, наконец, прорвавшись, перед кем окажется? Перед ЦКК – олицетворением «светлых лет». Центральная контрольная комиссия выше всех непокорных голов, перед ней предстоит отчитаться, предъявив как партбилет «все сто томов... партийных книжек».

– Нет, весь я не умру... – говорит Пушкин.

– Умри, мой стих, умри, как рядовой... – неожиданно откликается Маяковский. Пушкин спокойно солидаризируется с Горацием и будущим, – пока жив будет «хоть один пиит», а Маяковский в неприкаянном одиночестве не видит ни предшественников, ни наследников. Богоборец, горлан, главарь теперь комплексует. Потомки «в курганах книг, похоронивших стих» случайно обнаружат «железки строк» – автор просит с уважением ощупывать их, как «старое, но грозное оружие», они готовы «и к смерти, и к бессмертной славе»...

У Пушкина нет никакого перескакивания через «хребты веков», впереди – непрерывность признания и славы: «не растёт народная тропа», «слух обо мне пройдёт по всей Руси великой»...

– Мой стих трудом громаду лет прорвёт! – повышает голос Маяковский, но за этим волевым напором скрывается двойственность. С одной стороны, он явится в грядущее «как живой с живыми говоря», с другой стороны, его наследие предстанет этаким величественной развалиной, вроде каменного водопровода. Опять же памятник, но какой! Музей под открытым небом, вдобавок ещё гигантское создание рабского труда («сработанный ещё рабами Рима»). С одной стороны – мощный акведук, с другой – нечто вполне кустарное: водовоз и ассенизатор. Поэт гордится, что не гнушался самой чёрной работы во имя «идущих светлых лет», «вылизыв-

вал чахоткины плевки шершавым языком плаката», хотя мог бы строчить романсы – «доходней оно и прелестней», но не позволял себе этого, «смирлял себя, становясь на горло собственной песне».

Убеждённо и вызывающе совершал насилие над самим собой? Такое даром не проходит.

Поэт на то и поэт, что его несознательный талант сильнее его сознательных установок. Трагическое беспокойство Маяковского как раз и проявляется в том, что вразрез с победительной интонацией выстраивается неожиданный образный ряд, где у развалин акведука «поэмы замерли, к жерлу прижав жерло», «застыла кавалерия острот», и всё это потомки должны обнаружить, роясь «в окаменевшем говне», «разбирая потёмки»... Желанное воскресение обернулось раскопками, недавнее «Хорошо» – чем-то жутковатым. Назрел новый бунт. Но против чего, кого? Где противник, кто враг? Революция, социализм – это вне подозрений, это безусловно «Хорошо», но почему же так плохо? Почему сегодняшнее стало говном, потёмками? Маяковский не находит ответа. И нет для него иного выхода, как совершить побег в иные времена, явиться прямо к хорошим потомкам и достойно предстать перед ЦКК. Прыжок в бессмертие – через смерть? Может быть, она – погружение в сон, в анабиоз, «большелобый тихий химик» тебя воскресит, откроешь глаза, вот оно – светлое будущее...

Ток высокого напряжения, отчаяние и вера одинокого великана – вот что (в отличие от пушкинской олимпийской невозмутимости) поражает нас в прощальном произведении Маяковского. Пусть он кругом не прав, трагедия-то подлинная. «Всё чаще думаю – не поставить ли лучше точку пули в своём конце?» – это сказано ещё до революции.

У Маяковского всё всерьёз – и вера, и любовь, и лозунги, и заблуждения.

– Душа в заветной лире мой прах переживёт... – говорит Пушкин. А Маяковский опять двоится. С одной стороны – да, явится, прорвёт и т.д., с другой – товарищи потомки могут и запомнить ушедшего «на фронт из барских садоводств

поэзии». Недаром повторяется предположительное: «Вы, возможно, спросите и обо мне. И, возможно, скажет ваш учёный...».

Тут стоит отметить, какую метаморфозу претерпела эта пара: «сегодняшний поэт – завтрашний учёный». Молодой Маяковский вставал в дерзновенную позу: «меня, сегодняшнего рыжего, профессора разучат до последних йот, как, когда, где явлён. Будет с кафедры лобастый идиот что-то молотить о богодьяволе». Лет через восемь в «Про это» вместо лобастого идиота появляется в благоговейном ореоле «большелобый тихий химик», а богодьявол становится смертным, который взывает о воскрешении... И, наконец, «Во весь голос» начинается с довольного благостного учёного («очки-велосипед»), который будет докладывать о том, «что жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». Да еще ассенизатор и водовоз...

Как всё измельчало и перевернулось!

– Буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, – говорит Пушкин, – ... и милость к падшим призывал.

– Неважная честь, – возражает Маяковский, – чтоб из этих роз мои изваяния высились по скверам, где харкает туберкулез, где блядь с хулиганом да сифилис!

Там – «по Руси великой», тут – «по скверам...».

Поэту не до поэзии! Он мобилизован революцией на ассенизаторскую работу, ему расчищать авгиевы конюшни старого мира. Это ли не подвиг?

Скорей беда, чем подвиг. Простой врач куда полезней в борьбе с туберкулезом и сифилисом, чем самый гениальный поэт. Каждому своё. К тому же любопытно отметить, что «фронт» Маяковского переместился на «скверы». Раньше перо приравнивалось к штыку, песня и стих были бомбой и знаменем. Что произошло? В год, когда развернулась страшная борьба с крестьянством, началась ликвидация «кулачества» как класса, Маяковский в своём последнем произведении почему-то классовой борьбе почти не уделяет внимания, он произносит скороговоркой: «Рабочего громады класса враг – он

враг и мой отъявленный и давний». Сказано вяло и размыто. Что-то мешало Маяковскому «во весь голос» громить кулачество, как весьма охотно и угодливо делал это Демьян Бедный. Нет, Маяковский не собирался призывать милость к падшим, он внушал себе беспощадность к врагам, но всё-таки в глубине души оставался тем поэтом, который жалел упавшую лошадь на Кузнецком, бездомную собачонку у булочной («из себя и то готов достать печёнку, мне не жалко, дорогая, ешь!»). Любящий, страдающий, бесконечно ранимый Маяковский – это тот, кому наступал на горло агитатор, горлан, главарь. Большевики ради небывалого эксперимента боролись с нормальной жизнью, Маяковский, присягнувший их вере, боролся с поэзией, семьей и самим собой. Его трагедия предвосхитила трагедию всей русской революции.

– В свой жестокий век восславил я Свободу, – говорит Пушкин. А Маяковский? Прежний безудержный бунтарь, «смирив себя», воспекает диктатуру гегемона. Ещё недавно он восторженно провозглашал: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс!» Теперь, принимая прощальный парад своих страниц-войск, он повторяет уже угасшим голосом, что всё «до самого последнего листка я отдаю тебе, планеты пролетарий». Вместо «звонкой силы» – «последний листок»... Как это разнится от начального, мощного, написанного перед революцией:

*Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.*

К тридцатому году великая душа сама себя извела. Жить дальше стало невозможно. Предчувствовал ли он надвигающуюся кровавую баню середины тридцатых годов?

Как далек он был в свой последний час от завета Пушкина: «Веленью Божию, о муза, будь послушна», не слышал муд-

рого: «Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Бесконечно больно за великана, который в предсмертном письме сводит счеты с лилипутами. «Жаль, снял лозунг, надо бы доругаться с Ермиловым». И в стихах надавал тумачков кудреватым Митрейкам, мудреватым Кудрейкам, Сельвинскому с его «таратина, т-эн-н», песенно-есененному провитязю и вообще всей «банде поэтических рвачей и выжиг...».

Все мы крепки задним умом. Легко теперь вершить суд над вчерашними заблуждениями, но ещё большее заблуждение – хоронить поэзию Маяковского.

Истинный поэт всегда здесь и не здесь: он принадлежит своему времени и при этом – в плену у него. Он чужой своему времени, потому что принадлежит не только ему. Не отсюда ли самоощущение некой инородности, нездешности, которое у Пушкина и Маяковского усиливается еще и их «южностью». Маяковский, как и Пушкин, был необычным явлением – уникальным, экзотическим. Недаром в раннем пронзительном стихотворении «России» Маяковский видит себя африканской странной птицей – своеобразная переключка с тем, кто помнил о небе «Африки моей» и упал, истекая кровью, в снег.

«Вот иду я, заморский страус... спрятать голову, глупый, стараюсь» – Маяковский не находит себе места («я не твой, снеговая уродина») и, предчувствуя отторжение и гибель, выпаливает вызывающе-беззащитно: «Что ж, бери меня хваткой мёрзкой, бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовства всех декабрей».

А лет через десять – уже тихо и печально: «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят – что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Но уже в письме к Равичу: «... одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал... райский хвостик», потом «я эти красивые, подмоченные дождём пёрышки вырвал».

Вырвал перья! «Бритвой ветра перья обрей...».

Неотвратимость его гибели заключена и в невозможности представить его себе седовласым или облысевшим, восседаю-

шим в президиуме рядом с лауреатами-секретарями союза писателей под портретом Леонида Ильича Брежнева. Прожить лет восемьдесят, до, скажем, 1973 года – что тут невероятного? Однако немислимо! Он не вписывался уже в 37-й...

Он действительно и мёртвый, и живой. Мертвы железки строк, те, ставшие металлоломом. Но из других вырывается живой поэт, обжигающий своей личностью, подросток-великан, певец и жертва революции – его влияние разошлось кругами по мировой поэзии от Арагона до Броневского, от Хикмета до Неруды.

Период советской поэзии завершён. Слова незабвенного корифея о лучшем, талантливейшем поэте нашей советской эпохи читаются, так сказать, с поправкой: теперь знаем и других лучших, талантливейших, но не то, чтобы совсем советских – Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, Пастернака. Правда, и Маяковского нельзя ограничить его эпохой. Он в русской поэзии навсегда.

В Москве по соседству два памятника – Пушкину и Маяковскому. Не раз нам придётся осмысливать это соседство, этот путь. Урок – он в двух словах такой: за столетним юбилеем Маяковского (1993) следовало двухсотлетие Пушкина (1999). Путь от Маяковского к Пушкину, к классическому пониманию призвания поэта.

Пушкин оказывается всегда впереди...

ЗАГАДОЧНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА

1.

Сначала – полный текст стихотворения, о котором пойдет речь:

*Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод.*

*О, скоро ли она со дна речного
Подыметя, как рыбка золотая?*

*Как сладостно явление ее
Из тихих волн, при свете ночи лунной!
Опутана зелеными власами,
Она сидит на берегу крутом.
У стройных ног, как пена белых, волны
Ласкаются, сливаясь и журча.
Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды.
Дыханья нет из уст ее – но сколь
Пронзительно сих влажных синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья –
Томительно и сладко; в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается – тогда
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь –
Хочу стонать и пить ее лобзанье –
А речь ее... Какие звуки могут
Сравниться с ней – младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Бояна Славья гусли.*

Это стихотворение написано Пушкиным в 1826 году при отъезде из Михайловского. Помечено: «23 Nov(embre). С(ело) Козаково» (на пути в Москву), и проставлены инициалы «Е.В.» Во всех изданиях, включая академическое, считается, что это набросок монолога Князя из будущей «Русалки».

В Полном собрании сочинений Пушкина (издание IV, «Наука» Л. 1977) этому стихотворению даже отказано в праве на самостоятельное существование – оно помещено в V-ый том в драматургический раздел «Ранние редакции»:

«К первоначальному замыслу «Русалки» относится напечатанный 23 ноября 1826 года отрывок...» Далее идет текст стихотворения. Здесь не только явная опечатка (вместо «написанный» – «напечатанный!»), но и ничем не обоснованные утверждения, что это «отрывок» и что он относится к замыслу более позднего незавершенного драматургического произведения, автором, кстати, никак не озаглавленного... Сколько неточностей в одной фразе!

Но, как говорится, закон обратной силы не имеет. Появление «Русалки» (1832) не должно «давить» на восприятие стихотворения 1926 года! По содержанию оно целиком самостоятельно, по форме, в сущности, завершено и явно относится к собственно пушкинской лирике. Князь появится потом. Сейчас перед нами Пушкин. Его лирическое стихотворение, глубоко личное, чуть ли не интимное, необыкновенное смелое для своего времени и загадочное. Любовь к русалке? Да и к русалке ли? («у стройных ног» – откуда у русалки ноги?). Скорей – к женщине, к утопленнице, к призраку во плоти!

Что за этим кроется?

Ходасевич уверенно пишет, что Пушкин «автобиографичен насквозь... В весьма многих случаях автобиографический материал Пушкиным тщательно замаскирован... автобиография зашифрована ради сокрытия ее от глаз и пересудов современников: такова, в особенности, «Русалка».

Думаю, что Ходасевич прав. Добавлю лишь, что стихотворение «Как счастлив я...» тем и отличается от будущей «Русалки», что оно лирическое, обнаженное, оно предшествует драматургической «маскировке, шифровке».

Чтобы почувствовать собственную тайну этого стихотворения, надо читать его свободно, свежими глазами.

Это стихи о мучительной и необычной страсти. Нет ни намека на какую-то трагедию, на муки совести или на возмездие. Нет и младенца. То ли воспоминание о погибшей (утонувшей) любимой, то ли видение, сон, наваждение. И начинаются-то стихи с выражения собственного настроения. Действительно Пушкин рвался в столицу из Михайловской

ссылки, а вырвавшись, очень скоро... захотел вернуться! 15 сентября он пишет из Москвы П.А.Осиповой: «Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому...» Скажете, эпистолярная любезность? Но вот что он пишет Вяземскому 9 ноября из Михайловского: «Вот я в деревне(...) Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму (...) Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление...»

Потому стихи и начинаются с личного признания:

*Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубровы,
На берега сих молчаливых вод.*

Примерно через год в стихотворении «Поэт» Пушкин почти дословно повторяет:

*Бежит он, дикий и суровый,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...*

Почему же в первом случае считают, что это Князь, а не сам поэт? Отметим еще переключку с наброском 1926-го года:

*Там на берегу, где дремлет лес священный.
Твое я имя повторял;
Там часто я бродил уединенный
И в даль глядел... и милой встречи ждал.*

Стихотворение «Как счастлив я...» развивается в лексическом русле пушкинской лирики, именно пушкинской, а не «чужой» (когда поэт вживается в образ того или иного персонажа). Об этом говорит и невольная автореминисценция. В стихотворении «Ночь», написанном ранее, уже была строка:

*«...мои стихи, сливаясь и журча.,
текут, ручьи любви...»*

А еще в стихотворении «В степи мирской...» (1827): «сверкая и журча». Здесь же о смерти: «холодный ключ забвенья, он слаще всех жар сердца утолит»

Лишний раз повторю – это «авторское» стихотворение, а не заготовка к монологу героя будущей драмы. Иначе почему Пушкин при всей своей рачительности не использовал впоследствии ни строки из этого текста для монолога Князя?

Стихотворение существует само по себе, но то, что стоит за ним, безусловно легло в основу «Русалки». Что-то связано с реальными событиями личной жизни поэта. В.Ходасевич (да и многие другие) обращались к Ольге Калашниковой, крепостной крестьянке, от которой у Пушкина родился сын 1 июля 1926 года. Ходасевич пишет:

«Как ни тяжело это высказать, я полагаю, что девушка погибла либо еще до прибытия в Болдино, либо вскоре после этого. Возможно, что она покончила с собой, может быть, именно традиционным способом обманутых девушек, столько раз нашедшим себе отражение в народных песнях и книжной литературе – она утопилась.»

Но, как теперь известно, Ольга была выдана замуж в 1831 году; потеряв первенца Павла, родила второго, Михаила, чьим приемником был сам Александр Сергеевич...

Тайна остается. Упомянутые инициалы «Е.В.» (Елизавета Воронцова? Евпраксия Вульф?) ничего не проясняют. К тому же, не видя рукописи, трудно судить какое отношение дата и инициалы имеют к тексту стихотворения. Дата проставлена над текстом и без года – обычно Пушкин так не поступал.

Может быть, с загробным явлением любимой каким-то образом преломилась смерть Амалии Ризнич, его молодой возлюбленной? Кстати, вскоре после ее отъезда из Одессы она родила сына... О ее гибели Пушкин узнал в 1826 году. Сначала «из равнодушных уст я принял смерти весть и равнодушно ей внимал я...» Но впоследствии «аукнулось». Пушкин пишет ряд стихотворений – трагических, страстных, потусторонних:

*Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье.,
Мне все равно, сюда! сюда!*

.....

*Хочу сказать, что всё люблю я,
Что всё я твой: сюда, сюда!*
(«Заклинание»,1830)

*Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой –
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...*
(«Для берегов отчизны дальней»,1830)

Стихи эти пишутся, когда Пушкин готовится к свадьбе...
И, наконец, не о ней ли, об Амалии, в «Евгении Онегине»? –

*Тебя уж нет, – о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным...*

И ещё: В «Путешествии Онегина» была строфа:

*Я вспомнил речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног Амалии прекрасной
Мне приходили на язык...*

(Пушкин потом написал «У ног любовницы прекрасной», но всё равно в опубликованный текст не включил).

Недаром и Елена Зингер в книжке «Явись возлюбленная тень...» (1999 г.) пишет о стихотворении «Как счастлив я...»:

«Возможно, с беспокойной памятью об умершей косвенно связаны самые причудливые видения поздней осени 1826 года. Например, «русалка»... Во всяком случае есть некая лек-

сическая переключка этого образа со стихами, посвященными Ризнич».

И не знал ли о ее болезни, не предвидел ли Пушкин еще в 1823 году ее близкую смерть в страшноватых незавершенных стихах:

*Придет ужасный час... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи <...>
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой,
У милых ног твоих – себе их на колена
Сложу – и буду ждать печально... но чего?
Чтоб силою мечтанья моего...*

Вот именно – «силою мечтанья»!

2.

Что-то было, какая-то тайна сокрыта за настойчивым возвращением Пушкина к теме загробной, скажем так, любви.

Вспомните слова Русалки:

*С той поры,
Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей,
Прошло семь долгих лет...*

«Русалка» пишется в 1832 году, как раз через семь лет после смерти Амалии...

В более ранней редакции – строки не вошедшие в окончательный текст, где смерть Амалии как бы накладывается на судьбу Ольги Калашниковой, может быть, грозившей утопиться:

*К н я г и н я
Я слышала,
Что будто бы до свадьбы он любил
Какую-то красавицу, простую*

Дочь мельника.

М а м к а

Да, так и я слыхала,

Тому давно, годов уж пять иль больше.

Но девушка, как слышно, утопилась...

Итак, связано ли это возвращение Пушкина к теме русалки с его женитьбой? И нет ли еще какого-нибудь указания на то, как могла продолжаться «Русалка»?

Мне кажется, на оба вопроса следует ответить утвердительно. Обратимся еще к одному стихотворению, которое Пушкин почему-то пожелал хорошенько спрятать. Оно переадресовано... сербскому фольклору и помещено под номером 15 в «Песни западных славян» – якобы русский перевод с французского якобы перевода Мериме с несуществующего оригинала. Пушкин написал это стихотворение после того, как оборвал работу над «Русалкой». Тема не давала ему покоя и он все-таки дал ей лирическое разрешение в «Яныше королевиче»:

... Там на дне молодая Елица

Водяною царицей очнулась

И родила маленькую дочку,

И ее нарекла Водяницей.

Все идет примерно, как в «Русалке», но есть и продолжение. Князь (то есть, королевич) посылает русалочку за мамой и на следующий день опять приходит:

Рано утром, чуть заря зарделась,

Королевич над рекою ходит;

Вдруг из речки, по белые груди,

Поднялась царица водяная

И сказала: «Яныш королевич,

У меня свидания просил ты;

Говори, чего еще ты хочешь?»

Как увидел он свою Елицу,

...Разгорелись снова в нем желанья.,

*Стал манить ее к себе на берег.
«Люба ты моя, млада Елица,
Выдь ко мне на зеленый берег,
Поцелуй по-прежнему сладко.
По-прежнему полюблю тебя крепко...»*

Увы, никакого раскаяния, а лишь новая вспышка страсти. Как в стихотворении 1826 года.

Для тогдашних драматургических канонов такая «досто-евщина» никак не годилась, да и в личном плане была слишком рискованной.

Похоже, очень похоже на ту страшную лирику, любовь к умершей... Да еще в связи с женитьбой.

Елица спрашивает:

*«Каково, счастливо ль поживаешь
С новой любовью, с молодой женою?»*

А Яньш отвечает:

*«Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит».*

Если вспомним, что Наталья Николаевна вышла замуж не по любви, что в отношениях с мужем она, — «склоняясь на долгие моления... стыдливо-холодна» и что эти строки Пушкина о ней передатированы, отнесены к более ранним (все это «на всякий случай», ибо такие стихи не отдавались в печать), то зашифрованное окончание «Русалки» в «Яньше королевиче» не покажется невероятным. В силу своей непоколебимой художественной правдивости Пушкин не мог иначе повернуть сюжет своей драмы, предпочел оставить ее «открытой» (как он тоже поступал не раз).

Итак, перед нами три ипостаси: стихотворение «Как счастлив я, когда могу покинуть...» (собственная лирика), затем «Русалка» (художественное преображение темы) и, наконец, «Яньш королевич» (лирическое разрешение незавершенной драмы). Тут и Шекспир, и Достоевский. И даже Фрейд.

Но прежде всего – Пушкин. Наше всё.

Р.С. П.Анненков в «Материалах для биографии А.С.Пушкина» (с.326-27) пишет, что в рукописи первая сцена «Русалки» помечена апрелем 1832 года, «хотя первые неясные черты драмы встречаются уже в тетрадах 1829 года». Что имел в виду Анненков? Было ли это в канун женитьбы поэта?

Комментаторы поправляют Анненкова:

«Первоначальный замысел относится к 1825-1826 годам». А, может, все-таки к 1829 году?

О.Муравьева в книге «Мериме – Пушкин» пишет о «Русалке»: «Возможным источником этого сюжета называют оперное либретто Краснопольского «Днепровская русалка», переведенное с немецкого».

Почему тогда не сослаться и на сагу о Тидреке Бернском (Теодорихе Веронском):

«... однажды конунг Вилькин отправился со своей ратью на восток, и пристал он у одной своей земли в Русиланде... вышел на берег и пошел один-одинешенек... Там он встретил красивую женщину, к которой у него явилось желание, и он был с нею. Было то не что иное, как то, что зовется морской женою... Когда он пробыл дома... пришла к нему одна женщина и говорит, что она принесла собой его ребенка. Он отчетливо признал ту женщину...» («Откуда есть пошла земля Русская», том 1, стр. 577-578)

Ох, эти фабулы и сюжеты! Литература из литературы – только бы не из живой жизни...

Но дальше О.Муравьева верно замечает, что ссылка поэта на некий источник «Яныша королевича» «является мистификацией, нужной для того, чтобы нарочно «перепутать» свои произведения и переводные.» Увы. Мимоходом прикоснулась к загадке и прошла мимо. Интересно отметить, что, говоря о фольклорных мотивах, Муравьева (тоже мимоходом) бросает фразу: «самоубийство покинутой девушки, тоска женатого изменника по прежней любви...» Да, именно тоска (не раскаяние!). Она-то и помешала Пушкину завершить «Русалку».

Кстати, О.Муравьева в убедительной и серьезно аргументированной статье «Образ «мертвой возлюбленной» в твор-

честве Пушкина», слава Богу, не рассматривает «странное стихотворение» 1926 года как предтечу монолога Князя, а осторожно относит его к «словам лирического героя».

Наконец, С.Рассадин в книге «Драматург Пушкин»:

«Считается, что с замыслом «Русалки» связан лирический набросок 1826 года: «Как счастлив я...» ...Это подступ к драме, но «докучный шум столицы и двора» – пока что очень свое, пушкинское».

Что значит «пока что»?! Просто «свое, пушкинское».

Можно предположить, что в советскую пору это стихотворение упорно приписывалось будущему Князю еще и по той причине, что полагалось оберегать светлый образ великого поэта от подозрений в «некрофильстве».

P.P.S. Еще одна деталь, может быть, и не имеющая прямого отношения к разговору. Известно, что 1 января 1824 года Амалия Ризнич родила сына, которого назвала, кстати, Александром! Но Пушкин вне подозрений, он познакомился с ней летом 1823 года, когда, получается, она была уже беременна. Однако этот период проходит под знаком пушкинской любви, недаром страстное стихотворение «Ночь» («Мой голос для тебя и ласковый и томный...») поэт пишет 26 октября 1823 года, то есть когда Амалия чуть ли не на седьмом месяце. Исследователи не сомневаются, что стихотворение обращено к ней. Повторяю, в нем строка «мой стихи, сливаясь и журча...» аукнулась через три года в стихотворении «Как счастлив я...»:

«...волны

Ласкаются, сливаясь и журча...»

Случайно ли?

P.P.P.S. Обнаруживаю вдруг, что в романе-хронике Григория Анисимова «Что в имени тебе моем?...» (Москва. Мусaget. 1998 г.) писатель без тени сомнения и без всяких объяснений относит стихотворение «Как счастлив я...» к памяти об Амалии Ризнич:

«Нет, не забыл он своей любви. С того самого дня, 26 июля 1825 года (на самом деле – 25 июля 1826 г. прим. К.К.), когда узнал, что Ризнич умерла во Флоренции..»

«Явись возлюбленная тень, как ты была перед разлукой», – взывал он. И тень являлась. Он сидел на берегу Сороти и почувствовал, что кто-то коснулся его кудрей. Перед ним стояла обнаженная женщина. От зелёных её волос исходило сияние.

По его спине пробежал озноб сырой прохлады..»

(И всё-таки не так всё просто. Остаётся какая-то тайна)

А.О. СМИРНОВА-РОССЕТ. МИСИФИКАЦИЯ?

Судьба у этой книги необычная. Впервые изданная сто лет назад, она вызвала большой интерес у читателей, затем начались вокруг нее споры, а в советское время книга фактически оказалась под запретом.

В «Краткой литературной энциклопедии» (т.4, с. 867) в статье «Мистификации литературные» сказано: «Часто Мл. предпринимались в жанре мемуаров («Письма и записки Оммер де-Гелль» сфабрикованные П.П. Вяземским; записки А.О.Смирновой-Россет, фальсифицированные ее дочерью)...»

Правомерен вопрос: почему сочинение Вяземского (явная мистификация!) издается и переиздается, а публикация дочери А.О.Смирновой-Россет продолжает оставаться «за кадром»?

Второй вопрос. В том же 4 томе «КЛЭ» (с.761) читаем: «...исследователи установили, что подлинным автором «записок» была не А.О.Смирнова, а ее дочь О.Н.Смирнова.»

Подлинным автором? Возможно ли полностью «от себя» сочинить воспоминания о Пушкине и Гоголе, сочинить их мысли, высказывания, мнения, чтобы они были на соответствующем уровне?

В чем же причина «дискриминации»?

Ключ к разгадке находим в 8 томе «КЛЭ» (с.978), где узнаем: «... упомянутые записки «составленные» дочерью А.О.Смирновой, еще и «крайне тенденциозны». В чем тенденциозны, да вдобавок «крайне» – это уже третий вопрос.

Л.В.Крестовой в 1929 году излагает свою точку зрения сдержанно, обстоятельно и в определенной мере объективно. Она находит ряд несомненных источников публикации О.Н.Смирновой: «...тщательно собирала Ольга Николаевна все печатные и устные сведения касавшиеся ее матери», «второй ряд источников – собственные записки Ольги Николаевны Смирновой: ее дневники, заметки о слышанном».

Действительно, в одном из писем А.О.Смирнова писала: «Моя дочь записывает все, что слышит и что я ей говорю, когда у меня были визиты, а ее не было. И я кое-что записываю. Она ужасно интересуется всем этим. Я поддерживаю в ней этот интерес».

Ясно, что публикация О.Н.Смирновой – не выдумка. Даже если она составила текст от имени матери, то – во многом со слов матери, записываемых в течение всей их совместной жизни. А это нельзя сбрасывать со счетов.

Завершая свою статью, Крестова пишет, что «Записки» имели «большой успех, возбуждая интерес в самых разнообразных читательских кругах к творчеству Пушкина».

И вдруг (!) – совершенно инородная вставка, резко контрастирующая с академическим стилем Крестовой:

«Историкам литературы вообще, а пушкинистам в частности необходимо поэтому навсегда и решительно отказаться от какого бы то ни было пользования этим фальсифицированным документом, не подвергая его более никаким экспертизам».

Чужой почерк, директивный!

На первый план выходят идеологические требования определенного времени, властно подминающие под себя научные исследования:

«Своеобразны политические воззрения Смирновой. Основа их – принцип воинствующего аристократизма. В противовес революционным организациям Ольга Николаевна

пытается организовать свою, монархическую». О.Н.Смирнова была религиозна, консервативна».

И, наконец, сакраментальный вопрос, похожий на следовательский:

«Каковы же были мотивы... по которым О.Н.Смирнова решилась на совершенный ею подлог?» (Подлог? Это тоже из другого словаря!)

«...Преследуя задачи общественного порядка, О.Н.Смирнова намеренно хотела подчеркнуть в «Записках» очевидные для нее, как монархистки, культурные связи верховной власти с нашими гениальными писателями, Пушкиным и Гоголем... О.Н.Смирнова заставила Пушкина выступить в защиту чистого искусства... отчетливо проступают... в работе Ольги Николаевны элементы ее классовой психологии...»

Значит, коли Смирнова консервативна, религиозна да еще убежденная монархистка, то какую правду о Пушкине может она сообщить (даже со слов матери)? Но Пушкин с годами прошел свой выстраданный путь как раз в сторону консерватизма, религиозности и русской государственности (нравится ли это кому-нибудь или нет)...

Второй момент касается самой Л.В.Крестовой, опубликовавшей в 1931 году в противовес «Запискам...» сохранившиеся подлинные тексты А.О.Смирновой. Вот как их оценила С.В.Житомирская:

Издание Л.В.Крестовой «является не воспроизведением в печати реального текста мемуаров Смирновой, а произвольным объединением отрывков и даже отдельных фраз, написанных мемуаристкой...» И далее: «Л.В.Крестова вынуждена была подчиниться диктату общественных условий, в которых осуществлялось издание. Из него последовательно устранялись, например, все рассказы Смирновой о царской семье и лично Николае I, носящие характер панегирика, опускались доброжелательные характеристики реакционных деятелей той эпохи. Таким образом, изданный текст создавал ложное представление о мировоззрении мемуаристки и о действительном характере ее воспоминаний».

Увы. Крестова обвиняет Ольгу Николаевну в «составлении» и даже «подлоге», а в свою очередь поступает с текстами её матери примерно так же...

С.В.Житомирская подводит итог:

«Таким образом до настоящего издания не было адекватного воспроизведения текста подлинных автобиографических записок Смирновой. Подобная свобода в обращении с важным историко-литературным источником надолго лишила науку возможности не только опираться в исследованиях на истинный его текст, но и до конца решить вопрос о значении «Записок А.О.Смирновой», изданных ее дочерью».

Вывод простой: снять запрет, книгу воспоминаний о Пушкине и Гоголе надо вернуть к жизни.

(«Записки А.О.Смирновой» с этим вступлением были выпущены издательством «Московский рабочий» совместно с НИИ Интелвак в 1999 году).

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ:

«Загореться посмертно, как слово...»

Человек он был замечательный...

Кто не знал лично Арсения Александровича Тарковского, тот, судя по наиболее характерным его стихам, мог представить себе поэта человеком сугубой серьезности, значительным в каждом жесте, слове, недоступным и строгим жрецом искусства.

Действительно, тон поэзии Тарковского драматически напряжен, приподнят, порою даже возвышен и торжествен, строка звенит тетивой натянутого лука. «Прекрасное должно быть величаво». Да, таким Арсений Тарковский вступал в пределы поэзии, входил, как в храм, но это в тиши одиночества, без соглядатаев, перед Вечностью и чистым листом белой бумаги. Он остро чувствовал чудо жизни и ее трагизм, постигал ее тайны с трезвой проницательностью ученого и вдохновенным прозрением художника.

А в жизни он был прост, естествен, даже застенчив. И абсолютно чужд того эгоцентризма, которым бывают поражены

служители муз. Никакой величавости, никакой дистанции. Он любил юмор, в кругу друзей мог позволить себе шалость, умел хохотать, как ребенок. Он был так заразительно жизнерадостен, что рядом с ним вы ощущали крылья за спиной, о которых не подозревали. В жизни он был – как Моцарт, в поэзии – как Бах.

Кстати, он преданно и сильно любил музыку, был тонким и глубоким ее ценителем, его фонотека могла соперничать с его незаурядной библиотекой.

Арсений Тарковский, страстный книголюб, сам представлял перед собеседниками живой энциклопедией, чувствовал себя как дома в просторах мировой культуры. Предупредительный, отзывчивый, не ведающий, что такое тщеславие и зависть, он был благороден, обаятелен – сама доброта. Но не в ущерб правдивости. Он судил об искусстве «по гамбургскому счету», был нетерпим к несовершенным, неистинным произведениям. Правда, он старался (и умел) найти в таких случаях необходимую форму для своего приговора. А если перед ним оказывался слишком ранимый автор, то мог и вовсе промолчать, перевести разговор на Пушкина, Тютчева или предложить послушать новую пластинку.

Истинный интеллигент большая редкость в наши дни. В чертах его лица удивительнейшим образом сочетались мужественность и мягкость, мудрость и детскость. Он был красив.

Жизнь Арсения Тарковского охватила чуть ли не весь двадцатый век. Поэт родился в начале столетия, в 1907 году, умер в 1989-м. Родился в отсветах первой русской революции, умер в разгар перестройки, при последнем, будем надеяться, революционном повороте страны... Детство прошло в Елисаветграде (ныне Кировоград), где он еще подростком увидел, благодаря отцу, приехавших на выступления известных поэтов Федора Сологуба, Константина Бальмонта, Игоря Северянина. Учился в гимназии, в музыкальной школе, в семнадцать лет приехал в Москву, попал в своеобразную искрометную среду молодой литературы в редакции газеты «Гудок», которой повезло на таланты русского Юго-Запада. Там начинали Булгаков и Олеша, Катаев, Ильф и Петров. В 1928 году Арсений Тарковский

опубликовал первые стихи в периодической печати... Если сразу заглянем в конец его творческой биографии, то он, как говорится, делу венец: лет через шестьдесят вышла книга «От юности до старости», за которую поэту была присуждена Государственная премия СССР.

Арсений Тарковский дожил до глубокой старости, его творчество при жизни получило читательское, литературно-критическое и общественное признание: крупный русский поэт, первоклассный художник, мэтр, мастер стиха.

Счастливая судьба? Пожалуй. Однако с весьма существенным уточнением: судьба оказалась милостивой к поэту лишь на склоне лет.

*Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.*
(«Вот и лето прошло...»)

Признание отнюдь не спешило, прямо скажем – сильно приподнилось. А Государственная премия оказалась посмертной – поэт не дожил до нее нескольких месяцев...

Свое пятидесятилетие Арсений Тарковский отмечал, не имея ни одного сборника стихотворений. Да и публикаций почти не было. Только переводы, переводы... Тарковского ценили как одного из лучших современных переводчиков, но мало кто знал, что он – поэт. Лишь в 1962 году вышла его книжка, невесело названная «Перед снегом». Горечью пронизаны строки из стихотворения «Поздняя зрелость»: «Дай мне еще наклониться с вершины, дай удержаться до первого снега...»

По чистой случайности доля поэта не стала трагической. Безвестным стихотворцем он мог быть убитым на войне, после ранения в 1943 году лишился ноги.

*Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась...*
(«Полевой госпиталь»)

Инвалидом его нельзя было назвать, он игнорировал увещье, ничьей поддержки не просил, сам всегда бросался на помощь.

Он мог погибнуть после войны при очередной волне репрессий, но в 1946 году была уничтожена лишь первая книжка его стихотворений. Поэт держал в руках верстку, книгу почти успели отпечатать, и вдруг... Жданов разгромил Зощенко и Ахматову, и книжку Тарковского как безыдейную отравили под нож. Тяжелая травма для поэта, к сорока годам решившего наконец предстать перед читателями. Настолько тяжелая, что он долгие годы и слышать не хотел о возможности публиковать свои стихотворения. Он замкнулся, продолжая много и блистательно переводить восточных и европейских поэтов.

*Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
(«Переводчик»)*

Десятилетиями в современной литературе он был и его не было. Поздний его дебют состоялся почти одновременно с режиссерским дебютом его сына, Андрея, выпустившего фильм «Иваново детство»... Каково же было потом отцу пережить гонения на сына, его смерть на чужбине! Как тут не вспомнить пророческие строки отца, прозвучавшие в знаменитом фильме Андрея Тарковского «Зеркало» – строки из стихотворения «Первые свидания», благодарного гимна счастьем, не ведавшего, что «судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке».

После революции мир русской поэзии пережил трагические утраты: расстрел Гумилева, Б. Корнилова, П. Васильева, Клюева, самоубийства Есенина, Маяковского, Цветаевой, гибель Мандельштама, гонения на Ахматову и Пастернака, изгнание Бродского. Судьба Арсения Тарковского на таком фоне кажется благополучной. Сравнительно благополучной.

Но разве от сравнений легче? «Трещина мира» прошла и через его сердце. Поэта тридцать пять лет держали в неизвестности. Да и потом вряд ли можно сказать, что признание Тарковского стало бесспорным.

В 1981 году Вадим Кожин сразу в двух изданиях (в альманахах «Поэзия» и «День поэзии») тщился отлучить Арсения Тарковского от пушкинской традиции, утверждая, что он – продукт некоего «лефоакмеизма», от которого так и не избавился, – дескать, перед нами поэт вторичный, более чем вторичный, ибо перенял стиль сразу у пятнадцати забытых поэтов двадцатых годов, таких как Ланн, Леонидов, Манухина, Моница, Укше и другие, чьи стихи «чрезвычайно близки по всем своим стилистым качествам к стихам Арсения Тарковского».

Забавно. Стиль одного поэта оказывается одновременно «чрезвычайно близким» к стилю пятнадцати других. Еще забавней предположение, что значительный поэт может быть порожден целым рядом не очень значительных или вовсе незначительных стихотворцев. Но дело не в «доводах» критика, а в том, что и в восьмидесятые годы предпринимались попытки умалить творчество Арсения Тарковского, «потревожившего» литературный процесс, который десятилетиями протекал «без него». Кстати, В. Кожин верно подмечает одну особенность Тарковского, но толкует ее превратно – как статичность:

«Необходимо обратить внимание на тот факт, что, скажем, стих Заболоцкого и Пастернака пережил в 30—40-х годах громадные коренные изменения (обусловленные в конечном счете развитием самого отечественного бытия и сознания); мы без всякого труда отличим стихотворения этих поэтов, созданные в 1920-х годах и, с другой стороны, в 1950-х годах. Между тем стихи Тарковского любого периода (от 20-х до 70-х годов) более или менее однородны».

Похоже на упрек, на обвинение. Но почему? Фету и Тютчеву можно, а Тарковскому нельзя? Потому ли, что при Тютчеве и Фете в России не было революционных потрясений? Но при Бунине были. И к ломке его стиля ведь не привели. В

этом смысле «консервативны» были и Ходасевич и Ахматова. А может быть, имелось в виду, что Заболоцкий и Пастернак преодолели свои ранние ошибочные установки, а Тарковский продолжал... Недаром же упоминается о развитии «отечественного бытия и сознания» (развитие через соцреализм?). Но ни «Столбцы» Заболоцкого, ни книгу «Сестра моя – жизнь» Пастернака к творческим заблуждениям никак не отнесешь. А Тарковский с самого начала не отталкивался от традиции. Чем и отличался от Заболоцкого и Пастернака. К тому же Тарковский в молодых поэтах и не ходил. Когда лет в двадцать он почувствовал себя поэтом, уже он был не ко двору. В литературе утверждались сталинские идеологические стереотипы, требовалось обслуживать злобу дня – для тиражирования самым желанным был, пожалуй, Демьян Бедный, провозгласивший в начале 30-х годов:

*Так жаждешь в винтик претвориться,
Ремнем по валикам ходить,
В рабочей массе раствориться...*

Тарковский не был и не мог быть «винтиком». Зато глубоко понимал диалектику преемственности в поэзии, в традиции видел залог слияния прежнего и нынешнего, вечного и современного, его не интересовали формальные споры о новаторстве, когда элементы поэтики рассматриваются порознь. Целостность при этом ускользает, ибо живое не имеет частей. Иначе легко попасться на крючок поверхностных наблюдений. Возьмем, например, такие строки Тарковского:

*Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.
...Потому что сосудом скудельным я был
И не знаю, зачем сам себя я разбил.
(«Я прощаюсь...»)*

Куда уж традиционнее! Верно, так писали и в начале прошлого века, когда не стеснялись отглагольных рифм... А вот строки из его же стихотворения «Охота»:

*Охота кончается.
Меня затравили.
Борзая висит у меня на бедре. ,
Закинул я голову так,
что рога уперлись в лопатки.
Трублю.
Подрезают мне сухожилия.
В ухо тычут ружейным стволом...*

Теперь зачислять, что ли, Тарковского в верлибристы, чуть ли не модернисты? Но в контексте всего творчества это мнимое формальное противоречие даже не возникает.

Творчество, как город, растет в целом, хотя каждое здание строится отдельно. А целое уравнивает преемственность с современностью. Можно сказать, что Маяковский стремился возвести новый город на новом месте, призывая даже перенести туда «столицу» поэзии. Тарковский же работал в унаследованной от предков «столице», гармонично вписывая в ее орбиту свой город-спутник. Тарковский почти незаметно поднимался к вершинам поэтического мастерства, совершал свое восхождение без резких поворотов, отвлечений и увлечений. Может быть, это объясняется тем, что к концу 20-х годов, когда закладывались творческие убеждения молодого Тарковского, уже выдыхались всевозможные поэтические школы, модные завихрения вроде имажинизма, конструктивизма вплоть до ничевоков. С другой стороны – набирали силу примитивные пролеткультовские установки, сводящие поэзию к обслуживанию «классовых интересов». Неудивительно, что Тарковский нашел и эстетическую и нравственную опору в русской классике. Да, ямб и хорей, строгая строфика и точная рифма (Тарковский чрезвычайно взыскательно и щепетильно относился к рифме).

Я не хочу сказать, что Тарковский был одиноким «хранителем огня», верным истинному призванию поэзии. Близкие ему по духу поэты жили и рядом, в Москве и Ленинграде, и далеко – к русскому зарубежью. Но они были изданы или издавались. Тарковский же остался на долгие десятилетия вне

литературного процесса, хотя писать продолжал. Творчество неостановимо. Писал как бы для себя, стараясь не реагировать на теоретические и политические сражения в литературе, охраняя свою «самость» от всего чуждого, преходящего. Он верил Пушкину, пусть его слова и казались в ту пору неуместными: «чувства добрые», «милость к падшим»... Иное ведь гремело на «поверхности» времени: «стих – это бомба и знамя», «к штыку приравняли перо», «наши перья – штык да зубья вил» и даже – «хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год»...

Маяковский по собственной воле посвятил себя Революции, но вскоре его не стало, как не стало и самой Революции: Сталин наступил ей «на горло», строя державу. Тарковский, будучи на поколение моложе, иначе вступал в мир Его таланту пришлось прибегнуть к самозащите. Не отсюда ли и самосохранение стиля? Нельзя сказать, что поэт гордился своим неучастием, полупротестом против конъюнктуры. Скорей он испытывал и горечь, и чувство вины. И все-таки правоты.

*И еще я скажу: собеседник мой трав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел.
(«Я учился траве...»)*

«Незлободневность» Тарковского отразилась и в том, что его стихи, за редким исключением, не зависят от даты написания. Как не нуждались в датах Тютчев и Фет, чье творчество тоже не оглядывалось на часы или на календарь.

Нет смысла взвешивать – лучше ли, хуже. Что хорошо для Некрасова, то не годится для Фета. И наоборот. Кстати, Некрасов – один из любимых у Тарковского. Поэтами его детства были Лермонтов и Некрасов, потом «пришли» Пушкин, Баратынский, Тютчев, Фет и поэты XX века...

Тарковский неоднократно подчеркивал, что поэзия есть искусство чувства, поверенного разумом, искусство мысли, поверенной чувством:

*Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума...*

Если на весах «разум-чувство» одно плечо перевешивает другое – дисгармония пересиливает в стихотворении все, что в него вложено, – говорил поэт. И не соглашался с теми – особенно западными – поэтами, которые отстаивали свое право на эту самую дисгармоничность: дескать, мир раздираем противоречиями, он весь перекошен, абсурден, а сегодняшней поэт – дитя сегодняшнего мира...

Вот тут-то и должен поэт оказать сопротивление. Мало ведь просто «отражать». Поэт, по убеждению Тарковского, живет «ради чего-то». А для того, чтобы просто выражать хаос, стоит ли жить?

Наш век действительно требует от поэта больших усилий миропонимания, чем прежде. Никогда человечество в целом не достигало такой критической точки, как теперь. Что может поэт? Пусть он может не много, – в наши дни к таланту художника, к чуткости его сердца требуется прибавить еще проникновение в глубины истории, науки, философии. Тарковскому было дано органично сочетать в своем творчестве универсальное сознание: первозданно поэтическое и научно-космическое (последнее, безусловно, связано с своеобразным хобби поэта – он всю жизнь увлекался астрономией, нацеливал в небо маленький домашний телескоп).

*Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост –
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.*

Точность метафоры вполне научная, хоть цитирую в учебниках. Но поэт потому и поэт, что этим не ограничивается – следует прорыв в иное измерение, подвластное только художнику:

*Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И – боже мой! – какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток...
(«Посредине мира»)*

Какой мудрец переспорит этого мотылька? И что стоит любая формула без этого мотылька?

В основательной статье «Арсений Тарковский: путь и мир» (1982) Сергей Чупринин писал:

«Отношения, складывающиеся между поэтом и миром в лирике Арсения Тарковского, справедливо было бы – помня всю условность метафоры – назвать «средневековыми». Таковы отношения сюзерена и вассала, владыки и прихожанина, Прекрасной Дамы рыцарских легенд и странствующего менестреля. Ни о какой взаимности, ни о каком равноправии и речи быть не может: слишком велика иерархическая дистанция, разделяющая мир и человека, слишком несоизмеримы их уделы».

Думаю, что вышеприведенные строки Тарковского («Я человек, я посредине мира...») говорят совсем не о «дистанции», а о таинственной связи, вовсе не чуждой мироощущению средневековья, ищущего мифологическую, религиозную или мистическую «модель» единства человека и Вселенной. По Тарковскому, человек центроположен, он «центральная фигура пространства и времени», вот почему поэт считает «несправедливым взгляд на человека как на ничтожную песчинку в мироздании».

Время, выпавшее на долю Тарковского, одно из самых сложных и спорных. На его глазах не раз сменялась поэтическая «иерархия», вспыхивали и гасли истинные и дутые литературные репутации. Со временем многое поблекло в книгах Асеева, Кирсанова, Суркова, Смелякова, Щипачева, Сельвинского, не говоря уже о сотнях заслуженно забытых стихотворцев. А «настал черед» (по словам Цветаевой) тех, в чьем творчестве не прерывалась связь времен, для тех, кто в разно-

голосице сегодняшнего слышал и горный глас, кто страхами и соблазнами внешнего мира не заглушил в себе пророческого дара, совестной исповеди.

*Слово только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.
(«Слово»)*

«Поэзия порой не только предвосхищает судьбу, – говорит Тарковский, – но и воздействует на нее... Сила поэтического слова содержалась уже в народных заговорах, нашептываниях. В поэзии присутствует нечто магическое – не на шарлатанском, а на самом высоком уровне, когда создается мощная поэтическая реальность, как великий эпос...»

Его поэзия именно такова: строга, высока и серьезна. Он настаивал: нельзя о серьезных предметах говорить с ухмылкой: «У наших великих лириков – Баратынского, Тютчева, Фета – веселая вольность не проникает в замкнутую сферу серьезной поэзии», это тоже в традиции русской литературы, ее «неулыбчивого правдоискательства, смятения духа, чувства вины наследственной культуры перед народом. Поэты шутили, посмеивались, но их иронические произведения никогда не «наплывали» на серьезное, не смешивались с ним». Действительно, у Тарковского ироническая поэма «Чудо со щеглом» существует как бы поодаль от основного корпуса его стихотворений.

Одна из самобытных форм лирики Тарковского – поэтический портрет. Стихи о Ван Гоге, Пауле Клее, Анджело Секки, Манделштаме, об юродивом – все это образцы проникновения эпических мотивов в лирику. Замысел реализуется на ассоциациях подобия и различия (в зависимости от отношения автора к тому или иному герою стихотворения). Элемент прозы в этом жанре преодолевается энергией выразительности, откровенной субъективностью: сердечным восторгом – когда речь идет о Ван Гоге, либо сарказмом – когда речь идет о кулинарной «богине» Елене Молоховец.

Умение вжиться в иной образ связано, думаю, и с талантом перевоплощения в мир других поэтов – неперенное условие состоятельности художественного перевода. Тарковский порой выбирал для переложения на русский язык поэтов далёких культур, отдаленных эпох. Выбирал как будто непохожее на себя, а в результате находил родное. Так было с Махтумкули – великим туркменским поэтом XVIII века. Немало душевных совпадений обнаружилось и с арабским поэтом XI века Абу-ль-Аля аль-Маарри. Переключка внутреннего родства не могла не возникнуть там, где осуществлялось единое и вечное гуманистическое призвание поэзии (все настоящие большие поэты – родственники по духу, будь то грек Гомер, римлянин Овидий, немец Гете или русский Пушкин).

Эстафета культуры – что может быть естественней? Однако приходилось слышать, что Тарковский – поэт книжный, слишком, так сказать, культурный. Избыток культуры, дескать, сковывает непосредственное новое слово. Что ж, бывает пора бунта против изысканности и изощренности искусства, возникает реакция – диковатая, в чем-то варварская, антикультурная, вроде футуризма, которая однако рождает таких подлинных новаторов, как Хлебников и Маяковский...

Нет в искусстве единого закона для всех. Каждый в творчестве отстаивает свою правду. Тарковский был свидетелем смены множества «измов» в поэзии, но всегда оставался верным своим ориентирам, своему компасу. Самостоятельному таланту культура не грозит вторичностью, как не грозит вторичностью и обращение поэзии к самой себе, что характерно для Тарковского. У него нет никаких сомнений в правомерности и плодотворности такого обращения: «Разве кто-нибудь запрещает врачам размышлять о медицине, о биологии, музыкантам – о музыке?.. Потом, в стихах о стихах часто речь идёт и о других предметах, вызывающих стихи к жизни, о психологии творчества... Для Пушкина эта тема была так же важна, как тема любви, бытия, смерти». Поэзия для Тарковского немыслима без гармонии. Ее глубинное освоение обусловлено и его неизменной любовью к музыке. Он называл музыку самым загадочным из искусств и наиболее

«математическим» при этом. Непосредственность музыки включает в себя композиторский расчет. Как и в балете:

*И пробует волю твою на зубок
Холодный расчет балерины.
(«Балет»)*

Музыкальность стиха достигается не усилением внешней звучности, красоты, а устремлением к сущностной «гармонии сфер», в которую вслушивался Коперник.

Истинный поэт всегда и родной и чужой своему времени. Потому что он принадлежит не только ему. Не отсюда ли возникает порой некое экзотическое самоощущение, вроде «африканства» у Пушкина, «шотландства» у Лермонтова? Не отсюда ли и странный «автопортрет» раннего Маяковского – «Вот иду я, заморский страус» из стихотворения «России»:

*Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декаблей.*

Острое чувство своей необычности и не менее острое желание быть принятым и понятым. Это чувство не было мимолетным. Лет через десять он напишет: «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят – что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Страус есть и у Тарковского: «Показывали страуса в Пассаже...»

Но здесь другое. Ни вызова, ни боли. Одно лишь отчужденное терпение. В отличие от Маяковского, который оказался сразу на виду у времени, Тарковский долго пребывал в тени. Между ним, художником (каким он уродился), и современностью (как ее понимали) вставала незримая стена. Страус «научился небытию», «и если б даже захотел, не мог из этого оцепененья выйти». Но и у Тарковского эта тема имеет продолжение. Через некоторое время в его поэзии появляется «Кактус» – «терпеливый приемыш чужбины»:

*Жажда жизни кору пробивала, –
Он живет во всю ширь своих плеч*

*Той же силой, что нам даровала
И в могилах звучащую речь.*

Итак, отчуждение прорвано. Наконец, стихотворение «Верблюд» – главное в нем уже не экзотика, не терпение, а благодарное постижение смысла в существовании на этой земле:

*Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.*

Постоянство мотивов, тем, стилевых пристрастий у Тарковского совсем не исключает движения, разрастания корневой системы и кроны. Каким упорством и внутренней силой надо было обладать, чтобы неуклонно вести свою «линию», когда, казалось, она совершенно бесперспективна, – все места, все ниши и современной поэзии заняты, распределены сверху по другим критериям. Но Тарковский знал, что он – призван. Без такой уверенности, такого «самозванства» нет и не может быть творчества. Будущий поэт вдруг в какой-то счастливый миг своей молодости осознает себя законным наследником отечественной культуры, принимает как должное ее эстафету. Никто не назначает художнику меру его долга, никто не может освободить от него. О рождении царевича трезвонят по градам и весям, о появлении поэта никто не оповестит, пока он сам себя не назовет, всей жизнью потом оплачивая свою заявку, свое «самозванство»:

*Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Когда меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.
(«К стихам»)*

Поэт в безвестности еще «без роду и без племени», но он-то уже не сомневается в том, что унаследовал:

*Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее...
(«Словарь»)*

Судьба Тарковского заставляет размышлять о перипетиях современной ему поэзии. Не было недостатка в энтузиастах революционной ломки. Но, как правило, именно поэты, мнящие себя передовыми, оказывались глухими к противоречиям времени, к его нарастающему трагизму. А те, которые «отстали» от времени, по каким-то парадоксальным законам оказались впереди. Да и вообще – «лицом к лицу лица не увидеть» – духовная дистанция позволяет охватить перспективу. Я уже упоминал о совестной, покаянной ноте у Тарковского: «В четверть шума я слышал, вполсвета я видел». В другом месте этот мотив звучит еще резче: «Я полужил и полу – казалось – жил, и сам себя прошляпил», – однако это не стоит понимать буквально. Время не давало видеть, время оглушало: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны», – написал в 1933 году Мандельштам... Трагическая боль времени явственно прорывается в лирике Тарковского, переключаясь с «Реквиемом» Ахматовой. Сошлюсь хотя бы на два его стихотворения:

*Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла, –
(«Тот жил. и умер...»)*

строки, словно продолжающиеся в стихотворении «Зимой»:

*...Бредем, теряя кромку круга
И спотыкаясь о гроба.
Не видно месяца над нами,
В сугробах вязнут костыли,
И души белыми глазами
Глядят вослед поверх земли.*

А дальше возникает знакомый нам образ: «...проходили мы с тобой под этой каменной стеной... и так же глухо, вполголоса и к четверть слуха, гудело эхо за спиной». Это глухое эхо прямо относится к определенному времени. Как оно поразному воспринималось! «С каждым днем все радостнее жить» по Лебедеву-Кумачу, и «чуя грядущие казни», «с миром державным я был лишь ребячески связан» – по Мандельштаму. Родина всемирной Революции неуклонно превращалась в империю, осчастливленную любимейшим из тиранов. В ту пору у Тарковского вырвалось редкое для него стихотворение, полное отвращения и гнева:

*Это не мы, это они – ассирийцы,
Жезл государственный бравшие крепко в клешни,
Глинобородые боги – народодубийцы,
В твердых одеждах цари, – это они!*

И далее:

*Я проклиная подошвы царских сандалий...
Я клинописной хвалы не пишу все равно.
Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо,
Если мне царские крылья разбить не дано.
(«В музее»)*

Вот она – та вспышка некрасовской гражданской боли, которая обожгла Тарковского, как и других поэтов, поначалу принципиально «далеких от политики», – Пастернака, Ахматову, Мандельштама.

Есть у Тарковского и стихотворение, на которое лег неожиданный двойной трагический отблеск:

*Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.*

Молодому Арсению Тарковскому была дарована последняя сердечная привязанность Марины Цветаевой, и вышло так, что ее последний поэтический отклик (в 1941 году, за

несколько месяцев до гибели) был как раз на это стихотворение. Ответ Марины Цветаевой был обнаружен и опубликован всего несколько лет назад. Наверное, Тарковский прочитал ей свое стихотворение вслух, потому что Марина Ивановна запомнила первую строку не в хорее, а в ямбе и в таком виде вынесла в эпиграф к своему стихотворению, горькому, исполненному укоризны, пусть субъективной и не вполне справедливой, но разве в этом дело? Душа кровоточила, подступало отчаяние одиночества после ареста мужа и дочери... На этом ответе Арсению Тарковскому оборвалось поэтическое творчество Марины Цветаевой:

*Все повторяю первый стих
И все переправляю слово:
«Я стол накрыл на шестерых...»
Ты одного забыл – седьмого.*

И с характерной для нее страстностью повторяет: «Как мог ты за таким столом седьмого позабыть – седьмую?», «Как мог, как смел ты не понять... есть семеро – раз я на свете?!».

*За непоставленный прибор
Сажусь незванная, седьмая.
Раз! – опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, –
Вся соль из глаз, вся кровь из ран –
Со скатерти – на половицы.*

И в этом же стихотворении – такие раздирающие сердце строки: «Чем пугалом среди живых – быть призраком хочу – с твоими».

Множество живых теней обступало Тарковского на склонах лет. Он был с нами, современниками, и был с ними – с ушедшими навек Пастернаком, Цветаевой, Ахматовой. В его присутствии – еще совсем недавнем! – «был ошутим физически» единый высокий свод русской литературы. Ведь Арсений Тарковский родился при Льве Толстом, а Лев Толстой – при Пушкине. Всего две жизни – от Пушкина до нас...

К пушкинскому завету, выраженному в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» вновь и вновь обращаются поэты следующих поколений. Маяковский вел спор-диалог с Пушкиным всю жизнь. Тема памятника себе в «Юбилейном» звучит в сугубо отрицательном смысле: Маяковский взорвал бы его динамитом. Зато во вступлении к поэме «Во весь голос» он, повторив, что ему «наплевать на бронзы многопудье», признает некий общий памятник – «построенный в боях социализм», то есть ставит общественный уклад выше всего. Но: «Умри, мой стих, умри, как рядовой...» – горькая антитеза пушкинскому: «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет...»

Ситуация более чем драматическая. Другого рода драма сказалась в «Памятнике» Ходасевича, оказавшегося в Париже, «по ту сторону баррикад»:

*В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...*

Чего тут больше – веры в возвращение к русскому читателю или боли за искаленную судьбу?

Арсений Тарковский не был ни певцом революции, ни ее изгоем. Он за свою долгую жизнь разделил все беды и радости со мвоей страной, почти четыре десятилетия не подозревавшей, что он у нее есть. Теперь он – уже навсегда. Пусть талант от Бога, остальное – от родной культуры, от данного нам бытия.

*Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово...*
(«Малютка-жизнь»)

Как просто и глубоко! И как бесстрашно сказано о боязни – той, что удесятерит качество жизни, претворяет ее в

творчество и свет. Тарковский любил жизнь, болел ею, знал ее прелесть и горечь, любил ее, как ребенок и как мудрец.

*Свою судьбу к седлу я приторочил;
Я и сейчас, в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стремях.
(«Жизнь, жизнь»)*

Теперь особым смыслом наполнился его сонет «Стелил я снежную постель...», который тоже можно было бы назвать «Памятником». В нем нет ни классического величия, ни революционной жертвенности, ни мук изгнанника. У Тарковского это дума не о себе, а о России. И только с ней – о себе.

*...Я памятник тебе поставил
На самой слезной из земель.
Под небом северным стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотой горной
И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоём грядущем, как в раю.*

ДВЕ МАРИНЫ?

Не судите, да не судимы будете...

Поражен историей Марины Цветаевой с «большевиком» Борисом Бессарабовым. Парню было лет 18, ей лет на десять больше. Он прожил долгую жизнь, умер в 1970-ом. Я не знаю, что, как и кому рассказывал он о Цветаевой. Но это не так уж важно.

Важно, что нежно и страстно писала о нем Марина Ивановна, все это есть в «Записных книжках». Но потом, потом!.. Достаточно столкнуть два документа.

Но сначала – слово Ариадне Сергеевне, дочери Марины Цветаевой, в её воспоминания эта встреча выглядит так: Борис –

«... герой поэмы сам постучался в двери поэта. В комнату вошел молоденький красноармеец, по-крестьянски румяный и синеглазый... Мы пили желудёвый кофе с солдатскими сухарями, слушали рассказы о мальчишеских и героических его днях – среди революции и гражданской войны, о беспримерных бедах и победах... Юноша, он любил эту землю... Говоря о земле, он помогал словам ладонями, лепил фразы, как пекарь – хлебы, и обещал этот хлеб нам, всем, сей России, всей земле. Цветаева слушала, задумываясь, любуясь рассказчиком и его грядущими хлебами...»

Теперь обратимся к документам Марины Ивановны.

1.

Из записной книжки, февраль 1921 года:

«Мне хорошо с Борисом. Он ласков, как старший и как младший. – И мне с ним ДОСТОЙНО... Аля его обожает...»

Из письма к Борису в день его отъезда.

«Борюшка! – Сыночек мой!

Вы вернётесь! – Вы вернётесь, потому что я не хочу без Вас...

... Борис – Русский богатырь! – Да будет над Вами мое извечное московское благословение. Вы первый богатырь в моем странноприимном дому.

– Люблю Вас. –

Тридцать встреч – почти что тридцать ночей! Никогда не забуду их: вечеров, ночей, утр, – сонной яви и бессонных снов – всё сон! – мы с Вами встретились не 1-ого русского января 1921 г., а просто в 1-ый день Руси, когда все были как Вы и как я!

Борис, мы – порода, мы – неистребимы, есть еще такие: где-нибудь в сибирской тайге второй Борис, где-нибудь у Каспия широкого – вторая Марина.

И все иксы-игреки, Ицки и Лейбы – в пейсах или в островерхих шапках со звездами – не осият нас, Русь: Бориса – Марину.

Моё солнышко!

Целую Вашу руку, такую же как мою.

Спасибо Вам, сыночек, за – когда-то – кусок мыла, за – когда-то – кусок хлеба, за – всегда! – любовь!... и за тетрадки, и за то, как сшивали, и за то, как переписывали Царь Девуцу, – и за то, как будили и не будили меня!

Я затоплена и растоплена Вашей лаской!

Вы – как молотом – выбили из моего железного сердца – искры!

До свидания, крещеный волчек! Мой широкий православный крест над Вами и мое чернокнижное колдовство.

Помните меня! Когда тронется поезд – я буду улыбаться – знаю себя! И Вы будете улыбаться – знаю Вас! – И вот: улыбка в улыбку – в последний раз – губы в губы!

И, соединяя все слова в одно: – Борис, спасибо!

Марина.»

2.

«Сводные тетради», выписка из письма Сергею Михайловичу Волконскому:

«Сижу и внимательно слушаю свою боль... я невинно решила, что Вас жду.

Но слушаю не только боль, еще молодого красноармейца (коммуниста), с которым дружила до Вашей книги, в котором видела и Советскую Россию и Святую Русь, а теперь вижу, что это просто зазнавшийся дворник, а прогнать не могу. Слушаю дурацкий хамский смех и возгласы, вроде: – «Эх, чорт! Что-то башка не варит!» – и чувствую себя оскорбленной до заледенения, а ничего поделать не могу».

Запись 14 декабря 1921 года:

«Егорушку из-за встречи с С.М.В. не кончила – пошли Ученик и всё другое. Герой, с которого писала, верней дурак, с которого писала героя – омерзел».

(«Егорушка» – поэма, связанная с образом Бориса, С.М.В. – упомянутый Волконский).

Не стану комментировать. Скажу только, что это не аннигиляция: искренность Марины Цветаевой вне сомнений. Две Марины? Безоглядная воспламеняемость (первая) и беспощадный ум (другая). Признаюсь, всё это совершенно непостижимо для моей мужской сущности. Ни такой взлёт обожания, ни такая тотальность разочарования.

Или дело не столько в женщине, сколько в чрезмерности исключительной личности?

Далее Ариадна Сергеевна вспоминает:

«... командировка его была недолгой; поэт и герой поэмы вскоре расстались навсегда. Почти пять десятилетий спустя он разыскал меня – совсем седой и всё еще синеглазый человек, всю жизнь посвятивший земле, агрономом из «глубинки». Он не сказал мне: «Узнаёте?» – слишком много лет прошло для узнавания! – он спросил: «Помните?»

Помнили мы оба»,

Опубликованы эти строки в 1981 году, этим объясняется их «идейная» приглаженность и даже сентиментальный налёт. А ведь было о чём – трагическом! – поговорить с бывшим красноармейцем! Большевики погубили родителей Ариадны Сергеевны и ей самой сломала жизнь тюрьмой и ссылкой. И все-таки...

Кроме правды фактической, кроме правды житейской есть еще правда поэтическая. Вот она, – она осталась и останется в этих строках, навеянных Борисом Бессарабовым, из незавершенной поэмы «Егорушка»:

*Где меж парней нынешних
Столт-возьму-опорушку?
Эх, каб мне, Маринушке,
Да тебя – Егорушку!*

*За тобой без посвисту –
Вскачь – в снега сибирские!
И пошли бы по свету –
Партии богатырские!*

*Не видала б горюшка
Русь по день по нынешний –
Каб тебе, Егорушке,
Да меня, Маринушку!*

У АНАСТАСИИ ИВАНОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Однажды я и Натан Злотников зашли к Анастасии Ивановне Цветаевой за обещанной рукописью для журнала «Юность».

Комнатка – повернуться негде, но все пространство предельно использовано и житейски приспособлено: в нише за ширмой кровать и киот. Рояль, заваленный книгами и рукописями, там же телефон, к нему косо приставлен шкаф, за которым рабочий столик, а задник шкафа – выставка любимых фотографий. Еще книжный шкаф и круглый стол – «гостиная»...

Анастасия Ивановна, вручая нам рукопись рассказов, говорит: «Я работала до четырех часов утра, и ничего, голова не болит». И уходит на кухню готовить чай. Было ей в ту пору под девяносто. Вижу, у Натана глаза стали квадратными, он склонился к моему уху и прошептал: «Кирилл, я тебе как коммунист коммунисту скажу: Божья сила!».

Божья сила...

Она рассказывала как-то: осень сорок первого года ей пришлось встретить в лагере под Владивостоком. Однажды утром на переключке появился комендант лагеря и посчитал нужным выступить перед «строем» заключенных. Обращаясь к сотням изможденных женщин, ежащихся на холодном ветру, он выкрикнул:

«Бабоньки, там, на западе, идет война, гибнут миллионы, а вы у меня хранитесь, как в сберкассе!».

Заключенные или погибали скоро, или, выжив, действительно потом держались долго, вопреки всему.

Первая моя встреча с ней (благодаря Юрию Коваленко) была такая: мы условились, что я приду в семь вечера. Не ус-

пел я позвонить, как дверь распахнулась и щуплая седенькая старушка, чем-то встревоженная, мимо меня – не видя, позвала: «Андрюша!». Но в пролете лестницы никакого Андрюши не было. Видимо, успел уйти. Тогда она пожаловалась мне, словно мы были знакомы всю жизнь: «Будет дождь, а он забыл зонтик. Простудится!» «Кто?» – спросил я. «Сыночек. Андрюша». Мне почему-то представился подросток. А сыночку шел уже восьмой десяток...

Она пережила его. Он умер в феврале 1993 года. Она держалась мужественно, но недолго. Что-то в ней надломилось, то слабела, то, напротив, бунтовала, даже буйствовала, – мутилось сознание. Постепенно уходила и ушла навсегда в начале сентября, за три недели до своего 99-го дня рождения.

Помню, однажды в Переделкине она вышла на крыльцо Дома творчества погреться на солнышке вместе с подругой- ровесницей Евгенией Филипповной Куниной. Обе тепло закутанные, как два воробышка. Подходя, я услышал, как Анастасия Ивановна сказала:

– ...а иногда мне кажется, что – раз! – моргнуть не успею – и окажусь на той стороне .

И вот мы по-прежнему здесь, а она уже там, на той стороне.

Раз уж я упомянул о первой нашей встрече, то договорю. Вернулся я домой, полный впечатлений, лег спать и только заснул – вдруг звонок. Это Анастасия Ивановна, она буквально зывала о помощи. Муж ее внучки хочет покончить с собой, был какой-то в его доме кризис:

– Приезжайте скорей, помогите!

Я сорвался с места, кое-как оделся, поймал такси и вскоре оказался у нее. Слава Богу, беда миновала. Кто-то (из соседей, кажется) утихомирил отчаявшегося, к нему уже ехать не было надобности...

Этим эпизодом объясняется ее особенно трогательная и благодарная надпись на подаренном мне экземпляре журнала «Москва» №3 за 1981 год с ее воспоминаниями.

Так случилось, что наши жизни соприкоснулись, я чувствовал, это как дар судьбы. Благодаря Анастасии Ивановне я физически ощутил сомкнул в себе живые звенья русской литературы и ее времена (словно через пропасть); ведь когда ей было лет пятнадцать, еще жив был Лев Толстой, а он в свою очередь родился при Пушкине... Можно ли было не ощутить дуновения нечаянного чуда реальности прошлого, когда она говорила буднично, между прочим:

– Шли мы вечером по Сретенке с Василь Васильичем, он слегка ухаживал за мной, впрочем, за кем только он не ухаживал...

– Какой Василий Васильевич?

– Розанов, кто же еще...

То же и с упоминаниями об Александре Александровиче, Борисе Николаевиче, Борисе Леонидовиче: она продолжала видеть их рядом, слышать их. Не говорю уже о Марине Ивановне, которая в годы моего студенчества казалась исторически удаленной, отделенной от меня целой эпохой (я знал тогда только ее первые сборники). Думал ли я, гадал ли, что даль обернется близостью почти родственной, что эстафету подхватит мой старший сын, Александр, подружится с Анастасией Ивановной, будет дежурить у нее ночами в последние годы! Он дважды отпуск на работе брал так, чтобы можно было поехать с ней в Кясму, на берег Финского залива. Это было традицией: каждое лето сначала в Эстонию, потом (с Куниной) в Коктебель, вплоть до последнего времени, когда она вдруг сказала, что в Коктебель не поедет.

– Почему? – удивился я.

– Говорят, там повышенная радиация после Чернобыля...

Анастасия Ивановна была непревзойденным мастером воспоминаний. Памятью обладала поразительной. Конкретной памятью на детали, вещи, цвета, запахи (исторические события оказывались на заднем плане). До последних дней читала стихи наизусть, диктовала номера телефонов, не заглядывая в записную книжку. А еще отличалась обязательностью, не признающей никаких отсрочек или поблажек. Обе-

щанное выполняла, невзирая на недомогания, на быстро слабеющее зрение. Писала, почти не видя, что пишет. Все чаще просила, чтобы ей читали сначала Евангелие, потом из любимых книг. И очень любила слушать стихи... В одном из писем она отметила целый ряд моих стихов, которые ей понравились. А роман «Лиманские истории» одолела, дав себе задание, читать каждое утро по пятнадцать минут. Помню, упрекнула меня за безнравственную, по ее мнению, шутку над матерью (в романе есть эпизод, когда я и отец инсценировали домашнее ограбление)...

Анастасия Ивановна с гордостью говорила о своих стихотворных переводах на английский язык, настаивала на том, что перевод должен максимально соответствовать оригиналу (чем буквальной – тем лучше). Я не смог ее переубедить...

Много лет прошло, как ее нет. Но всё кажется – вот зазвонит телефон, и она назовет меня ласкательным именем «Кириллушка» так, как только она умела... Говорила, что мой басок бархатистый, как у Сен-Бернара.

Кстати, она иностранные слова произносила по старинке, не редуцируя безударную гласную: кОнверт, кОнцерт... А слова «чёрт» вообще избегала. Как-то она хотела сослаться на рассказ Марины Ивановны «Чёрт», замялась:

– Ну тот рассказ... знаете, названный... не к ночи будь помянут...

Я как-то не удержался, завел разговор о «Гавриилиаде», она отмахнулась: никогда, мол, не читала...

Одним из сильнейших впечатлений ее жизни был Борис Зубакин, эзотерик, поэт-импровизатор. Вспоминала о нем восторженно, его портрет до конца был с ней. Видно, обладал он недюжинной харизмой, но объективно как поэт следа не оставил (читал я его стихи из единственного сборника «Медведь на бульваре»), да и в качестве его поэтических импровизаций не верю. Думаю, он повлиял на ее духовный переворот (от атеизма через теософию – к православию). Она изменила свою жизнь, говорила, что в 28 лет отказалась от секса... И стала вегетарианкой. Не признавала никаких лекарств, только гомеопатию. С понятной пристрастностью

говорила о воспоминаниях Марины Ивановны, сокрушалась, что она неточно обрисовала образ матери, – например, Марина пишет: мать от нее прятала бумагу, а такого не было...

Сама Анастасия Ивановна безусловно была неординарной и сильной личностью, она вовсе не была только сестрой Марины Цветаевой – с этим согласны все знавшие ее.

Но все-таки мне жаль, что не расспросил ее о том, как она с течением времени узнавала поэта Марину Цветаеву. Доходило ли до нее творчество Марины в двадцатых годах (до последней встречи в 1928 году в Париже) и как она воспринимала решительное изменение поэтического стиля сестры? Приняла ли она это, поняла, как выросла Марина как личность и как поэт? А в тридцатые годы до ареста Анастасии Ивановны? А в долгие годы заключения и ссылки не казалось ли ей, что всё кончено, что Марина забыта? И как потом она, счастливая свидетельница посмертной всероссийской и мировой славы сестры, осмысливала масштаб ее судьбы?

Для меня осталось загадкой почему Анастасия Ивановна в старости, охотно и щедро цитируя на память стихи любимых поэтов, редко обращалась к стихам Марины, а если и обращалась, то предпочтительно к ранним. Среди исследователей творчества Марины она сохраняла определенную дистанцию, сама не включалась в собирание ее рукописей, в подготовку полного издания ее сочинений, хотя при этом активно (и пристрастно!) наставляла и пестовала «цветаеведов»..

Анастасия Ивановна мягко, но неуклонно отстаивала свой «суверенитет», в первую очередь справедливо считая своим призванием собственное творчество, пусть глубоко и неразрывно связанное с сестрой, но все-таки свое, собственное, долг осуществления которого она приняла на себя.

Ее присутствие среди нас казалось постоянным, неизменным и необходимым. Она была источником душевного тепла и благородства, живым воплощением преемственности русской культуры. Анастасию Ивановну озарял воздух серебряного века нашей поэзии. Добро и понимание излучала она, к ней жадно тянулась молодежь, навсегда подпадая под ее личное обаяние, можно сказать – тургеневское, классичес-

кое. Правда, она была слишком добра к молодым дарованиям, охотно писала им одобрительные отзывы (может быть, еще и потому, что не знала контекста современной литературы, не могла соотносить «масштабы»).

Ее жизнь – завет и пример достоинства, мудрости, мужества и смирения. Хранительница и дарительница – хочется повторять, говоря о ней, тоскуя по ней. Она оставила талантливые книги, страницы воспоминаний, статей, стихов. А сколько неповторимых писем! Она жила просто и щедро – требовательно, когда речь шла о призвании и порядочности, и непритязательно, когда дело касалось быта, вещей, житейских условий. Сильный, высоко воспитанный дух жил в ее немогущей плоти, в ее облике сухонькой маленькой бабушки – такой родной, словно она матерински нянчила нас и благословляла жить дальше. Прощаясь с каждым посетителем, она осеняла его крестным знамением:

– Да хранит вас Бог!

P.S. Из дарственных надписей и ее писем ко мне:

На титуле журнала «Москва» № 3, 1981 (начало ее «Воспоминаний»):

Дорогому Кириллу Владимировичу Ковальджи, автору прекрасных стихов и заинтересовавшей прозы, человеку мне себя доказавшему доблестным, готовым помочь в самый неудобный час, час вне транспорта – в городе, где нападают и убивают.

С полным доверием передаю Вам нелегкие годы моей, как сон, отлетевшей жизни, влетевшей ночной птицей – в старость! Когда успела? День шел за днем, и так было – некогда! И вот уже 87-ой...

С пожеланием здоровья, сил, радости и мира в семье на кошмарной планете!

Анастасия Цветаева 4 марта 81.

(А.И. позвонила мне за полночь в панике, что муж её внучки грозитя кончить самоубийством, я бросился на выручку,

но помощь, когда я примчался, уже не понадобилась – он успокоился...)

2) На №4 журнала «Москва»

Дорогому Кириллу Владимировичу Ковальджи на добрую память о моей с Мариной юности – ее продолжение – до №5, где будет конец.

С интересом к Вашему творчеству и любовью в Ваших стихам.

А. Цветаева 3 апреля 81

3) На №5 журнала «Москва»

Дорогому Кириллу Владимировичу Ковальджи –

Окончание моего 2-ого (сокращенного тома «Воспоминаний») Тут о конце Марины.

Отзовитесь, что можно изменить (сократить, выпустить – надо, по листажу. Думаю, из гл. Елабуга – нельзя, – до нее –?)

С чувством необычной почти легкости общения, с 1 раза, с уверенностью в прочности дружбы этой – в мой конец.

Храни Вас, Бог, Кирилл! Но будьте к себе бдительны – п.ч. трудно уцелеть – так, как надо – Вам.

А. Цветаева 19 июня 81

31 мая 1983 г. Москва.

Дорогой Кириллушка!

В Коктебель едет Доброслава Анатольевна Донская, мой друг. На конференцию о Максе Волошине. С ней я Вам передаю письмо, могущее вам сослужить хорошую службу: я хочу вас познакомить с директором Максинаго мемориала-квартиры («Домом Поэта») Борисом Гавриловым, чтобы, во-первых, вы получали – по моей просьбе – доступ туда и через Боря Гаврилова, с которым я давно дружу, могли читать, если это делают для избранных читателей, тома его прозы, может быть только частью напечатанные. Боря. – культурный, деловой, милый человек, я ценю его и уверена, что он сделает все, что может, чтобы вам было лучше, интереснее, теплее – чем, как он мне говорил, было ему в последнее время в моем – знако-

мом ему еще новом кругу приезжих. Он будет рад Вам, как родному человеку. Это – раз. Второе – даю Вам адрес моего друга, Марии Николаевны Изергиной, близкого друга Марии Степановны Волошиной, постоянно, годы, певшей (за роялем, где играли и Скрябин, и Рихтер) – старинные романсы, классику. Она живет недалеко. У нее собаки, лают, но, надеюсь, не кусаются. Это чудесное знакомство. Спешу – передать, я и Мусе Изергиной, пишу о Вас. Она поэзию ценит, понимает, а я Вас – простите, что так поздно – благодарю за стихи!

Храни Вас Бог!

Ваша А. Цветаева, 98 лет.

Р. С. Отдыхайте!

Саша (мой сын – К.К.) помогает мне уложиться и свезет завтра в Переделкино. Жаль, на день позднее дня Бориса Пастернака...

Приписка: Боря – прекрасный знаток Макса и очень любит его.

Открытка Анастасии Ивановны из Кясму (Эстония) от 25.07.1983 г.

Дорогой Кирилл!

Очень люблю Ваше имя – и оно очень редкое – не так ли? Почему-то – так «Мыши мало сала!» (из сказки) – мало стихов Ваших в журнале. Читаю и перечитываю. Особенно вошло в душу: «–нрзб– жизни», «Заклятье» и «Хэппи энд». Все строки – родные. Готовите ли сборник? Где и когда?

... Простите, Кирилушка, что мало Вам (и В. спутнику) уделила внимания – в день перед отъездом была в ужасной суете и усталости, 3 ночи спала по 3 ч., а 1 раз 50 минут. Тут пытаюсь отдыхать, но не очень получается.

Прочли ли мои «Сибирские рассказы»? Одобрили Вы их? Есть надежда?

Храни Вас Бог! АЦ.

Примечание: речь в письме о моих стихах, опубликованных в «Юности».

На вечере памяти Анастасии Ивановны одна из выступающих вспоминала: – Она не позволяла женщинам целовать ей руки, а когда мужчины... кто-то даже преклонил колена, она сказала: «Лучше бы полы вымыли!»... Только один мужчина сделал это – Саша Ковальджи. Был день ее рождения, мы пришли, а полы сияют, Саша постарался...

Моя жена, Нина была знакома с Анастасией Ивановной только по телефону, она так и не решилась познакомиться с ней лично. Нина переписывалась с ней...

ПАУСТОВСКИЙ РАССКАЗЫВАЕТ...

Паустовский был похож на грека: романтический профиль – то ли южного барда, то ли пирата. Слегка сутулый, смуглый, горбоносый. Удивительное сочетание тонкости, породы, благородства и лукавой простоты, озорства. Я любовался им, он напоминал близких мне людей, – бессарабцев, одесситов. Видел его часто – он вел семинар прозы в Литературном институте, где я учился в начале пятидесятых годов – но ни разу не удалось поговорить, да я и не смел ему навязываться.

Только после института, когда мы одновременно летом оказались в Ялте, сама обстановка поспособствовала общению. Он оказался поразительно созвучен своим книгам. Упоминаю об этом, потому что нередко наблюдал обратное. Видел, например, и слушал Шолохова и никак не мог совместить его с автором «Тихого Дона». Правда, тут особый случай, не место здесь об этом распространяться. Но немало видел хамоватых и хмельных авторов, – чаще всего – поэтов, о которых никак не скажешь, что именно они сочиняют талантливые стихи...

А Паустовский был не только тождествен своему творчеству, он был неотличим от него, от своих текстов. В каком смысле? А в том, что был блистательным устным рассказчиком, равновеликим писателю. Я говорю это в буквальном смысле. К моей радости Константин Георгиевич стал вечерами на веранде собирать небольшую компанию. Высокая веранда освещалась только крупными крымскими звездами. Внизу тихо шуршало море.

Паустовский был в своей стихии, он был на месте, не то, что в Москве. Он блаженствовал и загорался воспоминаниями.

Несколько вечеров слушал его рассказы времен осады Одессы, слушал с особым волнением, потому что я одиннадцатилетним мальчиком там был – «от звонка до звонка». Я впитывал каждое слово Константина Георгиевича, всё запомнил и потом с наслаждением «кормил» его рассказами всех друзей и знакомых. Но однажды друг меня прервал:

– Что ты повторяешь напечатанное?

– То есть? – изумился я.

А он мне протянул свежий номер «Литературной газеты», где Паустовский опубликовал как раз то, что я «пропагандировал». Самое интересное – напечатал точно так, как рассказывал тогда, в Ялте. Может быть, даже слово в слово. (В отличие от Ираклия Андронникова, оставшегося «устным» писателем, Паустовский прекрасно умел сохранить в прозе и интонации, и паузы, и жесты рассказчика – как это ему удавалось?) Тогда я понял, что Константин Георгиевич любил «обкатывать» на слушателях то, что собирался написать. То есть поступал вопреки большинству писателей, которые боятся рассказывать еще не воплощенные замыслы, опасаясь, что потеряется запал, израсходуется творческая энергия, можно погубить задуманное (наверное, примешивалась к этому и доля суеверия).

А Паустовский подпитывался живой «обратной связью», – следя за реакцией слушателей, доводил свой стиль до естественного совершенства.

Он был добрым писателем. Не добреньким, а призванным приспешником добра. К литераторам был требователь-

ным, даже беспощадным. Твердым в своих принципах, отважным в отстаивании писательского и человеческого достоинства. Ему была свойственна мягкая, тихая, но непоколебимая форма героического поведения. Недаром он стал одним из лидеров «оттепели», предвестником диссидентства.

В свое время я перевёл воспоминания о нем румынской писательницы Маргареты Шипош, тогдашней студентки Литературного института, – приведу небольшой отрывок: «... Появился в 1956 году роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым...». В нем говорилось о привилегиях и излишествах высокопоставленных чинуш, об их всевластии и расправах над своими противниками. Роман произвел исключительное впечатление. Куда ни оглянись, везде люди говорили о Дудинцеве и о его отважной книге. Руководство Союза писателей решило обсудить роман. Разумеется, имелся в виду разнос. Я «просочилась» в ЦДЛ часа за три до начала заседания. И правильно сделала, потому что за час до начала здание было оцеплено конной милицией. Ни разу в жизни я больше не видела книгу столько мощно «охраняемую». Не помню кто что говорил. Но когда слово предоставили Паустовскому с его глуховатым голосом, воцарилась такая тишина, что слышно было дыхание людей. А Паустовский, защищая Дудинцева, рассказывал о круизе по Средиземному морю. Он был свидетелем жесткого «классового» разграничения пассажиров на корабле. Обслуживание было, разумеется, разбито на соответствующие уровни. «Таково и наше советское общество» произнес Константин Георгиевич перед замершими присутствующими. Факт был известен, но никто не смел признать это вслух. Потому что, хотя Сталин умер, было еще живо мрачное пророчество Осипа Манделштама, сказавшего, что на три поколения вперед рябой черт вселил в нас страх...»

Паустовский жил в кровавое время, пережил две мировые войны и еще одну – гражданскую. Но прежде всего он был особенно чуток к светлому началу в мире, в жизни, в человеке. Искал и находил доброе, чистое, прекрасное. Этим он помог многим – помог не считать веру в добро слабостью. Или анахронизмом.

В наши дни быть таким писателем – немодно. С удивлением читаю сочинения литераторов, толком ничего не переживших, которые почитают за доблесть выдавать на-гора «чернуху» или возводить в творческий принцип антиэстетизм.

Я далёк от ханжества. Я с откровенным удовольствием прочитал «Николая Николаевича» Юза Алешковского, – его персонаж весь в нецензурной лексике, а симпатичен. За ним стоит писатель снисходительно-ироничный, интеллигентный, нельзя не почувствовать. Владимир Сорокин – другое дело. Спору нет, он талантлив. Но я не одолел «Голубое сало». Воображение автора кислое какое-то, подпорченное. Издержки свободы. Надеюсь, определенная «ниша» Сорокиным (и иже с ним) скоро заполнится, упоение критики такой «смелостью» быстро приестся, как приедаются порнофильмы. Сначала шок, потом досада – сколько можно?

Как-то в «Независимой газете» Егор Радов провозгласил: «В бездушном обществе – бездушная литература». Нашел себе оправдание! Неужто при Паустовском тогдашнее советское общество было душевным или даже духовным? Он-то знал, что ориентир – не данное общество, а душа всей русской литературы, всей мировой культуры. Даже Маркс, который не жаловал религию, назвал ее «сердцем бессердечного мира». Культура немыслима без религиозного чувства «благоговения перед жизнью» (по счастливому выражению А. Швейцера)...

Паустовский – мудрый и добрый волшебник. Я уверен: его книги не позади современности, а впереди ее. Он один из мастеров нормальной литературы необходимой для нормальной жизни.

ВСТРЕЧА С ТВАРДОВСКИМ

Году в 47-ом мне попала «Роман-газета» с «Василием Тёркиным». До этого я, провинциальный школьник, не слышал о Твардовском и потому с удивлением смотрел на фотографию круглолицего молодого офицера, который так легко

и ловко писал стихи. Для меня тогда современная поэзия кончалась на Маяковском, после него как-то не предполагалось крупных поэтов, а пишущих традиционным хореем – тем более...

Увидел я Александра Трифоновича в 49-ом, уже будучи студентом Литинститута, сидел он с кем-то в пивном баре №4 на Пушкинской площади, куда и мы хаживали (теперь на том месте скверик). Познакомился же с ним в 52-ом. В ноябре я благодаря профкому института попал в Малеевку как в санаторий после воспаления легких. Твардовский оказался в номере наискосок от моего, я долго собирался и, наконец, улучшив момент, постучался к нему.

Александр Трифоновичу в ту пору было едва за сорок, мне он – крупный, солидный, в очках – казался чуть ли не пожилым (я был на двадцать лет моложе!), живым классиком, памятником самому себе, он и держал себя соответственно. Я был удостоен беседы, спросил его между прочим, почему у него нет любовной лирики, она ведь непременно имеется у всех крупных поэтов. Он снисходительно улыбнулся:

– Слава богу, миновала меня чаша сия! Я рано женился, в 19 лет. Да и вообще стоит вспомнить, что Пушкин с 15 лет был нацелен на серьезные темы. Он уже тогда был автором «Воспоминания в Царском селе».

Я подумал, что «Воспоминания в Царском селе» вовсе не принадлежат к моим любимым, а в том возрасте Пушкин весьма охотно сочинял любовные стихи. Но возражать не хотелось. Александр Трифонович был преисполнен чувства ответственности перед страной.

Я спросил об его отношении к Маяковскому.

– Крупная фигура. – сказал он, – но писал он стихи как-то не по-русски. Ни складу, ни ладу. Все равно, что ходить по шпалам – никак шаг не приоровишь...

О Есенине говорил лучше, но ревниво сокрушался о расстрате его таланта. Спросил я и что он думает о Вадиме Шефнере. Я как раз нашел в библиотеке его сборник «Пригород», пленился его любовной лирикой («Сонет под огнем» помню наизусть до сих пор). К моему удивлению, Александр Три-

фонович сказал, что не знает, не читал его. Я-то полагал, что такой поэт как Твардовский должен быть «в курсе»...

Наконец, я отважился читать ему свои стихи. Слушал он доброжелательно. Неожиданной была его реакция на стихотворение «Диалектика утра». Я надеялся, оно ему понравится (серьезная тема!):

*Когда сменилась ночь голубоватым
Свечением оконного стекла,
Последняя страничка диамата
К экзамену дочитана была...*

Однако мои марксистские восторги вызвали у него осторожное неодобрение.

– Узко это, – сказал он, – кастовые стихи. Народ не только из студентов состоит... Пишите о своей малой родине – без любви к своей малой родине вы в поэзии не откроете Большой...

Я впоследствии все-таки поместил «Диалектику утра» в свой первый сборник, долго еще считал эти стихи удачными... Но и о «малой родине» вспомнил. Тем более, что в Москве тосковал по ней...

Сохранился клочок записи от 16 ноября 1952 года о встрече в Малеевке с Твардовским:

«Если я буду поэтом, то непохожим на Твардовского. Я – городской, «сын железной и каменной скуки», я – интеллигент, со всеми выводами отсюда, я – бессарабец во всей полноте национальной неразберихи. Если поэзия ограничивается догмой Твардовского – из меня поэта не выйдет. Если же я буду поэтом, то противоречивым и своеобразным, как моя судьба, как мой характер.

Почему-то разговор с Твардовским не заставил меня тревожиться за мою поэтическую судьбу. Т.е. я сам знал то, что он мне сказал, и даже сверх того».

Много лет спустя я попытался «спасать» Твардовского. В конце 69-ого года на него стали катить бочку после опубли-

кования на Западе его антисталинской поэмы «По праву памяти» (недовольство политикой «Нового мира» в «инстанциях» зрело давно!). Виталий Михайлович Озеров, один из тогдашних руководителей Союза писателей СССР, ночью, когда мы возвращались после встречи румынской делегации, сказал мне по дружбе (конфиденциально), что в ЦК, воспользовавшись отказом Твардовского выступить с протестом против зарубежной публикации его поэмы, решили снять его с поста главного редактора журнала.

Я тут же кинулся к Игорю Виноградову, члену редколлегии «Нового мира», благо он жил в том же доме, где и я, – несколькими этажами выше. Игорь Иванович уже собирался лечь спать. Я просил его немедленно уговорить Александра Трифоновича не давать повода. Не надо помогать противникам журнала. Пусть А.Т. напишет правду – опубликовали поэму без его ведома, это его никак не уронит. Надо спасти главного редактора и тем самым – «Новый мир»!...

Игорь Иванович призадумался...

Через несколько дней в «Литературке» появилось короткое письмо Твардовского, вполне достойное, но в том духе, которое требовалось. Я ликовал...

Как я был наивен! Думал, что ЦК нужен повод. Увы. Твардовского не сняли, но поступили коварней: заменили, в сущности, всю редколлегию и тем самым вынудили главного редактора уйти. Разгром «Нового мира», потопивший болезнь и смерть Твардовского, был завершен в феврале 1970-го года.

«Больше, чем поэт»... – к нему это подходит полностью. Его общественная роль оказалась, пожалуй, значительней поэтической, сейчас к его стихам и поэмам обращаются редко (его при жизни безусловно считали первым русским поэтом, да и сам он таким себя чувствовал!). Однако выделиться предстояло стать Иосифу Бродскому, которого к тому времени мало кто знал, его не печатали...

Последнее пересечение – косвенное, посмертное – с Твардовским произошло в середине восьмидесятых годов, когда я познакомился с его братом – Иваном.

На Смоленщине с гордостью рассказывали, где родился Александр Твардовский, где – Юрий Гагарин. Но в год, когда родился Юрий Гагарин перестал существовать хутор Загорье, родина Твардовского. Его семью разметало по стране, от дома, кузницы, сада не осталось ровным счетом ничего. Голая земля, запустенье...

Когда мне довелось беседовать с Александром Трифоновичем, мне он представлялся поэтом удивительно счастливой судьбы: в 26 лет опубликовал поэму «Страна Муравия», за которую получил Сталинскую премию, уже классик, его творчество изучают в школах...

Правда, потом не раз приходилось видеть этого счастливого человека в тяжелом состоянии, с не утихающей болью в глазах. И только спустя много лет, приехав в Загорье, я понял какая «трещина мира» прошла через сердце поэта:

*На хутор свой Загорье –
Второй у батьки сын, –
На старое подворье
Пришел, стою один...*

Был на том месте пустырь, опустошительное свидетельство недоброго дела. Но вот Иван Трифонович, брат поэта, летним днем посреди поля недалеко от дороги показывает нам восстановленный – из свежих бревен, еще совершенно пустой – дом. Иван Трифонович не только унес его в своем сердце, он еще будучи на поселении своими золотыми руками мастера сделал его полный макет, с сараем и кузницей, привез в родные места и дождался заветного часа – увидел родительский дом на земле, вернувшийся из небытия. Для наших глаз помещения зияли пустотой, а Иван Трифонович как режиссер и чародей точными движениями формовал пространство, обставляя его, объясняя, показывая. Вот в этой комнате жила вся семья, – кто на полу спал, а бабушка рядом с телком, во втором помещении – крытый двор для скотины, вот и все хоромы... Мебель, вещи? Они почти готовы, всё воссоздано по памяти. Кому еще доводилось так восстанавливать родительский дом и всю его обстановку?

В этом было что-то волшебное и горькое, щемящее. Я узнал, что Иван Трифонович написал воспоминания, и уговорил его дать их мне – для журнала «Юность», где я тогда работал. Воспоминания были острые, откровенные, занозистые. Я написал к ним предисловие, их опубликование стало тогда заметным событием...

ОРГСЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

В аппарате Правления СП СССР я работал в так называемой Национальной комиссии, где на каждую республику (то есть на ее литературу) было по консультанту. Константин Васильевич Воронков, наш оргсекретарь, думал, чем бы нас занять и предписал, чтобы мы периодически писали отчеты по соответствующим литературам (не меньше печатного листа). Мы послушно выполняли норму, отчеты аккуратно перепечатывались в трех экземплярах и отправлялись прямо в архив, поскольку отчеты никто читать не собирался.

Я как-то сочинил очередной обзор по молдавским публикациям, который оказался короче, всего страниц 15. Воронков меня вызвал и сделал замечание. Я стал рассуждать вслух – да, знаю, каждый консультант ежемесячно должен выдать на-гора примерно 25 страниц, но нас 15 человек, значит, Вам предстоит прочитать около четырехсот реферативных страниц (в год около пяти тысяч). Это же непосильный труд. Помоему, чем короче, тем лучше...

Воронков нахмурился и произнес: – А Вы не ленитесь. Вот я работаю с девяти до девяти, не разгибаясь. И не требую библиотечного дня, как некоторые!...

Действительно, он был трудоголик. Всегда подтянутый, энергичный, гладко выбритый и моложавый. Обожал административную работу, предпочитал все делать сам. Уговорили его как-то взять себе помощника, он выбрал консультанта Игоря Сенькова, выпускника Литинститута, но тот долго при нем не удержался (Сеньков – фанатичный сталинист, сладострастно любил письменные принадлежности, особенно руч-

ки, собирал их, хвастал ими, однако был бездарен – одну несчастную статейку о табасаранской литературе для «Дружбы народов» мусолил около полугода!). Правда, была у Воронкова идеальная секретарша (одновременно, говорят, и любовница). Она могла заранее сказать какое решение примет Константин Васильевич, какую резолюцию наложит на каждую из бумаг. Доверенные лица в аппарате знали скрытый смысл его резолюций. Например, если «прошу решить» было начертано синим карандашом, это означало – «в долгий ящик», если красным – исполнить немедленно... Были по-видимому и другие секретные приметы его распоряжений. Я это испытал на собственной шкуре. Меня сначала по просьбе Лупана приняли на работу в СП временно, нужна была, естественно, и временная прописка в Москве (я собирался затеять обмен квартир Кишинев-Москва), а прописаться было негде, кроме как в общежитии Литинститута. В ту пору такой вопрос мог решаться только на высоком уровне – полагалось обратиться чуть ли не в Моссовет. Воронков поручил это дело однорукому Борису Соколову, своему консультанту, бывшему чекисту. Он ко мне воспылил приязнью, обращался куда надо, но дело не двигалось с места. Я стал сердиться на Соколова. Без прописки я не имел право продлевать временную работу в Москве, а без работы не имел право на обмен квартир. Соколов, выслушав мои упреки и жалобы, не выдержал:

– Дорогой Кирилл, если бы Константин Васильевич меня вызвал и сказал: в 24 часа прописать вас, я бы в лепешку разбил и прописал. Но он сказал: – Подготовьте письма от моего имени туда-то и туда-то...

Понимаете?

Потом я узнал, что намечалось сокращение штатов, и Воронков имел основания тянуть время (после долгих мытарств мой «вопрос» благополучно разрешился).

Однажды я с Воронковым поехал в Кишинев на очередной съезд писателей, и получилось так, что день прибытия у нас оказался свободным. Бедный Константин Васильевич в гостинице не знал куда себя девать. Он буквально страдал оттого, что никто не просился на прием, телефон не звонил.

Он не умел расслабиться. Я вытащил его на пешую прогулку по городу (он впервые был в Молдавии), развлекал как мог. Все равно ему было не по себе...

Он поведал мне, что каждый свой служебный день записывает в толстую тетрадь, причем сразу, после каждого посетителя. (Я вспомнил – верно: заходя к нему в кабинет, всегда заставал его записывающим что-то в большой ежедневник, похожий на книгу) – «Вот недавно закончил 517-ую тетрадь...»– заключил он, явно гордясь собою.

Где теперь его архив? Какое там досье! Сколько «материала» тогдашней литературной жизни, сколько всякого «белья»!

В последние годы его «правления» появился в аппарате прихрамывающий «завхоз», некий Залогин, Борис Григорьевич. Он был окутан какой-то многозначительной тайной, ногой открывал все двери в Москве, добившись от Маркова удостоверения «первого заместителя секретаря правления СП СССР», которым, разумеется, не являлся. Ходил по верхам, выглядел всемогущим. Кому надо и кому хотел, мог всё «достать». Однажды на праздник Дня Победы мы пригласили генерала. Залогин сел рядом с ним, долго что-то шептал ему на ухо, по обыкновению хвастался, но никак не ожидал, что генерал расчувствуется и хорошо поставленным голосом произнесет тост:

– За здоровье моего собрата, боевого генерала Залогина!

Зал опешил, но выпить пришлось. Я не поленился, сбежал после праздников в отдел кадров и как председатель месткома попросил «дело» Залогина. Никаким генералом он не был, более того – в войне не участвовал. Коллектив возмутился (кошунство!), местком настоял на собрании (Воронков долго не соглашался). Залогин обиженно бормотал, что генерал, изрядно выпив, не так его понял, он, дескать, говорил, что в тылу его должность была равносильна генеральской. Мы вынесли ему общественное порицание... Пустяк, но все-таки таинственная неприкасаемость Залогина дала трещину. Он стал незаметней. А потом и вовсе исчез.

Было и противостояние с Воронковым из-за Стефановой. Она работала в Инокомиссии консультантом по литературе

арабских стран. Однажды в конце 1968 года на нее пришла «телега» из Багдада. Протест сводился к тому, что нечего еврейке возить делегации советских писателей по арабским странам. Международный отдел ЦК потребовал ее уволить. Воронков, естественно, тут же сочинил приказ и вызвал меня как председателя месткома, чтобы я его завизировал. Я вежливо отказался: нет законных оснований для увольнения. У Стефановой одни благодарности.

Местком меня поддержал. Тогда Воронков собрал совещание (у меня сохранилась запись, что это было 10 декабря, участвовали – кроме него и меня – Озеров, Сартаков (секретари СП), Косоруков, Румянцев (руководители Инокомиссии), Гусейнов (секретарь партбюро). Спорили часа два и ни к чему не пришли (Воронков, понятно, но мог открыто назвать истинную причину увольнения). Только вмешательство Маркова после Нового года помогло найти компромисс. Он предложил перевести Стефанову в отдел информации. Таким образом и волки насытились, и овцы уцелели...

Я чувствовал себя победителем, мой авторитет возрос. Но когда подобная же история произошла у меня с Дангуловым (дело Галинской), и я решил повторить предыдущий опыт, то ничего не вышло. Галинскую сократили вместе с ее должностью (нашли выход!), а я попал в опалу...

Воронков в Союзе писателей казался вечным и незыблемым. Но он почему-то схлестнулся с В.М. Озеровым (психологическая несовместимость?), допекал Виталия Михайловича мелочами (например, по якобы техническим причинам не устанавливал в его кабинете «вертушку», особый телефон для прямой связи с «инстанциями»), однако Озеров поработал на другом уровне, и в результате Воронкова вдруг перевели в Министерство культуры одним из одиннадцати замов. Он взял с собой свою секретаршу, делая вид, что его повысили. Однако его карьера пошла под уклон: следующая ступенька вниз – директор Бахрушинского музея. Дальше – пенсия...

Однажды я увидел его в ЦДЛ. Он был на себя непохож. Обмяк, словно воздух выпустили из надувной игрушки, кос-

твом на нем болтался, как на палке. Вскоре он совсем растаял, как растворился в воздухе...

А в СП на его место заступил Юрий Николаевич Верченко, крупный, полный, жизнерадостный. Тоже опытный администратор из комсомольско-партийных работников. Функции у него, как и у Воронкова, были, так сказать, комиссарские. В отличие от Воронкова, он уже обзавелся заместителями, помощниками, в основном из бывших кагебистов...

ДОЛМАТОВСКИЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Как подумаешь, Евгению Ароновичу в 1950-ом году было всего 35 лет! А мне, двадцатилетнему студенту Литинститута, он казался весьма солидным, маститым, прочно вписанным в рубрику «видные, советские...», поэтом, у которого за спиной огромный человеческий и творческий опыт. Нас, казалось, разделяла бездна времени.

Теперь 35-летние поэты еще ходят в молодых...

Но ведь действительно нынешний возраст тогдашнему – не чета. К тридцати годам Долматовский прошел путь по интенсивности, по качеству неизмеримо превосходящий «количественные показатели». Только много лет спустя я узнал, что его отец, юрист, приятель Вышинского, был репрессирован, а сам Евгений Аронович в сорок первом попал в плен, бежал и сумел вернуться «в строй»...

Говорят (злые языки?), что он от отца отказался, а чудом выскочив из плена, явился не домой, а в «Метрополь» к знаменитой и влиятельной Ванде Василевской, с которой был раньше знаком. Безвылазно в гостинице прожил неделю (а он был красавец!), после чего был восстановлен в правах, получил обратно награды и т. д.

Когда я услышал впервые песню Долматовского «Любимый город» мне было десять лет, а моему знакомству с советской властью – всего несколько месяцев: я родился и жил в Бессарабии, куда русские (советские) пришли в конце июня

сорокового года. После тех дней прошла целая эпоха, разразилась война, превратила нас в беженцев – горько звучали строки Долматовского «Любимый город может спать спокойно...» и все-таки они были надеждой, обещанием...

Первые послевоенные года были для меня началом молодости с первой влюбленностью, стихотворством – эти годы были столь насыщенными, что сравнимы лишь с историческим периодом. Новый исторический период начался с Москвы, с Литературного института, где после ст о л ь к и х лет я познакомился с легендарным автором песни «Любимый город»!

Вот и посудите сами – какими глазами я глядел на Долматовского, Симонова и их ровесников!

Но чувство исторической дистанции не мешало мне видеть Евгения Ароновича молодцеватым, моложавым. Он запомнился мне уверенно живущим, удачливым. Я попал в его руки (то есть в его творческий семинар) после Сергея Васильева и критика Владимира Александрова (оба ушли из института) и уж Евгений Аронович благополучно довел меня до диплома, до выпуска.

Благополучно – в смысле «хорошо, что хорошо кончается», а посередине была большая неприятность: я вместе с друзьями, прозаиком Евгением Карповым и польским поэтом Рышардом Данецким, выпустил для института рукописный журнал «Март», который тут же был сочтен «подпольным», идейно-порочным, меня стали обсуждать (осуждать) на всех уровнях, исключали из комсомола...

Упоминаю об этом, чтобы по достоинству оценить поведение Евгения Ароновича, вынужденного обсуждать меня на своем семинаре. В институте (и вне его) делу придали опасный характер, политический, Сталин был еще жив, шла весна 1952 года. Евгений Аронович сумел найти какой-то средний путь, больше обращал внимания на беспомощность отдельных текстов, смещал акцент в сторону непростительного легкомыслия составителей. Теперь я понимаю, как нелегко ему пришлось, ему, с его неблагополучным прошлым. Об этом тогда я понятия не имел, не сознавал и опасности грозящей

мне самому. Короче говоря, в самый трудный момент Евгений Аронович не отказался от меня, сумел повернуть дело так, чтобы «волки были сыты, и овцы целы», за что ему запоздалое спасибо (тогда я по наивности сетовал, что он не решился открыто меня защищать!).

Он был руководителем моей дипломной работы, у меня сохранился его отзыв, из которого приведу заключение (отзыв, естественно, не публиковался):

«Свой голос молодой поэт обретал в процессе учебы в Литературном институте. Ковальджи до самозабвения любит поэзию и это подчас мешало ему найти себя в ней, в тысячах строф и строк, которые он знает наизусть. Признаться, я опасался за судьбу его творчества несколько лет тому назад, боялся, что неоперившегося поэта захлестнет литературщина. Но Ковальджи, не разлюбив чужие стихи, нашел в себе силы для того, чтобы выбрать свой путь, найти свой почерк, свою интонацию...»

Молодой поэт выходит из стен Литературного института с окрепшим голосом, с серьезным взглядом на жизнь и неистребимой влюбленностью в поэзию. Лишь несколько его стихов было напечатано в центральной печати, но я уверен в том, что голос поэта мы услышим и в дальнейшем.

Евг. Долматовский. 10 апреля 1954 г.»

Не помню почему, но Евгений Аронович не присутствовал на защите моего диплома (его отзыв зачитали), не помню его реакцию на мой первый сборник. И толком не могу объяснить почему в последующие годы мы не переписывались, а потом в Москве, в сущности, не общались. Наверное, оба виноваты. Время менялось, я увлекался другими поэтами, а он меня посчитал, наверное, не очень благодарным учеником..

Но так случилось, что спустя несколько десятилетий я тоже оказался преподавателем Литинститута, в котором, естественно, поменялось почти всё, кроме самого здания. И – кроме Евгения Ароновича. Он был на посту, такой же красивый, осененный благородной сединой. Мы встречались неоднократно

ратно на заседаниях кафедры творчества, я неизменно чувствовал его симпатию и отвечал ему тем же.

Очень хотелось бы закончить на мажорной ноте, сказать, что в институте его любили полстолетия, любили до последнего дня и долго будут помнить, но все-таки его время прошло, он тяжело переживал перелом в судьбе страны и то, что случилось с советской поэзией. Медленно, с трудом он переосмысливал свой путь. Не отказываясь от прошлого, не кляня его или себя, он писал о своих раздумьях, о попытках связать времена, прошлое с будущим – поверх настоящего...

Когда-то, еще студентом, я побывал у Евгения Ароновича в доме на Лаврушенском. Не помню о чем говорили, но одна деталь врезалась мне в память. Я обратил внимание на глобус с подсветкой изнутри, вроде лампы.

– Он принадлежал детям Геббельса. – сказал Евгений Аронович и достал несколько школьных тетрадей. – они тоже отсюда. Дети везде дети... А вот и они сами. – Среди фотографий он нашел одну, где на веранде стояли святящаяся улыбкой Магда Геббельс и шестеро ее детей в легких одеждах – наверное, была весна.

Я с изумлением смотрел на вполне идиллический снимок.

Семейная гармония фашистского главаря как-то тогда не укладывалось в голове. Выдержав паузу, Долматовский протянул мне следующий снимок. Он сам, Евгений Аронович, в галифе и сапогах стоит над трупами геббельсовских детей, уложенных рядком...

Магда самолично их отравила.

Следующая фотография – обгорелые трупы Геббельса и Магды...

Стыковка этих фотографий – символична. И Долматовский, прямой участник трагических судеб середины двадцатого века. Не зря я говорил об исторической дистанции между нами. Теперь, когда мне самому немало лет, я вспоминаю тридцатипятилетнего Долматовского как человека, который старше меня. По пережитому каждый его год считается за два...

Он был, повторяю, красив и был женат неоднократно. Уходя, оставлял квартиры со всем добром (наверное, кроме книг). Помню одну из его жён, танкистку, Героя Советского Союза Ирину Левченко...

Долматовский незадолго до смерти с извинительной, но явно довольной улыбкой сообщил мне, что какую-то планету назвали его именем (видимо, астероид).

– Пишите ли стихи? – спросил я.

– А как же? Они у меня выделяются, как пот.

Сказанул...

Вспомнился старик Антокольский, при встрече со мной в ЦДЛ воскликнувший с притворным ужасом:

– Я написал сто стихотворений! Это как понос.

Однако после смерти того и другого ничего толком не было опубликовано. А фильтр времени основательно порабатал над их обильным творчеством...

P.S. В журнале «Наша улица» №11, 2005 писатель Юрий Кувалдин спорил со мной, приписывая окончательный текст известной песни «Журавли» Долматовскому. Но факт остаётся фактом – исходный текст (со всеми ключевыми словами!) принадлежит А. Жемчужникову. Кто потом доработал и переработал стихотворение – не знаю. Однако нет ни одного свидетельства в пользу Долматовского. В любом случае у текста песни первый и «главный» автор – Жемчужников. Попробуйте обойтись без его строк:

*О, как больно душе, как мне хочется плакать!
Перестаньте рыдать надо мной, журавли!*

В них уже вся песня! Кстати, это относится и к тексту песни «Моя Москва» Марка Лисянского:

В издательстве «Композитор» был издан красочный буклет «Гимн города Москвы». Хорошее дело, спору нет. Хорошее, если бы не «справка» Ю. Бирюкова, который много лет посвятил странному занятию: он упорно возвращался к истории создания песни «Моя Москва», снова под видом восстановления справедливости пытаясь возвести С.Аграняна в соавторы М. Лисянского.

Напомню: в девятом-десятом номере «Нового мира» за 1941 год было опубликовано стихотворение Марка Лисянского «Моя Москва». По просьбе И. Дунаевского С. Агранян без ведома и согласия автора (Лисянский был на фронте) заменил одно из четверостиший поэта тремя своими, «идейными» (28 панфиловцах, о Красной площади и о Сталине, – последнее потом уже не исполнялось).

Без текста Лисянского (начальные строки, ритм, строфа, припев), без этого поэтического зерна, счастливой находки, Агранян не мог бы ничего сделать. Перед его глазами была «модель», которой он следовал, дописывая. Сам Агранян с согласия Лисянского получал свою долю гонорара за исполнение песни и на большее не претендовал.

Текст Аграняна самостоятельного значения не имеет (нет ни зачина, ни припева!). А текст Лисянского, хоть и укороченный, вполне может исполняться как песня.

Из этого следует, что у «дописчика» равных творческих прав с поэтом нет и быть не может. Агранян – участник создания песни («дописчиком» называл его Лисянский), а не ее соавтор.

В ОДНОМ ЛИЦЕ

Я как-то сказал про Льва Озерова:

– Это целый творческий Союз в одном лице!

И действительно – в его универсальности было нечто от эпохи Возрождения. Он был и поэт, и критик, и переводчик. Ученый и учитель (зав.кафедрой, профессор Литературного института). Энтузиаст и организатор – основал и вел много лет «Устную библиотеку поэзии», о которой еще будут вспоминать и писать. И еще музыкант, и художник. И артист (он уморительно «изображал» голоса братьев-писателей!). Наверное, я не все перечислил... Да, еще он был председателем Совета по литовской литературе, составителем и редактором ряда книг, сборников...

А еще он был мемуарист. Только очень жаль, что он так мало успел поведать из того, что знал, чему был свидетелем и в чем участвовал. Все некогда было писать мемуары, он не собирался на покой, был деятельным до последних дней. И даже в этой – посмертно вышедшей книге портретов-воспоминаний, он тоже умудрился убить сразу двух зайцев. Даже трех! В книге «Портреты без рам» Лев Озеров выступил одновременно как мемуарист, как поэт и как художник. Ибо написал воспоминания стихами, сопровождая их собственными рисунками и фотоснимками. Потому получилась не просто книга мемуаров, а нечто вроде полифонической эссеистики, лирико-эпической мозаики, – не нахожу точного определения! Несомненно одно: получился мир Льва Озерова, в котором столько счастливых и горьких, ярких и значительных пересечений с судьбами знаменитых поэтов, художников, музыкантов... Сам Лев Озеров в «Посвящении втором» пишет:

*О красоте человеческих лиц,
Или так: о людской судьбе.
Я хотел избежать небылиц
И притом забыть о себе.*

Да, себя отодвинул в сторонку, честно старался «забыть о себе», но это если и получилось, то чисто внешне, а по сути – вся книга окутана, объята личностью автора, тем и ценна.

Лев Озеров не успел завершить эту книгу, отсюда и некоторые минусы. Новизна самого способа изложения (изредка прорифмованный верлибр) требовала наладки, выверки. Особенно трудно стихами писать о поэтах. Такие попытки делались и раньше – например, биографическая поэма Асеева «Маяковский начинается», – идея изначально была рискованной, да и в конечном счете вряд ли оправдала себя. У Льва Озерова меньше риска, задача авторского слова скромней, стих не претендует на собственную значимость, он не цель, а средство. Тем не менее ощутимы перепады – от поэтического текста до прозаического, так сказать, информативного (членения на строки в таких случаях лишь затрудняют чтение).

Уже одно оглавление книги обладает притягательной силой: пятьдесят портретов – какие личности, какие люди! – Пастернак и Ахматова, Платонов и Зощенко, Заболоцкий и Слуцкий, Паустовский и Олеша, Шостакович и Хачатурян, Уланова и Татлин, Пришвин и Бабель, Гильельс и Фаворский, – как на подбор! Высокое общество, пятьдесят прекрасных собеседников. Плюс один – сам Лев Озеров. Уйма драгоценных деталей, живые характерные черточки – россыпь наблюдений, свидетельств. Плюс воздух эпохи. Плюс быстрое перо рисовальщика – любящего и слегка подтрунивающего в своих дружеских шаржах. Плюс напряженная трагическая струна поэзии. Образные вкрапления остаются в памяти уже не как детали того или иного портрета, а как печать самого автора, который «забыть о себе» не волен. Приведу хотя бы один пример: вдове Маркиша (после реабилитации поэта) звонят их КГБ, что она может прийти и получить какие-то гроши за... золотые коронки погибшего мужа. Вдова, вскрикивает, падает в обморок,

*А телефонная трубка
На витом проводе,
Шаря по стене,
Раскачивалась, как маятник,
Отсчитывая наше гиблое время.*

В таких случаях повествовательный верлибр озаряется бликами поэзии.

ПО СКЛОНУ...

Прочитал воспоминания дочери поэта Сергея Васильевича Смирнова. Когда б не стихотворные цитаты, ни за что не узнал бы его – таким высветленным и благостным он предстаёт со страниц альманаха. Конечно, можно дочку понять. С болью пишет, как трудно он умирал, трогательно – о его последней встрече со священником и об отпевании (а какой был атеист-коммунист!). Дед его был, оказывается, латыш.

Я, конечно, хорошо его помню. Его сборник «Откровенный разговор (1951) был для меня открытием. Я увлекся его стихами – живыми, светлыми, выгодно отличавшимися от потока тогдашних пафосных виршей своим мягким юмором, живыми деталями (вроде «А на крыле автомашины / Сушила крылья стрекоза») и доверительной простотой. Глоток свежего воздуха. С тех пор запомнилось:

*Возникла радуга такая
На фоне тучки и леска,
Что паровоз, вдали мелькая,
Не удержался от свистка.*

Потом познакомился и с самим автором. Горбатенький, почти всегда пьяный. Встаёт перед глазами картина: в Переделкине в забегаловке «У Никишки» он в непотребном виде ползает на четвереньках за какой-то собачкой, ласкательно подзывая ее матерными словами. Еще вижу: писательская делегация, кажется, в Чувашии. Едем в автобусе, устали, вдруг Сергей Васильевич запел:

*Хороши вечера на Оби.
Ты, мой милый, меня у..би.
Если ж ты не умеешь е..ать,
Научись на гармошке играть...*

И всех развеселил.

С годами он стал писать всё хуже (я, честно говоря, перестал читать, потерял к нему интерес), ворвались в поэзию шестидесятники, оттеснили его скромный дар, он озлобился, подался к мракобесам и заслужил эпиграмму, которая его пережила:

*Смирнов горбат.
Стихи его горбаты.
Кто виноват?
Евреи виноваты.*

АНДРЕЙ ЛУПАН. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Мы были дружны. Своеобразная, конечно, дружба на разных ступенях общественного положения и возраста: когда я познакомился с ним, мне, вчерашнему студенту, было 24, а ему, сановнику, 42 – он казался мне пожилым. Раз и навсегда сформировавшийся, законченный, степенный, даже шутил солидно, как бы извиняясь, что шутит (к лицу ли?). Весь из куска прочной породы, обладающий качествами руководителя, лидера. Он управлял молдавским союзом писателей убежденно, последовательно, жестко – вплоть до жестокости (например, упорно и напрасно ополчался на роман «Павел Брагар» Мозеша Каханы). Он виделся мне утесом среди интриг, всевозможных литературных или политических страстей.

Мне трудно представить себе Кишинев без Андрея Лупана...

К старости удалившийся от дел, он долго еще негласно присутствовал в литературной жизни. Хотя его и не было в председательском кабинете, все равно братья-писатели мысленно оглядывались на Лупана: как он? что он про это думает?

При советской власти в зенит молдавской поэзии взошла двойная звезда: Емилиан Буков-Андрей Лупан. Более противоположных по типу людей трудно было сыскать. Они друг друга терпеть не могли. Первый был, – каким полагается быть поэту: увлекающимся, загуливающим, красующимся, второй – бдительным пастухом литературной отары.. Просится на язык расхожее выражение, что Лупан (академик, председатель, секретарь, депутат и т.п.) был больше, чем поэт, но поэтом он с виду как раз был меньше всего – не выставлял свой дар, стеснялся играть поэтическую роль, хотя относился к своему призванию весьма серьезно.

Лупан – от слова lup – волк. Но ничего хищного за ним не числилось. Жил до смерти в многоэтажном доме на шумной центральной улице. Идеалист-коммунист.

Я опубликовал о нем в свое время в «Литгазете» нечто вроде литературного портрета, добавлю несколько черточек...

...В пятидесятых годах был юбилей Адама Мицкевича. Андрей Лупан взялся перевести на молдавский для журнала «Октомбрие» два стихотворения польского классика. Номер был уже готов, пора отправлять в типографию, а Лупан никак не разродится... Наконец, в последний момент приносит, мы сходу, не читая, засылаем в набор. Через несколько дней я читаю гранки, и вдруг вижу, что вслед за последней строфой «Воеводы» идут еще 8 строк! Что это значит? Не понимаю. И только наткнувшись на фамилию «Пономарь» в весьма ироническом контексте (Федор Пономарь был главным редактором журнала), догадываюсь, что эта приписка – розыгрыш.

Посмеявшись вдоволь, несущие гранки Пономарю, – посмотрите, дескать, тут что-то не то! А он:

– Бросьте! Раз Лупан перевел, все в порядке. Не буду читать!

Я продолжаю настаивать. Раздраженный Пономарь натягивает очки, склоняется над текстом, потом откидывается в кресле и сдавленным голосом спрашивает:

– А что, у Мицкевича тоже был Пономарь?..

...Лупан, конечно, никак не ожидал, что его шутливая приписка дойдет до набора! Он ворчливо смеялся, когда узнал, что получилось...

Был в Кишиневе такой писатель – Игорь Шведов. Он обделал свои дела с редактором издательства Комаровским и сумел не только выпустить толстый роман «Актеры», но и заключить договор на массовое переиздание, несмотря на то, что первый тираж не был распродан, Шведов уже получил 40% за массовый и (когда Комаровского сняли) по суду хотел получить остальное. Шведова вызвали на правление Союза писателей Молдавии. Он явился с целой кипой документов и плюхнул ее на стол перед Лупаном. Помню, как Андрей Павлович медленно встал и резко, ребром ладони сбросил на пол шведовские папки.

– С бумагами пусть разбирается суд, – сказал он. – А мы знаем. Вы используете ситуацию в корыстных целях. Извольте выслушать мнение товарищей по перу. Я лично предлагаю исключить Шведова из Союза писателей...

Кончилось тем, что Шведов отозвал свой иск из суда.

Пожаловал как-то в Кишинев молодой поэт Ион Болдума, то ли придурковатый, то ли себе на уме, поначалу бедствовал, ни кола, ни двора. Заявился из села со своими простовато-хитроватыми стихами.

Лупан, сам бывший крестьянин, помог «самородку» – выхлопотал ему квартиру уехавшего Иосифа Герасимова. И вот несколько дней спустя...

Надо сказать, что Андрей Павлович любил по воскресеньям общаться с народом – он лично ходил на базар, пробовал вино (сам винодел!), овощи, фрукты, вступал в разговоры... Вдруг замечает – люди толпятся вокруг кого-то. Протиснувшись в середину, Лупан видит – у стены стоит «самородок» и продает унитаза.

– Что это значит? А? – грозно спросил Лупан.

– Андрей Павлович, это из квартиры, которую мне дали, большое спасибо Вам! Но зачем мне унитаз, мы в деревне к этому не привыкли, вот я и продаю. Очень деньги нужны на побелку...

– Сколько? – задыхаясь от гнева, спросил Лупан.

– Сто рублей, Андрей Павлович... Недорого.

Лупан наскреб по карманам около ста рублей, сунул их Иону, поднял унитаз, грохнул его об стену и зашагал прочь...

Через неделю утром раздался в дверь Лупана робкий стук. За дверью, переминаясь с ноги на ногу и не поднимая глаз, стоял Ион Болдума:

– Андрей Павлович, за Вами еще два рубля...

Но знаменит Болдума стал не стихами и не подобными выходками.

Кишиневские власти в шестидесятых годах решили, что крест на соборе напротив здания ЦК мешает им (собор уже не действовал). Кто-то пытался робко их отговорить – дескать, напротив Кремля тоже крест на Василии Блаженном, и ничего... Однако первый секретарь местного ЦК Бодюл остался непреклонным. Крест постановили снять. Но... но никак не могли найти исполнителя. Не было желающих, хотя

за это сулили солидную сумму. Спас положение Ион Болду-ма. Он вызвался один, без посторонней помощи снять крест...

Полез и снял. Воровато, в четыре часа утра, когда горожа-не еще спали и троллейбусы не ходили... Тридцать сребрени-ков наверняка получил.

Ион Болдума лет через двадцать умер, стихи его забыты, вспоминают его разве что в связи с этим «подвигом».

Отъехали мы как-то вечером большой писательской деле-гацией в Москву. Распределились по купе спального вагона. И вышло так, что Лупан остался вдвоем с молоденькой жур-налисткой. В коридоре по этому поводу конца не было дву-смысленным шуткам, журналистка хихикала, а Андрей Пав-лович изредка снисходительно и смущенно покашливал, слов-но кряхтел. Наконец, отправились спать.

Утром со слов журналистки (а ее, естественно, любопыт-ствующие кинулись расспрашивать) произошло следующее: Андрей Павлович вежливо подождал в коридоре, пока деви-ца разделась и улеглась, потом, постучав, вошел в купе и – прямо к ней. Она от неожиданности перепугалась:

– Что вы делаете? Я сейчас закричу!

Лупан молча отвалил, полез на свою полку, и после харак-терного для него покашливания-покряхтывания, промолвил глуховато:

– Я, простите, не собирался вовсе. Но после стольких раз-говоров... Я боялся, что вы обидитесь...

Как и все кишиневские литераторы, он был задет страха-ми. Усматривал заговоры и сговоры и там, где их в помине не было. Однажды во время писательского съезда пьяный поэт Константин Семеновский что-то лихо выкрикнул с балкона, кажется, о невнимании к русским писателям в республике. Костю без шума вывели под ручки. Лупан был совершенно уверен, что это продуманная акция, что Семеновского под-пили и подговорили, за ним стоят определенные силы и т.п. Мне не удалось его поколебать...

Во время декады молдавской литературы в Москве (1960 г.) на торжественном вечере в Колонном зале Дома Союзов Лупан решил прочитать стихотворение «Тост», абсолютно правильное и скучное. Так было заведено, все «националы» читали стихи в таком духе. Я же стал его уговаривать прочесть необычное – «О бомбе» (дело не в том, что перевод был мой, а в том, что стихи могли выделиться по сути, я же «болел» за Лупана). Он долго упирался, наконец рискнул. Вышел на трибуну и, волнуясь, бросил в зал:

*...Как-никак, а шар земной мы ценим,
жизнь на нем привыкли на лету.
Бомбе, что ль, на хвост его нацепим,
кубарем запустим в пустоту?
Мол, давай шатайся электроном,
прострочи посмертной точкой мир,
среди звезд, живущих по законам,
скорби отыщи ориентир...
«Милая моя, частица бета,
альфа, улетающая в пустоту,
потеряла в мире точку ту,
где была позавчера планета.
Только в уравнениях отыщи ты,
лишь в координатах улови
то Париж какой-то позабытый,
то константу смутную любви...»*

Провожали его шквалом аплодисментов, долго помнили его имя в связи с этим стихотворением. Лупана привычно в Москве считали видным деятелем молдавской литературы, а оказалось, что он еще и поэт! Лупан впервые вкусил сладость нечаянной славы.

Правда, Лупан заявил о себе и раньше смелым стихотворением «Меа сифра», но мало кто его прочитал в истинном виде. Я его перевел и опубликовал в кишиневском журнале «Октябрь» (№ 9, 1956 г.), но когда дело дошло до издания в сборнике, вышла осечка из-за тех строк, которые мне особенно нравились и составляли суть стихотворения:

*Я виноват, что стиснул глотку
Во имя вымученных фраз,
Родной язык давал на откуп
Законодателям на час.*

Книга была уже на выходе, когда меня утром вызвали в местное ЦК к инструктору отдела пропаганды Заднепрову (впоследствии он как поэт подписывался – Заднипру). Он повелел (от имени инстанций и по согласованию с автором) немедленно выехать в Тирасполь, где печатался сборник Лупана (машина уже у подъезда!) и в листах заменить это четверостишие, а другое поправить. Дескать, я в переводе непропорционально обострил оригинал... С тяжелым сердцем я утрамбовал колючие строки – получилось (вместо вышеприведенных) такое:

*Я виноват в одном – что робость
Порой ломала мне строку,
Когда толкала низкопробность
К штампованному языку.*

И вместо «Когда поэзию коверкал / И лгал читателю в глаза» пришлось внести «поправку»: «... Смотри читателю в глаза»...

В таком виде, к сожалению, это стихотворение и перепечатывалось в последующих сборниках...

(В Союзе писателей СССР на первый вариант обратил внимание Игорь Сеньков, знакомый мне еще с литинститутских времен, а тогда консультант СП и парторг. Он просматривал все республиканские журналы, и при встрече (я приезжал в Москву кажется после венгерских событий) «по-дружески» указал мне на то, что я поддался опасным настроениям Лупана. Не знаю, «сигнализировал» ли он «наверх»...)

Благодаря Лупану я оказался в Москве – он рекомендовал меня в консультанты по молдавской литературе в «большой» Союз писателей. Помню, как он впервые приехал в Москву на дежурство – тогда завели такой порядок, что все республиканские секретари СП поочередно по три месяца работали в Мос-

кве. Андрей Павлович устроился в отведенном ему кабинете и запросто пошел со мной обедать в ЦДЛ. Назавтра опять пошли обедать вместе, было о чем поговорить... На третий день Андрей Павлович накануне обеденного перерыва вызвал меня в коридор и, угрюмо покашливая, пробормотал:

– Кирилл, не получается. Мне сделали замечание, здесь секретари должны обедать вместе и не в ЦДЛ, а там, знаешь, в полуподвале за кабинетом Маркова... Им туда приносят обеды...

Иерархия!

Лупан терпеть не мог местное партийное начальство во главе с Иваном Ивановичем Бодюлом, ему отвечали взаимностью. Однако это не мешало ему быть правове́рным – он служил идее, а не ее чиновникам.

Моя последняя встреча с ним была как раз накануне путча в 1991 году. Наверное, он сильно переживал происходящее, но держался достойно, иногда гневно (против разнузданности националистов), иногда смущенно (признался, что стихотворение о голоде – «Презренный Олимп», которое в свое время перевел я, было написано в 1946 году – то есть при советской власти, а не в 1935-ом при румынах, как значилось в книжке).

Я много переводил из Лупана и писал о нем, он попытался хоть как-то, но ответить мне тем же – перевел мое стихотворение «Лайка», написал предисловие (взвешенное, даже с критическими нотками) к моему сборнику «Стихи» 1963 года.

Попутно замечу, что в журнальном варианте стихотворения «Дискуссия с проектом резолюции» Лупан подтрунивал над многими братьями-поэтами, в том числе и меня упомянул (привожу в современной транскрипции):

*Covalgi sã facã-un pic de frondã,
Agitãndu-si sufletul plãpând.*

(То-есть, «Ковальджи бы слегка фрондировал, будоража свою нежную душу»)

Лупан был в состоянии замучить переводчиков. Он начал править! Дело даже не в его, мягко говоря, своеобразной грамматике русского языка, которую он силился на ходу «придумать». Нет, он, добиваясь соответствия оригиналу, приземлял текст, «сдерживал» интонацию. Не давал переводчику разгуляться, щегольнуть эпитетом. Лупану это было решительно не нужно. Чего греха таить, с легкой руки Вознесенского мы привыкли к стилистическим эффектам, а Лупан их упрямо чурался. Вот, например, я перевел стихотворение Лупана про безвестного старика Пахома, который самолично вырыл колодец при дороге:

Прочно сруб он сработал – на тысячу лет!

Лупан долго кряхтел, черкал строку, наконец, она выписалась из помарок в явно «сниженном» виде:

Прочно сруб он сработал на старости лет...

Он был по-своему прав, но приходилось с ним и бороться (я был редактором его книги на русском языке) – он был в состоянии покалечить, безнадежно испортить перевод. Андрей Павлович очень хорошо знал, что ему нужно, но плохо чувствовал русский язык (в отличие от Иона Друцэ, который с первого знакомства удивлял меня тем, что владел русским лучше многих русских!)...

Андрей Лупан был на редкость цельной личностью. Ничто в нем не совершалось легко и ловко. Он был похож на каменотеса. Если надо было повернуть, то поворот вырубался в камне...

ДРУЦЭ ОТВЕЧАЕТ НА КРИТИКУ

В кишиневской партийной газете году в пятьдесят восьмом вышла подлая статья против Иона Друцэ. Захожу к нему, чтобы поддержать его, выразить свою солидарность. Вижу, он сидит за столом, что-то пишет, с трудом отрывается от бумаги.

– Опровержение? – проявляю я догадливость.

– Что ты! Я начал новый рассказ. – Замечает, что я удивлен, говорит: – У меня привычка, я всегда так отвечаю...

Когда-то ему преподавал урок Аникст. Друцэ был взбешен каким-то дурацким наскоком. В отчаянии он спросил у Аникста (это было в ту пору, когда Ион учился на Высших литературных курсах):

– Что же мне делать?

– Пренебрегите.

Мудрый совет. Однажды, когда я был расстроен неожиданной неудачей, Николай Давыдович Оттен, видя что я на этом зациклился, сказал:

– Я в таких случаях говорю: этого не было!

И вдруг я успокоился. Всё. Этого не было.

Но ответ Друцэ куда сильней. И убийственной для всех и всяческих недругов..

И еще мне запомнилось: пришел я как-то к нему (он жил тогда в Москве на Садовой). Довольный, возбужденный, даже озорной (он писал тогда свою повесть «Бремя нашей доброты»), он усаживает меня на диван:

– Слушай. Вот я только что завершил главу. – Выбрал какие-то листочки и начал читать. Закончив, спрашивает:

– Ну как?

– По-моему, хорошо. Молодец!

– Нет! – отмахивается он. – Это я выбросил. Вот как я переделал:

И я, переборов смущение, вынужден согласиться, что так – гораздо лучше.

– Но и этот вариант я отбросил! Вот окончательный текст...

Мне остается только руками развести. Действительно, теперь по-настоящему здорово Рад за него, но с грустью констатирую, что я, пожалуй, остановился бы на первом варианте. Значит, я недостаточно требователен к себе...

... Идет съезд Союза писателей Молдавии. Во время перерыва в комнате президиума, где бутерброды, пирожные, напитки первый секретарь ЦК Иван Иванович Бодюл при мне, Катаеве, Озерове, Воронкове зло бросает реплику: ваш Друцэ хуже Солженицына. У него, дескать, в романе выходит из

леса румынский офицер, фашист, и обнимается с главным героем. Все молчат. Я простодушно говорю:

– Такого эпизода в романе нет...

– Как нет? Мне сказали...

В свою пору я при Союзе писателей организовал собрание в защиту пьесы Друцэ «Каса маре». Секретарь молдавского ЦК по идеологии Постовой (фамилия – как нарочно!) выступил в печати, протестуя против готовящейся постановке этой драмы в московском Театре Советской армии.

Я заметил, что москвичи с большим удовольствием ругали Постового – как бы на нем отыгрывались за все стеснения со стороны партийного руководства вообще. Отыгрывались, призывая центр приструнить молдавского феодала...

В начале нашего знакомства Друцэ попросил меня перевести один его рассказ. Я с удовольствием перевел, это был «Шепот ореха». Приношу свой текст автору, жду похвалы. А он молчит, думает, потом произносит:

– Можно, я поправлю?

– Конечно. – отвечаю, скрывая обиду. Посмотрим, как это молдаванин будет меня править. – и, усевшись в кресло, стал читать газету.

Минут через двадцать Ион вернул мне изрядно исчерканный перевод. Я был поражен. Не только тем, что он улучшил текст (вскоре Ион сам стал переводить свои вещи, а затем – и писать по-русски!), а тем, что он с рассказом сделал. Он похозяйски перелопатил его, что-то вычеркнул, что-то добавил – в зависимости от того, как звучало по-русски. Он даже изменил интонацию, повысил тон. Если в оригинале рефреном шла фраза «Ничего, всё в порядке!», то Друцэ решительно написал: «Вот это по-нашему, это здорово!» и соответственно прошелся по стилю рассказа.

Конечно, хозяин – барин. Переводчику «отсебятина» заказана, но и ему без определенной художественной смелости не обойтись.

Друзэ рассказывал, что он написал первый рассказ, будучи в армии. Сочинил что-то про безработного в Лондоне. . . Вроде получилось, а в душе чувство какой-то неловкости. И только когда следующий его герой пожелал поселиться в его родном доме, Ион вдруг понял, что и как надо писать. . .

У Иона Пантелеевича характер – дай Бог! Помню, в библиотеке журнала «Дружба народов» решили выпустить его однотомник и спросили у меня (я работал консультантом по молдавской литературе) кому бы заказать вступительную статью. Я посоветовал известного талантливой критика Л. Дело сладилось, статья была написана. Л. как человек сугубо городской позволил себе поразмышлять о небесспорных судьбах сельской тематики в современной литературе. Я дал Иону статью. Прошло недели две, мне звонят из редакции: где статья? Пора засылать в набор. . . Я тут же звоню Иону. А он: – Какая статья? Нет у меня никакой статьи. . . Перепуганный, я стал объяснять, он меня перебил: – А! Та статья. . . Я и забыл. Она мне не понравилась. – Так верни её, редакция спрашивает с меня. . . – Я ее выбросил в мусоропровод.

Ужас! Статья была в единственном экземпляре. Не знаю, как редакция выкрутилась, но вступительную статью к однотомнику пришлось пере заказать. . .

ВЕНКИ ОТ ТРЕХ СТОЛИЦ

Москва прощалась с Эмилем Лотяну. . . Но не только Москва.

Траурные венки трех государств выстроились у задней стены на сцене Дома кино. На лентах золотились надписи от множества московских организаций, от посольства Румынии, от посольства Молдавии. Эмиль Лотяну органически соединял в себе романскую и славянскую ипостаси человеческой культуры. Благодаря его горячему, щедрому, романтическому таланту миллионы кинозрителей испытали очарование русской балерины Анны Павловой, гения румынского язы-

ка Михая Эминеску, героев Чехова и Горького, бродячих музыкантов цыганского племени.

Эмиль был поэтом. Он был автором нескольких сборников стихотворений, когда шагнул в мир кинематографа. И стал поэтом экрана, поклонником и творцом красоты, певцом неумной страсти, высоты человеческого духа, героики. Он был, пожалуй, последним крупным романтиком двадцатого века. Редким, столь редким в наши дни – хоть заноси в Красную книгу. Беречь бы таких и холить, цены им нет. И замены тоже нет.

Обидно и больно, что в последние годы Эмиль Лотяну, полный творческой энергии, не имел возможности ставить картины. И только недавно привалили какие-то деньги, замаячило осуществление давних планов, но было поздно. Силы были подорваны. Он умел бороться за правду, за свои принципы, за своих друзей, но не умел жить по волчьим законам дикого рынка, не был приспособлен к борьбе без правил. За его жизнелюбием, солнечным темпераментом, творческой одержимостью вырисовывалась одинокая тень Дон Кихота. Порой я ловил в его жарких южных глазах недоумение: неужели есть люди смирившиеся с вялой серой жизнью?

Как бы не колебалась стрелка его сердца, она всегда указывала на полюс прекрасного в искусстве. Эта вера была его путеводной звездой. Он всю жизнь работал на износ – вдохновенно и требовательно. Ни себе, ни другим спуску не давал. Он был настоящий трудоголик. Это его спасло от многих соблазнов – он в молодости (а я его помню с девятнадцати лет!) был красавцем, таким римским кудрявым юношей, сердцеедом и баловнем судьбы. Казалось, он заиграется, упоенный собой, как Нарцисс, блеснет бенгальским огнем и – иди, свищи. А в нем была спасительная взыскательность, целеустремленность, глубина. Он стал замечательным, самобытным режиссером – теперь это ясно всем. Его значение со временем станет всё очевидней, его фильмы принесут радость и следующим поколениям. Зрители, уставшие от киношной чернухи и порнухи, будут с восторженной завистью встречать его пламенных героев.

Его стихи я стал переводить чуть ли в середине прошлого века. Потому, прощаясь с ним, у его гроба я прочитал его строки (смерть поэта придала им горькое, горестное звучание):

ЛЮБИ МЕНЯ...

*Люби меня, как перед расставаньем
В конце времен, на роковой черте,
Окутай волосами и дыханьем,
И научи губами немоте.*

*Мой стебелек, шальная сумасбродка,
На радость мне, на сладкую беду.
Вся вечность мне покажется короткой,
Когда к тебе я снова припаду.*

*Прижмись и обними до боли нежной,
В своей красе бесследно утопи,
С отчаяньем утраты неизбежной
В неповторимый миг меня люби!*

*Окутай волосами и дыханьем,
И научи губами немоте,
Люби меня, как перед расставаньем
В конце времен, на роковой черте.*

СЛОВО О НИКИТЕ СТЭНЕСКУ

Когда я увидел его в первый раз? Году в шестьдесят втором в Бухаресте мне сказали: «вот идет лидер новой волны». И я из машины увидел со спины высокого, слегка сутулого юношу, который пересекал пустынную площадь...

Прошли годы. Уже Никита Стэнеску пересек черту – отошел к классикам...

Один из крупнейших... нет, пожалуй, крупнейший румынский поэт после Тудора Аргези – он был в 1980 году

номинирован Шведской академией на Нобелевскую премию, волновался (он стал бы первым румынским писателем, удостоенным такой чести!), но не сбылось (лауреатом тогда оказался О. Элитис)... Никита получил немало премий – и свою, отечественную, и германскую, и итальянскую, стал лауреатом Стружских вечеров поэзии, но горечь от несостоявшейся Нобелевской давала себя знать. Забыв от этого, я как-то пришел к нему с приобретенной по дороге книгой о Нобелевских лауреатах по литературе, и удивился его неожиданной, почти брезгливой гримасе... Переживал. А мог бы и гордиться – вместе с ним в тот раз не получили премию Борхес, Сенгор, Фриш! Великолепная компания.

У нас его не очень-то знают, хотя в 1984 году вышел томик его избранного – «Стихи» (изд. «Художественная литература»). Имя Никиты Стэнеску впервые прозвучало в «Иностранной литературе» в 1968 году, — и с тех пор в журнале и других изданиях нередко появлялись его стихи в переводах известных наших поэтов – Б. Окуджавы, Б. Слуцкого, Ю. Левитанского, Е. Винокурова, а также Ю. Кожевникова и автора этих строк.

Прежде всего бросаются в глаза необычайная свобода, раскованность, размах его вдохновения. Отличный мастер традиционного стиха, он редко пользовался его канонами – стихотворение выливалось в ту прихотливую форму своеобразного верлибра, которая возникала вместе с замыслом.

Никита Стэнеску – визионер. Его образный язык кажется непредсказуемо причудливым, лишь по привыкнув постигаешь глубину мысли, современность мироощущения и его прозрения. Если для лирического стихотворения характерна локальность (чувства, наблюдения, мысли, образа), то у Никиты Стэнеску даже поэтическая миниатюра «глобальна» – она, словно капля, отражает в себе небо и солнце. Его стихи больше чем поэзия (позволю себе так перевернуть формулу Евтушенко).

Кстати, новая волна румынской поэзии, лидером которой был Стэнеску, по времени совпала с невиданной славой наших «шестидесятников». Но она была решительно другой.

Наш лидер Евтушенко выдвинулся как поэт прямого высказывания, что было чуждо «модернисту» Стэнеску. Помню, как Евтушенко, вернувшись из Белграда, жаловался мне на молодых румынских поэтов, своим отрицанием доведших его чуть ли не до слез (спорили с ним Никита Стэнеску и Чезар Балтаг). Он болезненно их запомнил и через годы все спрашивал меня о их судьбе. Недавно мне пришлось сказать ему, что и Никита и Чезар давно уже покойники . .

Никита Стэнеску по-хозяйски уверенно владел словом и в то же время он целиком отдавался стихии, был так охвачен стремительным прозрачным пламенем поэзии, что югославский поэт Адам Пуслоич, переведший на сербскохорватский многие его произведения, сказал мне, ошеломленный (после того как всю ночь слушал новые стихи Никиты): «Это уже не человек, это только поэт».

«У поэта нет биографии, его произведения, в сущности, и есть его биография, которая может быть лучше или хуже, может быть славной или не очень» – писал Никита. И еще он говорил, что поэт не пером пишет, а самим собой.

Он жил широко и упоенно, с какой-то неутоленной жадностью, удивлявшей всех, кто его знал. «Цель творчества – самоотдача.», – эти слова Пастернака как нельзя лучше относились к Никите Стэнеску, чья самоотдача была такой безудержной, будто он горел, И сгорел, едва достигнув пятидесяти лет...

Знали, что он. большой поэт, и все-таки, когда умер, поразились, словно в первый раз обнаружили, какой он был. Почему – был? Он существует, он весь обозрим и доступен, как страна, которая становится все больше, но мере того как ее узнаешь,..

Я пишу уверенные слова о творческом бессмертии, но они никак не утешают: я любил его. Приезжая в Румынию, я спешил к нему. Никогда уже не будет этого.

Так случилось, что я был у него в гостях за три недели до его внезапной смерти, он успел узнать, что в Москве подписана в печать его книжка, с нетерпением ждал ее, строил планы на весну, собирался с женой попутешествовать по нашей стране, спрашивал, куда лучше, где интереснее... Между про-

чим, вспоминая дни, когда он был в Кишиневе, вдруг упомянул о скоропостижной смерти молдавского поэта Петра Заднипру, а я удивился, потому что в моей памяти эти два события – приезд Никиты в Кишинев и смерть Заднипру – не связывались, хотя совпадали по времени. Почему Никита вспомнил его? Поди докажи теперь, что это было не предчувствие своей скорой смерти! В остальном же говорили «о жизни, о жизни и только о ней».

Это был поэт огромного таланта, открытого щедрого сердца. И была в нем удаль – не русская ли, от матери Татьяны Никитичны Черячукиной (родившейся в 1910 году в Воронеже), чей дворянский род тянется из донских краев? Недоброжелатели – а такие всегда имеются у больших поэтов! – частенько спекулировали на его происхождении. Никита обычно отвечал, что его родина – румынский язык и что он, как известно, «полиглот» этого языка..

Но, конечно, не мог не думать о России. По рассказам матери он знал, что его дед был царским генералом и преподавал в Военной Академии. После революции семья пыталась выехать из Одессы, но им места не нашлось на последнем пассажирском судне, следовавшем в Константинополь. С грехом пополам отплыли на грузовой барже в румынскую Констанцу. Господь их спас, потому что пассажирское судно попало в страшный шторм и в тот же день затонуло..

Татьяна вышла замуж за Николая Стэнеску, крестьянского сына, ставшего мелким коммерсантом в городе Плоешть. Она боялась своего «белогвардейского» прошлого, старалась, чтобы сын чувствовал себя полноценным румыном, не учила его русскому языку. А он, слушая ее разговоры с тёткой, все равно научился понимать..

Мне довелось знакомить Никиту Стэнеску с Москвой. Он волновался, как будто тщился что-то вспомнить. Про Воронеж, правда, не спрашивал..

Никита был своевольным и дерзким новатором в поэзии, но в политике держался корректности. Не кадил Чаушеску, но и не склонен был к ссоре с властями. Компромисс, своеобразная плата за свободу быть «модернистом». Его громкая

слава была чисто поэтической (в отличие от наших шестидесятников).

К годовщине его смерти, в декабре 1984 года, вышла замечательная книга в 500 страниц крупного формата: «Никита Стэнеску. Мемориальный альбом», издание литературного журнала «Viata Românească». После вступительного слова следует эссе самого Никиты Стэнеску – «Автопортрет (1982), где он в частности, пишет:

«Поэзия поэта высвобождает сокровенную поэзию каждого. Величие поэта растет по мере того, как читатели открывают в нем не его самого, а самих себя».

Под этими вещими словами стоит дата: «Сегодня». Она – непреходящая, знак его победы над временем.

В книге сотни фотографий, сотни страниц воспоминаний, огромный биографический и литературоведческий материал, сотни неопубликованных стихотворений самого Стэнеску и десятки стихотворений, ему посвященных. В книгу вложен художественный плакат с его портретом, его подписью и стихотворным автографом, который начинается так:

*Только не забудьте
что он был человеком живым
живым
и его можно было потрогать..*

Среди россыпи рисунков, гравюр, факсимильных текстов в книге – снимки античных монет: Никита Стэнеску был страстным нумизматом, – так случилось, что одной из его последних прижизненных публикаций было предисловие «Богини носили бусы» к книге его друга Иона Доною «Женские образы на римских монетах». Коллекционер – понятие, не очень-то сопрягающееся со щедростью, но, вопреки самой сущности собирательства, Никита Стэнеску был расточительным, он в порыве сердечности дарил и раздаривал.

Мы часто говорили о монетах (я – нумизмат-любитель), но я так и не видел его коллекцию. Он то и дело срывался с места, откуда-то доставал (чуть ли не из-под подушки) то одну, то другую древнюю монету, рассказывал ее историю. Увидев,

как я восхитился греческой тетрадрахмой, он буквально заставил меня принять ее в дар.

Он раздавал и книги. Прочитанные, они на полках не задерживались, куда-то исчезали безвозвратно (кроме самых любимых, насущных, а таких было немного). Можно сказать – у него не было библиотеки. Даже не было комплекта своих авторских сборников. На мой недоуменный вопрос – как же можно так, не иметь под рукой всех своих изданий, мало ли для чего могут понадобиться? – он полушутя ответил: «Главное, чтобы они были не у меня. А если какая вдруг потребуется, думаю, родина мне ее одолжит...».

Его двухкомнатная квартира была легко обставлена, по-японски. Ничего лишнего. На стенах картины современных художников, подаренные ему. Преобладали светлые яркие краски...

Двери его были открыты днем и ночью, творческая жизнь превратилась то ли в богему, круглосуточное празднество, то ли во всепожирающий огонь жертвенника. Выпив, Никита преображался, часами взахлёб читал стихи и импровизировал. К нему текло неиссякаемое паломничество – друзья, знакомые и незнакомые. Только в последние годы, когда он поселился в центре Бухареста на улице Амзей, на дверях его скромной квартиры появилась вежливая записка:

*Тот, кто собирается постучать в эту дверь,
пусть подумает о том, что хозяин сей обители
при всем его гостеприимстве и радушии
нуждается в некотором времени
для уединения и сосредоточенной работы...*

Кстати, в Румынии его любовно называли по имени, – такой чести вряд ли кто из поэтов удостоивался...

Недавно я в Бухаресте шел мимо музея румынской литературы с Габриэлой Мелинеску, бывшей его женой, талантливой поэтессой, живущей теперь в Швеции. И вдруг я увидел перед музеем на постаменте Никиту Стэнеску – его голову в белом мраморе. Вот – удостоился памятника. А рядом со мной шла женщина, которую он любил...

И я вспомнил как в середине семидесятых годов Никита в баре познакомил меня с молодой Габриэлой. Внезапно он захотел что-то мне подарить. «Помнишь, Габи, ту медную чеканную иконку, она у тебя?», «Нет, у нас дома». «Давай подарим Кириллу, – пусть она его хранит. Сбегай за ней. Нет, возьми такси, быстро!»...

Никита целиком отдавался минуте, мгновенному порыву. Однако, когда одна минута сменялась другой, он столь же самозабвенно переключался. Так он загорелся издать сборник молдавских поэтов, – пообещал им, будучи в Кишинёве, торопил с подготовкой рукописи. Но потом... отвлёкся. Так он однажды мне позвонил в гостиницу (я только прибыл в Бухарест), – я, говорит, жду тебя внизу, в баре. Хочу перевести несколько твоих стихотворений для «*Lucefărul*»...

Я примчался, он решительно достал большой блокнот, – диктуй, говорит, подстрочник. И тут же за столиком стал переводить. Так мы поработали минут сорок. Он перевёл полтора стихотворения, вздохнул. Давай, говорит, выпьем стопочку, закусим, я не ел с утра, ты, наверное, тоже? ... Выпили, закусили. Ну, замечательно, говорит, я побегу. Доделаю дома.

Через два дня в газете вышла моя подборка в переводе за его подписью. Но... точно в таком виде, в каком он прервал работу. Полтора стихотворения в его переложении, полтора – девственно – в моём подстрочнике...

Никита в молодости был красавцем. Потом с годами несколько отяжелел, стал похож на римского патриция. Последняя его жена, молоденькая Тодорица, знала все его стихи, была в курсе всех его дел. Помню, мы сидим, беседуем, вдруг он говорит: – Дора, помнишь, в пятницу на кухне я написал стихотворение? А ну, найди его, принеси! – и ждет довольный, поглаживая себя по животику. Дора приносит. – Почитай нам. – И она читает...

Вот – как последний аккорд – одно из его стихотворений, переведенных мной в свое время – «Походка девушки»:

*Знай – летает под тобой
сорванное крыло,
знай – летает сорванное крыло
под твоими ступнями, когда ты идёшь.*

*И земля мне кажется воздухом –
так ее колышут твои ступни,
о, ты, свисающая,
словно черешня с черешни,
о ты, пребывающая,
как молоко в груди.*

*По спине ягнёнка
проходит тень облака,
по спине птицы
проходит тень солнца.*

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Он сразу обратил на себя внимание читателей и критиков. Первые его книжки появились в Румынии в середине шестидесятых годов, а вскоре о нем писали так:

«Марин Сореску – любимец публики, его сборники расходятся завидно быстро, как сенсационные романы. Выступление молодых поэтов может пройти незамеченным в любом городе, но достаточно произнести: «С нами Сореску», как встреча становится триумфальной».

Подобное у нас писали о Евтушенко и Вознесенском – его ровесниках (Сореску родился в 1936 году). Успех наших «шестидесятников» определялся романтическим пафосом, смелой гражданственностью, тогда как Сореску с первого взгляда может показаться их антиподом: скептик, да и стихи на стихи не похожи...

Первый сборник Марина Сореску. вышедший в 1964 году, назывался «Один среди поэтов». Чего тут было больше – иронии или вызова?

«Один среди поэтов» – сборник пародий. Марин Сореску начал с маленькой иронической антологии современной румынской поэзии, не очень ласково обошелся и со знаменитостями, и с ровесниками, виртуозно утрируя манеру каждого, выставляя их отраженными в кривом зеркале.

Дебют удался, о Марине Сореску заговорили, приветствуя появление талантливого пародиста... Знали бы критики, что на том дело и кончится: пародий Сореску больше не писал. Напротив, высмеяв всех и вся, он вдруг отважился предстать перед читателями как поэт. Правда, Сореску сразу встал в определенную позицию: дескать, у меня все не так – ни ритма, ни рифмы, ни кубиков четверостиший. Более того, у меня нет ничего общего с романтическим образом вдохновенного поэта, небожителя. Можете считать, что я – антипоэт, меня это вполне устраивает.

И действительно, Сореску словно бы не знает правил стихосложения. Он пользуется простыми, с виду самыми прозаическими словами, однако смысл исподволь сдвигается, привычная логика опрокидывается, подменяется своевольной игрой ума. И тогда обыденное оказывается нелепым, незыблемое – дутым... Короче говоря, Сореску с самого начала своего творческого пути явился возмутителем спокойствия.

За два десятка лет Марии Сореску стал известнейшим драматургом, прозаиком, критиком, публицистом, возглавил литературный еженедельник «Ramuri» («Ветви»), выходящий на его родине, в Олтении, перевел на румынский язык чуть ли не все стихотворения Пастернака, проявив при этом необыкновенную широту своих поэтических возможностей... Правда, затея была рискованной (Пастернак совсем иного склада!) и риск не всегда оправдался...

С годами многое в самом поэте изменилось, но его, если так можно выразиться, перпендикулярность общему течению осталась неизменной, какие бы новые территории в литературе он ни осваивал.

Марин Сореску иронически, а порой и откровенно саркастически реагировал на противоречия времени, контрасты и абсурд современного мира. Невозможно было выносить фальшь, лицемерие, катастрофическую глупость человечества,

дошедшего до края пропасти в результате двух мировых войн. Ответом Сореску были не эмоции, не ужас, гнев или проповедь, а трезвая, горькая и беспощадная усмешка.

Поэтам «новой волны» в Румынии пришлось пройти не только испытание славой, но и гнетущий, долгий период политической реакции. Чаушеску наращивал режим личной власти, насаждая культ правящей четы, спекулируя на национальных чувствах народа.

Поэты «новой волны» достойно выдержали испытания. Они нашли выход в политической отстраненности, уходе в философские сферы, некую элитарность... Такая позиция позволяла сохранить эстетическую независимость.

В румынской поэзии сложилась удивительная ситуация. Участники официального движения «Песнь Румынии» самими что ни на есть традиционными стихами воспевали Николае Чаушеску – «героя из героев», «солнце золотой эпохи» румынской истории. И в тех же литературных изданиях присутствовала «модернистская», интеллектуальная поэзия, которая стала своеобразным жестом отталкивания, несогласия с официальной парадностью. Однако тучи сгущались.

Никита Стэнеску и Григоре Хаджиу умерли в расцвете сил. Ана Бландиана, как и ее старший товарищ, Дан Дешлиу, и младший – Мирча Динеску, подверглись преследованиям, жизнь их была в опасности. Марину Сореску в анонимных письмах и телефонных звонках не раз угрожали расправой. В 1982 году им впрямую занялась секуритате (госбезопасность). Психиатры спецслужбы поставили поэту необычный диагноз: «навязчивая идея дегградации социализма».

Но в действительности дегградировал режим Чаушеску. По странному совпадению сборник стихотворений Марина Сореску «Экватор и полюса» вышел во второй половине 1989 года в той самой Тимишоаре, откуда вскоре началось восстание против диктатуры.

Важно подчеркнуть, что при крутом повороте в жизни страны творчество Марина Сореску выглядит еще значительней. Ему ничего не пришлось пересматривать, ни от чего отказываться – он шел своим, честным путем. Не только сати-

рические парадоксы, а независимость, самостоятельность определили и творческий авторитет, и успех поэта. Нужно было большое мужество, чтобы при Чаушеску написать такие, например, строки:

*Внимание! На старт!
Мы начинаем соревнование по зимней спячке.
Забирайтесь, сограждане, в норы.
Поглядим – кто кого переспит...*

На первый взгляд кажется, будто Сореску строит свои стихи математически четко, конструирует их, игнорируя эмоциональную стихию. На самом деле поэт умело соединяет несоединимое: озарение с логикой. Метафора разворачивается по жестким законам, но рождена она прежде всего талантом, наитием, благодаря которому поэту удастся сказать новое слово о величии искусства, об Эмнеску, о Шекспире, о живой, непосредственной связи с предками, с родной землей. К любой теме поэт подходит с неожиданной стороны. Как, например, в стихотворении «Пешеход»:

*Автомобили победили,
А из пешеходов оставлен
Только один,
Чтобы он то тут, то там переходил
Улицу...*

О поэтическом голосе Марина Сореску не скажешь – громкий или тихий. Такое впечатление, будто он не говорит, а показывает живые картинки, перед нами не певец, не оратор, а мим. Он не скажет: «люблю», «ненавижу», «радость», «горе» – он стремится вернуть читателю первозданную свежесть восприятия, прибегая к древнейшему способу передачи чувств – образному, зрительному. Но делает это на вполне современном интеллектуальном уровне, выставляя нашу «культурную» зашоренность в пародийном свете, резко обнажая стереотипы мышления, предрассудки, демагогию и прочие изъяны человека и коллективного сознания. Вот как заканчивается его стихотворение «Приметы»:

*Если встретишься со змеей,
Добрый знак – ей смерть, а тебе в рай.
Если змея встретит тебя,
Дурной знак – тебе смерть, а ей – в рай.
Если умрешь – дурной знак.
Берегись этой приметы,
Как и всех остальных...*

Если Никита Стэнеску, его «соперник по славе», ярче других отзывался на высокое назначение человека и искусства, выражая боль и радость времени, утверждая нравственные первоосновы личности как потомка предков и предка потомков, то Марин Сореску острее других чувствовал, что грозит человеку бедой, хотя порой и кажется заманчивым, соблазнительным. Можно сказать так: Марин Сореску очень раним в своей любви к человеку, потому так беспощаден ко всему, что оскорбляет эту любовь. Сквозь иронию проступают мысли глубоко серьезные, основанные на том понимании поэтического признания, которое было сформулировано еще Горацием. В стихотворении «Грабители» с подкупающей улыбкой и нарочитым простодушием Сореску говорит о том, как он рассылал свои стихи родителям, родственникам, друзьям. И вдруг на новом витке – через отрицание пафоса – звучит самый настоящий пафос:

*Я и сам не знаю теперь,
Где обретаются те или иные мои сочинения,
И в случае, если нагрянут с обыском,
То, как бы меня ни пытали,
Все равно ничего не смогу я сказать сверх того,
Что мои стихи – в падежном месте,
В этой стране.*

Две его книги «В Сиреневом», 1973 и 1977 годов, стали неожиданными для румынского читателя, привыкшего к лаконизму и графической четкости стиля поэта. Марин Сорес-

ку вдруг перешел на стиль сельских балагуров, рассказывая анекдоты, происшествия и предания, бытующие в родной ему Олтении. В этой стилизации все очарование его стихотворных побасенок: он отразил народное мировосприятие, юмор и неповторимый местный говор.

Да, Сореску, будучи всегда самим собой, не оставался равным самому себе. Он поражал неожиданными переменами своего творческого лица. После интеллектуальной «антилирики», после драматургии, прозы и критики, после фольклористики тот же Марин Сореску отважился на самую настоящую лирику – любовную. Он выпустил в 1976 году книгу «Descvntoteca» (неологизм, означающий «свод заклинаний, собрание заговоров»). Конечно, и тут не обошлось без иронической игры ассоциаций, без интеллектуальной рефлексии, по в первую очередь это песнь любви, прекрасной и романтической.

Не успели критики осмыслить эти перемены, как в романе «Подобие логова» (1982) Марин Сореску поместил стихи весьма короткие и вполне традиционные. Тут и размер, и рифма, и кубики четверостиший, но все это скреплено интонацией лукавого пересмешника, скомороха.

Затем последовали еще один роман, книга критических статей, пьесы и, конечно, стихи (сборник «Вода живая, вода мертвая», 1987).

Марин Сореску после революции в Румынии был некоторое время министром культуры. В нашем издательстве «Радуга» была мной подготовлена книга его избранных стихотворений, она дошла до «чистых листов», но обрушившийся книжный рынок помешал ее выходу. Я едва успел подарить вёрстку книги самому автору – он, к сожалению, вскоре умер (в 1996 году)...

Его именем отмечена новая страница румынской литературы, его произведения переведены чуть ли не на все европейские языки. Вот его последнее (10 ноября 1996) стихотворение в моём переводе:

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

*Ниточка паутины
Свешивается с потолка.
Прямо над моей кроватью.*

*Каждый день замечаю
Как она снижается.
Мне – говорю – посылают и
Лестницу в небо,*

Мне сверху бросают.

*Хотя я страшно похудел,
Стал тенью того, кем был,
Полагаю, что тело мое
Всё же слишком тяжелое
Для такой нежнейшей лесенки.*

*– Душа, отправляйся вперед.
Кыш! Кыш!*

ТРОЕ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА, ТРОЕ В МОСКВЕ...

1.

Первым году в пятидесятом в Литературный институт из Петрозаводска прибыл Вовка Морозов. Белокурый, вихрастый, миловидный, как молодой Есенин, он поселился рядом со мной на бывшей даче Маршака в Переделкине, где в ту пору было общежитие. Мы подружились. Вовка легко и упорно писал стихи, которые сразу нравились. Его стали печатать, помню, он готовил подборку для «Комсомольской правды», я даже присочинил для его стихотворения две строчки, которые ему не давались. Вообще он был переимчив. Однажды он вдохновился моим стихотворением, кончающимся строками:

*А утром я придумал
Три хороших слова:
«Я тебя люблю!»*

И написал свое, которое кончалось так:

*... Придумал
Шесть хороших слов:
«Ляля, Лялечка, я тебя очень люблю!»*

и спросил простодушно: – Ты не против ? Я только для неё...

Шутки шутками, но Вовка Морозов был честным, открытым, талантливым, дружелюбным. Он радовался жизни и себе самому. В другой книге я уже рассказывал о истории с журналом «Март», когда меня исключали из комсомола. Все были «за», кроме троих воздержавшихся – одним из них был Володя Морозов. Честность делала его смелым, а простодушие – слабым. Он по-детски хвалился своими успехами, – получая гонорар, щедро угощал друзей и сам охотно напивался..

На следующий год из Петрозаводска появились еще двое: Марат Тарасов и Роберт Рождественский. Первый был поэт ровный, стабильный, таким он и остался, возглавляя писательскую организацию Карелии. Зато Роберт стремительно стал восходящей звездой нового «маяковчатого» поколения советских поэтов – в одном ряду с Евтушенко и Вознесенским.

Я сказал, что Морозов был переимчив. Но слишком доверчиво усвоил «правила игры», когда уже требовалось другое, новое. Евтушенко, например, после вполне «правильного» сборника «Разведчики грядущего» сразу почувствовал востребованность перемен и пошел на прорыв. А Вовка, уже привыкший успешно «соответствовать», продолжался в прежнем русле. Его первый сборник «Стихи», вышедший в 1957 году, оказался слишком благополучным, приглаженным. И не прозвучал. Редкие лирические прорывы могли что-то значить:

*... Не прожил никто без ошибок,
Никто без ошибок не рос...
Учились мы жить на ухабах,
Порою опасных всерьёз. –*

Но социального звучания не предусматривалось, – автор сводил «ошибки» к чему-то частному, личному («Со мной приключилась беда») и благодарил любимую за поддержку в трудный час... Другой его чуткий земляк Роберт Рождественский уже припечатал калёным железом (все понимали о чём речь!): «Человек погибает в конце концов,/ Если он скрывает свою болезнь!»

К тому времени я, уже окончив Литинститут, уехал в Кишинёв. Доходило до меня, что Вовка чуть не спился, но его взяли в армию и это его вроде бы спасло...

Короче говоря, Роберт его затмил и хотя Володя продолжал печататься, однако с недоумением обнаружил, что в его судьбе что-то не состоялось. Он вернулся в Петрозаводск, женился.

Году в 57-ом в один из моих приездов в Москву я встретил его возле Литинститута, он стоял прислонившись к стене, одутловатый, пьяный, с трудом и как-то тупо узнал меня... Не думал я, что вижу Вовку в последний раз, – его жизнь трагически оборвалась. Совершенно неожиданно, без видимой причины, даже напротив – причины были обратного характера! Рассказывали, что в тот день он заключил договор с «Советским писателем» на новую книжку, получил из дому телеграмму, что у него родился сын, выпил на радостях, поехал в Лыткарино и там ночью удавился... Наверное, в приступе белой горячки.

Ему было всего лет двадцать пять (Евтушенко в «Строфах века» неверно указывает годы его жизни: 1932-1952), Он называл себя «безудержным оптимистом», писал: «Весельчак – я останусь впредь им, Нервы крепкие у меня...»

Нервы оказались вовсе не крепкими.

Он был предтечей. Как предтечей был и Саша Гевелинг, написавший еще в 49-ом году «Не слушайте, не слушайте

меня, /Я говорю неправильные вещи...» (не публиковал, конечно).

А Роберт оказался вовремя. Он был самым «системным» из поэтических лидеров шестидесятников.

Женился он для нас неожиданно на Алле Киреевой, поселился во флигеле Дома Ростовых и стал полноправным москвичом...

Так он – единственный из тех трёх петрозаводцев – вошёл в другую, ставшую знаменитой, «тройку»...

2.

У Маяковского при жизни были два наиболее заметных последователя – Асеев и Кирсанов. В последующие годы, несмотря на настойчивые призывы продолжать традиции Маяковского, ничего не получалось. Если не считать пустые риторические попытки Владимира Котова (от него остались в памяти только несколько «антимещанских» строк:

*На столике ландыши пахнут во-всю,
За столиком я и жена.
Я говорю ей так нежно «Сю-сю».
«Сю-сю» – отвечает она.)*

то лишь в послевоенное время появилось два более примечательных претендента – Григорий Горностаев с поэмой «Тула» («Тарашится из люка, /Как баран, /Старая злюка –/ Гудериан») и Николай Соколов с поэмой «Именем жизни», в которой на глобальную идейную высоту поднималась борьба с болезнями (дескать, все другие проблемы уже решены:

*Медлить нельзя.
Примиренцы – обуза.
В мир без войн и микробной плесени!
...Мы вот
граждане Советского Союза
уже разбили
социальные болезни.*

Автор действительно был инвалид. Он старательно копировал интонацию Маяковского:

*Куда б не девалась, –
В просторах вселенной
Разыщу!
Проникну сквозь стены в квартиру я.
Звенящие нервы раскинул антенной,
любимой,
тебе радируя...*

В. Огнев даже выступил в «Литературной газете» с восторженной статьёй «Маяковский продолжается». Однако эти поэты дальше внешнего воспроизведения поэтики Маяковского не пошли, да и не могли пойти – не пробил еще час перемен. Потому теперь совершенно забыты. А вот после XX-ого съезда Маяковский «вернулся» сразу в трёх вариантах: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский.

Роберт не случайно в этом ряду третий. Он оказался наиболее, что ли, советским (хоть и в послесталинском смысле). Член партии, секретарь союза писателей по иностранным делам, председатель ЦДЛ, лауреат Госпремии и т.д.

Я как-то зашёл к нему в его квартиру на улице Горького, недалеко от Кремля. В тот день нанятый архивист проводил инвентаризацию его библиотеки, состоящей исключительно из книг восемнадцатого и более ранних веков. Роберт был богат, – его кормили не столько стихи, сколько песни.

Я выделяю контрастные штрихи, потому что в них отражается время. Если бы писал специально о Роберте, то прежде всего сказал бы, что он был умный, добрый, порядочный и талантливый. Ему, кроме песен, очень удавались пародии, иронические стихи, но он им не придавал значения. Серьезным делом он считал поэму «Письмо в тридцатый век», которая уже в конце «перестройки» стала анахронизмом («По широким ступеням столетий поднимается ЛЕНИН к вам!»). Увы.

Справедливости ради следует сказать, что в Ленине искали опору и Евтушенко и Вознесенский – для них не было

иного пути в борьбе против пороков системы, при которой они вступили в жизнь. Я тоже чтит Ленина, долго считал, что возможен «социализм с человеческим лицом», болел за Дубчека, потом восторженно принял Горбачёва.

Так, пожалуй, закончилась «традиция» (не поэзия!) Маяковского. По иронии судьбы поэт, который был всего лет на восемь младше, таким анти-Маяковским закольцевал двадцатый век русской поэзии: Иосиф Бродский.

Самыми популярными были упомянутые трое, им досталась небывалая громкая слава, они сделали свое дело на определенном отрезке времени, однако время – «вещь необычайно длинная» – потом отдало предпочтение бормотанию непечатного «тунеядца», поэту одинокому и внутренне свободному...

В Переделкине, где и сейчас живёт семья Роберта, он, единственный из поколения, удостоился улицы своего имени. На табличке почему-то значится «российский писатель», надо – «русский»!

А у Пастернака нет улицы, его дача-музей по-прежнему находится на улице Павленко...

P.S. Когда я писал эти строки, умер второй, самый яркий из той тройки – Андрей Вознесенский. Евтушенко шаткой тяжелой походкой прошёл к микрофону мимо гроба на эстраде Большого зала ЦДЛ. Стал хриловато читать по бумажке что-то литературно-значительное, потом перешёл к своим свеженеписанным стихам – тут снова обрёл свой сильный эстрадный голос.

Три мушкетёра... Или великолепная тройка... (Их было не трое, конечно, а целая плеяда, имена известны, но моё эссе – штрихи, а не картина).

Помню, как росло сопротивление их приходу. Вот один эпизод шестидесятых годов. Малый зал ЦДЛ. Идёт какое-то осуждение, председательствует Андрей Лупан. После Евтушенко выступает Алексей Сурков и обрушивается на него с демагогической партийной критикой. Тогда за ним без спроса высказывает на трибуну Вознесенский, даёт сдачи Суркову – дескать, люди смертны, и вы умрёте, товарищ Сурков, – а поэзия останется, она, а не ваши нападки на неё...

Я видел, как опешил Лупан, неготовый к тому, что назревало в Москве...

Поэты от мира сего. Осознавшие свою силу, свой звёздный час, Отважные и щедрые, везучие и пробивные. Победители. Впервые произошло такое в истории русской поэзии. Они не только победили при жизни, но и прожили дольше своей победы...

... Через две недели после смерти Вознесенского в Кремле президент России вручил Евгению Евтушенко государственную премию.

Он был первопроходцем в этой тройке и он же оказался замыкающим...

СВЕТ ЭТОГО ИМЕНИ...

Белла Ахмадулина...

Произнесешь это имя – и сразу становится светлей.

И кто теперь не знает это имя?

А я ее помню совсем девчонкой. Я старше, я окончил Литинститут и уже работал в Кишиневе, когда она поступила на первый курс. В один из моих приездов я заглянул на Мещанскую к Жене Евтушенко, он сразу восторженно сообщил, что в институте сенсация – появилась гениальная поэтесса. Он решил немедленно познакомить меня с ней, стал звонить, и действительно через некоторое время в комнату вплыла пухленькая красотка лет восемнадцати. Я загляделся на нее, но как-то не верилось, что она может написать что-нибудь дельное. Слово за слово, мы стали читать стихи. И тут Белла меня поразила трижды. Во-первых, своими стихами, действительно удивительно свежими, новыми, легкокрылыми, во-вторых своим неповторимым голосом – как напряжённая струна, в третьих – спокойной самоуверенностью, с которой она держалась и выражала свое мнение. Словно эта девушка уже знала, кто она такая и какое место ей уготовано в русской поэзии.

Вскоре она стала печататься, похудела, еще похорошела. Пришла слава...

Время славы и бремя красоты – женщине не так легко справиться с такими дарами. Ей пришлось расплачиваться и за то, и за это...

Многое, связанное с нашими встречами, хранится в моей памяти. Скажу лишь об одном курьезном случае. Году в семидесятом я приехал на Пицунду, и первым делом отправился к морю. И чуть ли не первой из знакомых увидел выходящую на берег Беллу. Русалка! Я так восхищенно уставился на нее, что не понял – волна ее тянет назад, она оступается на камнях, ей трудно выбраться. Стоял столбом, пока она не протянула руку: «Да помогите же мне!» ... Тут я, конечно, спохватился, кинулся навстречу.

О, слепота поклонников!

Примерно в то же время я написал стихотворение, обращенное к ней:

*Мне тебя видеть – радость,
Потому что ты – редкость,
Потому что так редко приходится видеть
Женственную женщину,
Прекрасную красоту,
Талантливого поэта.*

Но я не только об этом. Хочу добавить, что время, выпавшее на долю Ахмадулиной было суровым, – литературная завистливая братия, советские идейные критики, партийные начальники отнюдь не жаловали ее и поэтов ее поколения. Однако личность Беллы под стать ее таланту. Верность своему призванию, друзьям, самой правде – вот суть ее характера. Перед лицом невежественной и мстительной власти ее поведением было образцовым. Настоящая закалка достоинства и чести – откуда что взялось? Будто с молоком матери она впитала в себя лучшие черты отечественной духовной элиты.

Тяжело пришлось Ахматовой. Еще тяжелей Цветаевой. Ахмадулиной выпало счастье пережить трагедийность нашего двадцатого века. При всей мучительности пережитого ее поэзия светится.

Когда произносишь ее имя – становится светлей.

ЕГО УЖЕ ИЗУЧАЮТ...

На глазах из быта и будней проступают черты вечности. Быстротечная жизнь обретает исторические формы...

Читаю два солидных труда о Булате Окуджаве. «Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века», изд. Соль., Москва, 2001 и «Старое Литературное обозрение». № 1. 2001.

Десятки уважаемых людей предаются воспоминаниям или изучают, исследуют его творческое наследие, а мне все не верится, я, как сейчас, вижу Булата в просторном кабинете Анатолия Приставкина, где заседает по вторникам Комиссия по вопросам помилования при Президенте РФ. Булат садится слева от меня и чуть наискосок от Льва Разгона... И кто бы подумал, что Лев Разгон, который был лет на двадцать старше Булата, переживет его, будет задыхаться от сдавленных рыданий у его гроба...

Булат был порой неожиданно резок и суров по отношению к преступникам, меня это удивляло, потом я понял, что он был слишком ранимым, обладал слишком живым воображением: перед ним мгновенно, как при вспышке молнии, высвечивалась картина преступления, он испытывал гневное отвращение к подлецам и насильникам, брезгливое презрение к опустившимся личностям. Не мог их жалеть. Но интуиция помогала ему безошибочно отличать людские трагедии по стечению обстоятельств от злого умысла, беду от злонамеренности. Из-за той же ранимости Булат, придя вместе с нами в Бутырки, не заглянул ни в одну из камер. Одинокó вышагивал туда-сюда по каменному коридору и нервно курил... (Забавная деталь: когда мы вошли в одну из «душегубок» – камер предварительного заключения, кто-то спросил «а вы кто?», мы ответили, упомянув и Булата. Тогда раздались несколько голосов: «Пусть споёт»... Но, если серьёзной, я думаю, Булат не мог не вспомнить про своего отца, которого при Сталине арестовали и расстреляли, может быть, в Бутырках же, – потому не находил себе места).

Ну вот, я тоже поддался воспоминаниям, отвлекся от книг о нем. Да и как не вспоминать, если знаю Булата лет сорок, с

того вечера у Льва Аннинского, жившего тогда у Никитских ворот, где в компании обаятельный молодой грузин взял гитару и спел пародийную песенку: « на одном клетка попугай сидит, на кругом клетка ево мать плачИт»... Очень было смешно. Но и только. Ничего еще не предвещало, что перед нами – явление. Но вдруг он спел «Девочка плачет, шарик улетел...» и смущенно улыбнулся: «Это моё...»

И тут случилось нечто невероятное. Наивная, простая, даже «примитивная» песня внезапно выбросила меня в четвертое измерение – бездонное, как небо, куда улетел шарик и откуда к старости вернулся...

Я рад, что был причастен к изданию его последнего сборника новых стихотворений «Милости судьбы» (вышла в нашем издательстве «Московский рабочий» в 1993 году, потом было еще несколько книг, но уже из стихов разных лет). Рад, что смог вручить ему сигнальный экземпляр...

И вот его уже нет. Он, как та звезда, которой нет, но она светясь заняла место среди созвездий на небосклоне. Он остался с нами и одновременно – стал дальше и выше. А на земле, в милом его сердцу Переделкине открыт гостеприимный дом-музей его имени.

К его 75-летию состоялась Первая международная научная конференция, посвященная его творчеству. Ее материалы изданы. С волнением читаю эту богато иллюстрированную книгу, прекрасно составленную Ириной Ришиной. Тридцать докладов и сообщений, запись их обсуждений. Талантливо, серьезно, солидно, известные имена. Писатели и литературоведы – Александр Кушнер и Юрий Карякин, Станислав Лесневский и Геннадий Красухин, Галина Белая и Валентин Оскоцкий, Яков Гордин и Владимир Новиков. А также ученые-специалисты, профессора, историки и филологи, их собратья из США и Японии, Берлина и Парижа (жаль, не представлена Польша, первая заграничная любовь Булата!)

Повторяю, увлекательное, волнующее чтение. Парад умных, тонких сопоставлений, осмыслений, – результат благодатного духовного напряжения современников, открывающих истинные масштабы личности и наследия Булата Окуд-

жавы. Узнаю всё больше, почти со всем соглашаюсь. Может быть, только, вникая в отличный анализ Виктора Куллэ («К вопросу о некоторых параллелях творчества Иосифа Бродского и Булата Окуджавы») я бы добавил: пожалуй, тут кроме параллелей имеется и перпендикуляр, можно даже сказать – противоположность. Разные ипостаси русской поэзии – южная и северная (как в свою пору Пушкин и Баратынский). Горный ключ и половодье. Сердечный друг с гитарой и осенний крик ястреба...

Тут я рад вернуться к Виктору Куллэ в другом качестве и воздать ему должное за издание отдельного номера «Литературное обозрение», в котором Булат Окуджава занимает достойное место рядом с Владимиром Набоковым, лауреатом Нобелевской премии Чеславом Милошем и Томасом Венцловой. И здесь – вокруг Булата – какая плеяда имен! Пиршество ума и талантов.

Только изредка отдельные суждения задевают слух. Например, Михаил Айзенберг, вспоминая слова Ходасевича, пишет: «Обидно, что нам первым криком жизни стал не одический глас, а гитарный перебор. Но переносить обиду на владельца гитары совсем уж глупо...»

Да, глупо, но, признаюсь, не понял – почему «обидно». По мне – так спасибо, слава Богу, что выпал нам такой «гитарный перебор». Еще обиду – небольшую, сугубо личную – высказывает и Всеволод Некрасов (его статья интересна, оригинальна, хотя и с немалыми стилистическими излишествами). Некрасов, вспоминая, что Булат в свое время не поддержал картину Рабина, пишет: «Картину я забрал, и больше Булата Шалвовича лично не тревожил. Решив, что членство в Союзе Советских Писателей – все-таки членство. И совсем уж даром для психики пройти вряд ли может».

Вот уж страшилку придумал – членство в ССП! Мог бы еще ужаснуться, что Булат был членом КПСС... Ох, не судите да не судите будете! Дай Бог каждому так сохранить «психику», как это удалось Булату!

«Моя держава – Окуджава», – написал поэт Николай Сухарев из Смоленска. Он ближе к истине. Потому что Булат

Окуджава сумел создать в тоталитарной стране другое духовное измерение, распространить территорию добра и достоинства от сердца к сердцу...

Р.С. В конце прошлого 2009-го года в Интернете вдруг стало модно попрекать Булата за его позицию в октябрьские дни 93-его года (неужто надо было стоять за «президента» Руцкого?!), затем выступил в печати Ефим Лямпорт с «сенсационным» открытием: дескать, Булата Окуджаву забыли сразу же после его смерти, и вообще он был никудышный и меркантильный литератор, как и большинство его либеральных коллег. Лямпорту дали отпор (отпорту? – просится каламбур), Правда, потом один критик, защищая Булата, почему-то посчитал нужным препарировать его «Франсуа Вийона», а песенка-то живая, даже бессмертная!

Я рад, что в этом же году Булат удостоился солидной книги в серии «Жизнь замечательных людей» (спасибо Дмитрию Быкову!). Но, конечно, и само творчество Булата Окуджавы за себя постоит, у его ревнивых завистников никогда ничего не получится!

УМЕР БОРИС НИКОЛЬСКИЙ

Обычно смерть воспринимается как резкая граница обрывающая жизнь, а на самом деле между жизнью и смертью бывают горькие переходы. Вот сообщили мне внезапно о смерти Бори Никольского, моего сокурсника по Литинституту, и я не ощутил ничего, кроме болевого укола, болевого, но никак не неожиданного. Потому что настоящего Бори Никольского уже не было. Трагический случай произошёл с ним за год до этого: он так неудачно упал на ступеньках метро, что остался навсегда парализованным. Более того, не знаю насколько вернулось – и вернулось ли – к нему сознание. Номинально он остался почетным главным редактором «Невы», а фактически человек уже убыл. Время от времени я справлялся о его состоянии – оно оставалась безвыходным, пото-

му весть о его кончине просто завершила то, что подсознательно ожидалось.

Дежурное в некрологах слово «утрата» (как это часто бывает) относилось не к самой дате смерти, а к более ранней. . .

Боря был самым правильным на нашем курсе, даже слишком. Отличник, не пил (почти), не курил, за девочками и вовсе не бегал. Умный, справедливый, идейный, и просто красивый парень. Положительного героя он мог писать с самого себя. Немудрено, что сразу стал расти по комсомольской линии.

Каюсь, в свое время я воспользовался им как прототипом для моего Алика из повести «Пять точек на карте», в каком-то смысле он играл роль антипода «неправильного» Коли Карцева, которого (опять же каюсь) писал частично с самого себя. Но ни мои «герои», ни мы сами не были противниками, отношения складывались по-товарищески добросердечно. Хотя, конечно, и пикировались и подтрунивали друг над другом. . .

Не знаю, куда делся его отец, – мать одна воспитывала его и брата-близнеца, причем так привязывала их к себе своей истовой (жертвенной?) любовью, что оба брата женились только после ее смерти – когда им было лет под сорок.

Я был как-то у него к гостям в Ленинграде и к слову похвалил его перед его мамой и как сильного шахматиста (Боря, первокатегорник, мог играть и «вслепую»), и тут его мама призналась мне, что сознательно учила братьев шахматам, мечтала даже вырастить из них чуть ли чемпионов и все это, как я понял, чтобы держать их подальше от политики. Страх, меня удививший, поскольку мое детство прошло в совсем иной среде и я понятия не имел о менталитете тех, кто пережил советские тридцатые годы. . .

Боря делал вполне успешную честную карьеру – она известна, он стал во главе одного из видных литературных журналов, выпустил несколько вполне добросовестных прозаических книг, а в годы перестройки пережил свой «звёздный час» – прекрасно выступил как депутат первого съезда – того самого, горбачевского.

Что ему стоило пересмотреть свою прежнюю партийную правильность? Думаю, дорого и больно. Всё случилось после

института и после его призыва в армию. Но несомненно, что надлом был драматичным. Он запил, вернее – стал запойным. То держался, то срывался...

Этого от него я никак не ожидал. Хотя мог догадаться, что такая участь – не редкость для совестливых советских писателей...

Однажды, уже будучи депутатом, он пьяный завалился ко мне домой, выпил еще и еще, становился всё печальней.. Мы с Ниной его уложили спать. Где-то в шестом часу утра я проснулся от тихого шороха и едва успел догнать Борю в коридоре у двери. Он тихо проснулся среди ночи, тихо оделся и попытался столь же тихо и незаметно смыться, чтобы вернуться в гостиницу. Ему было стыдно...

В феврале 1953 года я и Боря были на практике в Кишинёве в газете «Молодёжь Молдавии», где по-прежнему главным редактором работала Бибилейшвили (в прошлом 52-ом году я был у нее на практике с Бушко-Жуком). Запомнилось только, что к Боре (и ко мне) благоволила девушка по имени Воля. К слову, за все годы в Литинституте я не видел Борю с девушкой.

Тогда по настоянию Бибилейшвили я наскоро сочинил дежурный стих на тему «первого народного депутата» Сталина. По иронии судьбы этот стих был опубликован на обороте полосы, где был напечатан бюллетень о тяжелой болезни вождя. Вполне возможно, мой стих о Сталине оказался последним о нем как о живом...

Боря любил поэзию, дружил с поэтом Сашей Гевелингом, и однажды он, убежденный прозаик, придумал две стихотворные строки, которые мы сразу подхватили как сенсацию:

*Мои не раз целованные губы
К твоим ни разу не целованным губам...*

То ли Саша Гевелинг, то ли Лёша Смольников размножили эти стихи в десяти экземплярах и развесили на стволах берез и сосен по дороге на станцию (наше общежитие располагалось в Переделкине). Под двустушием красовалась подпись:

Борис Никольский.

Бедный автор бегал по лесу и изымал экземпляры своего сочинения. Посмеялись бы, и ладно. Но вскоре появился милиционер к автору с расспросами зачем он развесил эти «листочки» и что они означали...

Однажды с Борей был странный случай. Стоял он неподалеку от института, прислонясь к стене – ждал ли кого или о чем-то думал, но вдруг прилично одетый мужчина средних лет несколько раз прошел мимо него туда и обратно и, наконец, волнуясь, попросил его выслушать:

– Молодой человек, я вот наблюдаю за вами, я хороший физиономист, я вижу, вы чистый и честный юноша. Я вас прошу, помогите мне. Я очень люблю свою жену, но ей мало того, что я могу ей дать. Я от этого очень страдаю. И она. Пойдемте к нам, мы живем неподалёку, я вас с ней познакомлю, она добрая, ласковая. Побудьте с ней тоже, ничего тут плохого нет. Я вам доверяю...

Опешивший Боря наотрез отказался... Даже и потом краснел, рассказывая...

Узнав о смерти Сталина, мы тут же отправились в Москву и прибыли 9-ого марта в день похорон. Собравшись в конференц-зале института, мы слушали трансляцию речей, проносимых с Мавзолея руководители страны. Громкие рыдания разрыдались во время выступления Берии – под воздействием, видимо, его грузинский «родной» акцент.

Я горя или особого потрясения не испытывал, я был исполнен исторической значительностью происходящего, острым интересом к тому, что последует. Еще я дивился массовому желанию «проститься» со Сталиным в Колонном зале, словно его собирались хоронить. Ясно же было, что его просто перенесут через площадь в Мавзолей и там он будет вполне обозримо лежать рядом с Лениным...

Через пятьдесят лет после окончания Литинститута Борис Никольский, главный редактор «Невы», решил посвятить чуть ли не целый номер нашему «юбилею» (№5, 2004 г.). Он обратился к бывшим сокурсникам с просьбой принять участие в этой затее. И многие, в том числе я, откликнулись. Но я упоминаю об этом потому, что весьма интересна и значительна

сама вступительная статья Никольского. Боря откровенно рассказал о том драматичном, что с ним происходило в те годы. Жаль, что потом в книге «Воспоминания о Литературном институте» эта статья вышла в весьма урезанном виде...

Большим и старым я его не видел. В моей памяти он остаётся юношей со страдальчески-правильной выправкой, со слегка вскинутой головой, красиво окаймлённой волнистой шевелюрой.

ТАТЬЯНА БЕК, ТАНЯ...

Бесконечно горько, – случилось невероятное: ушла из жизни Татьяна Бек. Замечательный поэт в расцвете сил, совсем недавно вышли две ее наиболее весомые и сильные книги: однотомник эссе и томик избранных стихотворений «Сага с помарками». Яркая личность, Татьяна Бек была глубоким и проникновенным поэтом-лириком, взыскательным и доброжелательным, обладающим редкостной эрудицией критиком и литературоведом, прекрасным педагогом – она воспитала десятки и десятки юных дарований в Литературном институте им. Горького – Таню любили читатели и поэты, друзья и совсем незнакомые люди, сердце которых она согрела своим талантом, своей щедрой душой.

Она родилась в 1949 году в семье известного писателя Александра Бека, с детства впитала в себя лучшие традиции русской литературы, стала известным поэтом – ее талант был оценен с первого же сборника «Скворешники», вышедшем в 1974 году. Татьяна Бек была не только отзывчивым другом для своих близких – она обладала горячим и честным общественным темпераментом, она, кроме всех своих «нагрузок», была еще действенным, действующим секретарем союза писателей Москвы. Слово ее было нужным, авторитетным, справедливым. Во многих стихах Татьяны Бек мы видим не только признания в любви многим людям, но и портреты самих этих людей, разъединенных эмиграцией, временем, наконец смертью...

*Сгинул Славка, умер Вовка,
Оступившись на ходу...*

И вот скорбная, несчастная весть: сама Таня погибла... Это тяжелая для нас потеря, потеря для всей русской литературы – она могла принести еще много, создать, сотворить. О ней будет еще сказано и написано, сейчас главное – боль. Случилось непоправимое. Прощайте Татьяна Александровна.. Прощай, Таня!

P.S. Этот некролог (опубликован в «Культуре») написал я от имени СПМ. Трагедия Тани связывается с дурацкой историей: письмом трех поэтов о готовности переводить Туркменбаши, историей, из-за которой произошел ее болезненный разрыв с друзьями. Некоторые считают, что было самоубийство, я склонен думать, что – несчастный случай. Но то, что ее «достали», да и она себя довела до тяжелого состояния – тоже факт.

Недавно вышла книга воспоминаний о ней. Добавлю несколько слов от себя. Крепкая, крупная, но ранимая, хрупкая. Личная жизнь ее не складывалась, замужество было чуть ли эфемерным. Литературная жизнь, напротив, становилась все значительней, удачней. У меня с ней были сердечные дружеские отношения. Многолетние. Таня тепло писала о моих стихах, с моей легкой руки она составила (Скачков был против) книгу «Акмеизм». Потом была размолвка в связи с тем, что Колеров хотел основать со мной издательство современной литературы. Я предложил редколлегию в составе Бек, Рейна и Чухонцева. Почему-то был уверен, что они обрадуются. Вышло как раз наоборот. Возникли какие-то ревнивые интриги. Таня, когда я удивленно обратился к ней, ответила холодной уклончивостью. Идея провалилась. И слава Богу. Всё равно ничего не получилось бы. Преодолевая обиду, я через некоторое время попросил Таню прочитать рукопись моего нового сборника (будущий «Невидимый порог»). И она столь же искренно, как раньше хвалила мои стихи, отвергла их, как поэтику чуждую ей (пись-

мо сохранилось). И опять была пауза, и опять, через некоторое время, я отнёс в «Вопросы литературы» главы из «Моей мозаики», рукопись попала к Тане, ей понравилось, она охотно взялась вести мой материал и даже отрывки из него предложила в «Общую газету», где они и были опубликованы. Отношения снова наладились...

ГРАНЬ С ГРАНЬЮ НЕ ВРАГИ

Два сборника стихотворений, у которых буквально ничего общего, кроме одного, чисто внешнего признака – оба изданы «за свой счет». Позиции поэтов прямо противоположны, тем и интересны они в своем соседстве. В самый раз поразмышлять о плодотворности «несовместимых» направлений.

Можно ли создать нечто значительное, свежее, следуя канонам стихотворной традиции? И можно ли построить другую поэтику, отбрасывая, как бы отрицая достижения классической художественности? Возможно ли сосуществование столь разных творческих установок?

1.

Не в Москве, не в Ленинграде, а где-то в Харькове возрос и вырос большой русский поэт. Вдали от наших столичных страстей, от шумных критических битв мощным гулом и серебряными звонами зазвучал его «Колокол» (изд. «Известия», 1989), и все оглянулись и увидели. Теперь знают и не забудут. Борис Чичибабин.

Правда, его первая книжка вышла в 1963 году («Мороз и солнце». Харьков), она не привлекла к себе внимания критики и так называемого «широкого читателя». Но я запомнил Бориса Чичибабина, несколько его стихотворений поразили меня, и я стал следить за его редкими публикациями. Как не почувствовать незаурядного поэта хотя бы по таким строкам:

*Нет, ты мне не жена.
Я слово слаще знаю.
Ты вся, как тишина,—
телесная, лесная...
О музыка и зной
тех слов, что ты мне шепчешь
папушкою ночной
поступков сумасшедших!..*

Потом его имя исчезло со страниц печати. Он при разгроме «Нового мира» вступился за Твардовского, его исключили из Союза писателей. К его прошлым годам репрессированного прибавилось диссидентство. Борис Чичибабин бедствовал, зарабатывал себе на жизнь в трамвайном депо. Кажется, он вышиблен из литературы навсегда. Но это постоянная и самая провальная ошибка гонителей – отверженные становились тверже, и им принадлежал завтрашний день. Так через долгие годы вернулся к нам Чичибабин.

И вот я отыскал теперь ту первую его книжку, нашел поразившие меня стихи – они не потускнели от времени, ибо не были рукотворными, а живыми созданиями. Но вот что удивительно. Оказалось, в том сборничке было немало и дежурных поделок. Опасность конформизма, пусть в самой малой степени, подстерегала и его. Слава Богу, он быстро пришел в себя и, не обольщаясь удачным дебютом, судил себя строго, с той беспощадностью, которая предвещает второе рождение:

*Я сам себе растлитель и злодей,
и стыд, и боль как должное приемлю...*

Это написано всего через четыре года после выхода первой книжки, в 1967 году. Поэт продолжал казнить себя: «Во мне вину мою несу и – сам отступник и злодей – безлистным деревом в лесу жалею и боюсь людей». И еще: «Как страшно спать под мертвой кровлей, а не под ласковой листвою и жить не мудростью людской, а счастья суетною ловлей». И, наконец, в 1968 году – предел безысходности, отчаяние, тупик:

*Сними с меня усталость, мать Смерть...
Я так устал. Мне стало все равно.*

И как раз тогда, когда вроде бы и сил не осталось, приходит прозрение и мужество. Поэт находит себя, порывая с современной ему ложью, присягая Пушкину и Лермонтову, Блоку и Пастернаку, Мандельштаму и Цветаевой. С виду потерпевший поражение, отовсюду изгнанный, одинокий, он обретает высоких и верных друзей, сам клянется им в верности. Так, дорогой ценой оплаченная, восстанавливается преемственность истинного поэтического призвания:

*Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гёте
со мной в непробудном родстве.*

О Чичибабине хочется сказать многое. Но больше всего хочется читать вслух его стихотворения – не смыслом одним жив поэт, а и музыкой слова. В только что приведенных строках как не отметить «усиление» смысла тонко подобранным звуком: дате – годе, дяди – тети, Данте – Гете. Такая внутренняя прорифмовка характерна для Чичибабина с первых шагов – таковы и процитированные вначале строки о любимой: «телесная, лесная», «пастушкой ночной», «поступков сумасшедших».

Он действительно мастер. Созревший вдалеке, в тиши, в тени. Но для общения с Пушкиным и Данте обязательно ли жить в столице, вариться в современном литературном котле?

Чичибабин – горький урок для тех талантливых поэтов, которые смолodu соблазнились связями, чинами, постами, премиями.

Но не только гении прошлого помогли Чичибабину выстоять. Не только они были поводьями. Еще честь и слава женщине, полюбившей поэта и любимой им! В наши дни, когда любовная лирика не в моде, Чичибабин, как Петрарка, посвящает любимой прекрасные сонеты. И прямо указывает на ее значение в его судьбе:

*Страх духом стал. Ложь подменила воздух.
В такой-то век я встретился с тобой.*

*...но счастлив тем, что в рушащемся мире
тебя нашел – и душу сохранил.*

Любовь к женщине, любовь к поэзии сливаются, как в небесном куполе, с обретенной высокой духовностью, с тем религиозным чувством, без которого человек выпадает из Вселенной и из Вечности. Красота женской любви, красота русской природы, красота горнего Духа – в едином выдохе:

*Все, что мечтала услышать душа
в всплеске колодезном,
вылилось в возгласе: «Как хороша
церковь в Коломенском!»*

И мысли о смерти – совсем иные, чем прежде. Смерть уже не перечеркивание постылой жизни, а мудрая печаль и просветление:

*...грустно, любимая. Скоро конец
мукам и поискам.
Примем с отрадою тихий венец –
церковь в Коломенском.*

Из своего вынужденного отшельничества Чичибабин врывается в нашу современность, во всех болевых точках оказывается вездесущим, напряженные струны его лиры отзываются любовью и к Армении, и к Эстонии, и к Литве, поэт посвящает стихи и Галичу, и Солженицыну, и Твардовскому – мысли, образы, обобщения пересыпаны конкретикой – именами, реалиями, названиями мест. Как не отметить в этом ряду и «Кишиневскую балладу», где много красок, деталей, ассоциаций, где «первобрага надменной латыни в перебранке базарной слышна»?! Полнозвучно, осязаемо, зримо написал поэт о Кишиневе. Ярче и свежей, чем десятки тамошних русских поэтов. Да и молдавских, пусть не обижаются (они, как правило, видят родину в облике села, а не города!).

Поговорить бы еще о поэзии, да время такое, что, по словам Чичибабина, требует нас к ответу: «Решай скорее, кто ты, на чьей ты стороне». Об этом, о сегодняшнем, о самой его гражданской сути поэт говорит, прямо глядя читателю в глаза (и в голову не приходит назвать эти стихи риторическими):

*Ни смысла и ни лада,
и дни – как решето,
по что-то делать надо,
хоть неизвестно что...
Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
к не кичилась власть...
Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.*

Теперь мы без него не можем обойтись. Через него пробивается нужное нам слово. Такое чувство – верный признак значительного поэта.

2.

...А Константин Кедров утвердил свой суверенитет, когда о нем наши народные витии еще и не помышляли. Период застоя полновластно держался на кремлевских старцах, а поэт уже умудрился открыть внутреннюю свободу, и она оказалась никак не меньше всего окружающего мира. Он открыл для себя тайну внутреннего и внешнего, слова и события, преходящего и вечного – открыл формулу их мерцающего единства. Он взял и выскочил из трехмерного пространства вкупе с четвертой координатой, именуемой временем, научился свободно перемещаться сквозь все системы мироздания по оси изнутри-извне. Замкнутому миру индивидуальной поэзии он предпочел разомкнутый: не перчатку поэзии по руке стихотворца, а вывернутую – по мерке космоса.

Я не берусь провести границу (границы-то Кедров не жалуется) между его взлетами, прозрениями, прорицаниями и самообольщениями, зашкаливанием, ловлей словесного кайфа. Главное в нем – заразительная воля, отмена опор; он в океанической толще культуры чувствует себя как рыба в воде, более того, летучей рыбой легко пересекает границу сред.

Константин Кедров больше себя самого. В стихах ли, статьях или лекциях он прежде всего дарит щедрые россыпи свободы, негаданных взаимоотражений, становясь в чем-то похожим на Велемира Хлебникова, добывавшего золотоносную руду для будущих ювелиров. Есть творческие личности феноменального свойства. Мне кажется, К. Кедров гораздо сильнее воздействует на молодое поколение поэтов, чем на читателей. Критики же просто в отпаде – в их арсенале нет нужного критерия: тут нечто безмерное и чрезмерное. Недаром его яркая вызывающая книга «Поэтический космос», которую невозможно не заметить, была тем не менее встречена дружным молчанием как левых, так и правых. Словно Дон Кихот прошел между двух враждующих станов, прошел, не глядя по сторонам, устремив очарованный взор к звездам, одному ему видимым среди бела дня.

Константин Кедров в конце семидесятых годов был в литературе одним из возбудителей духовного раскрепощения, был, между прочим, использован и как трамплин – от него «оттолкнулись» Парщиков, Еременко со товарищи, они взлетели на страницы печати раньше своего инспиратора. Поэтому, к моей радости, в связи с выходом «Компьютера любви» – сборника избранных стихотворений и поэм Константина Кедрова, прищипывается и привкус горечи: этот «поезд» пришел с опозданием, публика на перроне успела пресытиться негаданными встречами, и вдобавок ее внимание отвлечено тревогой, выкриками митингующих. В обществе состоялся прорыв к политической свободе слова, но при этом – увы! – оно оказалось неподготовленным к художественному плюрализму: неудивительно, что на смену стихам за Сталина пришли стихи против, но как прикажете понять: «пространство – это развернутый конь, кошки – это коты пространства», а «человек –

это изнанка неба, небо – это изнанка человека» и т.п.? Что это? Досушие забавы или «словесные приключения» по выражению Набокова? Возврат к «пощечине общественному вкусу»?

Что ж, не грех и вспомнить футуристов, особенно знаменитого будетлянина, председателя Земного шара, антикласика и бомжа русской словесности, распахнувшего невиданные горизонты, словно первый вырвался в космос на ракете, еще лежавшей в чертежах Циолковского. Истинные ценности искусства, конечно, нетленны, но его жизнь не может продолжаться без обновления, без жажды нового чуда и волшебства.

Сколько б ни было «перехлестов» у Константина Кедрова (а он порой и нарочно эпатирует), а янтарь на берегу – вот он! Сказавший «никогда не приближусь к тебе ближе, чем цветок приближается к солнцу», – это поэт, ибо только поэт может открыть образ и уничтожить астрономическое расстояние между цветком и солнцем. Я убежден, что только поэт может написать: «государственная граница лежит внутри... между правым бедром и левым легким», «пришла щека отдельно от поцелуя, пришел поцелуй отдельно от губ», «ястреб действует как лекало – он выкраивает все небо, я выкраиваю все время...».

*Казнь и казна – это два необъятных царства
это особое свойство времени именуемое
«необратимость»...*

*Если казни не будет – есть дисциплина
ибо без дисциплины казнь невозможна
хотя дисциплина – казнь.*

*... Вечность это
недисциплинированное время.
(«Казнь»)*

На наших глазах рухнул чудовищный рационализм, тот, о котором писалось в день похорон Маяковского: «Покойный был певцом революционной РАЦИОНАЛЬНОСТИ. Похороним его как материалиста, как диалектика, как марк-

систа... Разольем его память, как чугуна, по чашкам пролетарских сердец и черепных коробок».

А как быть со стрекозой? Константин Кедров почувствовал Маяковского ИНАЧЕ, увидел поэта, готового шить себе желтую кофту из трех аршин заката.

*Квитанция, которую я получил, –
подыхает закатом,*

– пишет К. Кедров в стихотворении «ДООС», там, где сказано, что «неостановленная кровь обратно не принимается». Но что такое ДООС? Добровольное Общество Охраны Стрекоз. (Муравей, конечно, трудоголик, но – не певец..)

Я не хочу чугуна по чашкам сердец. Я от него бесконечно устал. Пусть стрекочут стрекозы с глазами инопланетян.

Конечно, прежде всего нужен талант. А уж он бесплодным быть не может. Даже если поэт не туда пошел или думает, что ошибся, – все равно он поэт. Разве можно, скажем, верить Есенину, когда он в пору мучительных сомнений восклицает:

*Какой скандал! Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки...*

Чичибабин и Кедров... Они не мешают друг другу, хотя несопоставимы и несоизмеримы, как радиус и окружность. Первый еще раз целиком и полностью доказал, что «сладостный стиль классический» (выражение Никиты Стэнеску) неисчерпаем. А второй лишним раз подтвердил необходимость и возможность прорыва в иные сферы художественного познания («процент» удач здесь много меньше, стихи зачастую действительно становятся текстами – это плата за риск).

Не знаю, как другим, а мне нужна биполярность поэзии – мир от этого становится емче, объемней в своем «прекрасном и яростном» утверждении-отрицании.

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ И ЗИНАИДА МИРКИНА

Они удостоены премии Бьёрстена Бьёрнсона за 2009 год. Достойная награда Григорию Соломоновичу и Зинаиде Александровне – наконец-то! Я – заодно со всеми радующимися, но хочется добавить от себя словечко. Общение с ними, даже только по телефону, – как подарок. И ещё у нас был общий друг – замечательный поэт Борис Чичибабин...

В пору моей работы в издательстве «Московский рабочий» я был причастен к первому изданию книги Григория Померанца «Записки гадкого утёнка», удостоился благожелательного упоминания в одном из его эссе. Не забуду, как открыл для себя поэзию Зинаиды Миркиной и, наконец, был с ними вместе в поездке по Израилю в 2003 году... Оттуда я привёз цикл стихотворений «На близком Востоке», в котором есть и такое:

*Живая вода Иордана
втекает в Мёртвое море
с приказом не помирать...
Легко, как седой одуванчик,
по Иерусалиму Григорий
идет – мудрец Померанц.
Тело войной изранено,
лагерем жизнь поломана,
казалось бы – навсегда;
но вот на девятом десятке
сподобился стать паломником
в Святые места.
Прямо из Домодедово
сюда за четыре часа...
Наверно, он думает: всё-таки
бывают чудеса.*

Счастливые люди – на склоне лет к ним пришло выстраданное признание (а они вместе более полстолетия!), заслужили благодарное внимание лучших умов России. И не толь-

ко нашей страны, о чём свидетельствует и нынешняя международная награда.

С любовью и восхищением говорю: перед нами редкое явление. Потому что это не только редкое единство мужчины и женщины (двуединство – се человек!), но и редкое (если не единственное) столь плодотворно сплетение в их единстве трёх духовных сфер – таких разных! Я имею в виду философию, религию и поэзию. Основа философии – это рукотворная система, основа религии – нерукотворная догма, а поэзии – сама жизнь. Разные отсеки. И, однако...

...Перед нами «двойная звезда» – Григорий Померанц и Зинаида Миркина, он философ, она поэт, а вместе их обнимает и осеняет религиозность. Двое – как один человек. О любви и мудрости говорят нам Григорий Померанц и Зинаида Миркина. Глубоко и сердечно. Глубоко – по мудрости, сердечно – по любви (как известно, ум стремится к отвлечённой объективности, сердце – к конкретной субъективности). Повторяю и настаиваю, что перед нами чудо: произведения, созданные Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной и неоднократно изданные под одной обложкой, являют несомненное единство философской ясной мудрости, религиозной таинственной высоты и живой плоти поэзии. И над всем этим – веяние музыки. Она самый необъяснимый инструмент познания. Озарения, откровения.

Музыка, которую слушал морозными ночами Григорий Померанц перед лагерным бараком, пение, которое поднимается под своды храмов, нить мелодии, которая ведет строку за строкой Зинаиды Миркиной... Благодаря свободному полёту музыки он в философии идёт поверх любой системы, он и она в религии идут поверх любой догмы, она в стихах идёт поверх любых поэтизмов.

Опыт долгой жизни, самостояние, одарённость... Будь моя воля, я бы пропагандировал их тексты по телевидению и радио, преподносил школьникам и студентам. В наше время «без руля и без ветрил» (время великих разочарований) вот он – духовный ориентир, слово, которому можно верить, мысли, которым можно довериться.

Я годами подбирался к одной мысли, которую я чувствовал, но она мне никак не давалась. И вдруг, пораженный, я нашёл её в завершённой великолепной образной формулировке у Григория Соломоновича. Великолепной – потому что в ней единым аккордом прозвучали философия, религия и поэзия: «Я убежден... что в глубине бытия зла просто нет. Есть только цельный, непорочный свет без всякой тени. Но в пространстве и времени нельзя осветить все сразу. Что-то всегда будет в тени. Борьба за добро – значит, по возможности, поворачивать вещи к свету».

Нельзя бороться за добро без любви.

ЧИТАЯ ЛЕОНИДА РАБИЧЕВА

У нас – время антологий (прежде всего поэтических). Время – потому что оно в России переломилось, перевернулось, сорвалось с места и на всех парах вбросило нас в новый век (про тысячелетие молчу – нечеловеческий масштаб!). Составители антологий русской поэзии пытаются охватить двадцатый век, соединить воедино разрозненные поэтические «блоки»: серебряный, советский, эмигрантский и подпольный. И всякий раз оказывается, что упущений масса. Мне даже приходила в голову шальная мысль: взять бы да и создать антиантологию – из того ценного, что не вошло ни в одну из антологий. Разбить привычную иерархию, «обоймы». Например, основательно представить Вениамина Блаженного, Николая Шатрова, Сергея Чудакова, творивших в советское время в полной безвестности и независимости от него.

В эту антииерархическую антологию я с уверенностью включил бы солидную подборку Леонида Рабичева, поэта и художника, на 63-ем году жизни выпустившего первую книжку стихотворений. За последние лет десять у него вышло около дюжины сборников, а в каком ряду, в какой «обойме» значится его имя? Наконец вышло и его «Избранное» (изд. «Авалон», 2003), стихи от первых фронтовых дорог до наших, теперешних бездорожий. Эта книга сама по себе тоже про-

изведение. Рисунки и дизайн – самого автора. Масса оригинальных фотографий, на открытие – тоже слово поэта и его друзей. Вот такое противоречие: Леонид Рабичев преисполнен (переполнен!) творческой энергией, а в литературной жизни совсем не умеет работать локтями, его, человека исключительно доброго и скромного, не видно и не слышно. То что Рабичев долгими десятилетиями как бы не существовал для «литературного процесса» вовсе не означало отключение от времени. Ранила не только война, но и шипы «мирной жизни».. Всё он видел, всё чувствовал. Еще в 1946 году он написал «Черный рынок», странным образом бьющий рикошетом в наши дни: «Шутя меняет этот черный клуб/
Конец войны на модные штиблеты,/ Табак на время и любовь на суп». А вот теперешние «Марши»: «На экране старик и ребенок./ Звуки маршей, мешки похоронок,/ Дымных щелей и минных воронок,/ Кинопленок, колготок, пелёнок,/ Уголовное, наглое барство/ И всемирный позор и провал,/ Часть шестая земли, государство,/ За которое я воевал». Коротко и сердито. Дальше – больше. И большей: «Разве мы виноваты,/ Майоры, сержанты, солдаты, /Что родятся от нас / Психопаты, бичи и фанаты?» И скорбное: «Слово дурака длиннее века»...

Я начал с «гражданских» тем. Но Рабичев прежде всего лирик, философ, живописец . Потому рядом с «Маршами» читаем стихотворение – «Белая птица», где казалось бы никакой логики, зато мерцает тайна. Поэзия как таковая: «Мимо Грузии высокой,/ Красных мачт, гранитных плит/ Из– Австралии далекой/ Птица белая летит.//Мимо, мимо, курсом встречным,/ Обгоняя облака,/ По своим дорогам вечным/ Двигается моя тоска.//То длиннее, то короче./ Пляски воздуха внутри./ Тайны смены дня и ночи,/ Спутники, нетопыри./ /Дыры черные и ямы,/ Ледяных пространств края,/ Даль кругла, дороги прямы, /Здравствуй, птица! Это я!». Не рассудком это диктуется, потому что

*Сокрытого и явного
Изображая вид,
Рассудок мимо главного*

*По контурам скользят.
... Проходит мимо облака,
И Бога, и земли.*

Найтие и свобода («границ и законов не знаю», «личность начинается с отказа от пути... с пустого помещения, с зачеркнутых страниц», ибо личность – это «извлечение Вселенной из нуля»). Его глаз различает «Великое в едва заметном малом/ И бесконечно сложное в простом». Это и свойство таланта и осознанное кредо: «Писать без оглядки – какое блаженство!»

*Невнятно – опасно, понятно – случайно,
Беспечно – навечно, годами и наспех,
И на смех, и насмерть! Не бойтесь ошибок,
Завидное счастье писать без оглядки.*

Такая жизненная установка и такой художественный опыт приводят его к смелому и даже дерзкому открытию: «Это счастье, что в искусстве / Цель не связана со смыслом». И еще раз, в другом месте: «В поэзии бывает так, / Что смысла не бывает. / Ура, лесок. Прощай дурак! / И шарик улетает». Легкое, тонкое мастерство и детская свежесть восприятия. Поэтому так чужда ему корыстная игра в искусстве: «Я ненавижу мешанину красок. / За мнимую невинностью фактур / Скрывается коммерческая тайна...»

Поэт настоящий и книга настоящая (о его мемуарной прозе, мужественной и беспощадной правде о войне – разговор особый). И отношение к жизни настоящее, выстраданное:

*Ненависть тянет назад.
Только любовь обращает
К будущему...*

ПОГОВОРИМ О ПОЭЗИИ

Да, хочется поговорить о поэзии, а не только о самом поэте, хотя я с ним – Геннадием Русаковым – давно и хорошо знаком. Уж больно часто вижу, что, прочтя книгу стихотво-

рений, пишущий о ней статью или рецензию, как бы возвращает послание обратно, использует тексты для суждений об их авторе, его пути, словно сами «тексты» обращены не к нему, читающему, не к читателю – вообще. Я совсем не против того, чтобы «исследовать» автора, это познавательно и увлекательно, но сначала, но прежде всего, если поэт – поэт, то давайте говорить о поэзии, о том, что она дает мне, нам, вам...

Сначала свет, потом источник света.

Однако сперва несколько слов о своеобразии личности – и не в пику сказанному выше, а потому, что настоящая поэзия приходит к нам в «одном флаконе» с личностью поэта. У нее, у поэзии, каждый раз своё собственное неповторимое (в единственном экземпляре) лицо.

Геннадий Русаков по-своему феноменален. Послевоенный беспризорник, детдомовец, шпана, становится талантливым полиглотом, синхронным переводчиком в ООН, поэтом, который по сей день в основном живет и работает в Нью-Йорке. Это интересно отметить потому, что его английский, французский, итальянский языки никак не оказали своего воздействия на его сугубо русскую поэзию (я сейчас не касаюсь работы Русакова в области поэтических переводов), а его длительное пребывание в США тоже никак решительно не повлияло на его поэтическое восприятие мира и на его менталитет.

В отличие от Бродского... Тот легко и безболезненно стал европейцем (в американском варианте), не переставая, разумеется, быть крупнейшим русским поэтом. Да и поэтика этих двух «американцев» чуть ли не противоположна по интонации, языку, стихотворной форме. Тут мы приближаемся к разговору о поэзии, о противоречивости ее развития. Не секрет, новая интонация открытая Бродским оказалась настолько прилипчивой, что, обогатив русскую поэзию, совратила при этом сотни молодых стихотворцев. Не соблазнительна ли «лёгкость» сочинения таких стихов, как например:

*Предлагаю вам небольшой трактат
об автономности зрения. Зрение автономно
в результате зависимости от объекта*

*внимания, расположенного неизбежно
вовне; самое себя глаз никогда не видит...*
(И.Бродский «Доклад для симпозиума»)

А попробуйте – тоже о зрении – в таком духе (легко ли?):

*... И пасмурного дня невыносимый блеск
(почти до рези глаз), и плачущие окна.
И поливной комбайн под отдалённый треск
на пойме проволока блестящие волокна.*

Не будет у Русакова подражателей. И не надо. Каждому своё. Однако я продолжу до конца его стихотворение, оно пригодится для дальнейшего разговора:

*Я пробую смотреть, не разжимая век,
сквозь тонкую плеву, промасленную потом, –
и вижу двух ворон, неловкий их разбег
с подскоком на крыло и полуразворотом.*

*(Я, господи, люблю весь этот нежный сор –
детали, пустяки, копеечные кроки.
Без этого стихи – что кузов без рессор,
и провисают строки.)*

Как тут не вспомнить Ахматову – «Когда б вы знали из
какого сора растут стихи...» Но Русаков говорит как раз об
обратном: не стихи из сора, а «этот сор» в стихи, чтоб взмы-
вая к небу, они оставалась земными, полными живых конк-
ретных реалий. Причём природных, а не городских. Консер-
ватор – Русаков придерживается классических форм стиха,
но при этом его смысловые и эмоциональные сдвиги, его дер-
зкие, порой рискованные эпитеты, твердят, – он модернист.
То он аукается с Фетом и Буниным, то – с Мандельштамом и
Тарковским. Он сталкивает низкую, порой грубую лексику с
высокой, порой библейской – и в этом сплаве он модернист.
Такой вот «консерватор»... Наш с вами современник, плоть
от плоти послевоенного поколения, он вырывается из време-
ни, но не как Маяковский, который обращался к будущему
химику с истовой просьбой о воскрешении на любых усло-

виях («Что хотите буду делать даром, мыть, стеречь, мотаться, мечь. Я могу служить у вас хотя б швейцаром. Швейцары у вас есть?»). Русакову не до земного будущего. Он взывает к Богу (хоть он и пишет его со строчной – прописной жалко?):

Ты возьми меня, боже, хотя бы к себе в пастухи...

Совсем другое дело. Русаков – самый ветхозаветный из русских поэтов. Его Бог (бог) до-Евангельский, тот, с которым тягался Иов. Пусть для этого у Русакова горчайшая личная причина, я, его читатель и современник, воспринимаю трагический «Разговор с богом» в контексте недавно завершённого двадцатого века с его Освенцимом, ГУЛАГом (вот тут мне прописных жалко!) и Хиросимой.

«Я сам – дитя мучительного века». – подтверждает и Русаков.

За что? «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» (Книга Иова, 3: 23). Начал свой гнев с изгнания из Рая, а впереди – Апокалипсис? Откуда в мире Зло?

*Бешенные, господи, бешеные годы несутся по грязи,
кособочатся, путают ноги, роняют слюну.
Чур, хрипатые, чур! Это снова к чуме и прокаже.
Грянусь оземь, закличу сычом, прокляну...
Снова кровью давиться, кусками отхаркивать душу.
Я уже источился, мой век покидает меня.*

Чем живей поэт, тем ему больней. Никакой логикой поэзию Русакова не улаистишь, не утетишишь, зато ее мощь неосомненна. Боль, вопль, мольба – эта правда неопровержима. Ум великолепно лгать умеет, боль – не умеет совсем. Но выше боли – дар слова, претворяющий боль в трагическую музыку, в предвестие катарсиса. Русский язык служит Русакову всем своим богатством, поэт привносит в него свой песенный дар.

Любим мы понятие – духовность. Ну да, какая поэзия без неё? Но тут духовность – не отшельника, не аскета, не проповедника истины, а самого плотского, самого живого из со-

зданий господних. Поэт – сама жизнь в её горячем, ярком воплощении. У кого еще из современных поэтов мы найдём такую неуёмную страсть к дарованной нам жизни, как в «Псалме вожделения»?

*Вожделею, творец, дабы землю твою обрюхатить –
вожделею, поскольку таким ты задумал меня.*

У настоящих стихов загадочная энергетика. О чём бы они ни были. Об этом меня в свое время заставил задуматься Маяковский. Почему запоминаются строки из стихотворения на «никакую» тему – например, против рукопожатий во время гриппа? Но написал ведь не Демьян Бедный, а Маяковский! Поверх смысла идёт волна личностной энергии, этакая волна биополя, зарядка чуть ли не по Чумаку..

Так вот – у Русакова тоже парадокс. Он нередко многословен и ходит концентрическими кругами, но нет провисающих строк. Через сотни его стихотворений – непрерывный ток энергии, порой даже против смысла. Я, скажем, с ним не хочу согласиться, когда он слишком настойчиво пишет о скорой смерти, а чувствую, что стихи внушают мне силу жизни. Это вам не нытьё Фёдора Сологуба. Это поэзия, это сила жизни говорит о смерти («О ярость жизни! Не оставь – умру.», «Я весь налит тяжелым соком жизни», «Мне больно жить от счастья бытия»). И наконец:

*Какая боль в любви к живущим с нами рядом!
Какая боль в любви!.. И жалко уходить,
Когда глаза еще полны библейским садом
И хочется птенца на ветку посадить.*

Стихи Русакова заставляют вздрогнуть от красоты («Машет бог рукой от палисада/ на своих высоких небесах./ Дождь стоит посередине сада,/ молодой, в сиреневых усах.) и страдания («Ужо тебе, творец! В девятом отделенье/ я скорбь моя, как хлеб, в поэзию макал») – они бросают из стороны в сторону. И всё-таки самое ценное у Русакова – его тайна, тайна возникновения поэзии как бы из ничего, на ровном месте, где никак не ожидаешь:

*Заколодело поле от снега,
и, похоже, гудит под ногой...*

(покамест что-то похожее, некрасовское, хотя «заколодело» – не его...

Да и дальше – строка за строкой – не поймешь, куда клонится стих, а вдруг):

*Может, там этот день малоснежный
трусским волком бежал по стерне –
по огромной, по горькой и нежной,
по моей непосильной стране.*

Не знаю, как вы, а я вздрогнул. Что-то кольнуло. Можно ли, надо ли объяснять?

Кругом такая ширь, что страшно за страну...

Так редко встречаешь подобное в мастеровитых стихах иных поэтов, где имеются все признаки того, что сейчас «носят», но нет этого укола – от сердца к сердцу...

*Да, господи, не зря я, видно, жил
раз ты мне разрешил такую силу зренья,
и слух, что слышит хруст глубокорудных жил,
и мой звериный нюх на запахи творенья!*

И еще:

*Непрошенная жизнь мне веки разлепила
две тыщи лет назад...*

Недавно я был на международном фестивале поэзии в Румынии. Талантливые поэты не делали погоды. Европейские поэты (многие!) почему-то похожи друг на друга. Как по команде стали писать верлибры с одинаковым приёмом: развёртывания псевдореальности. Я, дескать, работаю в мясной лавке, мимо меня ходят мертвецы и истово торгуются. А до рождения я был поэтом и орал, орал, орал. Меня держали в клетке... и т.п. (Это я сейчас стал придумывать в духе услышанного...)

Раз – хорошо, два – интересно, но в сотый раз – извините! Это уже бутафория поставленная на поток. Имитация но-

вейшей литературы. Это относится и к текущему состоянию нашей поэзии. Она, слава богу, разнообразна, но и однообразна. Я имею в виду увлечение интеллектуальной ипостасью – от маскарада Пригова до герметизма Айги. Очень и очень в ходу ирония, центонность, остроумное изобретательство. Недаром всё более широкое распространение получают конкурсы, эстрадные соревнования, чуть ли не спортивный азарт...

Неужели стало неловко и стыдно быть самим собой?

Как и сотни лет назад, я убеждён, требуется поэт, который умеет глубоко и сильно любить, негодовать, восторгаться и страдать. И возлагать персты на струны вполне современной лиры.

О таком поэте я и пишу. О поэзии:

*Уже не писанье стихов,
а просто дыханье словами.
И перечень старых грехов
и ангелы над головами.*

«ЗРАЧОК МИРА»

Книга большая («Возвращение билета» Парадоксы национального самосознания. 2004), даже очень большая. Не знай я автора, может, и не взялся бы за нее. Но это Игорь Волгин, известный вам и мне: увлекающийся и увлекающий, о чём бы не писал, он заставит «резонировать» (в обоих смыслах этого слова – откликаться и размышлять). Его любимой темой «литература, интеллигенция, Россия» никогда не насытишься: всегда злободневно, всегда горячо. Чтение книги «Возвращение билета» диалогично – невольно вступаешь с автором в заочную беседу, изредка – в полемику.

Игорь Волгин не раз отмечает известную и извечную тягу русских писателей к духовной «глобализации». Из всех великих, пожалуй, один только Пушкин был так скромн, что не претендовал на то, чтобы стать учителем жизни. Но уже

от его современника – Гоголя пошла другая традиция. Высокая, порой слишком, – завышенная. На удивление миру и на горе себе. Неслучайно это. Россия мучилась и до сих пор мучается общечеловеческими «проклятыми» вопросами. Чем по счастью и отличается от других великих литератур.

Теперь – из далекой перспективы – видно, как стремительно быстро был опровергнут скорбный пессимизм Чаадаева. Он сетовал на несоответствие величины нашего географического пространства тому вкладу, который внесла Россия «в массу идей человеческих» в то в время, как уже творили Пушкин, Гоголь, Лермонтов – начался золотой век русской культуры.

Русское оружие уже себя показало, русская держава уже утвердилась, но появление и исчезновение империй не такая уж большая новость для истории. Самая мощная и прочная экспансия – это борение совестливого творческого духа, это Россия Достоевского, Толстого, Горького, Солженицына – весь оборот «красного колеса» русской революции, ее соблазн, грех и искупление в назидание всему миру.

Волгин подталкивает к мысли: парадокс в том, что путь России (ее духа) неповторим, но без нее никому не обойтись. Мы сами относимся к себе (я говорю о национальном самосознании) парадоксально, что ж удивляться, что нас и любят и ненавидят? Но как ни относиться к России, отношения к ней не миновать! Волгин пишет: «С появлением Достоевского (и, справедливости ради, добавим, Л.Толстого) Россия останавливает на себе «зрочок мира».

«Бесы» при первом чтении (еще в школе, в сороковых) показали мне талантливым пасквилем – верней, выдумкой, никакого отношения к настоящим революционерам не имеющей, а потом этот же роман в шестидесятых поразил меня своим провидчеством (нечаевщина). Любопытно, что открывшаяся мне гениальная угадка Достоевского вовсе не отменила фантастичности самого произведения. Читая книгу Волгина, я вдруг ясно понял – почему. У Волгина исследование тесно переплетается с исповедью, анализ сопровождается лирикой (недаром он начинал со стихов!). В его душе столкну-

лись две кумира – Маркс, знаменитый создатель теоретической утопии, и Достоевский, гениальный автор глубоко человеческой и человеческой антиутопии. Художественный гений победил. Но это не значит, что в революции были только бесы и бесенята. Об этом опять же свидетельствует художественное слово – от «Двенадцати» Блока и до, скажем, «Клима Самгина». В «Бесах» отсутствует соблазн социальной интернациональной мечты. У революции героев не меньше, чем палачей. А сколько тех и других «в одном футляре»? Революция шизофренична, раздвоена, хоть и едина. Не отсюда ли парадоксальный Воланд, в котором неуловимо двоится Зло и Добро? Ленин, разделяющий мир на черное и белое (пролетарское добро и буржуазное зло), в себе самом нераздельно слил добро и зло (увы, в таком «слиянии» последнее всегда разъедает первое!) «Шизофренизм» отразился и в языке литературы (косноязычие раннего Пастернака, речевой сдвиг Платонова и Зощенко). Недаром Игорь Волгин записывает Достоевского как автора «стихов» капитана Лебядкина в предшественники «Столбцов» Заболоцкого.

Арест и ссылка преобразили Достоевского, как и Заболоцкого. Преобразились бы и многие другие, когда б им суждено было вернуться из лагерей...

Игорь Волгин свободно и смело «гуляет» по двум столетиям нашей литературы (вплоть до наших дней!) и это никак не идет в ущерб добротности и основательности его суждений. И самостоятельности. На меня, например, произвело впечатление его объемное высвечивание противоречивого образа Белинского. Сильный и убедительный вывод: «Белинский может оставаться предметом любви или нелюбви, но отнюдь не объектом научных исследований». Звучит как вызов бесстрастному литературоведению.

Волгин, позволю себе сказать – больше самого себя. Он писатель в широком русском понимании этого слова – он художник и публицист, мыслитель и наставник. Эта книга представляет его со всех– сторон, она при всей своей «разнокалиберности» скреплена единым сводом – личностью самого автора. Похвала? Конечно, но не безусловная. Как-то пос-

ле великанов и гениев трудно переключать свое внимание на Винокурова и Ваншенкина. Тем более на Зауриха. В основном и целом вполне согласный с Игорем Волгиным, в частностях я то тут, то там спотыкался, особенно во второй части книги. Вот, например, автор честно воспроизводит свои политические публикации восьмидесятых-девяностых годов, изредка снабжая их сносками-поправками, соответствующими сегодняшнему времени. Но почему тогда не «поправлена» такая фраза: «... народ никогда не был соучастником зла». Увы, был. Как же без него (народа) революция и гражданская война? Недаром в другом месте Волгин говорит о нашем совокупном опыте (правда, приводит шокирующий ряд: Достоевского «невозможно «вычесть» из нашего совокупного опыта, как невозможно вычесть из него Пушкина, революцию, Сталина, Отечественную войну» – так-то оно так, но я никогда на полку не поставлю в ряд Пушкина и Сталина...). Жаль, что Волгин, не задумываясь, повторяет злую расхожую фразу о «расстреле парламента» Ельциным. Неужели чувство слова не подсказало автору, какая огромная разница между «обстрелом» и «расстрелом»? Между обстрелом здания парламента и расстрелом самого парламента? Ни один парламентарий не был даже поцарапан (жизнью, увы, поплатились другие)!

Но это маленький парадокс самого Волгина, который наделен верным историческим чутьем, компасом, той любовью к истине, которая в наше смутное время охраняет его от уклонений «влево» или «вправо» в угоду злобе дня.

Я начал с того, что книга большая, теперь уточню – весомая и достойная продолжения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОДЕССИТ

Жаль, эту книгу трудно достать. Говорят, всё сейчас можно купить, только деньги давай. Глагол «достать» сдан в архив... Но это относится не к книгам. Попробуйте купить книгу, вышедшую в Новосибирске, тем более – в Кишиневе, то

есть за ближним, а всё таки – рубежом. Дождемся ли мы, наконец, нормальной системы книгораспространения?

Так вот, книга о которой пойдет речь, вышла именно в Кишиневе и она про Одессу. То есть вышла в Молдавии про Украину – для русского читателя. Более того, автор – известный русский поэт, волею судеб закончивший свой жизненный путь в США..

Несколько десятилетий назад (то есть давно: во второй половине прошлого века!) Рудольф Ольшевский появился в Кишиневе из родной Одессы и сразу выделился стихами, в которых яркость и буйство красок, запах моря, задор и нелегкая память недавней войны.

Романтику мы обычно объясняем молодостью, а она как прекрасная гостя долго не задерживается. Она со временем уступает место зрелому опыту и прочим весьма взрослым качествам.

Ничего такого не произошло с Ольшевским. Разгадка проста: живописность и образность, юмор и пафос – в его характере. Это черты личности.

Смутный, белозубый, юркий крепыш объявился на заседании литературного объединения при редакции газеты «Молодежь Молдавии».

– Я из Одессы, – гордо сказал он.

В нем искрилась южная легкость, беспечность и, конечно, неистребимый оптимизм. Он с веселым вызовом сообщил, что учился «в очень средней школе», потом поступил в киностудию. Кем? А кочегаром. И был уволен «в связи с окончанием отопительного сезона». Потом? Работал на судостроительном заводе, теперь подрядился на какую-то молдавскую стройку... А любит стихи, потом всё остальное..

Да, с годами талант Рудольфа Ольшевского стал объёмней и глубже, он выпустил немало примечательных поэтических сборников, перевел целую кипу стихов молдавских братьев-поэтов, написал сотни статей, работая журналистом. Потом с присущим ему увлечением обратился и к прозе.

Рудик (мне как другу можно так его называть!) жил интенсивно и экстенсивно. Легко на подъем, быстро заводил сотни

знакомств, встревал во все дела. И успевал при этом писать. Хорошо писать, весело, образно. Где бы он не жил, это – внешне. По сути – он, как был, так и остался одесситом.

*Танцы институтские, дворики да скверики,
Спелый запах августа – моря и земли.
Где-то в шумном городе посреди Америки
Ходят ланжеронские вице-короли.*

Рассказывать о сборнике «Поговорим за Одессу» или пересказывать – пустая затея. Это ее, этой книги, право и она его никому не уступит. Скажу лишь, что, читая, воистину погружаешься в живую атмосферу сороковых-пятидесятых годов. Война, эвакуация, сиротство, голоштанное послевоенное детство, вереница незабываемых одесских примет, деталей, типажей – от никому неизвестных до знаменитых.

Рассказы Рудольфа Ольшевского преисполнены юмора и нежности, живописности и прозорливости. И любви. В первую голову – любви к родному городу, неповторимой и незаменимой Одессе-маме. Горько, что мы в нашей удалой, размашистой стране не умеем беречь и ценить таланты: Рудольф Ольшевский – поэт и прозаик – не замечен в первопрестольной, он как бы выпал из литературного процесса – его имени нет ни в одной из многочисленных современных антологий. Это несправедливо, я буду повторять это. Утешает только мысль, что добро не пропадает. Талантливый писатель раньше или позже находит свое место в отечественной культуре. Лучше, когда раньше...

МЕТАЛЛ ПОЭТА

Легенда о поэте опередила мое знакомство с ним самим. Более того. Я «сыграл» Григория Поженяна до того, как его увидел. Но по порядку.

Я поступил в Литературный институт осенью 49-ого года, когда только отшумела волна репрессий в связи с кампанией против так называемого космополитизма – институт не досчи-

тался многих известных преподавателей и студентов. Прежде всего я услышал имена поэтов Григория Поженяна, Наума Манделя (будущего Коржавина), Николая Глазкова. О них говорили, делая большие глаза и полусшепотом цитируя их строки. . . И не только строки. Рассказывали: директор вызвал Поженяна в кабинет и объявил об его исключении из института. «Чтоб нога твоя больше здесь не ступала!» – воскликнул директор. Поженян немедленно встал на руки и, болтая в воздухе ногами, вышел вон. . .

А со мной случился курьез. Под Новый год, как всегда, в институте готовился «капустник». Кому-то пришло в голову, что я могу сыграть Поженяна – хотели спародировать приписываемую ему манию величия. (Поженян – забияка, горлопан, заводила, но – небольшого роста, я как раз по фигуре подходил, если соответственно уплотнить бока и плечи и натянуть тельняшку).. Помню, на сцене соорудили нечто вроде постамента, я на него взгромоздился, изображая «памятник Поженяну» и выкрикивая кем-то сочиненные стихи о его сверхгениальности.

«Узнает – он тебе морду набьет!» – сказал кто-то из доброжелателей, поздравляя меня с удавшейся комической ролью. Но мы подружились. Правда, произошло это через несколько лет. Я уже знал и любил его стихи. Восхищался им самим. Спору нет, – поэт, но, ей богу, личность автора перевешивала. . . Он, смею утверждать, – был больше своей поэзии. Гриша Поженян обладал незаурядным даром юмориста. И устные его рассказы, и исполнение – были великолепны. Боюсь, ничего не осталось от этой, самой яркой стороны его личности. Он не ценил своего юмористического таланта, рассказы свои не записывал. А писал стихи без тени юмора, в напористой – я бы сказал – интонации. Много в его стихах крепкого, мужского, амбициозного. Его геройское амплуа теперь выглядит скромно.

Поэзия его сугубо серьезна, пафосна, по ней не узнаешь, что Гриша – настоящий одессит, лицедей-импровизатор, душа общества, непревзойденный тамада. Бьющая через край одаренность, южный неугомонный темперамент порой заводил его далеко. Я написал ко дню его рождения:

*Пусть досужие критики спорят –
стал Бояном ты
или буйном:
твое имя рифмуется с морем,
а фамилия –
с океаном!
Обучающий мужеству Музу,
сквозь медузы житейских историй
ты всплываешь легендой, Григорий
Поженян –
наш герой
толстопузый!*

В книге поэта Рудольфа Ольшевского «Поговорим за Одессу» вошел прелестный рассказ о Григории Поженяне, нашем общем друге. Не удержусь от цитаты. Поженян собирается вылететь из Кишинева в Сочи. Проходит, как положено, через таможенную рамку:

«Она громко зазвенела. Гриша выложил из кармана ключи и мелочь. Снова прошел, и опять раздался звон.

– Вас придется обыскать, – не успокаивался службист.

– Никогда! – прорычал Поженян и, несмотря на то, что вокруг было много народу, который бурно реагировал на этот спектакль, не торопясь, словно собирался принять душ, стянул с себя рубаху, затем, извинившись перед дамами, стал стаскивать и штаны. Оставшись в одних плавках, Гриша снова прошел в проем. Звон показался еще громче. ... Зрителей собралось так много, словно это раздевалась Алла Пугачева.. Я попробовал объяснить:

– Это известный поэт Григорий Поженян. Он воевал. В его теле остались осколки. Они звенят.

– Ладно, одевайтесь, – сдалась бдительная охрана.

– Не только осколки, – шепнул мне на прощанье Григорий Михайлович. – Это еще и характер...».

Шутки шутками, но это он девятнадцатилетним парнем в 1941-ом году пробился с отрядом к Беляевке и восстановил водоснабжение осажденной Одессы (дал воду и мне – я ведь

мальчишкой был там!). Это он числился погибшим – его имя было выбито на мемориальной доске. Он не только написал известные стихи и песни, поставил фильм, он стал знаковой фигурой.

Обладающий обостренным чувством справедливости, он был замечательный товарищ, готовый по первому зову броситься на выручку. Но он же считал, что ему позволено многое, был буквально одержим манией самоутверждения, доходил до смешного и, увы, даже до хамства. Не забуду, как он в Доме творчества в Коктебеле измывался над официанткой, требуя мяса особого приготовления – все повара должны были знать это...

Он был большой ребёнок, одаренный и капризный. Хвастун и задира. На старости лет в споре он получил тяжелейшую травму, от которой уже не смог оправиться...

В последний раз я был у него в Переделкине. Он был плох, очень слаб. Какая-то женщина, видимо, присматривающая за ним, даже выразила сомнение – узнает ли он меня. Узнал. Из кресла не вставал, едва говорил, плохо слышал, глаза слезились. Но, сделав мужественное усилие, спрашивал о моих делах, даже о внуках. Не жаловался, не ныл. Вроде как, утопая, держал голову над водой, обреченно сохраняя человеческое достоинство...

МЫ БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ...

Мы были друзьями с середины прошлого века...

В 1961 году в Кишиневе у меня вышла худосочная, скверно изданная и плохо составленная книжечка стихотворений «Человек моего поколения». Римма Казакова почему-то загорелась написать о ней рецензию для «Литературной газеты». Конечно, сборник был поводом, она была полемически настроена. Рецензия называлась «Что» и «как», в ней Римма спорила с Вознесенским, совершенно неправоммерно противопоставляя его манеру моей (в мою пользу!). Андрей даже сказал мне тогда: «Нас хотят поссорить...» Он, конечно, не

был прав. Да и не это важно. Меня растрогало то, что Римма все-таки написала. Ведь в «Литературке» мне сказали: «Ей сейчас не до того, она на днях родить должна..» Не помню – то ли в последние дни перед родами, то ли в первые дни после родов, но Римма отправила свой отзыв в редакцию! Раз обещала, то исполнила. Характер...

*Родилась ты из пены морской,
Так цари и дари янтари;
Я ж останусь с янтарной строкой:
Римма. Дубулты. 73.*

Эта надпись на сборничке “Голоса” (1973), подаренном ей, навеяна тем, что она, купив янтарные сувениры, под хмельком щедро раздаривала их, в том числе румынским поэтам Иону Хоря и Хория Зилиеру. Последний, помню, на обратном пути очарованно шатался по коридору в вагоне поезда и выкрикивал:

– Римма! Римма!!

Я тоже тогда был очарован, потрясённый её жизнелюбием, удалью.

Неужели настала пора воспоминаний о ней? Живая, она перед глазами...

Живая, противоречивая, грешная.

Когда она в последние брежневские годы стала «начальницей» с отдельным кабинетом (лет пять была рабочим секретарём правления СП СССР) наши отношения стали прохладней. И опять улучшились в постсоветские годы...

О ее поэзии я писал в свое время. Воспроизвожу несколько отрывков:

Имя Риммы Казаковой неотделимо от легкой ауры легендарности. Ворвалась в шумную компанию шестидесятников откуда-то с Дальнего Востока, произвела фурор, молодая, красивая, заводная, талантливая – черт в юбке. Кажется, успех пришел к ней сразу – ее окатило жаркой волной тогдашней всеобщей любви к поэзии. И на гребне этой горячей волны она чувствовала себя, как рыба в воде. Легкая на подъем, весе-

лая, щедрая, неистощимая. И не без привкуса авантюристичности. Ее победоносное счастливое самоутверждение сродни евтущенковскому – оно совпало с мироощущением первого послесталинского молодого поколения, Стихи Риммы Казаковой звенели – отличимо-личные, узнаваемые и одновременно – поколенческие, наши, шестидесятнические. А это – никто теперь отрицать не может – долговременный заряд.

Книга стихотворений Риммы Казаковой 1995 года называется «Наугад». Почему? Слово, брошенное наугад, послание наудачу, неведомо кому? Или это мы, нынешние, бредущие наугад, неведомо куда? Думаю, и то, и другое. Смятение поэта передает смятение общества, ритмию времени. Так. Но меня больше интересует личное, неповторимое, собственная история души.

А как раз по этой части Римма Казакова дает богатый материал, я бы сказал – исповедальный. И не просто в расхожем смысле – как синоним открытости, откровенности, а и в изначальном, религиозном. Это неожиданность, ибо шестидесятники не были склонны к высокодуховным поискам, слишком играла в них молодость, жажда жизни, пробуждение личности и таланта обаяние эгоцентризма.

Но утопии развеиваются, как и иллюзии молодости. (Слава Богу, Евтушенко и Казакова, Вознесенский и Ахмадулина сумели пережить молодость – то, что не удалось Есенину и Маяковскому!).

Уже нет иллюзий, хотя уже вполне осознаны парадоксы любви:

*Защищаюсь от большой любви
к очень небольшому человеку.*

....

*И ничтожность предмета,
что вызвал высокие чувства.*

Пушкинская нота, как тут не вспомнить: «Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных.» А еще нельзя не отметить и чисто женский вызов Александру Сергеевичу:

*И прекрасное мгновенье
быть может, для кого-то –
я сама...*

Есть и другие переключки, менее убедительные. Как бы в ответ на пастернаковские строки «Но надо быть живым и только, живым и только до конца», Римма Казакова уточняет:

*Мечусь, горячусь, то – ледышка, то – печка...
А надо быть теплой и – только.*

Может быть. Но звучит пародийно.

То же и с Маяковским. Если у него сказано мощно: «Пусть только время скорее родит такого, как я, быстроногого!», то тут бледней: «Пошли мне, Господи, того, кто мне подобен!», да еще при последующем явном снижении:

*Кто не ворует, и не лжёт,
кто, зла не множа,
от грязи душу бережёт –
и губы тоже...*

Склонность нечто провозглашать, произносить «передовые» сентенции – родимые пятна шестидесятников.

Нам выпало стать молодыми после самой страшной и кровавой из всех войн. Но дым пожарищ рассеялся, и вспыхнуло ослепительное майское солнце сорок пятого года. С тех пор благодарное чувство к жизни не покидает нас – вопреки всему.

Трагической оборотной стороны нашей действительности мы тогда не осознавали: из умытой кровью Европы возвращались наши воины, и все должно было быть хорошо...

Как бы ни были поэты грешны, любите их за то, что они поэты.

Евтушенко и Вознесенский, Рождественский и Казакова, как и многие-многие ровесники Гагарина и Горбачева, верили в «социализм с человеческим лицом» и когда, казалось, эта мечта наконец-то победила, вдруг – ни социализма, ни человеческого лица... Ни прежнего отклика, ни прежней славы. Немудрено, что – «ломает»... Однако это не только личная

драма, раз она созвучна широкому кругу читателей, чье детство и отрочество опалено войной, а молодость совпала с крушением культа Сталина.

«Оттепель» – несомненный всплеск радостной творческой силы, упоения будущим, – время надежд, открытости и жизнелюбия. Как это непохоже на нынешнюю поэтическую молодежь, совершенно лишенную праздничного мироощущения и «энергии заблуждения»! Я вполне понимаю достоинства (и причины) замкнутой на себя, самозащитной, интеллектуальной поэзии, но позвольте мне тосковать по обнаженному слову и столь уязвимому в наше время. И благодарно отзываться на жажду общения. Узнаю Римму, ее характер, спасительную самоиронию, рискованную откровенность, когда она несколько неожиданно заявляет:

*Знакомый бизнесмен позвал в кабак
с улыбкою всесильной на губах.
Я не пошла. Мне страшно одного:
потянет что-то кланчить у него...*

Горько сознавать, что зависимость от цензуры сменилась зависимостью от толстосума и товароведа. Римма Казакова писала:

*Читающая публика читает,
болтающая публика болтает,
торгующая публика торгует,
ворующая публика ворует.
Гармония! Какая благодать!
Работающих что– то не видать.*

Кстати, о читающей публике. Она-то не очень читает, а ежели читает, то что? «Стихи не нужны – и поля опустели, как будто бы птицы на юг улетели... Ломается мир – и стихи улетают...»

У нас (особенно в школе) очень любят задавать вопрос: чему писатель учит? Поэт, конечно, не учитель и не проповедник, но, ей-богу, мы у талантливого поэта все-таки учим-

ся, пусть неосознанно! В наши смутные времена, в годы инфляции, обесценивания любви, верности, бескорыстия стихи Риммы Казаковой – это заряд здоровой духовной энергии. Это урок личности, побеждающей обстоятельства. «Сквозь вселенную конопатую – чем бы ты ни смутил – я лечу, верчусь и не падаю по законам светил!» И это вовсе не риторика, не завышенная нота, а убежденность, натура, сущность, которые она же выражает и самыми простыми «житейскими» словами: «Я одна не пропаду в неразборчивых потемках. Я занятие найду: где – младенца, где – котенка, где – тропу, а где – строку...». И прямо – в лоб нынешней демографической вялости: «... детей рожать охота!»

Римма Казакова выстрадала право сказать:

*Я многое в жизни смею,
и с этой звездой во лбу,
как целый народ, имею
историю и судьбу.*

ПРИСТАЛЬНОСТЬ ВЗГЛЯДА

С самого начала Ивана Жданов (первый сборник – «Портрет». М. Современник, 1982) поразил необычностью. Некоторым его стихи могли показаться странными. Вот Александр Шаталов на страницах «Литературной России» недоумевал: почему, дескать, Иван Жданов забывает, что метафору положено развертывать, а не наслаивать образ на образ. Так и написал – «забывает». Словно есть узаконенный набор правил, коими надлежит руководствоваться каждому, вступающему в литературу. Но стихи Ивана Жданова – не учебная проба пера. Первый его сборник представляет нам сложившуюся поэтическую индивидуальность, да и возраст автора был не так уж зелен – тридцать с хвостиком.

В общих чертах я бы определил своеобразие художественного мира И. Жданова так: напряженнейшая внутренняя жизнь, настолько интенсивная, что стирается грань между

восприятием внешнего мира и внутренним миром личности. Недаром говорит поэт, что в человеке

*...прижилось желание быть неуловимым
для пустоты и быть понятным
хотя бы только для себя:
лежать под солнцем, ощущая
луны движенье за спиной,
стоять в воде и тихо видеть,
как сквозь него течет вода,
как по воде от стука сердца
бегут пронзительно круги...*

(«Все лишнее для человека...»)

Это переплавка окружающего в горниле обостренных до крайности ощущений, переплавка чувств в мысли, и наоборот. Отсюда – необходимость нелегкой перестройки читателя на особую систему словесных сцеплений.

*Любовь, как мышшь летучая, скользит
в крошечной тьме среди тончайших струн,
связующих возлюбленных собою...*

Здесь, вопреки привычке, ни к чему зрительно представлять себе летучую мышшь, у которой решительно нет ничего общего с аллегорией, призванной изобразить любовь, – а необходимо «изнутри» почувствовать слепой полет во тьме, быстрый и безошибочный, такой же, как интуитивная тайна любви!

Язык поэзии Ивана Жданова не просто метафорический – речь здесь идет о сплошном одухотворении мира, о личностном его преломлении. И о редкостной жизненной сосредоточенности, противопоставленной примелькавшемуся и мелькающему, всей той поверхностной раздробленности внимания, которая нередко диктуется нам вихреобразным потоком информации и сверхскоростями. Вглядывание Ивана Жданова вскрывает неожиданную емкость образа. Вот, например, строки из стихотворения, в котором трагическая боль любви становится плотью образа физически реального, зримого:

*А над оттаявшим прудом весна не городская,
на деревянном островке вчерашний снег уплыл.
Там, клюв упрятав под крыло, как будто замыкая
себя в осеннее кольцо, когда-то лебедь жил.
Я вспомнил лебедя, когда, себя превозмогая
и пряча губы в воротник, я думал о тебе.
Мне так хотелось умереть, исчезнуть, замыкая
в себе все прошлое мое, тебя в моей судьбе...*

(«Ты, смерть, красна не на миру»)

В образе этом есть нечто характерное для поэзии Ивана Жданова в целом. Это некая закольцованность, которая содержит несомненный признак художественности, будучи законченной в себе системой. Как бы никому не адресованная, она становится притягательной для нас, потому что на ней отсвет талантливой, искренней личности.

Однако достижения тут неразрывно соседствуют с утратами: когда прием превращается в «прокрустово ложе», тогда неминуемо возникает отчуждение от читателя. Вот начало стихотворения «Орнамент»:

*Потомок гидравлической Арахны,
персидской дратвой он шивает стены,
бросает шахматную доску на пол.
Собачий воздух лает в погребенье.
От внешней крови обмирает вопль.
Она четверку лошадей выводит,
подковы их – само колесованье.
Он ставит лаковых слонов на рельсы.
Разбросаны перчатки осязанья,
наперстки звона, веретена вальса...*

Ну, хорошо, Арахна – это из мифа, где девушка-вышивальщица бросает вызов самой Афине, за что и превращена в паука... Но чем обусловлены ассоциативные прыжки к гидравлике, персидской дратве, шахматной доске? И хотя каждая строка в отдельности звучна, вместе ничего не складыва-

ется. Рождаются лишь вопросы: кто он, потомок Арахны, кто она, выводящая четверку лошадей? Оказывается, по замыслу автора, в комнате – мужчина и женщина, которые столь чужды друг другу, столь враждебны, что пространство между ними как бы заполняется предметами, материализующими их несовместимость, духовную рознь.

Интересный замысел? Да. Но само стихотворение так далеко ушло от него, что уже не восстановишь связи. Ради проверки я опросил нескольких читателей, и никто не предложил толкования этого стихотворения в духе авторского... Между тем и в этом переусложненном стихотворении есть ряд бьющих в цель, запоминающихся строк («Разбросаны перчатки осязанья, наперстки звона, веретена вальса» – чувственные, образные слепки отношений). К ним примыкает заключительный аккорд, составленный из бессвязного с виду набора слов, но именно он создает образ диссонанса, разрыва: «Пересыхает кофе. Гниет дратва. Облизанная сталь. Снег. Бритва».

Передача чувства режущее-неприятного совершается здесь косвенно, опосредствованно, достигая необычной остроты через условность, которая присуща, скажем, искусству мима, пластическими жестами наполняющему пустоту.

В своем развитии поэзия не раз бесстрашно приближалась к прозе, вызывая наше восхищение тем, что ей при этом удавалось оставаться поэзией, «претворяя воду в вино» искусства. Чуть ли не весь арсенал разговорной, речевой прозы был опробован и перемолот жерновами стихотворных форм. Менее заметной была другая тенденция – отталкивание от повествовательности, «закольцованность» поэзии в своем особом способе выражения, сближающем ее с музыкой, которая не поддается пересказу, не существует вне самой себя. Я думаю, это остается справедливым всегда, когда речь идет о произведении искусства. Вот и у Жданова мы находим образы настолько четкие и ясные, что, кажется, «перевести» их на язык прозы не составляет труда:

*Умирает ли дом, если после него остаются
только дым да объем, только запах бессмертный жилья?*

*Как его берегут снегопады, наклоняясь, как прежде, над
крышей,
которой давно уже нет,
расступаясь в том месте, где стены стояли,
охраняя объем, который четыре стены берегли.
...Умирает ли дом, если мы этот дом покидаем!
Умирает ли дом, если он забывает о нас!*

{«Дом»}

Конечно, можно пересказать: снегопад заштриховывает пространство вокруг воображаемого дома, но особая сущность, именуемая поэзией, рождается не только из содержательности образа, а еще из порядка слов, их музыкального строя, из единственно для них возможной и не допускающей вариантов интонации. С этой точки зрения «Я помню чудное мгновенье» и «Я чудное мгновенье помню» – далеко не одно и то же...

Как бы ни писал Жданов – свободным стихом или традиционным, – ему неизменно сопутствуют чувство слова, внутренняя мелодия. Он, я бы сказал, более музыкант и живописец, чем собеседник.

*Это всего лишь щепоть пустоты,
это всего лишь чакона без скрипки –
ты меня встретишь подобьем улыбки,
словно стесняясь своей красоты.
Это из сказок, из тени степной
ветер приносит молчанье цикады,
ветер ночной, примиряющий взгляды
и наполняющий нас тишиной...*

Евгений Осетров, написавший «Вместо предисловия» к сборнику, говоря о неоднозначности поэзии Ивана Жданова, удивленно заметил, что это «редкий случай, когда плюсы и минусы не противостоят, а вроде бы как-то объединяются...» Случай как раз не редкий. Такое единство противоречий характерно для органично развивающейся творческой личности.

(Впервые стихотворения Ивана Жданова были опубликованы в журнале «Юность» в 1978 году не без моих усилий... И до и после я много писал о молодых поэтах – в частности, сошлюсь на статью «Жила-была студия» в книжке «Литературное досье», – из отзывов и предисловий можно составить отдельную подборку, далее я обращусь к памяти тех, кого уже нет.)

СТАРТ АЛЕКСЕЯ ПАРЩИКОВА

Последующие строки написаны действительно на его старте, когда он активно участвовал в моей студии. А был уже финиш – в Германии, он умер далеко от Москвы, мне до сих пор жаль, что он уехал, отделился от нашего «литературного процесса». Но как бы то ни было – его присутствие в новой русской поэзии обеспечено.

...И в традиции, и в новаторстве нет прямолинейности. Поэзия развивается и через «отрицание», и через «отрицание отрицания»... Алексей Парщиков начал с решительного, осознанного отрицания канонов. В главке «Карл» из поэмы «Я жил на поле Полтавской битвы» сражение увидено глазами шведского короля и одновременно глазами автора поэмы, он присутствует там, где хочет, ибо в историческом представлении каждый из нас вездесущ (только в конкретной реальности «я» со своей точкой зрения не может быть сразу в двух точках пространства!). Однако поэт ведет себя не как актер, который, готовясь выйти на сцену, где, скажем, начинается мир «Полтавы», переодевается и профессионально перевоплощается в одного из протагонистов или статистов. Нет, Алексей Парщиков непосредственно «взаимодействует» с прошлым, решительно снимая чувство дистанции, отменяя школьные координаты застывшей перспективы. Это не нарочитый литературный прием, а видение, вызванное художественным темпераментом, отвращением к нелепой войне, занесенной Карлом вглубь российской земли, – современной ненавистью к агрессору:

*«Королю наливают стакан, – я его осушаю,
и меня не ведут на расстрел;
вот я бью короля по щеке, и король подставляет другую –
не видит меня;
ждет его допельклепер лифляндский под турецким седлом –
я расседываю коня; я ладонью полполя королю закрываю...»*

Метафора становится новой реальностью – вот она, перед вами, зримая, действующая. Карл полагает, что он «делает» историю, но мы-то, глядя на него «отсюда», видим, что его затея – жалкая, чуть ли не бутафорски-игрушечная, мы «сверху» прищипливаем его к историческому стенду словами Парщикова – «историю сделает тот, кто родится последним» (право потомка усмехнуться!). Затея обречена, она жалкая издали, а лицом к лицу – всегда страшная, кровавая, прощения игроку-королю не будет вовеки!

*«Кто же поле приподнял с враждебного края,
и катится войско на Карла, и нету заслона,
стала бессмысленной битва...»*

Образ-находка, точный и четкий, как в мультфильме, но дело не только в художественной наглядности – в этом зримом действии выражена позиция поэта: земля российская словно сама накрывается, опрокидывая незваных гостей. Это показ, как говорят о фильме, причем показ «с комбинированными съемками»...

Новая форма выразительности требовала новой техники. Парщиков – как тот музыкант, который создал для себя новый инструмент и заново научился на нем играть.

ВЫСОКО ЕЕ ДОМ...

Горько, что об Анастасии Харитоновой уже приходится вспоминать. Казалось, жизнь была впереди, но точку она сама себе поставила. Казалось, ее поэтическая судьба складывается благополучно (у нее вышло более десяти книг стихотворе-

ний!), но на самом деле ее почти не заметили или, заметив, промолчали – сейчас, дескать, не это «носят», немодно... А она была поэтом. Талантливым, целиком и полностью преданным своему призванию. Она приходила ко мне на студию (в ту пору мы собирались в помещении журнала «Юность»), мне, пожалуй, первому довелось напечатать короткий отзыв о ее творчестве, я вернулся к нему, перечитал и вижу, что все сказанное остается в силе.

Появление Анастасии Харитоновой на занятиях литературной студии было всегда заметно, хотя она-то как раз вела себя незаметно. Тихая, сосредоточенная в себе, словно бы отсутствующая. Но когда наступал черед и она начинала читать свои стихи, то устанавливалась тишина, полная серьезности и внутреннего напряжения.

*Кто сплет о моем поколенье?
Наши мертвые приняли стыд.
Мы бросали любовь в отступленье,
И Господь нам вовек не простит.*

Есть стихи, рассчитанные на возгласы восхищения, на оживление в зале, на аплодисменты. Стихи, заранее предполагающие аудиторию. Не то у Анастасии Харитоновой. Она читала стихи самой себе, точно наедине с собой, в полном одиночестве.

*Ночь над стихом – из жизни грустный выцвет,
Ночь без стиха – к безумью верный шаг.*

Слушатели словно ненароком оказались подключенными к духовному миру поэта, хотя он, этот мир, слишком тревожен, мучителен, безотраден. Казалось бы, к чему нам сие? И без того проблем хватает...

*Сна мне уже не стряхнуть.
Поздно. Никто не разбудит.
Слишком высоко мой дом.
Слишком тропинка узка.*

Но происходит обыкновенное чудо искусства. Горечь, разочарование, безнадежность, а, тем не менее, мы не чувствуем тупика, мы угадываем свет в конце тоннеля. В этом диалектика искусства, ее, если хотите, тайна.

*Смотря темно и виновато,
Я изнываю на земле,
Когда душа, как луч заката,
Дрожит у песни на крыле.
Живу без друга и совета,
Стараюсь меньше говорить,
Чтобы последней капли света
В пустой слезе не растворить.*

«... На жизнь оглянешься и скажешь: Сколько снега намело!..» Словно не было у поэта ни детства, ни юности, прожито много жизней, пройдены круги ада. Сразу и безоговорочно. Анастасия Харитонова приняла на свои хрупкие плечи бремя русской философской поэзии, ее умудренный и горький опыт:

*Если случится со мной беда,
Я скажу душе: «Не смотри сюда».
Если в отчизну придет беда,
Я скажу душе: «Это было всегда».
Заболает ребенок – душе тогда
Я скажу: «Терпи. Что ни дом – беда».
Ну, а если с тобой приключится зло,
Я скажу: «Улетай. В небесах светло».*

Творчество Анастасии Харитоновой – исповедь ни перед кем. Послания без адреса – они сами призваны найти себе адресата. Толчки боли. Вопросы без ответа. Поэт потому и поэт, что открывает в читателе неведомые ему самому душевные горизонты.

Еще в одной из первых книг Анастасия Харитонова пророчески начертала: «Не зная смерти, я была невинна. Узнав о ней, виновна я во всем». Смерть непоправима, и не нам судить о причинах ранней гибели Анастасии Харитоновой. Для нас – ее стихи. Надеюсь – они не погибнут.

МОЛОДОСТЬ НАВСЕГДА

Я написал вступительное слово к первому сборнику стихотворений Марины Хлебниковой и с нетерпением ждал его выхода. Представлял себе, как она будет радоваться, взяв в руки свою книжицу. И вот книжка вышла, а Марины нет. Молодая женщина, одаренная, красивая. Ей бы жить и жить... Русским поэтам преждевременная гибель не в новинку.

Мне довелось в свое время участвовать в защите диплома студентки московского Литературного института им. А.М. Горького Марины Хлебниковой. Я сам когда-то учился в этом уникальном институте. Годы, проведенные в нем, были лучшими в моей жизни. Я приехал в Москву из Белгорода-Днепровского Одесской области – с удовольствием подчеркиваю это свое «землячество» с одесситкой Мариной, деликатно обходя вопрос о нынешних государственных размежеваниях.

Время тогда было совсем другое. Вернулись с фронта поэты – они были по возрасту молодыми, почти ровесниками, а по опыту куда более старшими. Прославленное военное поколение – Недогонов, Гудзенко, Винокуров, Межиров, Слуцкий... Очень резкой выглядела разница между воевавшими и невоевавшими. Только через десять лет пришло другое не менее ярко очерченное поколение – Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина... Потом на долгие годы наступило время, названное застойным, а в поэзии – глухим, приглушенным. Но все чувствовали в воздухе напряжение перемен. В восьмидесятых явлением стала «новая волна» в поэзии: метафористы, концептуалисты. Поэзия пережила сначала невиданную свободу и размах, потом столь же невиданную утрату интереса к себе после распада прежнего общества и тогдашнего уклада жизни.

Теперь «поколенческих» событий в литературе не происходит. То тут, то там талантливые люди возникают поодиночке, стараясь опровергнуть сомнительное (особенно в искусстве) утверждение, что один в поле – не воин. За годы учебы в Москве Марина Хлебникова прошла быстрый и плодо-

творный путь развития, стала активно печататься в центральных изданиях, – я был одним из тех, кто рекомендовал принять Марину в Союз писателей до выхода первой книги. Одесса занимает в русской поэзии значительное место. И отличительное. Своеобразие южного переплетения культур, искрометный темперамент, романтика моря. Марина Хлебникова родилась поэтом, выросла у Черного моря, оваянно-го именами Катаева и Олеси, Багрицкого и Кирсанова. Характер у Марины Хлебниковой был открытый, деятельный, порою даже напористый, но не могущий скрыть «нормальную» уязвимость поэтического сердца:

*Ищу свое лицо –
сегодня во вчерашнем...
Дружила с подлецом –
сегодня стало страшно,
сегодня ноет зуб,
как совести бы надо –
стираю краску с губ,
а там опять помада....
Как будто первый лед
подошвой прогибаю,
как будто кто-то врет,
а я ему киваю...*

У Марины было ощущение культурного пространства, той истории, которая творилась у нас на глазах. Это – как взгляд с высоты на наши дни, а рядом – взгляд изнутри... Какой там взгляд! Боль, крик, бунт против рабского озверения:

*Мы – зверье... Нас гоняет голод,
Он сильнее обид и стали.
Мы живем по законам стаи,
Вожакам подставляя горло.*

Марина, когда ею овладевало страстное отношение к тому, что мы называем гражданской темой, обретала воистину мужскую силу голоса, она вбивала строки, как гвозди:

*Век мой! Смола и свинец!
Третьего Рима позор,
Третьего рейха конец,
Ветер, ноябрьский сор...
Век мой – горбун и главарь,
Бреющий души и лбы,
Я дочитала букварь
К водоразделу судьбы!..*

И тут же – совсем другой регистр – пронзительная истинно женская лирика:

*Пять минут судьбы – к лицу лицом,
пять минут судьбы – но телом к телу!..
Золотым залетным бубенцом
по твоей душе я пролетела...
И непринужденная живописная пластичность:
Внезапно, как сбегает молоко,
сбежал покой, откинув одеяло,
и туфельки помчались так легко,
что платье за ногой не попевало.*

Время обожгло душу Марины Хлебниковой опасной дозой незримого облучения. Потому молодое жизнелюбие выглядело каким-то раненым, порой надрывным. Марина... Это имя вызывает невольные ассоциации с великим женским именем в русской поэзии двадцатого века и – что самое страшное – перекликается с ним трагической гибелью.

ГИБЕЛЬ НА ВЗЛЁТЕ

Переживи меня, мой друг...
Анатолий Кобенков

*Он в дверь меня уважительно
всегда пропускал вперёд
как старшего, ведать не ведая,
что раньше меня умрёт.
Зачем, почему, о Господи!*

*Был не его черёд...
Оглядываюсь на отсутствие
того, кто за мной идёт.*

Он ушел внезапно, скоропостижно, в одночасье – ночью 5-ого сентября 2006 года . Сердце... Сердце истинного поэта часто не выдерживает собственного перенапряжения. Оставил боль, память и стихи...

Анатолий Кобенков пришел к нам издалека. Родился в 1948 году на Дальнем Востоке, жил и работал в Восточной Сибири, возглавлял Иркутскую писательскую организацию СРП, потом перебрался в столицу – Москва стала узнавать в нём значительного и самобытного поэта. В жизни он был незаслуженно скромн, излишне отзывчив и добр, а в творчестве строг и требователен, знал силу слова и свою собственную. Поэзия отвечала ему любовью за любовь, открывала ему свои тайны.

Последний год я работал с ним вместе в Фонде СЭИП у С.А. Филатова. Благодаря ему, я попал на Фестиваль поэзии в Иркутске и Братске. Он был прекрасный организатор, работал на износ. У него уже было два инфаркта, он держался, не пил, но в последний день, когда всё удалось и напряжение спало, он сорвался. Из Братска вылетел на пушкинские дни в Михайловское, там, к сожалению, опять крепко выпил – о чём у нас на работе донесла одна сотрудница, тоже побывавшая там. Бедный Толя...

И вот – через несколько дней после какой-то презентации он с женой вышел на улицу, вдруг ему стало плохо. В карете «Скорой...» скончался.

Похоронили его в Переделкине, на кладбище, где покоятся Пастернак, Тарковский, Чуковский, откуда виднеются золотые церковные купола. Толя был искренне верующим, православным...

Пронзительный лирик, чистый и честный человек – его жизнь продолжается в русской литературе. В пике сегодняшнему «непоэтическому» времени он будет находить всё новых и новых благодарных читателей.

А я был его другом и я безутешен, что его самого уже нет...

“ИСТЕКАЮ КЛЮКВЕННЫМ СОКОМ...”

С недавних пор, как по команде, в мировой поэзии большинство поэтов перестало писать стихи, и даже все дальше стало отходить от верлибров, которые держались на скрытом ритме, строгом выборе слов, смысловых метафор и свойствах того или иного языка. Глобализация?

Стало очевидно, что перейдена некая качественная граница – родилась и размножается новая форма сочинительства: **т е к с т ы**. Тексты уверенно завоевывают литературное пространство. Экспансия или агрессия?

Но это полбеда. Любая новая форма может доказать свое право на существование – зависит от таланта, от личности. Но она и должна называться иначе. А тут тексты претендуют не только на звание поэзии, но и на единственно возможную сегодня ее форму. К тому же тексты объявились не просто так, а с принципиально иным методом. Или наоборот. Поэты, удрученные избытком культурного богатства прошлого, нашли выход в том, что они отныне чувствуют и видят иначе, а следовательно и выражение этой инакости должно быть соответствующим – поверх любых канонов. И поехало, и пошло! Километрами стали рождаться тексты, в которых ни одна мысль не может быть выражена нормально, ни одно чувство, ни одна метафора не может быть смысловой, ни один образ – естественным. Главное – изобретать, изобретать, изобретать. Этакие псевдореальные словесные инсталляции. Весьма соблазнительно, эффектно, модно, а главное – доступно даже графоману!

Я на разных международных фестивалях познакомился с творчеством десятков поэтов из самых разных стран и с удивлением обнаружил, что они – мужчины и женщины, молодые и пожилые – за редким исключением подозрительно похожи друг на друга – смею сказать, пишут, как один и тот же человек. Прием тоже один-единственный: поэт создает фиктивную конкретность и лицедействует в ней, изображая трагедию, комедию или просто абсурд.

В России это явление носит пока маргинальный характер, оно существует больше в переводах, но все-таки... Как к этому относиться? Может, стихи, как таковые, исчерпали себя, и настало время текстов. Прогресс, дескать, неизбежен. Хорошо бы, если так. Но кроме поэтов имеются читатели, а они почему-то тексты “не едят”. Увы. На фестивалях, где я принимал участие, поэты дружно собирались вместе, по очереди читали стихи, сами себе вежливо аплодировали, ибо иных слушателей не было. На фестивалях не предусмотрены встречи с читателями! Вообще.

Сей факт подбивает меня на еретические вопросы: перед нами прогресс или нечто противоположное?

Перелистываю несколько свежих антологических изданий.

Цитируемые тексты зарубежных авторов буду приводить в своих переводах с разных языков, осуществленных чаще всего через румынский и французский.

Прошу прощения, я не стану отмечать степень одаренности тех или иных авторов и называть имена – моя цель ограничена желанием обратить внимание на явление, которое считаю тревожным, превращающим сочинителей в замкнутую касту, соревнующуюся в экстравагантности своих творческих миров. Им самим, наверное, становится скучно, они переживаниям друг друга не верят, но... иначе нельзя, иначе уже не принято...

В качестве примеров приведу подряд начальные строки ряда текстов разных и разноязычных авторов (ради экономии места отделяю строки косой чертой, сохраняя лишь своеобразный синтаксис или его отсутствие):

1. “пок!/ выстреливаю пулю в голову и смотрю сквозь/ дырку еще освященную убийственным пламенем./ то что вижу непохоже на золотые ворота/ ни на высокие двери ни на корону/ из еловых веток...”

(“Выстрел”)

2. “Вся моя плоть это свеча/ А я пламя в прозрачном небе/ мертвый как птицы/ Я буду весить больше чем живой...”

(“Ожог”)

3. “Мой ум покрыт стекловатой... / одни говорят, что он стонет от призраков/ шершни гудят как поджаренные/ среди бунтующих нейронов/ верховный шершень требует рапорта/ каждую ночь/ отдавая меня во власть чертям, хлещущим меня/ смоляными связанными узлом горизонтами...”

(“По многим тропкам”)

4. “Я любил ногу еще когда не знал что она/ нога и/ кожу рук любил/ еще когда/ не знал что похожа на сморщенный лист/ кактуса,/ я любил сердце, Господи!, оно прыгало между/ ребер как паралитик/ как лягушка, слегка электризованная двумя ментоловыми корешками/ двумя нитями музыки/ я укусил свой язык и увидел что он хорош/ я проглотил слезы...”

(“Славы милости”)

5. “Для тебя, чтобы ты был еще выше и еще красивей/ и еще стройней/ я разделила сердце надвое,/ как копыто ягненка./ крала и врала, плевала кровью. // Я мыла трупы/ и спала на пластиковых пакетах, набитых мусором...”

(“Дети через сито”)

6. “я потеряла много крови из-за неустановленных причин/ словно перед камерой оператора / я убежала изо всех сил в пустыню/ и все же сердце треснуло по тебе/ лопнуло, превращаясь в нежные нити/ говорят что я плетусь с высунутым языком из-за любви/ как дикая верблюдица или сука, роняющая пену...”

(“Авария”)

7. “У меня два зверя,/ один красный, другой голубой./ Когда голубой пьет,/ тот, красный, бегаёт вокруг – / и наоборот./ Никогда не могу их поймать, разделенная как есть/ Между тем, кто стоит, и тем, кто гоняется...”

(“Обернутая луной”)

8. “Хотел бы сказать/ кое-что о пепле твоих сумеречных глаз/ для них я приготовил слова на линии огня/ для них гранаты, саперная лопата/ крест из масленичного дерева...”

(“Мона-монада (IX)”)

9. “жил далеко от моря, избегал зеркал/ и сборищ, в которых веселились столь же ревностно/ как молились // теперь там было тихо и я мог заметить:/ некто спал, остальные охра-

няли его сон/ не догадываясь что он уже покойник/ и что рот его полон тьмы. . . ”

(“То, чего ждал, никогда не приходило”)

10. “Кто-то проник в меня, кто-то проник в меня,/ кто-то с волчьими лапами. А я сказал: – Волк,/ зачем ты волком влез в меня,/ почему не облачился в волчью шкуру заранее?/ Нет у тебя в лесу родни?/ И он сказал: – Я не волк, нет, нет. Это/ не волчьи лапы, а ветки, просто ветки”

(“Странный волк”)

11. “Толый посредине голого облака/ плывущий на доске из сердцевины дерева смолотого/ для лепешки в которой уснут призраки. // в брюхе горы полной каторжников/ замурованных в храмах. . . ”

(“Соль”)

И, наконец, 12-й (цитирую одно целиком с долей иронического намерения):

НИЧЕГО

Ищу в воспоминаниях:

ничего,

Не нахожу ничего

Я писал, писал, писал.

Все фиксировал:

Ничего.

Облака плывут, река

Пересекает поле, свет открывается

И закрывается.

Ничего,

Ни к чему не приводит.

Фиксирую ничего, чтобы его не забыть.

Это, так сказать, “автомифологические” тексты. Другая крайность – просто тексты, которые отличаются от обычного прозаического повествования лишь графикой. Они, как правило, длинные. Например (по-прежнему цитирую без разбивки на строки):

“Мой сосед через дорогу, родом из Крайовы/ продает колбасы./ Заработал кучу денег на этом деле и купил/ участок земли, на которой построил дом./ Дом дорогой и без выдумки. Но не о доме/ пойдет здесь речь: а о его дворе, который он все время поливает./ Я почти незнаком с ним, здороваемся лишь, но/ я его ввожу в это стихотворение, потому что каждый день добрый день/ он орошает двор с цветами. Я видел его/ за этим занятием утром на заре,/ и видел поздно ночью. Даже когда шел дождь/ он не бросал свое занятие, преспокойно держал шланг и/ поливал добросовестно цветы, пренебрегая небесной влагой...”

Стихотворный текст или все-таки просто текст?

Кстати, не удержусь от того, чтобы указать на смешное совпадение. В середине пятидесятых годов в газете “Молодежь Молдавии” я опубликовал стихотворение некоего Сливко, где в обычном рифмованном виде высмеивался административный восторг. Во время дождя рабочий усердно поливал улицу. На недоуменные вопросы горожан он покорно отвечал:

*Поливать, не глядя на погоду,
Приказали нам директора...*

Смех смехом, но на этом сходством обрывается. Современный автор придает эпизоду чуть ли не метафизический, эстетический и даже... религиозный смысл. Вот как продолжается начатый выше текст:

“Уверен, он не читает стихов. И потому/ его совсем не интересует/ что это стихотворение выросло вокруг него/ как храм вокруг креста/ ему неинтересно/ что я его окончательно запер в этом стихотворении/ как кораблик в декоративной бутылке. Вечный и нелепый, он поливает истово/ двор. Думаю в детстве он жил в местности/ выжженной засухой. И еще думаю что однажды ночью/ таким ему снился рай,/ в виде двора в Крайове, чью зелень поддерживаешь/ поливая

шлангом./ А теперь он уверенными шагами вступил в тот свой сон/ и непотревоженно там обитает”.

(“Мой сосед через дорогу”)

Ну и что? Неплохо придумано? Но бутафория налицо.

Понимаю, в поэзии столько достижений, столько вершин, что новым поколениям, вступающим в литературу, кажется единственно возможным для спасения своего “я” шарахаться и тыкаться во все стороны, к тому же мир изменился, невозможно писать, как вчерашние гении, должно же обозначиться что-то свое. Развитие форм и поисков не остановить.

Но давайте признаемся – перед нами общий кризис в поэзии. Литературоведы говорят одно, а читатели реагируют иначе...

Литературоведение не относится к точным наукам, потому нет опорного, годного на все времена определения поэзии. Самое простое – это “нужные слова в нужном порядке”. Отсюда и отличие поэзии от прозы. Прозу (героев Достоевского, Толстого) мы запоминаем вне словесной ткани, а стихи – только слово в слово. Именно эти слова и только в таком порядке. Потому “тексты” не относятся к поэзии, их можно пересказывать другими словами, это особый жанр.

Бывают и исключения. Например, работа Льва Рубинштейна. Зря его причисляют к поэтам, у него свой жанр, хотя оригинальность его текстов в том, что они не поддаются пересказу. Но не как поэзия, а скажем, как слоганы или афоризмы. Конечно, многие стихотворные по форме произведения не являются поэзией, а в прозе, напротив, нет-нет да и вспыхивает поэзия. Однако речь о принципе. Не об удачах или неудачах, а о том, что кошка – не собака.

Давайте пишущих тексты не называть поэтами. Как-нибудь иначе.

Несколько слов о том, что происходит в современной русской поэзии (в последнее время все чаще в печати появляется курьезное определение – “российская”!). Она, утратив мощную социально-политическую роль прежних лет, теперь – при полной свободе самовыражения – мучительно ищет читателя. У нее богатое меню – от герметических блюд до похаб-

ной приправы, от патриотистских (не путать с патриотизмом!) заклинаний до снобистских фокусов. Тиражи поэтических книг трудно назвать тиражами, это скорее подарочные издания для друзей и знакомых. По Интернету рыщут полчища графоманов. Тексты, о которых шла речь выше, тоже пытаются пробиться на авансцену.

Но самое печальное – это отсутствие критики, полное пренебрежение эстетикой и этикой. Лев Аннинский, например, привычно отвлекается от качества поэтических произведений, они для него повод для собственных интересных размышлений. Да и вообще критики перестали друг с другом спорить, каждый солирует, как тетерев. Выходят чисто групповые антологии современных поэтов. И у каждой тусовки свои кумиры. И все-таки...

Поэтическая энергия бьет ключом. Молодость остается молодостью, душа – душой. Что-то накапливается, в определенный момент вспыхнет вольтова дуга.

Выход укажут не сотни сочинителей-экспериментаторов, не законодатели мод, а единицы – личности, гении – героические традиционалисты и не менее героические бунтари. Не бывает сотни маяковских или сотни бродских.

А заразительный период текстов, я думаю, пресытится самим собой и преспокойно отправится в литературный музей...

МОЯ МОЗАИКА

В моей книге «Обратный отсчёт» были опубликованы две части «Моей мозаики». Я продолжал эти записи... Хаотичные? С удовольствием прочитал себе в оправдание строки Леонида Зорина из его «Зелёных тетрадей»:

«Было немалое искушение как-то организовать эти записи и расположить их по темам. В конце концов, я его преодолел ... В бессвязности есть некая правда»

МАЛЕНЬКИЙ НЕНУЖНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Лет в четырнадцать весной 1944 года в Калафате я начал вести летопись войны, фиксируя ежедневно все события на всех фронтах и сопровождая их собственноручными подробными картами. Сводки военных действий были «творчески-ми» – я их составлял из сообщений газет, румынского, лондонского и московского радио. Дневник войны... В этом дневнике начисто отсутствовали личные комментарии и детали собственной жизни, почему-то я считал исключительно важным сохранить для будущего правдивый ход сражений, движение фронтов. Дескать, люди отвлекутся, забудут, а я – сохранил... Это был совершенно ненужный «мартышкин» труд. Четыре тетради военной летописи уцелели до нового века – но кому они нужны?

Когда в 1946 году я увлекся стихами, мне пришла в голову еще более бесполезная мысль: изложить «в рифму» ход вой-

ны. Написал несколько сот строк и даже имел глупость кусок «опубликовать» в самодельном журнале «Юность», а потом поручить соученику Кржевицкому прочитать этот отрывок на школьном вечере в честь Дня Победы. Читал он с трудом, запинаясь, а бедные слушатели маялись, терпя скучищу из уважения к труду сочинителя. В ужасе я выбежал во двор и утешал себя «покаянными» стихами...

Не стану повторять ошибок молодости. Не стану в «Мою мозаику» заносить общеизвестные события. Детали важнее. Они мои и только мои. Не сетуйте, что я, как правило, опускаю главное (например, значение того или иного поэта, того или иного факта), а выдаю на гора какие-то байки. Общие оценки вы и без меня отыщете (да и я, кстати, написал немало статей и рецензий по всем правилам), а вот мое непосредственное восприятие – это единственное, что я могу принести от себя. Не мне судить насколько это ценно, зато, уж точно «из жизни»..

ШАЛЬНОЙ ФАКТ...

Глупо, как факт – говаривал Бальзак. Потрясающе, как факт – добавлю я.

Не раз возвращаюсь к мысли, что в жизни мы часто сталкиваемся со случайными сцеплениями событий. В науке доминируют причинно-следственные связи (железные законы физики, химии). Но нет термина для обозначения одноразовых, однократных, не обусловленных, совершенно непредсказуемых и неповторяемых следствий, которые происходят в жизни от общих или частных причин. Всякое событие имеет прямые (ожидаемые, познаваемые) последствия и одновременно – целый веер непредусмотренных, непознаваемых. Философские логические системы принципиально не учитывают того, что известно простому человеку: не было бы счастья, да несчастье помогло; нет худа без добра (а добра без худа?).... Так физика не учитывает мыслящую личность, предпочитая иметь дело с телами («тело, получившее ускорение...»).

Станислав Лем рассказывает в «Известиях», что во время войны он переехал из Львова в Краков:

«Здесь я познакомился с будущей женой, которая тоже оказалась в Кракове из-за войны. У нас родился сын, теперь есть внучка. И можно сказать: да, война была ужасна, она уничтожила миллионы людей, но если бы не она, не было бы нашего брака, сына, внучки.»

Благодаря Гитлеру, что ли?! Похоже на кощунство. Но...

Румынский писатель Иордан Кимет рассказал мне, что он должен был погибнуть 4 марта 1977 года. Он вечером того рокового дня отправился к своим давним друзьям – к поэтессе Веронике Порумбаку. Поднялся на седьмой этаж, позвонил. Вероника, чем-то смущенная, впустила его в прихожую, но не пригласила в столовую. Иордан слышал голоса, приглушенную музыку. Простояв в коридоре и обменявшись незначительными фразами, он, оскорбленный до глубины души, выкатился вон. Старые друзья, и вдруг такое! На улице его буквально трясло от гнева.

И тут затряслась и земля! Страшное бедствие обрушилось на Бухарест. Дом, где жила Вероника Порумбаку, рухнул. Землетрясение. И она, и ее семья, и гости – все погибли. Иордан Кимет долго не мог прийти в себя от ужаса и... от мистической благодарности Веронике за спасение. Логика тут бессильна.

До случившегося – нечто непредсказуемое, после – необратимый факт.

Такие ситуации вне моральных оценок. Нельзя сказать, что Порумбаку поступила дурно, хотя обидела друга. Нельзя сказать, что спасла Кимета, хотя спасла. Тут не годятся ни да, ни нет. Приходится выбирать третий – многозначный одесский уклончивый ответ: или (в смысле: и да, и нет). Ответ левый и правый (по полушариям мозга). Слева – уверенный голос: у Порумбаку нет никакой заслуги в деле твоего спасения. Справа – столь же категорично: буду всю жизнь благодарно молиться за упокой ее души.

Могла ли какая-нибудь гадалка сказать Лему: – Будет страшное несчастье, которое принесет вам счастье? Каждый

нострадамус специализируется на общих катаклизмах. Зато святые – на отдельных чудесах.

Крайности соприкасаются. Бессилие воли, ума и чувств перед судьбоносной случайностью рождает фаталиста, того, кто полагается на судьбу («от своей судьбы не уйдешь»), не признавая никаких случайностей...

А что я думаю? И да, и нет...

ЗАГАДКИ ПАМЯТИ

Появилась в Литинституте пухленькая миловидная круглолицая девушка (то ли при библиотеке, то ли при какой-то кафедре), она мне сразу понравилась и я старался попадаться ей на глаза. Лицо белое, ясное, ангельское. Чистота и обещание нежности.

Потом в памяти пробел. Она возникает опять где-то возле Трубной площади, ждет меня, мы идем переулками к ней домой, она меня знакомит с мамой. В маленькой тесной, но уютной комнате меня кормят обедом, особенно запомнилась крупная молодая картошка в масле. Вежливое доброе общение, потом уже не пробел, а провал в памяти.

Больше ничего не помню, даже ее имени. Как познакомился, почему раззнакомился? Прошло столетия, – ни с того, ни с сего ее лицо возникло в памяти, воскресло и умильное чувство симпатии и... вкус молодой картошки. И всё.

ВОКРУГ МАЯКОВСКОГО

Маяковский для меня обозначился раньше стихов. Образ его личности возник через Даниила Хрусталёва, моего одноклассника, который обожал тургеневского Базарова и цитировал его до того, как я узнал, что такое «Отцы и дети». Даня объявился в нашем восьмом классе с большим опозданием, приехал откуда-то осенью сорок пятого. Выше среднего роста, с лицом вытянутым, веснушчатым. Руки ниже колен (был он слегка похожим на

выпрямленную и благородную гориллу), размашистая походка, а, главное, умный и дерзкий. Он был старше на год. Мы подружились. Я был маленький щуплый подросток пятнадцати лет, он ко мне заинтересованно привязался (я, бессарабаец, был из другого мира, с другой начитанностью и другим умом). Уважал меня за эрудицию, но презирал за благовоспитанность и почтительное отношение к взрослым. Например, я восхищался отцом, «пропагандировал» его, часто ссылаясь на его мнения. А Даня удивлялся этому и издевался:

– Папочка сказал! А у тебя самого мозгов нет?

Мне импонировала его независимость, вызывающее поведение, пренебрежение условностями. Учителя его побаивались. Вот от него я впервые услышал о Маяковском и как бы отождествил его с Базаровым и самим Даней, моим другом и одноклассником. Более того. В том новом мире, который открылся для меня, вчера еще ученика королевской гимназии, Маяковский-Базаров-Хрусталеv выглядели прообразом революционной смелости, оригинальности, свободы. Я завидовал сильному характеру и старался хоть в чем-то приобщиться к нему, прощая наглость и даже хамство порою...

Даниил охотно рассказывал, как за ним бегала Мила Грязнова из соседней школы, а когда он, наконец, соизволил поиметь ее на греческом кладбище, она ему крикнула вслед:

– Подлец, подлец, подлец!

(Я частенько с тех пор подтрунивал над ним – «трижды подлец»! Только потом я узнал, что бедная Мила за год до этого была изнасилована солдатами на границе при возвращении в Бессарабию. Она вскоре повредила в уме и чуть ли не навсегда осталась доживать в психушке...)

Мой друг уехал, кажется, в Черновцы; некоторое время мы переписывались, потом его следы пропали. Объявился он году в пятидесятом, когда я уже был студентом Литинститута. Даня нашел меня по какому-то выступлению в печати, побывал у меня в общежитии в Переделкине, одобрительно слушал мои стихи. Хвалил за лирику. И рассказал, что, будучи в Киеве, так влюбился, что целовал любимой ноги. Никогда он от себя такого не ожидал.

Как Базаров, впрочем. Не говоря уже о Маяковском...

Потом Даня опять пропал. Я стал его искать, он учился в дорожном институте. Там мне сказали, что его отчислили... Больше о нем ничего не знаю. Жаль, личность была примечательная...

МАЛЕНЬКИЕ МАЯКОВСКИЕ

Много писалось в послевоенные годы об обязательной традиции Маяковского (помню яростную книгу Семена Трегуба на сей счет), маститыми продолжателями числились Асеев и Кирсанов, потом появился Георгий Горностаев с двумя поэмами, потом Николай Соколов с поэмой «Именем жизни» – оба искусно копировали интонацию Маяковского, о них спорили, о Н. Соколове восторженно писал В. Огнев. До сих пор помню строчки Горностаева из поэмы «Тула»: «Таращится из люка,/ как баран,/ старая злюка/ Гудериан»... По иронии судьбы Горностаев был почти карлик, а Соколов – инвалид... Теперь они забыты. Настоящая востребованность ораторской интонации Маяковского возникла позже, когда «взошли иные имена» – Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, но и она исчерпалась к началу «перестройки»...

Однажды в конце шестидесятых годов мне в Румынии дали сопровождающего. Марин был добрый, занудный, сентиментальный. К тому же поэт-неудачник. С ним я был на приеме у секретаря по иностранным делам Союза писателей Румынии – это была молодая стройная женщина в короткой юбке – назовем ее Виолетта, специалист по западным литературам. Мы прекрасно побеседовали, пили кофе с коньяком. Марин, не участвуя, скромно помалкивал. Когда мы вышли, он вздохнул и вымолвил:

– Это моя бывшая жена...

Я, конечно, удивился, уж больно они не соответствовали друг другу. Марин поведал мне свою печальную историю. Он был студентом университета в первые послевоенные годы. Румыния еще была королевством. Марин писал стихи в духе

Маяковского, воображал себя трибуном революции, собирал толпу на университетской площади и декламировал. Это были его звездные часы. Первокурсница Виолетта, заслушиваясь, влюбилась в него. Но коммунисты с нашей помощью быстро пришли к власти и в «революционности» не нуждались. Да и Виолетта бросила отставного поэта... С годами она обогнала его, сделала блестящую карьеру, а несостоявшийся румынский Маяковский, хоть и продолжал писать стихи, но больше про природу и рыбалку (он упивался рассказами о горной форели), женился на доброй тихой цыганистой женщине с ребенком. Про бывшую жену сказал, с кривой улыбкой:

– Умеет себя подать, всем нравится. Но я-то знаю – у нее внутри всё вырезано...

ВЫЗЫВАНИЕ ДУХОВ

Как-то Фрейд отметил: «Достоверной можно назвать лишь ту способность духов приспособляться к тому кругу людей, который их вызывает»

Независимо от Фрейда я пришёл к тому же выводу. Играли в «блюдце» (уговорила нас увлекающаяся и легковерная Гита Левинсон). Всё получалось и весьма убедительно. Блюдце бегало по кругу и осмысленно отвечало на вопросы.

Я решил устроить своеобразную проверку. Я встал из-за стола и предложил участникам без меня вызвать дух Тудора Аргези (расчёт был на то, что присутствующие не знают этого румынского классика и не могут подсознательно лепить его образ). И действительно – на вопрос, кто он, «Аргези» ответил «негр» и затем порол всякую чушь. Второй опыт: я предложил всем, задав вопрос известному им духу, честно закрыть глаза, я же со стороны буду наблюдать за действиями блюдца. Как и ожидалось, блюдце подергалось и застыло. Вести блюдце, обманывать, конечно, не стоит труда, но я говорю о честной игре. В ней на самом деле подсознательно суммируются импульсы участников, желающих получить осмысленный ответ. И они его получают. При том талантливо вжи-

ваются в тот или иной образ. Я наблюдал за игрой сына и его одноклассников, они вызвали дух какого-то конквистадора (которого недавно проходили по истории в школе) и «он» стал разглагольствовать в духе воображаемой средневековой стилизации. Удивительно это коллективное сочинительство, непринужденное соединение творческих способностей.

Фрейд удивительно примитивно понимает правду: «Я вспоминаю одного своего ребёнка, уже в раннем возрасте проявлявшего подчёркнутую деловитость. Когда дети рассказывали сказку, он подходил и спрашивал: «А это правда?» Услышав отрицательный ответ, он удалялся с презрительной миной. Следует ожидать, что люди в скором времени будут относиться подобным образом к религиозным сказкам».

Утверждают, что Ванга видела умерших. То ли байки, то ли свидетельство посмертного существования... Но есть и третий ответ: а, может быть, Ванга обладала способностью подключаться к пациенту, видеть то, что продолжало жить в его памяти? Так при верчении блюдца появляется и вещает тот Наполеон, образ которого «сидит» в участниках действия...

ДНЕВНИК ВЕНЦЕНОСЦА

Дневник Николая Второго – психологическая загадка. Или мыслей нет или царь не считает нужным записывать свои размышления. Тогда к чему записи, если самое значительное, а порой судьбоносное – за кадром?

1905 год, 9 января. Царь пишет: «Тяжелый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!» Заметим: «войска должны были стрелять» в рабочих, желавших дойти до Зимнего дворца, то есть до него, до Царя-батюшки! Значит, согласен с кровопролитием, хотя это ему больно и тяжело. И не собирается разбираться и кого либо наказывать за стрельбу. Следом

бесстрастно фиксирует: «Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама осталась у нас на ночь». Опять же заметим, что «мама» приехала из Питера, где всё и произошло. Мама – всё-таки женщина. Неужели от нее никакой реакции?

Убийство Распутина никак не отражено в дневнике. Записывает всякую чепуху: 17 декабря вернулись с прогулки в архиерейский лес в полятого (какая скрупулёзная точность!), а 18-го – в полчетвертого поехали вдвоем в поезд... день был солнечный при 17 градусах мороза, в вагоне всё время читал...

Что читал? И всё время? А как же Распутин? Только 21-го царь записывает: «присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17-е дек. извергами в доме Ф. Юсупова, кот. стоял уже опущенным в могилу». До и после этой фразы – опять почасовые подробности.

Наконец, 2 марта 1917 года. Отречение. «...вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот. я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман!»

Опять ему тяжело. И только. Неужели не понимает, что нельзя было передавать престол Михаилу, не спросив последнего? Ведь если тот откажется, то судьба России становится непредсказуемой! Скорей всего не понимает, не задумывается, потому что за этим следует удивительная запись: «3 марта, пятница. Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный». Фантастика. На вопрос – что делал Николай Романов после отречения – я никогда бы не додумался ответить: «спал долго и крепко».

Днем узнает: «Оказывается, Миша отрекся». Оказывается! То есть такого не предполагал? Однако и тут Николай Александрович не понимает, что произошло, не понимает, что во время войны рухнула империя, конец монархии. Он спешит себя успокоить: «В Петрограде беспорядки прекратились – лишь бы так продолжалось дальше».

Человек – это стиль. Неужели убогость этих записей соответствует масштабу данной личности, стоявшей во главе такой страны 23 года?

И в заключение октябрьский переворот, взятие власти большевиками, по сути – революция. Вот как эти дни отразились в дневнике недавнего царя:

«25-ого октября. Среда. Тоже отличный день с ясным морозом. Утром показывали Кострицкому все наши комнаты. Днем пилил.

26-ое октября. Четверг. От 10 до 11 час. утра сидел у Кострицкого. Вечером простился с ним . Он уезжает в Крым. День простоял чудный, на солнце 11о . Долго пилил.

27-ого октября. Пятница. Великолепный солнечный день...» И т.п.

Комментарии излишни.

Шульгин рассказывает, что Пуришкевич сказал ему прямо о готовящемся убийстве Распутина 16 декабря. Как Шульгин отреагировал на это сообщение? А стал спокойно доказывать, что это не спасет ни монархию, ни Россию. Но и пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить убийство. И молчал. Пуришкевич знал, что Шульгин не выдаст...И спустя много лет ему и в голову не приходит покаяться. То же и с отречением царя. Опять же Шульгин через годы не может понять в каком судьбоносном деле он участвовал. Верней, не жалеет о своем легкомыслии – настаивать на отречении царя якобы во имя сохранения монархии, когда было ясно, что дело совершенно не обеспечено.

МОИ КАБИНЕТЫ

Кабинетов была уйма. Но все общие – в «Молодежи Молдавии», в «Днестре», в национальной комиссии СП СССР на Воровского (теперь Поварской).

Первый мой отдельный – это кабинет во флигеле, принадлежащий секретарю СП СССР, куратору иностранной

комиссии. Просторный, шикарный, меня в него водворили временно, пока ремонтировался кабинет для меня как ново-назначенного зама Косорукова.. Шиковал я, наверное, месяца два. Принимал сотрудников, посетителей и – знакомых. Все относились к этому добродушно, не всерьез, кроме Стеженского – помню, как он не мог скрыть раздражения. Дело было летом 1969 года. Потом перебрался в клетушку слева от кабинета Косорукова.

Следующий – комната на Шевченковской набережной в редакции Дангулова (сживал и в его кабинете, замещая его во время отпуска). Потом были комнаты в редакциях «Литературного обозрения», «Юности», опять в СП (в 1991 году) и, наконец, ряд кабинетов в «Московском рабочем», начиная с огромного на 5-ом этаже, обставленного бывшей сусловской мебелью. Рассказывали, что после смерти Суслова всю его кабинетную старомодно партийную начинку списали и подарили нашему издательству, принадлежавшему тогда горкому и обкому КПСС. Огромный массивный стол, передний борт слегка изглодан, словно усаживающиеся напротив Суслова, нервничая, отколупывали кусочки дерева. Длинный заседательский стол справа, слева столик с несколькими телефонами, вдоль стен канцелярские книжные шкафы. Все темно-коричневое, мрачное. Я не стал ничего менять. Спокойно восседал за тем столом, никаких флюидов не чувствовал. Завел в предбаннике секретаршу – Иру Танкову... Любопытно, что Дементьев и Скачков, унаследовав свои кабинеты, тут же затевали решительную перестановку. И у Полевого и у бывшего директора издательства столы стояли слева от входной двери, новые переставили стол к стене напротив двери... (Скачков с арендаторами ухлопали уйму денег на обновление вестибюля издательства, Игорь Васильевич мрачно пошутил: побелил прихожую, теперь тебя и вынесут... Что и случилось)

Потом меня перевели на четвертый этаж (пятый сдали в аренду), кабинет поменьше, зато напротив директорского. После того, как директорский «узел» был отдан людям Сулеймана Керимова мой кабинет передвинули сначала в 414

комнату, потом в 412-ую. Это был мой последний кабинет в издательстве, откуда судебный исполнитель временно увез всю мебель, туда под конец ко мне подсадили Колчину и Сидоренко...

И, наконец, когда я поступил на работу в фонд Филатова, мне предоставили угол за дверью в конференц-зале...

ВО СНЕ ВСЕ ДОЗВОЛЕНО?

Теперь известно, что загипнотизированный человек не все приказания выполняет. То, что противно его натуре – отвергается. А я по-своему сделал это открытие еще в отрочестве. Правда, несколько по-другому. Началось с того, что я задался вопросом: почему человек во сне, даже самом нелепом, не понимает, что это сон? Неужели нельзя все-таки осознать свое состояние? И я стал экспериментировать над собой. После долгих сосредоточений и усилий мне это удалось. Я видел сон и понимал: это мне снится. Тогда само собой возник шальной вопрос: если я понимаю, что нахожусь в сновидении, то есть в настоящем мире, значит мне всё позволено, я совершенно свободен. Могу делать, что хочу.

И с этой мыслью, в предвкушении неограниченного своего могущества я стал подстергать подходящий сон. Приснились мне, я иду по улице, навстречу незнакомый прохожий, я смотрю на него, ничего интересного, но мне не терпится испытать свое открытие. Например, прохожего можно убить, ведь его на самом деле нет.

И ни с того, ни с сего я бросился на человека, стал его душить, и в тот же миг проснулся в шоке, в холодном поту. Верней, не проснулся, а был буквально какой-то гневной силой выброшен из сна.

Успокоившись, я с удивлением был вынужден признать, что не мог даже во сне совершить противоестественный поступок. Этот опыт над собой крепко запомнился. Свободы от себя не существует..

НЕВОЛЬНОЕ СОМНЕНИЕ

«Деяния» апостолов быстро становятся деяниями только Павла. И то – основное внимание уделяется внешним событиям и чудесам. О сути Нагорной проповеди (а это главное!) нет ничего, только о вере вообще. И удивительно, что сочувственно приводится странная по своей несообразной жестокости история о том, как муж и жена продали имение, внесли деньги в христианскую общину, но часть утаили. Апостол Петр их по очереди разоблачил, супругов поразила смерть...Выглядит это так.

Петр говорит: «Ты солгал не человеку, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханным... юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего (?!) пришла и жена его, не зная о случившемся. (Как быстро похоронили! И жене ничего не сказали!) Петр ее допрашивает, понимая, какая кара может ее постигнуть: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искутить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух; и юноши вошедши нашли ее мертвою и вынеся похоронили подле мужа ее». Все себя ведут чрезвычайно неадекватно.

Это я не ради «критики» в духе Таксиля, а к тому, что на мой взгляд «Деяния» духовно, нравственно много ниже Евангелий, хотя считается, что писал Лука.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Русский критический реализм: от «Мертвых душ» и «Записок из «Мертвого дома» до «Живого трупа». От «Бесов» до «Мелкого беса»...

У Аркадия Бухова (1889-1937) длинное стихотворение «Два Наполеона», а хватило бы восьми строк:

*Да, было два Наполеона –
Один из книг, гравюр и карт,
Такая важная персона.
Другой был просто Бонапарт.*

*Один – фигура исполина –
Со страхом смерти незнаком.
Другого била Жосефина
В минуту ссоры башимаком.
1912*

* * *

Секс, эротика, нетрадиционная ориентация, свингеры, жесткое порно... Вышли из употребления слова: похоть, разврат, извращение, непристойность, похабщина, распутство, блуд...

* * *

Андрей Кончаловский пишет в «Вечёрке»: «Бывают люди старые, но не зрелые. Бывают зрелые, но не старые. Что такое зрелость? Зрелость – это способность учиться. Делать выводы. Я думаю, что у человека, который способен учиться, меняются концепции. В том числе и в отношении к женщине».

Я вспомнил, как молодой критик Владимир Александров упрекнул меня, семидесятилетнего, в незрелости. Он понимал зрелость как завершенность, определенность. Моя «незрелость» – это как раз «зрелость» по Кончаловскому. Я еще способен учиться и делать выводы.

* * *

Недавно в какой-то газете наткнулся на очередную глупость. Некий скульптор «догадался», что «Облако в штанах» – это небо как задница. Дескать, достаточно представить себе сей образ, чтобы понять: у Маяковского были склонности...

Вот уж додумался – попал пальцем в небо! Это же не зрительный образ, а восторженно-ироническая метафора «безузоризненной нежности».

Кстати: название «Облако в штанах» не соответствует самой вещи. Оно эпатирующее, рекламное, «для раскрутки», говоря по-нынешнему. И действительно, Маяковский поначалу назвал свою вещь «Тринадцатый апостол», да цензура не пропустила. А он не стал впоследствии восстанавливать.

* * *

Шульгин возмущается выражением «немецкий Бог», но еще Языков писал в известном стихотворении «К ненашим»:

Крепка, надёжна Русь святая,
И русский Бог еще велик!

А «Русский Бог» Вяземского?

О ДЕЛАХ И О ВЕРЕ

Послание Иоанна 2, 13-14:

«Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет! может ли эта вера спасти его?

И 2, 18:

«я покажу тебе веру из дел моих». Замечательно!

А Мартин. Лютер: «Превыше всего запомните, что я вам сказал: только вера одна, а не добрые дела, оправдывает, освобождает и спасает». («О христианской свободе», 1520 г.). Ужасно!

* * *

.... Случевский (корявая предтеча Ахматовой?):

*Не так ли в рухляди, под хламом,
Из перегной и трухи,
Растут и дышат фимиамом
Цветов красивые верхи?...*

Тут и «Этот перегной» Уитмена, но Случевский его знать не мог.

* * *

Инна Лиснянская написала целую детективную историю о том, как она искала и обнаружила источник строфы «Поэмы без героя» («Форель разбивает лед» Кузмина). Но Ахматова сама открыто об этом рассказывала, – например, Э. Бабаеву (см. его воспоминания).

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ

Что я знаю о своем начале? Маловато. Родился я, говорили, семимесячным. Похоже на правду. Родители женились в июле 1929, я появился на свет в середине марта 1930-ого. Дело было в Ташлыке, мама разрешилась от бремени дома, я оказался совсем маленьким, люлькой не успели обзавестись – поместили меня в коробку из-под туфель, обложенную ватой. Врач сказал, что я, пожалуй, не жилец. Но я стал расти. Правда, рос я слабеньким, долго страдал малокровием, поили меня всякими микстурами и рыбьим жиром. Вскоре мы переехали в Кагул, где я изволил заболеть таинственной «желудочной лихорадкой». Меня рвало беспрестанно, до полного изнеможения. Приступы повторялись каждый год. Травили хинином, как от малярии, в ушах стоял гул. Никакое лечение не помогло, пока какой-то умница-лекарь не предложил нам переехать в другой город. Весной 1940 года моя семья перебралась в Аккерман (Четатя-Алба, по-тогдашнему). И действительно – болезнь, как рукой сняло. Теперь я догадываюсь, что это была аллергия – Кагул стоял у Прута, который в этом месте образовывал широкие комариные плавни...

Но еще до этого обнаружилось, что я левша. Переучивать меня не успели, потому что я изволил, вертаться вокруг дерева, так упасть, что сломал левую ключицу. Всю ночь ревел от боли, только на второй день рентген показал, что это перелом. Левая рука, зафиксированная на груди, была в гипсе несколько месяцев. Поневоле я стал правой. Одновременно перешел на румынский язык (лет до шести я знал только русский). Как

я заговорил по-румынски – совершенно не помню. Помню лишь, что до школы меня отвели в детский сад, который был за домом. Я убежал, потому что не понимал по-румынски. Меня отвели обратно. Я опять удрал, но домой не вернулся, нашел лаз в заборе, устроился там на «нейтральной полосе» и тихонько хныкал... В первый класс пошел шести лет от роду. Почему-то в первое время мама дежурила, сидя в коридоре и вязала...

Читал я как-то румынскую книжку «Lir si Tibisir», там один из героев заикался, я стал в шутку подражать, но отец прикрикнул на меня: «смотри, прилипнет!». И прилипло. Я стал заикой. Долгое время я думал, что это из-за книжки. Но она была лишь «запалом» – настоящая причина в том, что насильственно стал правшой (переместился речевой центр) и в школе перешел с языка на язык... И долгие годы меня преследовало sporadическое заикание. Только в зрелом возрасте я преодолел этот недостаток (остались лишь легкие запинки). Кроме всего прочего, был я маленького роста, худенький, бледный.

В десять моих лет пришли советские, среди которых я не был по настоящему «своим», как не был по-настоящему своим и среди румын. К тому же оказался я ни русским, ни румыном: мама была армянка, правда, армянского не знала, только молитву «Хаер мер» («Отче наш»), и ту механически, на память. А отец – болгарин (может быть с примесью сербской и молдавской крови). Короче говоря, у меня были все причины чувствовать себя неполноценным. Но комплекс этот все-таки не поборол меня, потому что, во-первых, я оказался способным малым, меня любили и был во мне какой-то крепкий орешек веры в себя...

Изначально я чувствовал себя русским. С родным языком русским, но без России. Россия была где-то и в другом времени. Россия была пушкинской. Она возникла из большого дореволюционного однотомника с гравюрами. Весь Пушкин в одном томе. Еще был Чуковский. Он казался там, где Пушкин. Я очень удивился, узнав после войны, что он жив (рассказал ему об этом в Переделкине – кстати, к тому времени уже мой сын рос на его стихах – Корней Иванович смеялся,

довольный... Потом я принял в себя румынский язык как второй родной. И полюбил его, но без самой Румынии. Она тоже была где-то, откуда к нам в Бессарабию приезжали румыны. До 11 лет я не переступал бессарабского периметра, передвигался по Буджакской степи от Прута до Днестра, а на север – до Кишинева и Бендер.

Я рос без старшего поколения – без бабушек-дедушек и (до десяти лет) без родственников. Бабушку по матери видел однажды в Аккермане (было мне, наверно, лет шесть), а через год и дедушку по отцу в Кишиневе. Впечатления чисто зрительные.

Во время осады Одессы, как ни странно, читал много книжек. Влюбился в Дерсу Узала из повести Арсеньева. (Книжку провез с собой обратно в Аккерман – лицейский классный надзиратель Матвеев, побывав у нас дома, удивлялся, зачем мне русская книга «Выброси» – сказал. Конечно, я не выбросил) Потом увлекся Древним Египтом. Тайга, замечательный мудрец-следопыт и история фараона Тутанхамона разворачивались передо мной параллельно с ежедневными бомбежками. Еще попался «Чтец-декламатор» за какой-то дореволюционный год. Запомнился почему-то рассказ, где пассажир в поезде знакомится с таким занудой, что в конце концов убивает его. Книги я любил и хранил, но после двух эвакуаций (в 41-ом и 44-ом) и последующих переездов, от библиотеки, в сущности, ничего не осталось.

* * *

В журнале «Наш современник» некий Дм. Ильин в статье «Что нам делать с марксизмом?» пишет: «Либералы сделали из тоталитарности образ монстра, на самом деле – это особенность русского архетипа, а либералы не понимают этого, потому что они нерусского духа люди». Русофоб?

В этом же журнале пишет Сергей Соколин: «Здесь русский дух подавлен интеллектом...» Еще один русофоб?

Там же страницы дневника Виктора Кочеткова той поры, когда он был секретарем парткома МО:

7 января 1980 года: «Секретариат. Исключение из Союза писателей Липкина и Лесневской (так у него!!), подавших

заявление о выходе из Союза (исключили вышедших?!). Заявление Липкина подписано так: народный поэт Калмыкии, заслуженный деятель Дагестана <...> и прочая, и прочая... Старый еврей даже не догадывается, что такой список благодеяний свидетельствует прежде всего о том, что он был (?!) не литератором, а дельцом» (стр. 134)

Неужели доброхоты из «Нашего современника» не понимают, что такой публикацией оказывают покойному Кочеткову медвежью услугу?

Виктор был моим оппонентом в Кишиневе, мы спорили в печати (о Лупане) В Москве почти не встречались (я не имел отношения к парторганизации МО). Надо отдать ему должное – со временем он стал писать лучше, особенно о войне. А так – был, конечно, воинствующим реакционером. При нынешней разобщенности далеко не сразу узнал о его смерти (Виктор Крючков сказал чуть ли не год спустя).

* * *

Спиноза: «Сущность зла – это бессилие» Видимо, надо понимать как творческое бессилие. Грех неплодотворности.

* * *

Вл. Антоний Сурожский: «След Божий, нить Ариадны, золотая нить, красная нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью (...) Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог».

Неожиданно? Похоже на дзен-буддизм...

ДОСАДНО...

Вышла «История русской литературы XX века» В.С.Баевского (изд. «Языки славянской культуры»). Хороша книга. Но

если заходите узнать, что в ней написано о поэте Леониде Мартынове, то, заглянув в указатель имен, обнаружите: Мартынов Леонид Николаевич (1905-1980) стр. 321. Но – увы! – на стр. 321 в стихах Елагина упоминается недоброй памяти Мартынов – убивший Лермонтова. А замечательному поэту Леониду Николаевичу вообще в книге не нашлось места.

НАШИ ПОЭТЫ О НАШЕМ ВЕКЕ

Написанные в начале столетия стихи Блока о девятнадцатом веке («Железный, воистину жестокий») довольно быстро побледнели. Он и сам тут же присовокупил, что двадцатый будет похлеще... И действительно, о новом веке – о небывалом, обрушившимся особенно на Россию, в 1922 году Мандельштам воскликнул «Век мой, зверь мой...», а лет через семь Багрицкий пытался осмыслить век, который «поджидает на мостовой, / Сосредоточен, как часовой». Век, который приказывает и солгать и убить.

Вскоре в ужасе Мандельштам физически почувствует, что ему на плечи «кидается век-волкодав», и – полагает он – по трагическому недоразумению, потому что поэт – не волк. Но ошибка-то страшней: сам так называемый революционный век – не волкодав, а именно «зверь», как догадался в свою пору сам Мандельштам. И совсем не по ошибке век (советский), как волк, кидался на человека!

Особый разговор – о «Середине века» Луговского. Здесь отмечу только поразительные строки из «Алайского рынка» (Ташкент, 1942-43 г.г.), при жизни не опубликованные:

*Так ненавидеть, как пришлось поэту,
Я не советую читателям прискорбным.
Что мне сказать? Я только холод века.
А ложь – моё седое острие.*

(В «Разговоре с дьяволом...» Луговской сначала вкладывал похожие слова в его уста: «Я – только холод будущего

века»). В более поздних фрагментах из поэмы «Москва» поэт уже в отчаянии сокрушался: «Что делать мне, плохому сыну века?»

Опять же – с точностью до наоборот. Не сын был плох, а век.

* * *

Хорошо сказано у Ницше (привожу по памяти): определить можно вещь, а человека – только рассказать...

* * *

Две биографии произвели впечатление: Лу Саломе (Ницше, Рильке, Фрейд) и... Карл Паукер (оба кончили жизнь в 1937 году). Этот Паукер, австрийский еврей, парикмахер и кондитер, попал в плен к русским, работал портным и опять же парикмахером в Самарканде. Вступил в партию в октябре 1917 года, заделался чекистом, отличился и уже в 1924 году стал главой охраны самого Сталина. Он развлекал вождя анекдотами, изображал, как вели себя перед расстрелом арестованные им же Зиновьев и Каменев. Неизвестно почему попал в немилость и тоже расстрелян...

ПОКЛОННИК ЕСЕНИНА

Год, наверное, пятидесятый. Едем мы с Федей Суховым на электричке в Москву. Федя выглядит неважнецки, весь помятый, небритый, не выспавшийся после вчерашнего воздействия. Напротив сидит упитанный мужчина с кожаным портфелем на коленях. Ему скучно, он затевает с нами беседу о том, о сем. Федя, подслеповато шурясь, вяло поддакивает. По окнам вагоны хлещет косой осенний дождь.

«Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган!» – вдруг произносит наш сосед. «Это кто написал?» – оживляется Федя. «Есенин написал. Серёжа». «Интересно. Из теперешних?» – подначивает его Федя, настоящий есенинец, знающий поэта от корки до корки. Я тоже по этой части не

лыком шит, но помалкиваю, предвкушая забавный розыгрыш. Сосед, откладывает портфель, всплескивает руками, чрезвычайно довольный, что напал на олухов, которых можно просвятить:

– Есенин? Куда теперешним! Талантище! Но горький пьяница, молодым повесился еще до войны, его не печатают. Вот это был поэт, ребята! – и он начинает припоминать стихи, путается, Федя, притворно восхищаясь, раз-другой тихо поправляет его, тип с портфелем поначалу не замечает, заливаясь, как тетерев на току. Но когда в очередной раз, запнувшись, он получил подсказку, то замолчал, вытаращив глаза. Федя не удержался, хихикнул. Сосед обиженно схватил свой портфель и торопливо потопал в другой вагон...

О ЛЕОНИДЕ ГУБАНОВЕ

Каким-то образом он прошел мимо меня, хотя мой знакомый Славка Стерин побывал смогистом. Но, вернувшись в Москву после кишиневской «пяtilетки», Славку я потерял из виду, потому доходили до меня только слухи – есть такой Губанов, забуддыга, талантливый поэт, кумир московской богемы. Настоящую силу набирали тогда Евтушенко, Вознесенский. Губанов был из следующего поколения, уже не находящего себе места... Да и потом, после гибели Губанова, я остался с впечатлением, что Губанов – ярко одаренный, но по-настоящему не реализовавшийся поэт. Дело не в том, что его всю жизнь не печатали. Не печатали многих. Например, Вениамина Блаженного. А он состоялся в полную меру своих сил (другое отношение к себе и к своему призванию).

Прочитал большую статью Владимира Бондаренко о Губанове, о солидной, наконец-то вышедшей книге поэта. В целом хорошая статья. Действительно – горячий был талант, порой обжигающий, но зря критик пробует его противопоставить Окуджаве или Бродскому. Дескать, «Воинствующая просьба» Губанова «первичнее и оригинальнее» популярной

песни Окуджавы «Дай же ты всем понемногу...» Увы, далеко не так, достаточно прочитать начало:

*Дай монаху день мохнатый,
Удочку, земли богатой,
Ласточку и апокалипсис,
Думку вербы – и пока я с ним...*

Ну а что до Бродского, то главное в нем – открытие новой интонации, собственного стиля. В отличие от Губанова, который откровенно и пронзительно эклектичен (он маяковчато-есенинский)... Возвращение поэзии Бродского мощно (плодотворно и губительно!) повлияло на развитие русской поэзии, возвращение Губанова (глубоко справедливое, достойное) ни на кого не повлияет...

* * *

По свидетельству Анатолия Мариенгофа Айседора Дункан приехала в Советскую Россию только потому, что ей был обещан для выступлений... храм Христа Спасителя:

«...Айседора Дункан не то что приехала к нам, а на крыльях, как говорится, прилетела. И очень рассердилась: очаровательный нарком (Луначарский) надул ее» (храм всё-таки не предоставил)...

* * *

Маяковский не был безбожником. Он был богоборцем. Бунтуя, кричал, что человек устроит жизнь на земле лучше, чем Бог! Есенин же куражился, богохульствуя, но, значит, тоже не был безбожником.

МИФЫ И ГЛУПОСТИ

Николай Скатов в «Литературной газете» приписывает Аллену Даллесу такое высказывание про СССР:

«Мы бросим всё, что имеем, всё золото... на оболванивание и одурачивание людей... Посеяв там хаос, мы незаметно

подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить..”

Смешно. Это, как в сказках: “Я, Идолище поганное...” Даллес так говорить не мог! Миф о злодее-Западе. Не лучше Александр Панарин (ЛГ 22-28 августа 2001):

“Запад навязывает нам культуру постмодернизма, который ненавидит любую добродетель”. М.б. и курение нам «навязал Запад»?

О ГУРДЖИЕВЕ

Читаю книгу Гурджиева, неизвестно кем и как составленную. Удивительная смесь смекалистого и талантливое самородка с пустозвоном. То плетет «многозначительные» банальности то выдает интереснейшие наблюдения и догадки. Простодушно признается, как дурачил людей в своей авантюрной молодости и как нажил состояние и тут же делает вид, что обладает тайным знанием. Недаром он пересказывает слова одного «ученого», который выпустил, говоря по-нынешнему, эзотерический бестселлер: «Я удивлен абсурдностью происходящего. Я, автор, не имею ясного представления о природе предмета, которому я учу. Все же эти идиоты нашли не только свое понимание этой белиберды, но даже чему-то из нее научились, а сейчас какой-то суперидиот научился даже летать. Все это, конечно, чепуха. Пусть идет к черту... Скоро на него наденут смирительную рубашку».

Не так это смешно, как может показаться. Все это происходит между двумя полюсами: верой и «энергией заблуждения».

По одним сведениям Гурджиев, умирая, обратился к окружающим со следующими словами: «Ну и вяпались же вы!», по другим: «Я оставляю вас в хорошеньком хаосе!» Фокусы перевода?

Книга Игоря Минутко о Гурджиеве явно беллетризована. Но действительно – встречался ли Гурджиев с Джугашвили? Мария Арбатова пишет: «... судьбу Сталина определил

его однокурсник по семинарии Гурджиев. Он составил его практический гороскоп – поменял дату рождения на год и предложил псевдоним». Непонятно – при чём тут гороскоп, однако и в самом деле установлено, что Иосиф Джугашвили родился 19 декабря 1878 года, а не 21 декабря 1979-го. Зачем ему понадобился этот сдвиг?

* * *

По-моему, я уже упоминал о совпадающих строчках у Чичибабина и Георгия Иванова. Но интересно отметить, что это формальное совпадение, внешнее. По смыслу – совершенно разные строки. У Чичибабина («Смутное время», 1947 г.) выражение «и никто нам не поможет, и не надо помогать» означают: «сами справимся» (такова Русь, не впервой!), а у Иванова («Хорошо, что нет Царя...», 1930) эти же слова означают в контексте «так нам и надо» (мы заслужили такой конец!).

Кстати, недавний пример мнимой реминисценции: Владимир Илюшенко дает мне рукопись сборника своих стихотворений на отзыв, вдруг я вижу стихотворение «Мир умирает с каждым человеком». Но точно так начинается мой сонет 1950-го года! Он его, разумеется, не читал. Что делать? А ничего. К тому же, лет через десять после моего стихотворения Евтушенко написал «Не люди умирают, а миры...» (мое опубликовано в 59-м, а его – в 61-м...)

ЗОЛОТЫЕ СТРОФЫ

В антологии для школ «Золотые строфы» («Светотон», 1999) включено много случайных и слабых стихотворений. В частности, «Оправдание» Баратынского. Поэт без всякого чувства юмора кается перед барышней: «Винювен я: я славил жен других...», но! – «Тебя я пел под именами их...». И наконец: «Я только был шалун, а не изменник...». Куда остроумней и талантливей выразился Сельвинский: «Любя в любовнице образ жены, – разве это измена?».

Смех смехом, а я помню друга, который в студенческие годы прожужжал мне уши своей любовью к женочке – Миоаре, оставшейся в Бухаресте, и при этом жаловался, что не может неделю прожить без женщины. И действительно, одна из его московский пассий призналась мне, что ее очень раздражало, когда он в постели с ней в моменты восторга выкрикивал имя жены!

* * *

Прочитал до половины (по диагонали) «Голубое сало» Сорокина. То скучно, то отвратительно. Кому это по душе? И какая убогость новейших литературных приемов! Одно и то же у Сорокина, Пелевина, Шарова и иже с ними: берутся известные имена – Сталин, Берия, Чапаев, Котовский, и приклеиваются к другим манекенам. Свобода оборачивается шаблоном. Потанливый, пожалуй, Пелевин. Но поживем – увидим.

Дочитал Сорокина. Ну плохо же! Вот когда свобода творчества во вред пошла. Одно утешает – ниша такой «свободы» уже почти заполнена. Прочитал и Александра Кацуру «погоня за белым листом». Вот умница. Совсем другое дело. Медленно, с трудом, но с интересом одолеваю «Синтаксис любви» А. Афанасьева. Уйма любопытнейшей информации, но концепция узковата, всё сводится к тому или иному варианту человеческой натуры.

* * *

Е.Винокуров (том 3, стр. 356) пишет, что «поэт должен быть счастливым». Опасная формула. Точней – должен хотеть быть счастливым (хватит желания гибели!). «Упрямо хочу быть счастливым» – писал и я в свое время. . .

Винокуров же на стр. 367 сообщает, что нравственное начало, может быть, «только у одного Северянина. . . не същещь днем с огнем» Неужели он не читал позднего (в частности – страстного пацифиста) риторичного и дидактичного Северянина?

Винокуров же в 1-м томе на стр. 318 говорит про любимую: «уйдет – я умру», а на следующей «она» уже ушла. На-

пряжение растет, но, перевернув страницу, поражаешься полному благополучию героя: «в аптеке покупаешь мыло...». Это не настоящая исповедь поэта, а набор поэтических изделий. Крупицы истинной поэзии теряются в этой лавке. Неумение построить книгу?.

* * *

Маяковский писал, что его стих явится в будущее, как в наши дни – «водопровод, сработанный еще рабами Рима». А вначале назвал себя «водовозом» (сильно уступающим водопроводу!). Обмолвка? Такая же, как «рабы Рима» – подсознательная ассоциация с советской империей? Кстати, это вступление – не к задуманной ли поэме «Плохо»? Кто придумал название «Во весь голос»?

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

– Владимир Ильич! Будет учрежден орден Вашего имени, одним из награжденных орденом Ленина будет убийца Вашего друга Троцкого!.

– Бред какой-то! Такого не может быть.

– Владимир Ильич! Ваши ближайшие друзья-соратники Бухарин, Зиновьев, Каменев, Раковский, Крестинский, Радек окажутся врагами народа и будут расстреляны.

– Архи чушь! Не может быть.

– Иосиф Виссарионович! Российская федерация провозгласит свою независимость и СССР перестанет существовать.

Вот этого как раз не может быть!

– Иосиф Виссарионович! Никита Хрущев прикажет снести все Ваши памятники и выдворит Ваши останки из Мавзолея.

– Никитка? Никогда!

– Мой фюрер! Германия после Вас потеряет не только Данциг, но и Восточную Пруссию, и Силезию, и Померанию и половину Бранденбурга. И станет процветающей страной.

– Скорей все немцы погибнут, чем случится такое!

И т.п..

* * *

Жак Бержье и Луи Повель пишут:

«Нас предают анафеме как врагов разума, – говорил Гитлер. – Ну да, мы такие и есть. Но в гораздо более глубоком смысле, которого буржуазная наука не могла себе представить в своей идиотской гордости». Это приблизительно то же, что заявил Гурджиев своему последователю Успенскому после того, как осудил науку: – «Мой путь – это путь скрытых возможностей человека. Он против природы и против Бога».

Штрассер: «Слушатель Гитлера внезапно видел появление вождя славы... словно освещалось темное окно. Господин со смешной щеточкой усов превращался в архангела... Потом архангел улетал, и оставался только усталый Гитлер с остекленевшим взором».

Бушез: «Я взглянул в его глаза, они стали медиумическими... Порой это выглядело так, будто что-то вселялось в оратора извне. От него исходили токи... Затем он снова становился маленьким, даже вульгарным, казался выдохшимся – как будто его аккумуляторы полностью исчерпались».

... Приходит на ум рискованный образ: эрекция личности (лидера). Эрекция лидера и отдающаяся толпа. После акта лидер сморщен, как тряпица...

Это я не ради эпатажа, а как аргумент в споре с теми, кто считает, что через Гитлера (или подобных ему) действовали тайные демонические силы. Эрекция – выражение слепой силы природы. Харизматический лидер – избыток энергии (святой, гениальной или безумной, дебильной).

* * *

Говорят о кризисе современной поэзии. Что с ней?

Речь, конечно, не о сущности поэзии, а о ее воздействии, о ее реализации. Тут, действительно, разительные перемены. Если раньше, по слову Евтушенко, поэт был в России больше, чем поэт, то теперь телеведущий больше, чем поэт. Поэзия еще недавно была оазисом с живой водой среди пустыни мертвой речи, поэзия была своеобразным «островом свободы». Теперь – половодье свободы, не видно берегов,

плыви, куда глаза глядят, но – чур! – кругом болота и всякая муть.

Сущность поэзии не изменилась, изменился менталитет общества. С одной стороны – соблазн развлекательности – телевидение, видео, компакт-диски, интернет. С другой стороны – надо шустрить, устраиваться, добывать деньги. Такая жесткая проза жизни, что не до стихов. Однако, она, поэзия, «существует и ни в зуб ногой». Просто форма ее существования иная и останется иной. Вместе массовости – индивидуальный выбор. Читатель выбирает поэта. Поэт – читателя. Беседа с глазу на глаз. Как при Пушкине.

Правда, теперь вместо цензора – товаровед. Но никто не запрещает с ним бороться!

Да, многим профессиональным поэтам пришлось туго. Мне, слава Богу, никогда не хотелось зависеть от этой «профессии». Кем только я не работал! Всю жизнь служил, получал зарплату. Одна из причин – защитная. Я старался в поэзии уклоняться от внешних обстоятельств, стремился сохранить в интимности себя как поэта, то есть человека излишне чувствительного, ранимого и не по годам романтического. Были у меня такие строки:

*Поэтом был помимо воли
в году на час или на два,
счастливый час любви и боли –
внезапный ток бессмертной роли,
а остальное – трын-трава,
слова при безглаголье.*

* * *

В «МК» на вопрос «Мог бы Ленин сейчас состоять в партии Зюганова?» Георгий Куманев, начальник Центра военной истории в частности заявляет: «Я не встречал ни одного грамотного человека, который объяснил бы, что плохого было в коммунистической идее». Неужели грамотный Куманев не знает, что «гвоздь» коммунистической идеи – учение о классовом антагонизме, который разрешается только революци-

онным насилием, уничтожением собственников, установлением диктатуры «пролетариата». В том, что это очень плохо, пришлось убедиться страшной ценой..

* * *

Преимущества первого слова: Содом и Гоморра. Все говорят «какой содом!», никто не скажет «Какая гоморра!» или «Гоморра и Содом». Содомиты, а не гоморяне... И т.д.

ЖЕНЩИНЫ

– Почему ты ему всё прощала?

Ответ одной женщины:

– Потому, что я его слишком любила...

– Почему ты его не смогла простить?

Ответ другой женщины:

– Потому, что я слишком его любила...

* * *

Люди из второй половины 19-ого века выкупали в крови и замучили первую половину двадцатого века (Ленин, Гитлер, Сталин, Мао и т.п.). Только мои ровесники, родившиеся в начале тридцатых годов, положили конец тотальному безумию (в России – Горбачев, Ельцин). Теперь время родившихся в середине прошлого века (Путин, Медведев)... Это ровесники моих сыновей. Что им предстоит?

* * *

За всё время эволюции органы человеческого организма принципиально не изменились. Кроме мозга!

В мозгу может вспыхнуть гений, а печень осталась той же, что у свиньи.

* * *

6 апреля 1327 г. Петрарка впервые увидел Лауру, она уже была женой авиньонского рыцаря Уго де Сада! Да, предка

того самого маркиза. Перед смертью в тюрьме «садист» увидел во сне Лауру, плакал и называл ее матерью... Кстати, отец маркиза был послом в России...

* * *

Некая Катя с удивлением пишет Ольге Тверитиной в «Вечёрку»: «... во мне есть что-то такое, что позволяет мужчинам сразу же, с первых минут знакомства... тащить меня в постель». И удивляется, что они «потом» навсегда отваливают...

Может, и есть «что-то такое», но скорей всего разгадка проще и грубей. Увы, существует «мужская почта» – так сказать, взаимная информация. «Мужики», как правило, друг с другом охотно делятся, «рекомендуют», и очередной «знакомец» заранее знает с кем будет иметь дело: Дескать, можно попользоваться бесплатно. Главное – не робей!

Грустно, очень грустно: образуется порочный круг, из которого трудно вырваться. «Репутация!» Переехать Кате, что ли, в другой район и установить для себя другой «алгоритм»?

* * *

Т.С. – вдова партийного босса, и мать известной детективщицы, была красавицей (и сейчас заметно, когда сидит и слегка кокетничает, а ходит сломанная пополам с палкой – со спины ни дать, ни взять – баба Яга), работала кем-то вроде импрессарио (например, с Вертинским – была по совместительству соглядатаем?). Назойлива от одиночества, двусмысленно шутит не по возрасту. Вспоминала одного из любовников, запнулась – забыла как его зовут. Стараюсь помочь:

«А кто он был?», «Писатель был», «Прозаик, поэт?», «Ну, поэт, да, да, поэт. Остроумный такой. Еврей.» – «Неужели, Светлов?» – всплескивает руками: «Миша! Он самый»...

* * *

Таня Х., родом из Кишинёва, любила румын. Жила со всеми, которые учились в Литинституте. Г-ску приставал к ней: неужели и М., этот козёл, тебя трахал?...

Она возмутилась:
– Он? Меня? Это я – его!

КОГДА УШЕЛ ГОРБАЧЕВ?

В «Вечерке» от 22 августа 2003 экспресс-опрос: «12 лет назад Михаил Горбачев сложил с себя полномочия Генерального секретаря КПСС. Как вы сейчас оцениваете это событие?»

Многие уже стали путать августовское «событие» с декабрьской отставкой президента СССР. Пишут, что попало. Например, актриса Анна Головня: «Человека вынудили отказаться от власти под страхом ареста или смерти...», композитор Владимир Дашкевич: «Горбачев совершил мужественный и своевременный поступок», Дмитрий Иосселиани, научный сотрудник: «Он понял, что время и ситуация в стране требовали его ухода» и в довершение всего – мой знакомец, поэт Леонид Латынин: «У него была просто безвыходная ситуация – либо гражданская война, либо сложение полномочий президента».

И только Рой Медведев помнит, в чем дело, но всё портит своим комментарием: «Он поступил безнравственно, потому что партия находилась в трудных условиях и покидать ее было просто аморально». Какая партия? Где она была в день путча? Не Горбачев ее покинул, а ЦК 19 августа самоустраанился, словно у него и не было Генсека (гэкачеписты объявили лишь, что Горбачев по болезни не может исполнять обязанности президента), в документах путчистов-коммунистов партия вообще не упоминалась. Партия (в лице своего руководства) молча предала Генсека и так затаилась, что даже не посмела объявить кого-нибудь его преемником (как Янаева «президентом»), тем самым исторически подписала себе смертный приговор.

«Сложение полномочий» генсека Горбачевым было уже актом чисто формальным и почти незаметным. Потому это «событие» и забылось. После провала путча страна стала нео-

братимо и быстро распадаться («беловежская» декларация не обрушила СССР, как теперь любят говорить, а всего лишь констатировала сам факт – республики уже разбежались).

Агония власти Горбачева как президента после путча продолжалась еще четыре месяца...

РОЖДЕНИЕ СТИХА

А.Левинтов («Грани», № 204) в статье о Бродском пишет: «Поэзия, по логике антропогенеза, возникла первой, только вслед за ее ритмами появилась идея танца, ритмизированные движения которого кодировали технику (?!) секса, войны, охоты, единоборств, других ритуалов...»

Вспомнилась теория поэта-верлибриста Владимира Бурича. Я как-то пригласил его на свою студию, где он прочел целую лекцию о происхождении поэзии. Даже мелом на доске чертил какие-то схемы. Так был серьезен, что просил у меня гарантий, что никто не украдет его идеи. А мысль его была такова. Поэзия возникла из прозы. Членение прозы (паузы) есть первоначальная форма стиха. Очень всех позабавил, взяв цитату из «Капитала» Маркса и путем разбивки превратив ее в «стихи». То есть – членение прозы создало «верлибр», потом появились белые стихи (гекзаметр, например), которые со временем увенчались рифмами...

Думаю, ничего подобного. Сначала был танец, потом танцевальные выкрики, прибаутки, потом песни, отделение песни от танца и, наконец, выделение стихотворного текста из песни.

Следует оговориться: речь идет о зарождении стихотворной формы. Она не тождественна поэзии. В религиозных текстах полно поэзии, но это не значит, что они плясались или пелись. Были, конечно, пересечения (пляски шаманов, заклинания), но, думаю, собственно стихотворная форма в фольклорном виде происходит из песни (с танцем или без). Потому и Левинтов неубедителен. Дикарь плясал и пел до того, как овладел развитой речью!

НЕБО И ЗЕМЛЯ

Парадоксальный советский 1961 год. Парадоксальный Хрущев. В феврале арест романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Первый человек вылетает в космос (апрельская слава Юрия Гагарина), и тут же на земле возводится берлинская стена (августовский позор), и на Новой земле производится самый мощный в мире ядерный взрыв.

В октябре Хрущев с трибуны партийного съезда открыто обличает Сталина, труп вождя выносят из Мавзолея, но трусливо, в полной тайне, ночью... Шизофреническое раздвоение. Народ безмолвствует.

* * *

Виктор Ворошильский в беседе с Таней Бек сказал очень близкое мне: Поэзия Маяковского «меня покорила. Можно сказать, что в какой-то мере я больше доверял поэзии, чем реальной жизни».

У меня есть стихи, в чём-то примыкающие к этой мысли:

*Через поэзию России
любить Россию я могу
и без надежды в дни плохие,
невыносимые, какие
не пожелаешь и врагу.*

*Через поэзию России
любовь к России берегу.*

* * *

Тетя Маруся старела, становилась всё bestолковой, дочь Марина на нее кричала, возмущалась и только после ее смерти устыдилась – корила себя за это, переживала, что не понимала неизбежных проявлений старости, не была снисходительной к ним. Подсознательно сказывается беспощадный инстинкт вытеснения старых, переживших себя родственников. Невольно дается им понять, что их роль завершена и пора

самим (тоже подсознательно) проникнуться неизбежностью ухода.

Правда, тётя Маруся была в молодости деспотичной, теперь ей – уже беспомощной, слабоумной – за это воздаётся. . .

СОВЕТСКИЙ АБСУРД

Глушили западные радиостанции, но для посвященных записывали тексты – это называли радиоперехватом (словно речь шла о разгаданных шифровках!), издавались «закрытые» информационные брошюры «Белый ТАСС». Выдавались (с возвратом) только имеющим специальный «доступ».

Все парторги каждую неделю брали под расписку в протокольном отделе райкома «секретные» материалы и в указанный срок возвращали. Ритуал был обставлен отменной строгостью, хотя давно ничего секретного там не было. Раздавались, как правило, отчеты о заседаниях райкома и соответствующие решения. И, как правило, их возвращали, не читая.

К путевке в Дом творчества требовалась справка из поликлиники о том, что нет противопоказаний и т.п. Как-то раз мы с Ниной собрались в Гагры. Пошли оба в нашу литфондовскую поликлинику, я получил справку, а в коридоре меня ждала заплаканная Нина – ей справку не подписывают: что-то там по щитовидке – дескать, в жаркие Гагры не рекомендуется. . . Уже прошла все кабинеты, а в последнем. . . Меня вдруг осенило: говорю – пусть подпишут, что не рекомендуется!

Удалось убедить. За правду ведь врач ответственности не понесёт! Вот с такой справкой мы и поехали в Гагры. В администрации сдали паспорта, путевки и обе справки – мою (положительную) и нинину (отрицательную!). Секретарша деловито взяла документы, паспорта отложила на прописку, а справки выбросила в корзину: раз они есть, зачем их читать?

... Этот забавный случай напомнил мне более серьезный: вопрос о характеристиках на поездку за рубеж.

Делегации за рубеж в СП формировались в секретариате – у Воронкова и Маркова (предложения часто исходили от Инокомиссии), решения секретариата докладывались для согласования в три отдела аппарата ЦК (культуры, пропаганды и международный), многократно корректировались до того, как принять окончательный вид. Важно, что всё это делалось устно (по телефону), решения секретариата СП просто заменялись другими (прежние тщательно уничтожались). Считалось, что СП всё такие вопросы решает самостоятельно.

Кандидат на зарубежную поездку должен был испрашивать характеристику у «тройки» – у руководства, парткома и месткома. Составляли ее по всем правилам игры всерьёз, однако в содержание ее обычно никто не вникал: дали характеристику – значит, нет возражений (отрицательной характеристика быть не могла!). А нужная информация поставлялась отдельно (истинная характеристика), она назвалась «объективкой», составлялась для инстанций и являлась секретной.

* * *

Я никогда всерьёз не верил политикам, они запрограммированы. Для них нет ни истины, ни лжи. Детей воспитывают против эгоизма, а сами на практике борются за групповой, классовый или национально-государственный эгоизм. Ленин и прочие открыто и громогласно ставили превыше всего «классовые» интересы. А интересы «гегемонов» без противовеса превращаются в кровавый беспредел. Коммунистов сравнивали с ранними христианами. Почему? Якобы и те и другие – против богатых. Но коммунисты вместо любви и бескорыстия воспевали ненависть и корысть. Особая «мораль».

Меня всегда привлекала честность перед лицом истины. С детства я удивлялся, что в споре взрослые, как правило, не соглашаются друг с другом. Детям полагается быть честными, уступчивыми (если ошиблись), а по мере взросления только дурачки остаются таковыми. Я не смог окончательно победить в себе «дурачка».

ФИЛЬТРЫ ПАМЯТИ

Мы были молоды, недавно женаты, проводили отпуск в Ялте. Хорошо помню просторную комнату, вечер, открытый балкон на первом этаже, скорее – веранда. В просторной постели лежит Нина. Я хожу по комнате, мы ссоримся. Она то отнекивается, то отмалчивается, то готова заплакать. Я всё говорю, говорю, допекаю ее до того, что она вскакивает и, перемахнув через балюстраду балкона убегает в ночь. Конечно, я бросаюсь на поиски, нахожу ее съжившуюся на какой-то скамье, утешаю – наконец, оба, разрядившиеся, снова влюбленные до слез, возвращаемся в номер.

Всю эту сцену в деталях вижу, но решительно ничего не помню о сути самой ссоры, – ни словечка, ни реплики. Немое кино...

ЕЩЕ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Ленин пишет Горькому 15 сентября 1919 года: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитализма, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».

В «Азбуке коммунизма» Н.Бухарин и Е.Преображенский в том же 1919 году заявляют:

«Предположим, например, что интеллигенция настолько сблизилась с рабочим классом, что перестала шебаршить против него, что она в своей работе стала целиком на сторону Советской власти... Если бы это произошло... тогда мы были бы обязаны дать этой интеллигенции все права, принять ее в нашу семью.»

Наконец, – из выступления Гитлера 30 марта 1941 года:

«Будущая картина государств: северная часть России отойдет Финляндии, протектораты в прибалтийских государствах, Украина, Белоруссия... Новые государства должны быть государствами социалистическими, но без собственной интел-

лигенции. Надо не допустить образования новой интеллигенции. Здесь будет достаточно примитивной социалистической интеллигенции.»

Противники одинаково относятся к интеллигенции.

НАЦИЗМ И... СОЦИЗМ

Термин «нацизм», конечно, точнее, чем «фашизм» (последний, оторвавшись от итальянских корней, стал ярлыком, а не определением). Но лучше полностью: «национал-социализм». Тогда формула непримиримого расового антагонизма идентична формуле непримиримого социального антагонизма. Потому правомерен и термин «социзм». От замены расы классом формула не меняется. Принцип социзма прекрасно выражен в «Азбуке коммунизма» в главе «Советская власть»: «Классы нельзя помирить, как нельзя помирить волков и овец, Волки любят кушать овец, овцам нужно обороняться против волков. Если это так (а это безусловно так), то спрашивается: можно ли установить общую волю волков и овец?»

Маркузе одной фразой подкосил эту «зоологию», просто указав на то, что каждый пролетарий мечтает стать буржуа. Вот вам и овечки!

Нацизм утверждал: Немецкий еврей (пусть даже трижды ассимилированный) никогда не сможет стать патриотом Германии. Он вредоносный микроб, потому подлежит уничтожению. Та же бредовая схема: микроб остаётся микробом, как волк волком.

Социзм вторил: Фабрикант или кулак (даже лишенный собственности) никогда не сможет служить делу построения коммунизма, он иной породы, потому подлежит уничтожению.

О СЛУЧАЙНОСТЯХ

Борис Васильев-Пальм убежден, что в мире нет ничего случайного: Но если всё предопределено и случайностей не

бывает, то наша жизнь – уже отснятая кинолента с начала и до конца? Или будущее будет в точности осуществлено по заранее утвержденному сценарию? Почему он решил, что «во всём причинно-следственные связи»?

Сколько угодно событий, никак не связанных между собой. К тому же одна причина может порождать целый веер последствий, разброс возможностей, которые имеют равные шансы. Каспаров родился шахматистом? Я сейчас придумаю новую игру и обязательно найдется тот, кто будет играть лучше всех... Нельзя отмахиваться и от решений «орёл-решка». Я редко, но пользовался этим «методом» в затруднительных случаях, и не жалел об этом. Может, это тоже подсказка судьбы? А мощная теория вероятностей как раз основывается на случайностях. В микромире научно доказан индетерминизм. И в жизни уйма событий, между которыми нет никаких причинно-следственных связей, но они могут оказаться определяющими.

Сталин решил прихватить Бессарабию, благодаря (!) чему я женился на москвичке... Императив судьбы не отменяет случайностей. Судьба желудя – дуб, но не из каждого желудя – дуб! Действует и закономерность, и случайный выбор. Над всем этим еще и тайна витает. На высоком уровне действительно нет случайностей, на низком – сколько угодно!

Природа заранее распорядилась, чтобы желудей было избыточно много. Только большие числа, преодолевая случайность, утверждают закон. Русских должно быть много, чтобы родился Пушкин (в определённом культурном «бульоне», конечно!). Я уже не говорю о том, что существует и свобода воли человека. Так захотел Творец. Да, мы в Его власти, но Он не кукловод, а мы не марионетки. Всё гораздо сложнее и интересней.

* * *

В свое время в Кишиневе беседовали старый учитель русского языка и священник. Учитель:

– Я не могу этого понять. Россия совершила революцию не по-русски. Как могли русские люди пойти за большевиками, которые захлёбывались иностранщиной, заклинали на-

род непонятной тарабарщиной: интернационал, коммунизм, экспроприация, эксплуатация, пролетариат, диктатура, диалектический материализм, монополистический капитализм, ревизионизм, и т.п.?

Священник:

– Большевики отказывались от всего русского, от самой веры. Подставили вместо нее свою «религию» – рай на земле, для трудящихся всех материков, замах всемирный, он и должен был облекаться в соответствующие внерусские понятия. . .

Учитель:

– Но слова-то непонятные. Как можно ими обольститься?

Священник (грустно):

– Русский народ привык, что высокое выражается непонятными словами. Шел он в храм и внимал службе на церковно-славянском. Так было веками. Вот и новая «вера» пришла со своими ритуальными заклинаниями. . . Одно дело «работяга», другое – «пролетарий, гегемон»..

РЕКОМЕНДАЦИЯ ГОРБАЧЁВА

Радостно возбуждённый Натан, завотделом поэзии, прибегает ко мне и говорит: – Кирильчик, я исчезаю на три дня, срочное задание! Понимаешь, генерал Н. встретился с Горбачёвым на даче, прочитал ему свою поэму о войне, Михаил Сергеевич порекомендовал опубликовать её в “Юности”. Понимаешь, что это для нас значит? Андрюша доверил мне за три дня привести её в божеский вид и – прямо в номер. Все подборки снимаем с верстки. . .

Меня покорила эта новость, да и вообще что-то показалось странным. – Подожди, говорю, сам Горбачёв звонил Деметьеву? – Нет, его помощник. Я уже был в “Метрополе”, где остановился генерал (он из Ставрополя), взял у него рукопись. Сырая, ну, даже очень сырая, но я справлюсь!

– Почему же она понравилась Горбачёву? Он же грамотный! – Ну, Кирильчик, не наше дело. . . – А все-таки – какой помощник? Андрей его знает? – Конечно. Что за вопрос!..

Назавтра я позвонил Натану. – Как дела? – Ой, голова трещит. В сущности, приходится переписывать... – Вот как? Зачем же это делать? А что скажет автор? – Автор полностью нам доверяет... – А я что-то ему не доверяю. – Перестань. И без тебя тошно.

Я всё-таки пошёл к главному. – Андрей, прошу тебя, позвони под любым предлогом этому помощнику... – Зачем? Это известное имя. Правда, он телефона не оставил... – Вот-вот, позвони в отдел пропаганды, ты там всех знаешь, спроси номер этого дяди! – Ты что? Сомневаешься? – Андрей, ну пожалуйста, позвони. Ты ничем не рискуешь!... Андрей, поколебавшись, звонит знакомой секретарше в аппарат ЦК, спрашивает телефон имярек. И вдруг меняется в лице, благодарит, кладёт трубку и обращается ко мне: – Странно! Она меня поправила – у помощника другое отчество. Но я ведь хорошо помню, как он себя назвал! Петрович, а не Сидорович! Я даже записал – вот листочек! – Андрей, говорю, это плохо пахнет. Помощнику, конечно, звонить неудобно. Давай просто потянем время. А ты пока наведи справки об этом генерале... Пусть и Натан его пораспросит – дескать, мы хотим печатать поэму с его подробной биографией...

... И Андрей нажал на тормоза. Публикацию стали откладывать из номера в номер. Генерал что-то понял и исчез...

ДОМ ДЕТСТВА

... Ездили на юбилей Марка Лисянского в Николаев. Он решил повести нас к дому своего детства. Пошли. Блуждали по окраине города – то туда, то сюда, нет – сюда! Бедный Марк не мог вспомнить или узнать дом детства, хотя особой перестройки не было. На одном квадратном дворике с лесенками на веранды остановился.. Вот. Здесь! Убеждал нас и... себя.

Вспомнилось: мама в старости из Кишинева после долгого отсутствия навестила родной город Аккерман, с вокзала взяла такси и, проезжая по Шабской, не узнала свой дом. Проскочили мимо, пришлось вернуться. «Вы же ищите но-

мер 28, вот же он!» – сказал таксист. И дом, и ворота были какими-то не такими – стали гораздо меньше (так она сказала).

... На юбилее Марка Лисянского в ЦДРИ (отмечали его восьмидесятилетие) рядом со мной сидел Борщаговский. Услышав, что у Марка Самойловича вышло за жизнь сорок сборников стихотворений, он прошептал:

– Сорок сборников – это тревожно...

Настает его черед выступить. Выходит на сцену, говорит:

– Сорок сборников – можно было бы сказать, что это тревожно, если бы не та подкупающая сердечность...

И т.д.

ДОГАДАЙСЯ САМ

Как-то в ЦДЛ я присутствовал при сеансе одновременной игры Лилиенталь. Вдоль столов сидели любители шахмат, человек тридцать-сорок. Я выбрал одного, стал за его спиной. Он попал в сложное положение, сделал ход, с моей точки зрения наилучший. А Лилиенталь подошел, прихрамывая, глянул на доску и последовал дальше, не сделав ответного хода. Мы были поражены, но не посмели его окликнуть. Решили подождать. Лилиенталь прошел весь круг, наконец, приблизился к моему шахматисту, глянул и опять, не сделав хода, обратился к следующему партнеру.

Что такое? Мы уставились в доску, стали анализировать позицию – нет ли какой ошибки? – и через несколько минут вдруг поняли: форсированный мат в четыре хода! Шея моего шахматиста побагровела от обиды.

Лилиенталь поступил жестоко – мог бы сказать словечко...

С тех пор я неоднократно сталкивался с таким поведением. И при советской власти и при рыночной многие деятели обещают тебе нечто и... замолкают, если передумали или не получается. Словно ничего и не было. Изведешься, пока догадаешься и поймешь, что нечего больше надеяться. И становится обидно вдвойне.

Так со мною поступали не раз. Да, но грешен, я и себя ловил на том же. Бывало, предпочитал тянуть, помалкивать, если автор меня не спрашивал (неприятно ведь отказывать человеку!), – как бы обманывал себя: вдруг с течением времени автор остынет к своему опусу или забудет... Конечно, это слабость характера, а не презрительное высокомерие, как в случае с Лилиенталем! Но «потерпевшему» от этого отнюдь не легче.

ПРЕФЕРАНС

Отец до войны был картежник. Страстно играл в покер, нет-нет да и проигрывался в дым. Мама извелась. Брала меня ночью с собою, мы ходили по знакомым адресам, искали его. В одном доме (это было в Кагуле, в румынские времена) через окно увидели, как он за столом играет. Ему подносят, он пьет. Накурено. На полу пустые бутылки... Мама хотела посылать меня к нему, но так и не решилась.

Однажды, помню, отец появился домой под утро, весь зеленый, спросил «где мой портфель?» – а тот висел на стене прямо перед ним. Отец проиграл казенные деньги (он работал помощником нотариуса). Дал телеграмму сестре Зине – «срочно высылай сто тысяч». Муж тети Зины – Леонид Чубук работал в банке.

После войны было не до покера (к тому же за азартные игры сажали). Отец перешел на преферанс. Я часто наблюдал за игрой, отец после игры увлеченно объяснял свою тактику и стратегию... Он частенько выигрывал, ибо в преферансе не нарывался на блеф, да и никто его не подпаивал (суммы-то были не ахти какие!).

Но вот я, уже будучи студентом Литинститута, после воспаления легких попал в Малеевку по бесплатной путевке. Играл в шахматы, часто следил за игрой в преферанс. Из игроков помню Константина Седых и Корнева, директора издательства «Советский писатель». Смотрел, смотрел и вдруг отважился (теоретически я чувствовал себя вполне подкован-

ным!). Кто-то из партнеров встал из-за стола, я занял его место. Константин Седых спросил: – А денюга есть? – Есть. Но я не собираюсь проигрывать. – ответил я и вскоре сыграл мизер так, что вылетел в трубу. Я выложил все, что у меня было, остался должен еще сто рублей. – Молодой человек, карточный долг – святое дело! – сказал Седых. Я на него смотрел с изумлением: неужели он изнасилует бедного студента? Но он не шутил. Я, скрепя сердце, побежал к единственному хорошо «знакомому» – к зам.директора нашего института Серёгину, который в это же время тоже отдыхал в Малеевке. Он меня пожурил, но, конечно, выручил. Я вернулся к Седых с деньгами, все еще не веря, что он возьмет. Взял.

Но все оставшиеся дни он меня опекал, покупал мне сигареты, водил в кино, но в руки не дал ни рубля. Урок оказался настолько чувствительным, что я невзлюбил преферанс и больше никогда в него не играл. В остальные игры – в «пятьсот одно», в «кинга» – играл охотно и сыновей пристрастил. Со временем однако, сначала Саня, потом Володя перестали составлять мне компанию, а потом и я остыл... Пожалуй, последними моими партнерами были Саша Кушнер с женой на Пицунде в восьмидесятых годах...

КТО АВТОР?

Когда я поступил в Литинститут, ходили легенды об Эмке Манделе, который уже был в ссылке. Говорили, что он, как Глазков, не ходил в баню (Глазков якобы говорил «и не мойся, потеряешь индивидуальность!»), якобы он писал поэму о Троцком и когда наконец пришел к признанию Советской власти, его арестовали... Наряду со стихами о Сенатской площади кто-то мне процитировал:

*Корабль трещит, команда ропщет,
Ей не хватает сухарей,
Ей надо что-нибудь попроще,
Ей надо что-нибудь скорей!*

Через много лет, познакомившись с ним (он был уже Наум Коржавин, – к слову – умыкнувший мою кишиневскую знаковую, жену Миши Хазина – Любовь Верную (!), – я похвастался, что с 1949 года помню его строки. Он удивился:

Это не мои стихи!

Так и не знаю до сих пор – чьи они...

НАЧИНАЕТСЯ ЛЕГЕНДА...

Юлий Эдлис пишет о смерти Левитанского в своей книге «Четверо в дублёнках и другие фигуры»:

«На чеченской тоже пал поэт, единственный, сколько я знаю, с российской стороны: Юрий Левитанский. Пал не от пули «злого чечена», не лицом к лицу с врагами, глядя им глаза в глаза. И не на фронте, а в глубоком тылу, в Москве, жертвой этой бессмысленной, бездарнейшей войны.

Его пригласили на собрание московской интеллигенции, от которой Ельцин хотел услышать слова поддержки – «всемирной», как всегда, поддержки – им же развязанной гражданской войны. Он был уверен, что услышит эти привычные верноподданнические голоса: так бывало всегда, и до него, и при нем, он был уверен в своей интеллигенции. И – услышал, в унисон. Кроме одного голоса – Юрия Левитанского. Юрий Давыдович выходил на трибуну дважды, был он человек немолодой и очень больной, собственно, уже приговоренный, и знал это, – задыхаясь зажимая ладонью судорожно рвущееся из груди отработавшее свое, изношенное сердце, пытался втолковать, объяснить, внушить собравшимся в этом нарядном правительственном зале, что поддерживать, освящать своими известными всей стране именами эту войну – преступление. Не услышали, не поняли, не вяли. Сойдя во второй раз с трибуны и выйдя из зала, он мгновенно умер – не выдержало сердце».

По сути – так, а фактически весьма неточно. Я там был и могу свидетельствовать. В здании мэрии напротив Белого Дома собрал писателей не Ельцин (его там и близко не было!),

а Сатаров и Филатов. Сидели за круговым столом, никакой трибуны. И умер Юра не сразу и не там... Привожу тогдашнюю запись в дневнике:

«1996. 25 января

Скоропостижно (почти на глазах у меня) скончался Юрий Левитанский. ... в мэрии собирались писатели – на вечную тему «что делать»? Филатов, лицо усталое, измученное, я вручаю ему сигнал книжки про его отца, он растроганно меня целует. Сатаров, собранный, весь наизготовке, энергично и лукаво защищает президента.

Только-только прибывший из Лондона Лев Разгон. Крутой, резкий Николай Шмелев (готов голосовать за Горбачева) и т.д. и т.д. Вначале Юра Левитанский задал вопрос Сатарову, верней попросил объяснения: что означает этот поворот президента, какую линию он выбрал. Мы не знаем, как к нему относиться, пока не поймем...

Сатаров вместо ответа перешел в наступление: дескать, когда после октябрьских дней 93-го года враги Ельцина кричали о тысяче погибших, кто из демократической интеллигенции разоблачал эту ложь? Никто. Что до Чечни, то это цивилизационная болезнь сепаратизма. Посмотрите на Англию с Северной Ирландией, на Испанию и басками, на Турцию с курдами... Вы шумите о бездарной операции в Первомайском, а наступающие потеряли всего 26 человек... И т.д.

Когда же Нуйкин стал с геополитических высот оправдывать чеченскую войну (если мы уйдем, наше место тут же займет Турция, а за ней пойдет на нас весь исламский фундаментализм), Юра стал тянуть руку, прося слова. Нуйкин продолжал набирать историческую высоту: все благородные движения и революции начинаются с романтиков, которые впоследствии вытесняются и гибнут. Так романтики французской революции уступили место буржуазии, романтики нашей революции передали власть номенклатуре, романтики нынешней демократии оттеснены государственниками...

Юра Левитанский как один из последних романтиков возмутился и обрушился на президента из-за Чечни, назвав убийц убийцами.

Вскорости разговор, в общем довольно бесцельный, был завершен, стали расходиться.

Вдруг вижу, стоит Юра, хватает воздух ртом, судорожно ищет в карманах лекарство. Сердце.

Кинулись к Юре, послали за сестрами в медпункт, ему сделали укол, усадили, открыли окна, вроде полегчало.

Я и Игорь Скачков ушли. Потом звоню Тане Кузовлевой, а она:

– Беда, он умер. «Скорая» приехала, но помочь не смогла, в дороге он скончался...

Не забыть мне его глаза, охваченные страхом. Он был в шоке, но не кричал, старался говорить ровно, руки же делали бессмысленные движения, как бы шаря поверх карманов, голова слегка дергалась. Сначала не хотел садиться и вообще двигаться с места, просил лекарства...»

О ДЕМЬЯНЕ БЕДНОМ

Ехал я как-то с Катаевым в Кишинев. Слово за слово, я сказал что-то о примитивности Демьяна Бедного. Валентин Петрович посерьезнел:

– Все вы, молодые люди, так. А знаете ли вы, что у него была лучшая библиотека в Москве? А знаете ли, что он знал несколько иностранных языков? А знаете ли... – и так минут пять. Я совсем скис. Когда он остановился, я тихо спросил:

– Какой он был как человек?

– А! Сволочь. – и Валентин Петрович хитро улыбнулся.

* * *

Рассказывают, что Демьян Бедный пошел в подвальное помещение смотреть в окошко крематория, когда сжигали Маяковского. Посмотрел, вышел к людям и сказал с грустью:

– Было нас трое. Теперь я остался один... (он имел в виду первых поэтов России – Есенина, Маяковского и... себя).

СЕЛЬВИНСКИЙ

Александр Ревич рассказывает: шел он по Переделкину с Сельвинским и Богатыревым, навстречу Пастернак (это во время травли). Ревич – единственный – поздоровался с поэтом. Прошли несколько шагов и Сельвинский произнес: «я в вас разочаровался, юноша»..» «Юноша» в его устах всегда звучало, как порицание. Ревич говорит, что не звонил ему с полгода.

Однако, когда Пастернак умирал, к нему пришла Берта (по просьбе Ильи Львовича) справиться о здоровье. А Пастернак спросил первый: «Как себя чувствует И.Л.?» (тот перенес инфаркт) Узнав это, И.Л. сам пришел к Б.Л. и у кровати опустился на колени, прося прощения. А Б.Л.: «Встаньте, прошу. Я давно вас простил»

УБИЙСТВО КИРОВА

Спорил с другом о Кирове. Я ему дал книгу Аллы Кирилиной «Неизвестный Киров», он, прочтя, остался при убеждении, что Кирова «заказал» Сталин. Я ему: раз ты считаешь себя литератором, представь себе, как Сталин организовал это дело (предположим, что в Кирове он видел соперника). Он должен был найти доверенное лицо. Но кому мог Сталин при его подозрительности и осторожности сделать такой «заказ»? Речь ведь идет не об идейной борьбе, не о вражеских происках, а о ликвидации ближайшего друга и соратника. Вождь тут же стал бы заложником – Ягоды, Агранова или еще кого-то. Которые в свою очередь, приняв такое поручение, не могли не знать, что их в живых не оставят..

А, может, миновав их, Сталин обратился к кому либо из своих фанатично преданных неизвестных нам подручных? Но возможен ли заговор вне связи с чекистами, с охраной? А если круг посвященных расширяется, то утечка информации неминуема (речь, повторяю, идет о фантастическом «заказе», об откровенном, прямом преступлении!). Наконец, предположим, что все удалось. Нашли исполнителя (по-нынешне-

му – киллера), он согласен. Но – готов умереть? Обстоятельства говорят, что о спасении исполнителя никто и не подумал (спасение Меркадера, убийцы Троцкого, было заранее запланировано). Более того – Николаев пытался покончить с собой сразу после выстрела в Кирова. Так было задумано? Чушь какая-то.

Не мог Сталин пойти на такой исключительный риск, довериться кому-то в таком чудовищном замысле. Скорей всего истерик и ревнивец Николаев действовал в одиночку. Любопытно – Алла Кирилина разбирает очень подробно все обстоятельства убийства Кирова, но почему-то совсем не обращает внимания на такой факт: откуда Николаев знал, что Киров перед конференцией заедет в Смольный? Или не знал? Почему сразу после убийства его жена Милда оказалась в Смольном и ее допрашивали спустя 15 минут после выстрела? Почему не приводятся протоколы ее допроса? (Милда была любовницей Кирова и в тот роковой час или ждала его в Смольном или спешила туда). Николаев мог знать о предстоящем свидании. Судоплатов прямо пишет, что Николаев убил из ревности.

Кстати, когда Сталин на всю катушку использовал убийство Кирова, людям почему-то не приходил в голову самый простой вопрос: почему «враги народа» начали с Кирова, а не со Сталина? Такие дурачки были?

Люди, лишённые воображения, легко верят в убийение Есенина, Маяковского (с весьма вычурным сценарием). Или в бегство императора Александра 1-ого под видом Федора Кузьмича. Подумал ли кто-нибудь сколько народу (и какого!) пришлось бы подключать к такому «мероприятию»?

О ШОЛОХОВЕ

Ф.Кузнецов пишет, что Шолохов был и остался убежденным коммунистом, но... при этом тщательно скрывал свое мировоззрение. Смешно. Скрывал-то он нечто другое. Закрытость молодого Шолохова поразила Е.Г. Левицкую. Она

говорила о нем, как о «не всегда понятном и разгаданном человеке», который «за семью печатями, да еще за одной держит свое нутро». Кузнецов полагает, что она «имеет в виду... тайну его «исповедания веры», загадку его мировидения, его мировоззренческих позиций». Столь же предельно (!) закрытым в высказываниях о своем «исповедании веры» Шолохов был и в письмах, в публицистике. В мировоззренческом плане он был человеком исключительно (!) сдержанным» – упрямо повторяет Кузнецов, прекрасно зная, как открыто и охотно Шолохов хвалил партию, клеймил диссидентов. В главе «Неразгаданность сокровенного» Кузнецов еще раз подчеркивает «чрезвычайную закрытость, замкнутость Шолохова, его исключительную осторожность в высказываниях...». Ф.К. добавляет «что Сталин ни с одним писателем не встречался так часто, как с Шолоховым. С 1931 по 1941 было только зафиксированных 11 встреч. В 1937 (!) Шолохов становится депутатом Верховного совета СССР, в 1939 – академиком, в 1941 – лауреатом Сталинской премии.

Солоухин – о Шолохове (по книге Бушина «Гении и прохиндеи»): «Я ничего не говорю, это большой писатель. Даже если две трети «Тихого Дона» написаны им, и тогда.. Шолохов не мог написать первую книгу, ибо она написана с психологией и жизненным опытом по крайней мере пятидесятилетнего человека, много видевшего, знающего, пережившего, а Шолохову ведь двадцать лет. Мальчишка.»

У того же Бушина приводится «... запись в рабочей тетради, сделанная Твардовским, тогда главным редактором: «Вообще эти люди, все эти Данины, Анны Самойловны, вовсе не так уж меня самого любят и принимают, но я им нужен как некая влиятельная фигура, а все их истинные симпатии там, в Пастернаке и Гроссмани, – этого не следует забывать. Я сам люблю обличать и вольнодумствовать, но, извините, отдельно, а не в унисон с этими людьми».

В этой записи есть несомненная правда. Твардовский верно почувствовал ситуацию, но нашел неверное объяснение, психологически единственно для него возможное – с антисемитским душком. Не мог же он допустить, что Данин предпочитал Пастернака, потому что тот был действительно бо-

лее значительный русский поэт, нежели Твардовский, а Берзер понимала, что запрещенная проза позднего Гроссмана тогда по смелости не знала себе равных.

«Масштаб» самого Бушина раскрывается в такой детали. Он приводит слова Войновича: «Меня в Литературный институт не приняли потому, что в приемной комиссии решили, что моя фамилия еврейская, хотя она сербская (моя мать еврейка, но в институте этого не знали)» Так или не так – неважно. Интересно, как Бушин комментирует: «Летом 1946 года я тоже получил от приемной комиссии Литературного института отказ. А ведь у меня, русского, были большие преимущества перед Войновичем: я пришел не со школьной скамьи, а с фронта, имел боевые награды, уже печатался... Но я по своей национальной кротости не стал вопить о русофобии в сионистской институте...» и т.д. То есть Бушин полагает, что не в таланте дело, а в русскости и боевых заслугах. Он не чувствует, как он сам себя высек, говоря о «больших преимуществах перед Войновичем». Ведь он пишет это сейчас, когда время давно показало, что Войнович действительно писатель (несмотря на то, что он полусерб-полуеврей), а у Бушина – единственная позорная «заслуга» – маниакальная борьба против талантливых писателей, он анти-писатель (и «русский» тут ни при чем).

Кстати, о Литературном институте и талантах. В книге Бушина приводится отзыв 1951 года руководителя его диплома Александра Макарова: «Дипломная работа Владимира Бушина поверхностна, декларативна, неинтересна. У него нет качеств, необходимых для критика». С подлинным верно: чего нет, того нет..

СНИТСЯ ВЛАСТЬ

Бывший крупный советский чиновник говорит:

– Иногда я спохватываюсь: а вдруг у меня крыша поехала, и вся эта нынешняя жизнь – наваждение, бред? Я же родился с советской властью, я – часть ее...

О прямо противоположных чувствах (после падения Чаушеску) говорил мне Иоан Григореску, мой друг, румынский писатель и публицист:

– Иногда ночью просыпаюсь и щипаю себя: «неужели мне это не снится? неужели кончился этот кошмар?» ...

ФИЛОСОФСКИЙ ПРОБЕЛ

Юрий Мамлеев в интервью (*Ex libris*) сообщает: «Сейчас в новой физике, физике XXI века показывается теоретическая возможность проникновения во времени назад и вперед... целый ряд институтов, на Западе в основном, ведут записи случаев, когда человек действительно попадал в другое время. И, кстати, оттуда возвращался».

Увы. Писатель думает, что время – это сами события и что их, как киноленту, можно крутить «назад и вперед». Но прошлого уже нет, нигде нет (только в памяти!), а будущего еще нет, нигде нет (кроме представления). Вот и вся физика.

СМЕЛЫЙ ПОНЕВОЛЕ

Н. расхвастался перед новой сотрудницей, что он с начальником запанибрата, сотрудница, поверив, его тут же обрадовано попросила об одолжении: – Пусть он переведет меня в отдел информации. Обещаешь? – и глазки ему сделала неотразимые.

Н. не ожидал такого. На самом деле он почтительно держал дистанцию перед начальником, вовсе не был с ним на коротке. Что делать? Деваться некуда! И он, глубоко вздохнув, шагнул в кабинет к главному. От отчаяния став вдохновенным и обаятельным, он добился своего. Сотрудницу перевели куда она хотела...

ВЕРОНИКА ПОЛОНСКАЯ

Вспомнилась еще одна недавно умершая старушка – Вероника Витольдовна Полонская. Я с ней встретился в доме Ардовых на Ордынке, в той самой келье, где жила Ахматова, когда приезжала в Москву. Волновался перед знакомством с Полонской, а, встретясь, быстро успокоился и даже заскучал. Никакой харизмы, никакого желания быть интересной для посетителей. О Маяковском вспоминала неохотно (все спрашивают, давно устала). Я любопытствовал, почему у Маяковского нигде – ни в стихах, ни в статьях, ни в письмах – не упоминается Мандельштам. Неужели не знал? Знал, – она ответила, – очень хорошо знал, повторял его строки, особенно «Россия. Лета. Лорелея.» (Наверное, Мандельштам был для Маяковского где-то в стороне – не союзник, не противник – ничем его не задевал).

Лицо Вероники Витольдовны – несколько застывшее, малоподвижное и невыразительное (ей тогда было под восемьдесят). Подумалось, если бы я знал ее молодой, я бы увидел следы ее былой красоты. А фотография 29-ого года никак не связывалась у меня с ней теперешней.

Чтобы видеть «во времени» требуется особая зоркость – зрение чувства, память любви. Так мать видит в своих взрослых отпрысках детские черты, незримые для посторонних...

Так-то оно так, но почему я не узнал через двадцать лет девушку, с которой у меня «была любовь»? Неужели она так катастрофически изменилась и внешне и внутренне? Неужели чужая мне жизнь так вытоптала ее и утрамбовала?

О ГИБЕЛИ ЕСЕНИНА

Мариенгоф пишет о самоубийстве Галины Бениславской: «Стрелялась Галя и халявенького револьверишки – из “бульдога”...»

Похоже, правду мне рассказывал старик на Ваганьковском кладбище в конце пятидесятых годов: бедная Галина, она не

сумела застрелиться сразу, не умерла – мучилась до утра в агонии, ее по стенам нашли. Скончалась по дороге в больницу. Ужасно.

Что заставляет Хлысталова и прочих ему подобных навязывать людям версию об убийстве Есенина? Умысел («евреи виноваты») или установочная слепота? Свидетельствует же Мариенгоф о том, что знали все близкие Есенина:

«К концу 1925 года решение «уйти» стало у него маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, пытался выброситься из окна, перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом.»

Следует добавить, что накануне самоубийства Есенин был у Клюева, читал ему стихи и тот, не понимая и не принимая новую пушкинскую свободу есенинского дыхания, постарался его поглубже уязвить:

« – Чувствительные, Сереженька. Чувствительные стихи. Их бы на веленовой бумаге напечатать, с виньеточками: амурчики, голубки, лиры. И в сафьян переплесть. Или парчу. И чтоб с золотым обрезаем. Для замоскворецких барышень. ...После этих слов Есенин заплакал.»

Вот кто невольно лишний раз подтолкнул его к мысли о смерти.

Вадим Шершеневич 21 февраля 1926 года пишет: «Все стихотворения Есенина так тесно были связаны с его жизнью, что я не берусь даже утверждать что от чего происходило у Есенина: оттого ли что с ним случилось что-то в жизни, он определял это в стихах, или потому что у него так были написаны строки, и он потом исправлял свою жизнь по своим стихам...»

Это глубокое наблюдение, – может быть, психологический ключ к разгадке самоубийства Есенина: надо были исполнить то, что уже обрело существование в стихах, кровью написанных накануне – «До свиданья, друг мой, до свиданья...» и переданных Эрлиху. Тот их сунул в карман, не прочитав вовремя, оттого Есенин мог подумать, что друзья, прочитав, ему не поверили, не приняли всерьез. Или разлюбили. Как утром посмотреть им в глаза? И он делает роковую попытку...

ВЕРЛИБР МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

У Марины Цветаевой в 8-ой Записной книжке (1920-21) невольно получился типичный верлибр, даже графика соответствующая:

*Когда меня бросают
я:
Плачу, как женщина.
Рукоплещу, как союзник.
Улыбаюсь, как мудрец
– и –
– поверх всего этого –
пою как птица!*

Хоть включай в ее сборник как неизвестное неизданное стихотворение!

ХОРОШИЙ АНЕКДОТ

Миссионер в глубине Африки крестил негров, вернулся через год и увидел, что они перебили всех белых.

– Зачем вы это сделали? – в ужасе спросил миссионер.

– Так они ж (белые) распяли Христа!

ЧИТАЯ ШЕСТОВА

«Апофеоз беспочвенности» Льва Шестова теперь не производит впечатления. Много неглубоких, «косых» суждений. Например 87-ой «афоризм»:

«Пока не требует поэта...» ...Расскажите обыкновенным языком мысль Пушкина, и получится страничка из невропатологии: все неврастеники переходят от состояния крайнего возбуждения к совершенной протрации. Поэты – тоже: и гордятся этим».

Писарев на эту тему издевался талантливей! И почему Шестов искажает? Поэты вовсе этим не гордятся. И они не переходят к совершенной прострации. Пушкин говорит ясно: от вдохновения – к обыкновенной жизни. И гений никак не укладывается в схемы невропатологии. И т.д. Куда грубей и лучше сказал Ницше: боль заставляет кур и поэтов кудахтать.

Шестов:

«Наполеон слыл знатоком человеческой души. Шекспир – тоже. И их знания не имеют меж собой ничего общего» (95).

Эффектно, но притянута за уши. Наполеон, в отличие от Шекспира, не был знатоком души! Специфические знания человека – у вождя, генерала, врача, менеджера, мошенника и т.п. – несопоставимы со знанием души.

Зато хорошо подмечено Шестовым, что «застенчивые люди обыкновенно воспринимают впечатления задним числом... Они плохие ораторы – но часто замечательные писатели» (88).

Толстой говорит о Вронском, что ему хотелось овладеть Анной «больше всего на свете...». А Шестов подмечает (96), что это выражение дважды употреблено по отношению к Николеньке Иртеневу: его старший брат Володя ловеласничает с горничными девушками, и Николеньке хочется этого «больше всего на свете». И еще раз: горничная говорит Володе: «Отчего Николай Петрович никогда не приходит сюда и не дурачится?». А «Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы быть на месте шалуна Володи». Николенька – alter ego Льва Ниолаевича...

ЧАСЫ В МЕШОЧКЕ

Л. Шестов пишет (121): «Но могло бы быть, что камень обращался бы на наших глазах в растение, а растение в животное. Что в таком предположении не т н и ч е г о н е м ы с л и м о г о – доказывается существованием эволюционистической теории. Она только вместо секунды подставляет ты-

сячелетия ...я принужден снова повторить, что всё что угодно может произойти из всего что угодно».

Редкостная чушь. Никогда растение не превратится в животное. После точки разветвления (бифуркации) эволюционные пути расходятся необратимо.

Однажды я спросил математика:

– Скажите, если я разберу часы на детали и буду встряхивать их в мешочке сколько угодно времени, есть ли шанс, что они соберутся в часы?

Математик ответил с профессиональной серьезностью:

– Вероятность такого события отлична от нуля.

На самом деле – круглый нуль, абсолютная невероятность! Мой знакомый был ослеплен неограниченностью времени, верил, что при бесконечности, вечности может произойти всё, что угодно. Я же настаивал на том, что в данном случае необходима направленность воли. Если ее нет, часы сами не соберутся.

Спор забуксовал. Тогда я спросил математика:

– А если нет никаких деталей часов, соберутся ли когда-нибудь часы?

Он посмотрел на меня удивленно – не издеваюсь ли я над ним. В ответ я показал ему часы на моей руке:

– Вот они. Было же время, когда на земле не было ни одной детали часов. Верно? Но прошло некоторое время, и вот часы!

Он чуть не воскликнул, что это подтверждает его правоту (достаточно иметь неограниченное время!), но я перебил:

– Между нашими «на входе» и «на выходе» в «черном ящике» произошло еще одно событие – появление человека с его направленной волей. А откуда взялся человек – это совсем другой вопрос, никакого отношения к механическому встряхиванию не имеющий... Так что, прошу прощения, для появления часов лучше не иметь никаких деталей, чем иметь детали в бессмысленно встряхиваемом мешочке...

ЧЕРЕП ГИТЛЕРА

Василий Субботин, старый мой однокашник по Литинституту, о стихах которого я написал (по его просьбе) свою первую в жизни рецензию и она была напечатана в 1949 году в газете наших оккупационных войск в Германии (подпись почему-то оказалась усеченной – К. Коваль – видно, «джи» выглядело предосудительным в пору борьбы с космополитизмом! – так вот, Вася стал моим соседом на Малой Грузинской. Однажды – кажется, в конце шестидесятых годов, мы с ним разговорились на лестнице между третьим и четвертым этажом, вспомнили майские дни 45-го года – Васе довелось тогда быть в самом Берлине. Мы долго обсуждали причины, побудившие Сталина скрывать от всего мира, что труп Гитлера был найден – и вдруг Вася сказал:

– А знаешь, Сталин захотел увидеть своими глазами голову Гитлера. Так вот, в ящике ему тайно послали в Москву обгорелый череп фюрера...

На меня эта деталь произвела большое впечатление, я представил себе, как Сталин рассматривает череп поверженного врага, может быть, даже берет его в руки. Шекспир!

Прошло лет десять. Мы ехали вместе с Васей в Польшу на поэтический фестиваль. Я вспомнил про череп Гитлера и, надеясь выудить из него еще какие-нибудь подробности, завел разговор на эту тему. Вася пристально посмотрел на меня и промолвил:

– Откуда ты это взял?

– Но ты мне сам говорил! Помнишь, мы стояли на лестнице...

– Никогда не говорил. Первый раз слышу!

Несколько минут мы так препирались. Мне было дико. Что происходит? Или я с ума сошел, или он... А, может быть, всё дело в международном вагоне, в котором мы приближались к границе? Вася всегда был мнителен и осторожен...

Я вынужден был заткнуться, и больше никогда с ним к этому не возвращался. Но однажды спросил Елену Ржевскую – могло ли такое быть?

– Никогда об этом не слышала. – ответила она. – Достоверно могу сказать только одно. Челюсть Гитлера, которую я несколько дней носила в сумочке в поисках личного дантиста фюрера, была послана в Москву на экспертизу.

Однако потом в печати появилась фотография хранящегося в Москве фрагмента черепа Гитлера, потом и сам фрагмент был недавно выставлен в музее.

Значит, все-таки что-то подобное было! Неужели Сталин мог избежать злорадного соблазна взглянуть на останки своего могущественного противника?

И вот сегодня читаю в журнале «Посев» (№ 11, 2001) в статье о царских останках, часть которых (черепа) в свое время привозилась в Москву (стр. 31):

«Слишком невероятно? Но в истории советов еще и не такое встречалось! Тем более, и прецедент есть соответствующий – череп Гитлера тоже тайно хранился не одно десятилетие в каком-то сейфе (если не Кремля, то Лубянки)...»

...Для меня к масштабной тайне (Сталин с черепом Гитлера) примыкает маленькая – почему мой старый однокашник так энергично отрекался от собственного рассказа? Может, из политической осторожности – мы ведь ехали в международном вагоне...

АСТРОЛОГИ НЕ СПОРЯТ

Когда-то я отрицал астрологию и не интересовался ею. Потом, наткнувшись на несомненные совпадения в характеристиках по знакам Зодиака, я подумал: можно ли сводить все воздействия на новорожденного только к внутренним (генетическим)? Не существует ли и внешний, «звездный» код? Если представить себе нашу галактику в виде звезды, то ясно сколь взаимосвязано все, что происходит внутри этой святыщей точки.

Правда, непонятно на чем основываются астрологические утверждения. Видимо, лишь на тысячелетней эмпирике. Это относится к типам характеров. А ежедневные астрологичес-

кие прогнозы скорей всего – липа. Кстати, один из признаков лженауки – отсутствие дискуссий, споров в ее собственной среде. Философы, физики, биологи и прочие гласно спорят, а астрологи – никогда, ни о чем... Забавно представить себе, что одна газета дает определенный астрологический прогноз, а другая энергично это оспаривает, предлагая свой мотивированный вариант...

БУДУЩЕЕ РЕЛИГИИ

На столе оказались рядом два высказывания.

В «Дружбе народов» № 8 за 2001 год Ион Друцэ в превосходных воспоминаниях «Реплика Толстого» выделяет слова Льва Николаевича:

«России нужна религия. Я тянул эту песенку и буду ее тянуть, сколько мне еще осталось жить, потому что без религии в России наступит, на сотни лет, царство денег, водки и разврата».

А в «Известиях» от 17 октября того же года Семен Новопрудский выступает со статьей «Конец религии», которую заканчивает так:

«Религиозные доктрины безнадежно устарели не только на фоне изобретенных человеческим умом способов убийства. Они не описывают информационной, коммуникативной, политической реальности современного мира... Религия более не должна быть способом и мотивом мироустройства. Расцерковление человечества – теперь действительно вопрос нашей жизни или смерти. Ни больше ни меньше».

Прав все-таки Толстой. С одним уточнением – религия нужна не только России. Что до Новопрудского, то он остро чувствует основную трагическую опасность современного мира: множество несовместимых религиозных доктрин. Напрашивается «детский» выход: человечеству нужна единая религия. Но этому утопическому рецепту Новопрудский предпочитает нечто обратное, не менее утопическое. При чем он смешивает веру и церковность (Толстой решительно их различал!).

Внецерковная вера Толстого была бы плодотворна и полезна всему миру, не будь она столь рациональна, логична и... материалистична. В его трактовке Христос – просто гениальный человек (наподобие самого Льва Николаевича), давший миру светлое нравственное учение. Толстой, к сожалению, апеллирует исключительно к разуму человека, парадоксальным образом забывая свой собственный творческий завет: обращение к чувству. Вера ведь не только учение, но и тайна.

Только высокая и свободная просветительская культура способна, развивая в человеке терпимость, преодолевать религиозные барьеры при неприкосновенности всех их различий.

СТАЛИН ЗАВИДОВАЛ...

Когда Сталину доложили, что у женатого Рокоссовского «аморалка» (Серова стала его любовницей), и спросили, что будем делать, он улыбнулся: «Завидовать будем». Трактуют это как мудрость вождя: дескать, главное – талантливый полководец. Но кроме того, тут невольно сказалась и настоящая зависть к Рокоссовскому, который мог себе позволить... У Сталина, как и у многих большевиков его поколения, был другой стиль жизни, из которого ему не дано было высочить. Потому и вырвалось якобы шутливое «будем завидовать». Следующие большевики (правильнее называть их членами партии) уже любили не только власть, но и плоть. Большая разница между большевиками первых лет революции и членами КПСС последних лет...

(Говорят, вождь все-таки приструнил маршала, спросив ни с того, ни с сего: «А Серова – чья жена?». Рокоссовский понял и сделал правильные выводы).

О ПРЕДСМЕРТНОМ ПИСЬМЕ МАЯКОВСКОГО

У Григория Чхартишвили (Б.Акунина) в книге «Писатель и самоубийство» («НЛЮ», 2000) плоская и вульгарная трактовка предсмертной записки Маяковского:

«...странный, не соответствующий масштабу личности тон предсмертной записки: ненужные суетливые детали («...Ермилову скажите, что жаль – снял лозунг, надо бы доругаться...»), кокетство («покойник этого ужасно не любил»)... Такое ощущение, что это не предсмертная записка, а соблюдение некоей формальности человеком, который вообще-то в скорую смерть не верит.»

Ничего подобного! Маяковский верен себе: он с поразительным мужеством, в последний раз «вставая на горло собственной песне», сознательно решил снизить акт добровольной смерти до будничного, вынужденного личными обстоятельствами ухода («другим не советую»). Он, со всей силою таланта осудивший самоубийство Есенина как малодушное, ущербное и соблазнительное для других отчаявшихся, должен был обставить свой собственный уход из жизни так, чтобы другим не было повадно. Он отвечал за все им сделанное, сказанное, написанное – самоубийство могло подорвать, перечеркнуть «горлана, главаря». Он этого не мог допустить. Он поднял руку на себя как на человека, но отстоял себя как поэта, решительно защищая свое место в грядущем, среди «товарищей потомков». В этой уникальности, исключительности стиля предсмертной записки во весь рост отразился именно масштаб личности Маяковского.

Все это однако не отменяет того, что Маяковский оставлял себе шанс – он действительно пытал судьбу, загадывал – на то, как поступит Вероника Полонская, которую он просил не уходить, загадывал на возможную осечку револьвера с одним оставленным патроном (как уже бывало лет пятнадцать назад).

Липкин как-то рассказал мне, что в начале тридцатого года он оказался в полупустой столовой, где за соседним столиком в одиночестве обедал хмурый Маяковский. Обслуживала хорошенькая официантка. Вдруг Маяковский говорит ей:

- Знаете, выходите-ка за меня замуж!
- Спасибо, не хочу.
- Почему?
- Вы мне не нравитесь.

Потом Липкин написал об этом в книге своих воспоминаний, но я не помню, как он истолковал этот эпизод. Как шутку, как характерный для поэта эксцентризм? Или как выражение тихого отчаяния, предвестника трагического конца? Я думаю, Маяковский сделал такое внезапное предложение вполне серьезно. Загадал. Если бы она откликнулась...

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СМЕРТЬ

Полагают, что смерть существует так же, как жизнь. Как равносильное понятие. Как рай и ад. А смерть просто прекращение жизни. Не отсутствие ее. Потому что отсутствие может быть и до жизни и вообще вне жизни. Чашка существует. Существует ли разбитие чашки? Достаточно вместо слова смерть поставить слово финал, как персонификация улетучится...

ДВА ЧЕРЕПА

Есть анекдот: гид в музее говорит: Вот череп Генриха Четвертого. А вот череп Генриха Четвертого в детстве... Но, кроме смеха, эта прекрасная иллюстрация того, что прошлое не существует. В него нельзя вернуться никакой машиной времени.

АНЕКДОТ О СУББОТЕ

Еще анекдот с философским, так сказать, смыслом. Молодой еврей собрался бриться. Вдруг вспомнил: Суббота! Можно ли бриться? Побежал к раввину, благо тот жил виззави. Видит – ребэ сидит и бреется. Но молодой еврей уже не мог остановиться: – Ребэ, позволено ли бриться в субботу? – Нельзя! – Ребэ, но ты же бреешься! – Но я же не спрашиваю! ...Опять же – кроме смеха, многое допускается только благо-

даря тому, что никто не спрашивает. Если бы спросили ЦК—можно ли республики (которые женского рода!) назвать братскими? Ответ был бы категорическим: нельзя! Что за провокация?

ОЖИВИТЬ ФАРАОНА...

Эрнст Мулдашев написал книгу «От кого мы произошли?» Казалось бы, автор должен внушать доверие: доктор медицинских наук, профессор, член международной Академии наук (есть такая?) и т.д. Но вот что он пишет:

«Был ли египетский фараон мертв? А может быть, он был в состоянии сомати? « (стр. 323). Не знает, что ли, Мулдашев то, что известно и школьнику: мумии выскабливались изнутри! Как Ленин в наши дни...

А на следующей странице:

«Пришанти Нидаям... описал вхождение и выход из сомати в пещере. При этом он отмечал, что 18 дней, проведенные в сомати, показались, как 48 минут»

Показались (почему не 47 или 49?) или следил по секундомеру? Мулдашев продолжает:

«Сделав простое арифметическое действие (!), можно высчитать, насколько быстрее течет время в сомати. Получается, что время в сомати течет в 717 раз быстрее, что обычный ход времени. Возможно, это и есть тот ход времени, по которому живет Тот Свет.»

Комментарии излишни.

Главный принцип такой «науки» уворовон у поэзии: утверждай, не старайся доказывать. Поэзия сама себе доказательство. Истинно так. Но при чем тут наука?

Однако, справедливости ради стоит отметить, что у Мулдашева встречаются любопытные места. Например, он приводит беседу с мастером свами Сабва Манаямом в Чандигаре (Индия):

«Возьмите, например, Сталина или Гитлера... (...) ни Сталин, ни Гитлер, не обладая религиозными знаниями, не на-

правляли мышление своих народов внутрь (...) Напротив, будучи одержимы идеей мирового господства, они старались направить психическую энергию народов центробежно, на войну... (...) Психическая энергия способна воздействовать даже на космические объекты...

– А Бог может помочь?

– Бог вне сил. Бог не касается сил. – ответил мастер.

– Бог воздействует только через пророков?

– Через пророков, через религию. (...) Об этом, в частности, и последнее послание (...) «РЕАЛИЗУЙТЕСЬ САМИ»!

Примерно на этой схеме основывается и Фредерик Бейлс в работе «Ваш разум может вас исцелить». Бог – творческий Дух, Вселенная – его тело, воплощение Его мысли, но программа (Разум), пронизывающая Вселенную и отдельную жизнь, действует «бесчувственно». Мысль человека может направить программу в отрицательную или положительную сторону. Мысль материализуется...

Бейлс приводит пример, когда неверие (недоверие) к целительным силам Вселенского Разума губительно: богач решил устроить праздник для беспризорников. «Один маленький оборванец... глядит в комнату, не в силах поверить, что всё это для него. ... он поворачивается и скорбно шагает сквозь снегопад к своему убогому жилищу».

Чем не прозрение Кафки в рассказе, где странник умоляет бесстрастного стражника и не смеет войти в ворота, которые открыты были для него?

Книга Бейлса – вариант веры-внушения. Этим и полезна. Но очевидна и ее односторонность. Истина куда многогранней. Недаром Бейлс избегает говорить о смерти...

АВТОР ЯЗЫКА ИЛИ ОТКУДА ЖИЗНЬ?

Происхождение языка. Не кем-то создан и не сам возник. Особая реальность, творимая коллективно течением поколений...

Происхождение жизни. Ясно, не сама возникла. Не «самозарождение». Но Он ли один ее создал? Или дал толчок духовной многоликой Среде, которой нужно воплощение. Жизнь ищет сама себя, творит сознательно-стихийно, – как развивается язык, как растет город?

Детский и самый трудный вопрос о происхождении жизни... До недавнего времени я полагал, что имеются только два недоказуемых ответа: Жизнь сотворена Богом или возникла сама по себе. Или – или, третьего не дано...

Теперь с удивлением узнал, читая книгу Г. Аксенова «Причина времени», что есть еще один ответ, третий: жизнь существовала всегда. Мгновенная реакция – «что за глупость?» – погашается воспоминанием, что я сам в молодости считал, что Вселенная вечна, одни звезда гаснут, другие зажигаются, не было ни начала, не будет ни конца. И это меня вполне устраивало. Почему же утверждение «жизнь вечна» должно казаться нелепостью? Это нелепей, что ли, веры в самозарождение жизни?

Похоже, третий ответ в чем-то близок первому, хотя с виду противоречит ему. Творческая воля непознанной Высшей силы может нам представляться и в линейном времени (шесть первых дней Творения) и в круговом (вечность). Первый и третий ответ обнимает тайна. А она куда убедительней и плодотворней, чем механический перебор случайностей (из всего, что угодно с течением времени якобы получится всё, что угодно). Поэтому мой ответ «не знаю» обладает активным характером: исключает второй ответ.

PS. Случай частенько подкидывает мне то, что нужно. Открыл наугад книгу о Парацельсе и с удивлением читаю:

«Жизнь сама по себе не может умереть или исчезнуть, ибо она не рождается формой. Это вечная сила, которая всегда существовала и будет существовать. Уничтожение даже частицы жизни стало бы для Вселенной невосполнимой утратой. Жизнь – проявление Бога, и она будет существовать всегда, пока живет Бог»

СИЛА ПОЭЗИИ

Академик В. Арнольд приводит слова Монтеня: «Чтобы вызвать восхищение, необходимо напустить туману в свои писания», который в свою очередь ссылается на Тацита: «ум человеческий склонен верить непонятному». Эти суждения относятся не только к философии и науке (особенно к лженауке!), но и к поэзии. Что до меня, то я стихами никогда не думал вызвать восхищение – я искал одобрения и понимания. Потому не ценил туман...

Материалисты твердят об относительности добра и зла. Дескать, дождь для урожая хорошо, а для свидания плохо. Но это побочные следствия нейтральных явлений: дождь ничего не знает об урожае или свидании. Говорить о добре и зле имеет смысл в рамках проявления жизни, отношений между живущими. Разве любовь относительна?

Сила поэзии. Библейские истины, высказывания Христа нам даны в высокой поэтической форме (образно-эмоциональной, гармонично-ритмической). Вот в чем простой секрет их вечного воздействия на людские сердца. А на кого может воздействовать такой «язык»:

«Любовь, на мой взгляд, это ускорение и усиление позитивного закручивания полей тонкого мира под воздействием других позитивных торсионных полей» (Э. Мулдашев «От кого мы произошли?», стр. 424).

ДЕРЖАВНОСТЬ

Александр Дугин в «ЛГ» в статье «Либо великая, либо никакая» пишет:

«Наш патриотизм – как наше государство и наш народ – никогда не был малым. Мы великороссы, мы – великодержавный народ. Если мы устали и так больше продолжать не можем, то голос предков не даст нам успокоиться на малом. Либо великий, либо никакой! Тогда уж лучше никакой...»

Родина или смерть – это понятно. Но – величие или смерть? Ужасно. «И как один (то есть, все, поголовно!) умрем в борьбе за это»?...

Русский народ в российском государстве действительно столбовой, ствольный народ. Но при чем тут величие, имперский размах? «Голос предков» – отчасти правда. Но та правда, которую не надо отстаивать, она опасна. Я имею в виду русское имперское сознание, так красиво сформулированное Дугиным. Русский народ велик прежде всего в духовном, культурном смысле. Имперская экспансия не принесла России ни свободы, ни благосостояния. Потому Дугин опасен как пропагандист «великого патриотизма», как фундаменталист: Россия «либо великая (в имперском смысле!), либо никакая». Русским вслед за немцами, англичанами, французами пора на благо своих граждан согласиться с тем, что пик их державного величия позади. Будем гордиться славным прошлым (и стыдиться, если есть совесть), но не дай Бог повторить Наполеона, Гитлера, Сталина.

К сему можно присовокупить и такой курьезный случай. Р. Баландин в книгу «Самые знаменитые философы России» не включил Даниила Андреева, зато нашел место для... Сталина. Он считает его «наиболее полным выразителем «русской идеи» и восклицает: «Любой верящий в судьбу и перст Божий должен видеть в нем избранника», потому что ему удалось «долго, победоносно править и завершить жизнь в ореоле беспримерной, поистине всепланетной славы и во главе великой державы...» Всепланетной? Даже смешно. Тито, что ли, славил Сталина? Я уже не говорю о демократических странах Европы и Америки. Но пусть упивается державным хмелем Баландин, зачем же намеренно врать? Он пишет, что Сталин «вступил в смертельную схватку с государствами и народами Западной Европы, выстоял и победил». Неужели Англия была союзником Германии? Или Англия не Западная Европа? Или не было французского Сопротивления? И не говорил ли сам Сталин в 1941 году, что без помощи Союзников наша страна не выстоит?

Не потому ли Баландин исключил из книги Даниила Андреева, что тот «нехорошо» писал о великом вожде: «Сталин

был дурным хозяином, дурным дипломатом, дурным руководителем партии, дурным государственным деятелем. Полководцем он не был вообще» («Роза мира», стр. 477).

Империи возвышаются и рушатся. Выживают только культурные, духовные достижения. Великие писатели и зодчие, великие музыканты и ученые...

Скажем, Суворов – это национальная гордость (гордость в национальных рамках), а Толстой, Достоевский – пользуются мировым признанием. Я за такую экспансию.

УДАЧА И НЕУДАЧА

Идеальная демократическая организация, которая мне удалась, была поэтическая студия, просуществовавшая больше десяти лет. Без власти, без устава, без корысти и т.д. Организация, внешне пущенная на самотек, держащаяся исключительно на любви к поэзии и на притяжении к ведущему, то есть ко мне, создавшему условия для свободного творческого общения. Я не учительствовал, а привлекал всю доступную мне поэтическую культуру и насыщал ею атмосферу студии.

Организация, которая мне не удалась – это создание нового союза писателей. В начале осени 1991 года Евтушенко со товарищи поручили мне создать оргкомитет и заняться созывом учредительного съезда СРП (в противовес союзу писателей РСФСР). Я горячо взялся за дело и выполнил его. Съезд удался, меня поздравляли, но... мне в голову не пришло подумать о руководстве. Я, во-первых, полагал, что об этом позаботились единомышленники, как-то согласовали между собой кандидатуры, а, во-вторых, – какая разница? – мы же заодно, мы представители демократического крыла союза писателей, у нас всё будет, как у людей.

Я был в прекрасном настроении. Потому был изумлен тем, что буквально на следующее утро началась междоусобная борьба. На первый план вылезли «интересы». Новозбранные секретари стали качать права и требовать дачи в Перedelкине, а Савельев, первый секретарь союза писателей

Москвы, тут же заявил, что его организация самостоятельна и в российскую не собирается входить. Между тем бондаревцы выступили против Евтушенко и, к сожалению, по нему же ударили и «наши», опубликовав письмо в «Литературных новостях». Евтушенко обиделся, бросил все дела и укатил в США. Власть фактически перешла в Пулатову. Черниченко, Анфиногенов и Савельев попытались его свергнуть, но не сумели. Пулатов подчинил себе аппарат, захватил контроль над зданием, и таким образом завершил раскол в демократическом союзе писателей. Я еще некоторое время был членом правления СРП, потом и вовсе отошел от своего, так сказать, детища.

Наши оппоненты оказались сплоченной. Их связывали прежние убеждения и прежний стиль поведения. Другого им и не оставалось, талантов у них явно меньше, да и время уходит из-под ног. А «демократические» писатели, обретя свободу, обнажили свой эгоцентризм, амбициозность и, к сожалению, корысть. Либеральные убеждения никак не повлияли на их нетерпимое поведение. Союз писателей «с человеческим лицом» оказался тоже утопией. К тому же и в объективном смысле роль союза писателей, как и положение самой литературы, изменились до неузнаваемости...

ЛЕНИН И ХРИСТОС

10 февраля 1923 года Фотиева записывает, что Ленин (за месяц до последнего удара) попросил принести ему ряд книг, среди которых был «Миф о Христе» Дрекса...

Зачем ему это напоследок понадобилось? Ради дальнейшей борьбы с религией? Вряд ли. Понимал, что ему уже не до того. А, может быть, хотел лишний раз успокоить себя тем, что по утверждению Дрекса, Христа не существовало? Или, напротив, почувствовал себя тоже «распятым»? И предугадывал создание мифа о себе самом?

ОТПОВЕДЬ ПЕССИМИСТУ

Как-то в середине пятидесятых годов я прочитал приятно свои школьные стихи:

*Не то, чтобы верил я в счастье,
не то, что б не верил в него –
коль делится счастье на части,
то мне от него – ничего.*

*Не то, что б оно просчиталось,
а сам я один из таких,
которым одно лишь осталось –
способствовать счастью других.*

– М-да, – сказал он. – Это не напечатаешь... – Почему? – загорелся я. И опубликовал эти строки в журнале «Днестр», якобы цитируя письмо начинающего поэта, присланное в редакцию. Конечно, пристыдил «молодого стихотворца» за пессимизм...

СКАЗАЛ ПАСТЕРНАК

Замечательно сказал Пастернак (в письме к Шаламову от 4 июня 1954 г.):

«Меня с детства удивляла эта страсть большинства быть в каком-нибудь отношении типическими, обязательно представлять какой-нибудь разряд или категорию, а не быть собою... Как не понимают, что типичность – это утрата души и лица, гибель судьбы и имени.»

Я тоже с детства это чувствовал, при всех внешних компромиссах интуитивно старался не сливаться ни с какими «категориями», чурался постоянной роли, чтобы не стать заложником «имиджа». Потому мне претят маски – литературные, политические ли – маски вообще! Потому в кругу любых «убеждений» я потенциальный «предатель», готовый признать правоту оппонента, если он действительно прав...

Потому и в литературной жизни я «беспринципен»...

Кстати, один из признаков кризиса поэзии (засилья антипоэзии) – отсутствие споров. Сегодняшние поэты и критики уклоняются от гласных оценок. В прежние годы, руководя студией, я всячески поощрял столкновение мнений. Однако постепенно, в середине девяностых у молодых возобладало другое умонастроение – всеобщее молчаливое попустительство, безразличное согласие с любыми текстами под видом уважительного отношения к поискам друг друга. Мне стало неинтересно и я тихо отпустил поводья...

И только недавно в Липках, на филатовском совещании молодых, я опять увидел (и, разумеется, охотно поощрил) занозистую взаимную заинтересованность. Но этим отличились провинциалы. Похоже, от них исходит новая волна творческой энергии.

ФАКТ ВНЕ ОЦЕНКИ?

На просьбу выделить десять современных поэтов в «Ех libris» «замечательный ответ дал Михаил Гаспаров: «Как ученый я занимаюсь фактами, а не оценками, а как читатель я слишком мало уважаю свой вкус, чтобы его оглашать».

Замечательный ответ? Марк Габинский тоже занес в картушку молдавское слово с опечаткой (из районной газеты) – дескать, это факт. Я не смог его отговорить. Пусть это курьез, но и сам Гаспаров включил в свою антологию бездарного Гнедова, потому что – факт! А «мало уважаю свой вкус» – кокетство.

Факт вне оценки – фундаментальный грех литературоведения.

* * *

Поэзия – как магнит: вытягивает из соломы иголки – способных откликнуться.

Ахматова сказала Липкину о Маяковском: «Он раньше и умнее нас всех испугался».

Нет. Он верил.

ОПАСНОСТЬ МНОГОТОМНОСТИ

В 1945 году я составил себе представление о Брюсове по его одготомнику «Избранное» и влюбился в него. Потом собрание его сочинений в 8 томах вовсе не обогатило в моей душе образ поэта, а напротив – я что-то безвозвратно утратил. Подобное же повторилось и с Мариной Цветаевой, и с Леонидом Мартыновым. Влюбленность подвигала меня узнать как можно больше о своих любимцах, а это к добру не приводило. Единственный кого не постигла такая участь – это Пушкин. Интерес к нему не насыщается и не приводит даже к малейшим разочарованиям...

Каюсь, подумал и о себе. Как составить свой одготомник, чтобы выглядеть наилучшим образом? Я же «многоканальный» литератор. Составить бы что-то вроде авторского альманаха «Единоличник», где будут и стихи, и проза, и критика, и переводы, и эпиграммы...

УМЕР ЛЕВ КУЛИДЖАНОВ

Случилось так, что дня два тому назад я о нем подумал, но... не смог вспомнить его имени. Долгие годы он совершенно не возникал в моей памяти, как не возникала и сама авантюра с высшими сценарными курсами, которые я посещал в конце шестидесятых годов (соблазнился тем, что курсы были в Доме киноактера – напротив Союза писателей, где я работал, – стоило только перебежать улицу, чтобы посмотреть редкостные и «закрытые» фильмы). Я попал на творческий семинар Льва Кулиджанова, где-то хранится его одобрительный отзыв о моем сценарии.

После курсов моя киношная ипостась не имела никакого продолжения, потому и была вытеснена из памяти. Сколько лет прошло, и вдруг ни с того, ни с сего я увидел его лицо, но, повторяю, как ни бился не мог вспомнить ни его имени, ни фамилии. И тут его назвал телевизор (оказывается, Кулиджанов всего на шесть лет был старше меня!).

Что это? Совпадение или телепатический толчок? На смертном одре он подумал обо мне?

* * *

Борис Раушенбах подтверждает, что Леонид Леонов был потрясен Вангой. Она спросила: Где Ленча твоя?.. А у Леонова был сестра Лена, умершая во младенчестве. Сам Леонов якобы про это забыл.. Что-то здесь не так. Почему Ванга говорит ему нечто совершенно несущественное?. Чтобы его поразить? Что же она еще ему сказала?

* * *

Приписываемое Тертуллиану «верю, ибо нелепо», на самом деле звучит так:

Non pudet – quia pudendum est, prorsus credibile – quia ineptum est, certum – quia impossibile.

То есть, примерно: «Не стыдно, ибо постыдно, вполне убедительно, ибо нелепо; несомненно, ибо невозможно»...

ХВАЛА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТИ

Мы схватываем и узнаем приблизительное целое. Так ребенок учится говорить. Схватывает целое в самом упрощенном виде, потом «разворачивает» и наращивает его. Все наши знания (кроме специальности), целостно-приблизительны, сплошной дилетантизм. Хорошо бы написать рассказ про тетю Катю. Ее похищают инопланетяне, выпытывают у нее всё, что она знает о человечестве. Презабавная картина получится. Или игра: предложить в компании – пусть каждый нарисует по памяти карту Европы и разметит ее по странам. Тоже получится презабавно. Я-то легко справлюсь, но в Центральной и Латинской Америке тоже наломаю дров...

Все мы в жизни руководствуемся приблизительными знаниями. Иначе нельзя.

ПАРАНОЙЯ

Чезар Балтаг в ЦДЛ в шестидесятых годах, выпив, тыкал в мои плечи: где, мол, погоны? Ему казалось невероятным, что такой, как я, советский бессарабец (а он сам был тоже из бессарабцев) мог так свободно позволить себе беседовать с ним (представителем Румынии) не будучи сотрудником органов.

Я, как обещал, перевел несколько его стихотворений, но того подозрения ему забыть не мог, и при последующих встречах в Румынии уклонялся от личного общения с ним.

Однажды в Литинституте на курсовом собрании кто-то попрекнул Алика (Абрама) Аликяна (поэта и моего друга) в том, что он (репатриант) подвергался буржуазному влиянию. Я удивился реакции Алика: он вспылил, крикнул: это я терпел от капитализма, я ненавижу его, я, а не ты! Что ты знаешь, как смеешь...

Удивился я потому, что действительно – все революционеры вышли из буржуазного строя. Почему же теперь боятся тех, что соприкасался с тем строем? А еще я подумал, что я так не смог бы ответить. Никакой капитализм в королевской Румынии меня не обижал, я даже не подозревал о его существовании. Детство у меня было добрым, грех жаловаться... Правда, в десять лет я уже оказался в СССР, не то что Алик, который прожил в Ливане лет до двадцати (было ему там плохо или нет – не знаю, но в годы перестройки он вернулся туда)...

СПАСТИ СОЦРЕАЛИЗМ...

23 Ноября 2001 хоронили Юрия Ивановича Суровцева.... В углу Малого зала ЦДЛ ждала крышка гроба с крестом. Для него – недавно еще утверждавшего, что он один из последних кто по-настоящему понимает марксизм...

Дома перелистал прежние беглые заметки о нем.

Не штрихи к портрету, а скорей штрихи времени, верхней – отношения к нему, размышления, чаще всего с драматичес-

ким привкусом. Так, например, фраза Юрия Ивановича Суровцева, оброненная как-то в редакции «Литературного обозрения», мне кажется симптоматичной: «Не люблю гениев!» Сказано это было в смысле того, что он (как главный редактор журнала) терпеть не мог претенциозных и капризных литераторов, эгоцентризм которых не учитывал ни очевидной конъюнктуры, ни общепризнанных правил игры. Это можно было понять. Но невольное восклицание «не люблю гениев» выдавало и действительную самозащиту самого Юрия Ивановича. Он был способный критик и литературный деятель, можно даже сказать – незаурядный: отличная память, широкая эрудиция, редкостное трудолюбие, отменная организаторская хватка. Но при всём этом законченный и убежденный конформист. Он не только знал «как надо», но и умел делать это лучше и ловчей других. Сын уборщицы, он выбился в люди и даже приобрел некоторые барские замашки. . .

Помню, году в 77-м я на страницах журнала выступил с полемической статьёй против «трактата» Глушковой о традиции в литературе. Суровцев меня похвалил. Но, помолчав, добавил:

– Есть, пожалуй, один недостаток. Ты ни разу не сослался на классиков марксизма-ленинизма.

–А зачем? Я и так обосновал свою позицию.

– Как зачем? Твоя аргументация – само собой. Они (он показал пальцем вверх) понимают только то, что подкреплено цитатами.

– Но я не для них писал! Я – для читателей (показал рукой вокруг себя)...

Я действительно совсем не был озабочен тем, как будет воспринята моя статья в отделах ЦК. У меня была другая «ориентация». Я ждал похвалы от друзей, а точнее – от одной сотрудницы, с кем я слушал в ЦДЛ выступление Палиевского (тезисы национал-патриотизма), в русле идей которого появилась и статья Глушковой.

Много лет спустя, весной 1991 года мы ехали в Эстонию. Суровцев был тогда один из руководителей Союза писателей СССР. (Кстати, я с большим удовольствием вспоминаю

совместные с ним поездки в Кишинев, в Калининград, в Италию... В поездках он был отличный товарищ). В поезде Юрий Иванович лупил меня в шахматы (сильный игрок, первокаатегорник!), потом зашла речь о идейном разброде, о соцреализме. Суровцев произнес, улыбаясь:

– Я теперь чуть ли не единственный марксист. Все запутались. Я всерьез напишу о соцреализме как об открытой творческой системе...

– Юрий Иванович! Ради бога, ни пиши! – вскричал я.

– Почему?!

– Да потому что – всё. Поезд ушел. Пойми ты, соцреализм не творческий метод. Это рычаг идеологического государства, а оно обанкротилось. Спасти такой «метод» не сможет никто!

Не знаю, я ли на него подействовал или дальнейшие события, но о соцреализме он больше не заикался.

Еще прошли годы, и я каким-то боком оказался причастен к его последнему взлету и падению. В одночасье умер Володя Савельев, первый секретарь союза писателей Москвы. Стали думать – кем его заменить. Я вспомнил об организаторских способностях Суровцева, о его знаниях и опыте, и предложил его кандидатуру. Меня поддержали, и Юрий Иванович был избран, верней – назначен. Он давно был не у дел, а тут расцвел. Но, к сожалению, остался прежним. Он увлекся формалистикой, стал сочинять заново устав, с подчиненными повел себя начальственно, как в прежние времена, и очень быстро восстановил прошив себя почти всех. Пришлось опять думать, что делать. Я был один из тех, кто предложил Римму Казакову. Собрался секретарит, и Черниченко весьма грубо, по-большевистски, в духе «персонального дела» отстранил Суровцева от руководства (членом секретариата он остался до смерти).

После этого Суровцев стал сникать. По инерции он был по-прежнему деятелен, еще раз я с ним съездил в Минск, видел, как он наслаждался, когда нас принял тамошний министр иностранных дел...

Отмечали его 70-летия довольно скромно, в нижнем буфете ЦДЛ. Сидели у длинного стола вдоль стены. Провозг-

лашали тосты, хвалили его, говорил и я. Осмотрительно упоминали о его творческом багаже. По его репликам было видно, что он не отрекался от своих книг против Фишера и Гароди, но что с того?

Не прошло и полгода, как я, увидев его на улице, опешил, — он вдруг резко осунулся, постарел, печать смерти была на его лице — я боялся себе в этом признаться. Вскоре он лег на операцию, не помогло, жизнь его оборвалась.

ПРОШЛОЕ ПРОТИВ ТЕПЕРЕШНЕГО

На Большой Грузинской жила Элла, в которую я студентом был влюблен, писал ей (и о ней) стихи. Несколько раз ночевал у нашего общего приятеля, который жил неподалеку, тоже писал стихи и, кажется, был к ней равнодушен. Судя по стихам, я романтически драматизировал ситуацию, хотя на самом деле не был ни соблазнен, ни отвергнут. Видно, я хотел, чтобы она в меня влюбилась, а она пассивно ждала от меня каких-то поступков (кроме стихов!). Короче говоря, «роман» не сложился. Почему перестали видаться — решительно не помню.

И вот прошло добрых четыре десятка лет, и у Белорусского вокзала она восторженно восклицает, встретив меня, говорит, что живет неподалеку, что свободна и надо обязательно встретиться. Момент радостный, но пришел я ей далеко не сразу. Несколько телефонных общений дали мне понять, что она странновата, с массой комплексов, зачем мне всё это? Но поллюбопытствовал, пришел, принес ей свои книги (она трогательно помнила мои тогдашние стихи, сохранила какие-то листочки). Кормила меня обедом в захлавленной комнате. Всё время угощала, мешая разговаривать. Особенно гордилась арбузом.

Вяло пили вино, пытались реанимировать прошлое, вспоминали Галю, Борю, Славку... Она говорила, что я могу приходить, когда захочу, что всегда мне будет рада... Через некоторое время я позвонил и, конечно, поинтересовался прочитала ли она мои книги. Оказывается, посмотрела, перелиста-

ла, но не прочла. Почему? Боязно, не хочется узнавать, что я стал другой. Ей дорог тот образ, который остался с той поры, из молодости, ей жалко его потерять.

Всё это мило, но мое авторское самолюбие было задето – я полагал, что с тех пор значительно вырос как личность и жаждал признания... Не получилось. Она продолжала ревностно охранять прошлое (почему в свое время не дала понять, что ей дорого?), а я, теперешний, тихо и недоуменно отдалился от нее. Навсегда.

НАУКА ЛЮБВИ

«Я всегда побаивался женщин... Я возношу их, как богинь, на пьедестал, откуда они сами иногда падают. Мое отношение закономерно: я по-прежнему смотрю на женщин глазами подростка, только что достигшего половой зрелости... В своем понимании женщин и в отношениях с ними я так и остался в подростковом возрасте. Я отношусь к ним восторженно».

Кто бы мог это написать? Я мог бы. Но самое удивительное, что написал это кумир миллионов женщин, гениальный режиссер, великолепный итальянец, – Федерико Феллини. (Из книги «Я вспоминаю...» по беседам с Шарлоттой Чандлер, отрывок в «Общей газете» 21-27 февраля 2002)

Сделал такое признание на склоне лет, прожив полвека с не менее знаменитой Джульеттой Мазиной. Значит, и мне нечего стыдиться своей несвоевременной романтической слабости...

Мое отношение к женскому полу было «неконкретным» по выражению моего друга Риху Данецкого, романтическим, то есть, можно подумать, просто глуповатым, потому так часто увлечения мои оказывались неразделенными.

Не совсем так. Я не был слеп, видел, как поступают другие, более удачливые. Но я в юности испытывал сильные колебания между двумя крайностями: простой сексуальной потребностью и исключительными надеждами. Первое казалось слишком эгоистичным, корыстным, потребительским,

чтобы его открыто добиваться. Это мешало быть «конкретным». Второе мнилось обещанным чудом. Женская душа должна была меня оценить, понять, что я исключение, не такой как все (то, что со мной произойдет – существенно не только для меня, а для чего-то большего – эдакое зернышко предназначения). Потому что женское существо, которое пронзило меня током, тоже ведь не такое, как все...

Короче говоря, максимализм. Либо слишком просто (тут мне должны были помочь), либо неповторимо (судьбоносно и в согласии с моей путеводной звездой).

Что я думаю об этом теперь, на склоне жизни? Я вел себя не по-мужски. Но кобелей и без меня достаточно. Я же претендовал на большее. И испытывал горечь и радость на «литературном» уровне.

Чувство значительности того, что со мной происходит, не покинуло меня. От женщин были стихи и дети. Я вовсе не склонен преувеличивать свои способности и свое призвание, я говорю о врожденном чувстве. О самом факте его существования. Может, смысл не в моих писаниях, а в детях и внуках. Неслучайных, именно таких, а не других...

Кстати, 30 сентября 1953 года Пастернак пишет Н.А. Табидзе: «Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на всю жизнь остался надломленным и ошеломленным ее красотой, ее местом в жизни, жалостью к ней и страхом перед ней»

РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕАЛИЗМ

Еще раз возвращаюсь к толкователям Евангелия, которые ищут во всем реалистических мотивировок, бытовых объяснений. Как следователи. Но Евангелие не протокол, а послание ко всем и к каждому. Оно обращено к нам, оно урок, а не история, не хроника. Сверхреальность. Язык говорящих событий. События говорят не о том, что они произошли, а зачем произошли: для нас произошли. Неплодотворно сводить к тому, что всё было там и тогда. Потому что: там и везде,

тогда и сейчас, всегда и навсегда. Всё происходит на вселенских подмостках, на подмостках вечности.

Если ты с детства почувствовал, что означает поступок Иуды – достаточно. Ты не захочешь быть таким, как он. И ни к чему спрашивать, каковы мотивы его предательства и были ли они вообще. Потому, когда Зоя Крахмальникова дала мне увесистую книгу какого-то немца об Иуде, я сказал, что мне неинтересно. Она огорчилась...

– Христос – Божественный бомж.

Христос воскрес так, как никто до Него не воскресал (что Лазарь?). Его присутствие из «локального» после «смерти» стало всемирным, «живее всех живых». С Воскресения началось Его «триумфальное шествие».

Собрать лица всех бывших, сущих и грядущих людей, «смешать» их, как все цвета – получится «Белый» образ Бога!

Федоров хотел не воскресения, а восстановления умерших. Как убого!

Наука хочет избавиться от смерти, уклониться от нее. А религия: через смерть!

Что знала Мария об Иисусе до Его тридцати лет? Во-первых, не могла не помнить видения до родов, во-вторых, говорила об этом младенцу Иисусу. В-третьих (третья ступень, троекратность): главный толчок – от Иоанна Крестителя.

Евангелие как Притча не требует «обратной связи». Притча направлена к тебе, незачем ее заворачивать обратно. Она не требует координат и датировок. И мотивов, деталей (самое скучное, что может написать гений – это автобиография для отдела кадров. Творчество Шекспира ничего не проигрывает при отсутствии фактов его биографии).

Отношение к Евангельскому тексту должно быть подобно отношению к иконе: то есть без настырности реализма. Язык иконы – особый. Изображает, не претендуя на портретную достоверность. Икона предполагает глаза верующих. Посторонние видят не то. Посторонний в Лауре видит не

то, что Петрарка (или просто влюбленный). Было ли затмение в миг смерти Христа? Было – для всех верующих. Образ «затмения» передает религиозно-вселенское значение события, которое недоступно (и невозможно) для тех, кто «урезан» дальтонизмом очевидцев.

Как мы смотрим на дом, в котором жил Пушкин? Совсем не так, как «неграмотный» турист. Плоский реализм подобен разоблачениям Льва Толстого, который, наблюдая потных балерин за кулисами, полагал, что видит правду о них. . .

Библия – духовная повесть под видом фактической. Грехопадение, например. Это язык смысла. Сознание, познание – неизбежный, но трагический разрыв с естеством. Блаженны звери и птицы, не вкушившие от Древа Добра и Зла. Познание дробит истину, пытаясь постичь ее «по частям». Грех такого познания. Истина (как и Бог) – целостность, которая дается прозрением, откровением. Простой человек (как и ребенок) улавливает сразу суть рассказа об Адаме и Еве. А мы – на высоком культурном уровне – утрачиваем непосредственность восприятия и вопрошаем: а было ли это? Было. Религиозная реальность.

Почему В. Розанова раздражает «бессеменное зачатие» Христа? Почему ему кажется, что это – против жизни, против пола? Дело тут не в горизонтальных полюсах «мужское – женское», а в вертикальных «плоть-дух». «Особое» рождение Христа – весть нового духовного рождения, божественно-человеческого идеала. Зачатие через семя – событие заурядное, оно как было, так и осталось дочеловеческим в человеке (кошки тоже через семя. . .). Говоря в духе Вернадского, можно сказать, что в косной материи произошло два рождения: рождение биосферы, а внутри нее (с лучом извне?) – рождение ноосферы.

Удивительно наблюдать, как проповедники обращаются в пастве от имени Бога, словно подразумевают Его отсутствие в данный момент.

Победоносцев Льву Толстому: «Ваш Христос – не мой Христос. Ваш Христос любви и смирения, мой – силы и вла-

сти». Как ни ругай Толстого, но победоносцевский правитель вовсе на Христа не похож!

Материализм утверждает, что Природа бесцельна. Получается – она бесцельно создала человека, который целенаправленно на нее воздействует!

Жемчужина румынского фольклора «Миорица» удивляет своим сюжетом: вещая овечка предупреждает пастуха, что его собираются убить. Что же делает пастух? Он как фаталист ничего не предпринимает. Говорит овечке что и как сказать матери после его гибели и т.п. И на пантеистическом взлете духа баллада обрывается. Загадка? Но если вспомнить смирение Христа накануне предательства Иуды... Христианство и национальный характер.

НУМИЗАМАТИЧЕСКОЕ

Андрей Сергеев, известный переводчик с английского, ставший потом известным прозаиком, был к тому же серьезным собирателем варварских подражаний античным монетам. Мы сблизились на нумизматической почве. Как-то раз у меня дома мы менялись монетами. Андрей при какой-то «операции» дает мне рубль Александра Первого. Я беру его и со смущением вижу, что рубль – поддельный. Как быть? Сказать? Андрей гораздо лучше меня разбирается в нумизматике, он, можно сказать, профессионал. Неужели он сам не видит? В конце концов я не выдерживаю и говорю:

– Андрей, но это же фальшак!

– Ах, да. – говорит он небрежно. – Давай его сюда. – И, заметив мое изумление, вдруг откровенно добавляет: – Кирилл, понимаешь, я человек состоятельный, мне ничего не стоит потратить крупную сумму. Но ничего с собой не могу поделатъ: если при обмене монетами мне удастся выгадать или обжулить кого-нибудь хоть на пятак – я целый день радуюсь! Обмен – это игра, азарт...

На том дело и кончилось (со временем я приобрел другую пятирублевку, то есть такую же, как та, унаследованная от тёти Кати)...

* * *

В свое время я написал «зерно»:

*По генам, по снимкам рентгеновым,
по анатомическим данным
нет разницы между гением
и графоманом...*

А не додумал до конца. Творение гения не определяется его телом, это точно, хотя и неразрывно связано с ним. Но только ли с ним? Если существование духа не исчерпывается существованием плоти, если не полностью принадлежит плоти, то откуда делается вывод об исчезновении духовного «я» вместе с прекращением жизни его тела? Скрипка, смычок и скрипач.. Музыка не умирает вместе со скрипачом и скрипкой. Проще – личность как дерево. Корни – с землей, а крона – с солнцем. Я уж не говорю о лесе.

Три источника поэзии: озарение, переживание, изобретение. Остальное – инерция, ремесленничество, графомания.

Две стороны продолжения жизни поэзии: появление нового поэта и развитие поэзии по своим внутренним законам.

* * *

Кирилл Анкудинов (талантливый критик, живущий в Майкопе) в «ЛитРоссии» №50, 2007 хоть и с оговорками, но преклоняется перед Юрием Кузнецовым. «Юрий Кузнецов был пророком – и это не метафора и не преувеличение».

Мощный талант, спору нет. Но перехваленный смолоду (Кожин назвал его гением), однобокий, без развития, деградирующий к концу века. Его сочинения «Сошествие в ад» и «Христос» почти графоманские (я не дочитал), а отдельные стихи – просто пародийные.

*...И вот перед нами Тень показалась,
как туча в удушливый день.
Тень приближалась – косматая страшная тень...
Это был Левиафан! И ударом хвоста
Ад всколыхнул и обрушил его на Христа.*

*Молнии злобы Христа оперили, как стрелы,
Он их страхнул – и зеленую ветку омель
Бросил в противника острым обратным концом.
Пал Сатана на колени и рухнул лицом.*

В последнем интервью Владимиру Бондаренко (опубликованном в *Ex libris* в январе 2004 года) Юрий Кузнецов, говоря о работе над «Раем», докатывается до пошлой публицистики о кризисе октября 1993 года:

«... Я еще подумываю, будет ли в Раю Григорий Распутин? Я склонен к этому, подумаю. Конечно, от себя я никуда не денусь, но я старался как можно больше внести объективности и в мировую, и в русскую историю. Чтобы это не только от меня исходило. Чтобы мой взгляд вписывался в большой угол зрения других людей. А что касается живых людей, попавших у меня в Ад, думаю, это почти бесспорно. Много зла сделали. Ответственны перед Богом. Те, например, кто подписал письмо 42 либеральных писателей об уничтожении инакомыслящих, – куда их было девать? Только в Ад».

Правда, из его стихов 1991 года меня поразили «Живой голос» – даже пожалел, что не мною написано...

Я был с ним шапочно знаком. Грубоватый, крупный, малоподвижный, похожий на памятник. Одновременно было в нем что-то рыхлое, бабистое (мягкое, вялое рукопожатие). Однажды сидели вместе за столом в ЦДЛ – он, я и Женька Карпов с Ольгой Афремовой (которую Женька настойчиво продвигал). Юра вещал: женщины поэтами не бывают... Незадолго до его смерти мы выступали вместе с другими на вечере Литинститута...

Патриотисты в некрологе объявили его великим.

В тот же номере газеты Кедров, процитировав Пришвина («Пора признать, что любовь свободна от деторождения, а поэзия от стихов»), добавил от себя: «Поэзия умна. Но ум не поэзия. Поэзия религиозна, но религия не поэзия». Оба молдцы.

Кстати, в эти дни опять по СМИ слышу «католическое Рождество». Почему «католическое»? Христианское! Только по новому стилю, общепринятому официальному календарю – 25 декабря. Отмечают и католики, и протестанты, и православные (например, православные румыны, болгары, греки):

* * *

Добрица Чосич пишет 30 сентября 1956 года, что Леонид Леонов после 20-ого съезда ему сказал, защищая отношения Горького со Сталиным:

«Всё произошедшее было нужно, необходимо, чтобы Россия стала тем, чем она есть сегодня. Россия была рудой, которую нужно было загрузить в мартеновскую печь, в температуру десять тысяч градусов, чтобы она переплавилась в благородный металл...»

Гуманист! Я по глупости тоже использовал образ расплавленного металла в стихотворении к окончанию школы: «...Чтоб изготовленной сталью/Были бы мы включены/Прочной полезной деталью/В аппаратуру страны.» Но я о нас, учениках, в 17 лет. А тут – умудренный писатель о своей стране. Может быть, боялся иностранца?

Он же о своих творческих пристрастиях: «Писатели делятся на пишущих о том, что видят – лес над озером (Толстой, Чехов, Пушкин), и на пишущих о том, что отражается в воде (Гоголь, Достоевский, Щедрин). Я не люблю первых.»

Интересно, что-то есть. Но всё-таки вульгарно...

О Шолохове: «Посмотрим, что будет. Надо подождать...»

Осторожно сказал, но не слабо!

Наконец, сам Чосич о Леонове: «Это большой русский. Трагичный писатель. Нереализованный дар.»

Это верно. В чем-то и сам виноват. Его сосед – Катаев писал на старости лет блестяще, а Леонов вымучил «Пирамиду», которую никто не читает.

* * *

Логика действия, деятельности, дела с виду ведёт вперед, а по сути замыкает на себя, пожирает себя. Процесс вытесняет

всё остальное, становясь самодостаточным. Например, Шухов Иван Денисович так увлекается стройкой, что забывает себя и для кого и что строит. И это убедительно. Ну, Шухов – маленький человек... Возьмём «большого». Гитлер, напав «по логике» на Советский Союз, тут же погружается в действие как таковое. И не способен выйти из собственной ловушки. Выбирая из двух зол большее, он становится одержимым иллюзией, что кроме логики борьбы (победы во что бы то ни стало) другого пути нет. О таких говорят: зашёл слишком далеко. Тогда надо убивать одержимого. Что, к сожалению, не удалось Штауфенбергу. Редкий случай прорыва, попытки вырваться из сферы «логического» тяготения – это (пусть слишком поздний) уход Льва Толстого...

* * *

Гейне:

*Aus meinen grossen Leiden
Mache ich kleine Lieder*

– мой земляк В. Зоргенфрей перевел «Из муки моей нестерпимой / Родается песеноч стая». Красиво. Но и по звуку и по отблеску иронии лучше бы:

*Из моей великой муки
Песеноч смолот муку.*

* * *

Любовь, вера, родина, родной язык – вне сравнений. То, что не выбирается, то и не сравнивается.

Г. Померанц отмечает, что различие между о. Александром Менем и о. Дмитрием Дудко «важнее, чем различия вероисповеданий».

Бросается в глаза обилие унылых, отчаянных и безнадежных стихов. Соблазнительный и легкий путь.

Но и у противоположного, политического «лагеря» полно плакальчиков. Борясь с русофобией, они-то и оказываются русофобами. Например, Хатюшин:

Угас народ под бременем оков.

*Пусть видит мир несколько безнадежно
идти российским гибельным путем.*

*У русских есть любимая работа:
Уничтожение своих.
Проникло в кровь и в пот нам дело это,
И слаще нам, пожалуй, дела нет.*

*Весел злобный и хитрый бес,
В пропасть гонящий наше стадо..*

И это только в одном номере «Молодой Гвардии».

* * *

В троллейбусе высокий длиннолицый тощий старик встал в проходе. Немолодая женщина хочет уступить ему место. Он ей твёрдо: – Я никогда не сажусь... (и после короткой паузы) Я свое отсидел...

* * *

В журнале «Сити класс» (январь-март 2008 г.) объявляется в частности платный курс лекций некоего Ивана Рыбкина совместно с Эдуардом Падаром на тему «Позитивное программирование прошлого и будущего». Вот ловкачи! Обещают обучить «технике перепросмотра прошлого», спрашивая: «Вы считаете, что нельзя изменить ничего в своём прошлом?» Но если отвлечься от рекламных трюков, то есть над чем задуматься. Прошлое человека действительно не является чем-то неизменным, застывшим, оно со временем подвержено вольным или невольным изменениям. Даже книга, неизменная книга, и та меняется, когда ее перечитываешь через годы. Я давно собираюсь написать один и тот же эпизод в нескольких вариантах воспоминаний...

* * *

Омар Хайям:

Нам жизнь навязана...

... миг один – и вот

Уже пора уйти, не зная цели жизни,

Приход бессмысленный, бессмысленный уход.

(Не знаю, чей перевод) Привёл потому, что уж больно близко к пушкинскому «Дар напрасный, дар случайный...»

* * *

М.Горький: «В природе, которая окружает нас и враждебна нам, красоты нет, красоту человек создает сам из глубин своей души». (Несобранные лит-крит. статьи. М., 1941, стр. 483)

В природе нет красоты?!

Ф. Энгельс о Германии времен Гёте: «... весь народ был проникнут низким, раболепным, жалким торгашеским духом», но «позорная в политическом и социальном отношении эпоха была в то же время великой эпохой немецкой литературы».

Приходится согласиться...

* * *

Случайно наткнулся на стихотворение Якова Хелемского 1968 года. Весьма слабое, но «замечательное» по контрасту с последующим...:

Я входил и в огонь и в воду,

Много видел, но, может, к счастью,

Никогда не входил я в моду,

Никогда не стремился к власти.

Трубы медные были тоже.

Я прошёл и сквозь них когда-то... и т.д.

Как не вспомнить, что еще раньше, в 1957 году Сельвинский написал:

*Я испытал и славу и беславье.
Я пережил и войны и любовь;
Со мной играли в кости югославы,
Мне песни пел чукотский зверолов.*

.....
*Я видел всё. Чего еще мне ждать?...
Как высижю хочу я благодать –
Одним глазком взглянуть на Коммунизм.*

И вот, наконец, «тему закрывает» Бродский знаменитым стихотворением 1980-ого года «Я входил вместо дикого зверя в клетку...»

* * *

Читаю то одно, то другое. Совпадение: и Маркс и Шагинян в молодости пришли к выводу, что Коран – более цельное учение. А дед Барака Обамы в христианстве «не мог понять идеи милости к врагам» и вернулся в ислам.

* * *

Книга «Выдающиеся произведения советской литературы 1950 года» (по Сталинским премиям). Редкая убогость. Издано в 1952 году в «Совписе». Тогдашний студент Литинститута, я этим совершенно не интересовался и правильно делал. Среди премированных литературный аферист Суров... Составитель – бедная Сара Бабёньшева. Надо сказать, что и впоследствии так называемая текущая советская литература для меня как бы не существовала, я следил только за некоторыми поэтами и спорными вещами...

Попробовал читать «бестселлер» Сидни Шелтона «Ты боишься темноты?» – не пошло. Сухое ремесло. А на обложке: «Писатель, которому нет равных!». Попробовал Устинову – «Гений пустого места». Тоже «несъедобно».

Зато с любопытством прочитал «Разгром» Фадеева». Каюсь, в школьные годы целиком не читал, достаточно было школьной хрестоматии.

Ну, да, талантливый молодой писатель. Но вещь какая-то неосмысленная и странная. Эти партизаны – красные? Погибают, а

во имя чего? Скорей похоже на нечто стихийное. И жутковатый вопрос: какой новый мир построят Левинсон, Морозко, Метелица, если победят? Думаю, Фадееву это в голову не приходило. Опять же странно, что эта вещь широко пропагандировалась в советское время чуть ли не как образец соцреализма.

* * *

Еще совпадение. Читаю в газете статью Жака Бержье о Михаиле Михайловиче Филиппове, который якобы изобрёл возможность передачи взрыва на большие расстояния и был за это убит охранкой в 1903 году. На следующий день мне попадается старый номер «Нового мира» с пьесой Набокова «Изобретение Вальса», которая как раз строится на этом сюжете. . .

Через некоторое время по телевизору рассказ о сербском изобретателе.. Дескать, именно Никола Тесла нашёл способ направленного взрыва и чуть ли не он причина «Тунгусского метеорита» 1908 года. Его башня строилась в Америке легально, его никто не убивал, он преспокойно дожил до 1943-его года. Заигрывал с Гитлером и Сталиным. Дескать, в конце концов сам засекретил и уничтожил свое изобретение, опасное для человечества. . .

Неужели Жак Бержье ничего не знал о Тесле?

* * *

Софья Шамардина вспоминает, что Маяковский любил стихотворение Ахматовой «Мальчик сказал мне, что это больно, и мальчика очень жаль». Похоже, этот «мальчик» аукнулся в «Про это»: «Мальчик шёл, в закат глаза уставя. . . » и «Прошайте. . . Кончаю. . . Прошу не винить».

Мальчика очень жаль. . .

Софья Шамардина после лагерей заканчивала свои дни в доме старых большевиков в Переделкине. Общались с Лилей Брик. . .

Покончившая в 1918 году самоубийством Тоня Гумилина, рисовала Маяковского и писала о нем прозу и стихи. Кажется, ничего не сохранилось. По воспоминаниям на одной картине была Тайная вечеря с Маяковским вместо Христа, на другой – Маяковский с копытцами. . . Как у самого Маяковс-

кого о себе: «Будет с кафедры лобастый идиот что-то молоть о богодьяволе...» (Гумилина наверняка знала эти стихи – «Дешёвая распродажа» была написана в 1916 году и опубликована тогда же.)

Богодьявол, конечно, поза. Перед собственной гибелью Маяковский «снизил» себя до ассенизатора и водовоза... Тоже поза. Горькая.

Удивил последний тёмный случай (о нём слышал вскользь и раньше) – гибель Елизаветы Антоновой. Якобы узнав о самоубийстве Маяковского, Елизавета застрелила четырёхлетнюю дочку и потом себя. Мать и дочь в одном гробу кремировали в тот же день, что и поэта. Трагическое совпадение или дочь от Маяковского?

Почему-то автор книги не задаётся вопросом: а откуда у домохозяйки Лизы револьвер? От мужа? А он был просто сотрудник «Рабочей Москвы».

* * *

Почитываю посмертную книгу Толи Кобенкова «Однажды досказать...». Очень неровная. Он бы не так составил, он на моих глазах писал всё лучше и лучше. Вот стихотворение:

*... и когда из елей выходит ель,
и она одна – как все сразу ели,
и когда Вифлеемская колыбель –
это все, какие есть колыбели,
я тогда – в свирель, чтобы в ту свирель –
по моей дорожке бы – все свирели.*

Точка. Отлично! Но у него не точка, а запятая. Совершенно напрасно продолжает:

*и когда из мороза выходит дед
чтобы все увидели деда мороза,
и когда божий мир – это божий свет,
мне не боле тринадцати, я поэт
и кишкой за рифму «мороза-роза»...*

Зачем «я поэт» и «кишка»?

Теперь видно, с какими издержками он, освобождая себя, пробивался к современному стилю.

Он про меня сказал, что я – не литературный человек. А сам он, мне стало ясней, был вполне литературным. И по контекстным установкам и по житейскому поведению. За короткое время и меня втянул в ряд полезных знакомств.

Спросил себя: а как же я? Столько лет в литературной среде, и – «не литературный»? Да, так. У меня не было никакой литературной стратегии. Я как бы плыл по течению, интуитивно полагая, что течение само знает, куда меня несёт. И не ошибся. Жизнь заканчивается с определённым итогом: моё присутствие в литературе оказалось прочней, чем у многих и многих, которые ставили себе стратегические цели и на время достигали их...

* * *

Юрий Нагибин перед Новым 1980-м годом вписывает в свой дневник саркастическую «Концепцию спасения мира», в которой предлагает капитулировать, чтобы избежать атомной войны. Забавно, что эта, в ту пору абсолютная утопия, в каком-то смысле сбылась: при Горбачёве была снята угроза третьей мировой войны. Но любопытно и другое: каким видит Нагибин спасённый мир:

«Не нужно бояться, что русский народ станет гегемоном, ничуть не бывало, он сохранит, даже усугубит свою бедность, затравленность, свое безысходное убожество, ведь из всех побед этот удивительный народ выходил ещё более нищим и плотью, и духом. А все, что накопил мир за тысячелетия своего существования, сохранится: прекрасные города, художественные ценности, музеи, памятники старины. Правда, положится предел тому, что, в сущности, давно не нужно: творчеству, дальнейшему движению культуры. Не будет ни искусства, ни литературы, ни свободы мысли, ни свободы слова. Так ведь без них проще. Зато останутся: спорт, телевидение, кино, пьянство и мочеполовая жизнь.

Что касается Америки, точнее, США и Канады, то им... оставят некое подобие былых буржуазных свобод: многопар-

тийную систему, выборы, подкуп избирателей и т.п. под строжайшим, но незаметным контролем,— для граждан все будет, как настоящее».

А ведь в каком-то смысле и это сбылось!

ФАБРИКАНТЫ МИФОВ

По телеканалу «Столица» бредовая передача о том, что Гитлер спасся и затаился в Антарктиде. Или в Аргентине. Или... Но хватит. Мифотворцы сознательно отключают разум и воображение.

Сначала о воображении. Как представить себе замену Гитлера и Евы в апреле двойниками так, чтобы ничто не заметил? А Геббельс решил как дурачек (или истинный герой) остаться в Берлине, зная, что фюрер решил удрасть? И т.д.

Теперь о разуме. Спросите себя: зачем Гитлеру (такому типу, с такой психикой) жить? Разве это жизнь? После такой катастрофы. Да еще, по словам мифотворцев, «до глубокой старости»?!. Каков здоровяк!

И, наконец, как можно решиться бежать из осажденного Берлина, когда нет стопроцентной гарантии, что не попадётся в руки врагов? Ведь как раз этого Гитлер больше всего и боялся. Смерть избавляла фюрера от бессмысленных мучений (жить после полной жизненной катастрофы) и от мести победителей. И придавала ему героический ореол – «капитан гибнет вместе с кораблём».

Ситуация настолько ясная, что никаких других «доказательств» не требует.

Как не требует «доказательств» гибель поляков в Катыни. Спроси у сомневающегося: признаете, что тысячи поляков были интернированы в Катыни? Признают. Признаете, что с весны 1940 года о них больше не было никаких известий? Неохотно, но вынуждены признать. Но даже если они были живы до лета 1941-ого года, то каким образом они попали к немцам? Не успели вывезти? А кто был за это наказан? Ведь

немцы оказались под Смоленском совсем не внезапно. Кстати, ни один советский концлагерь не попал к немцам ни в полном составе, ни частично. А если бы попали и охрана разбежалась, то стали быв поляки покорно ждать в покинутом лагере, что с ними сделают немцы?

Ситуация опять же совершенно ясная.

В свое время мне было смешно, когда отрицали секретные протоколы пакта Молотов-Риббентроп. Дескать, нет никаких документов, кроме сомнительных копий... Смешно, потому что фактически сразу началось выполнение секретных соглашений – «освоение» сфер влияний: Польша, Прибалтика, Бессарабия...

Смешно, как требование «историков» документальных подтверждений существования Иисуса. Подай им свидетельство о рождении? У Нагорной проповеди не было автора? Или над ее созданием вдруг в определенное время стал трудиться «коллектив»? Почему больше не появлялось таких гениальных коллективов? Повезло Магомеду с Кораном...

ОБ АПОКРИФАХ

Евангелие от Варнавы. Очевидная «заказная» (и весьма поздняя) подделка, удобная для мусульман. Автор этого сочинения простодушно изобретателен, весьма поверхностен и совершенно далёк от поэзии, от духовности. Ниже всякой критики.

Другое дело Евангелие от Фомы, от Филиппа, от Марии. Чрезвычайно интересна мысль о том, что автором Четвертого Евангелия была Мария Магдалина (автором – в смысле: на основе ее рассказов, свидетельств), – в Евангелии от Филиппа определенно говорится, что Иисус Марию любил больше всех, вот она и была заменена безымянным «любимым учеником», который, естественно, был воспринят как мужчина, более того – как Иоанн.

Нет ли ключа к этой загадке в последнем загадочном абзаце Евангелия от Фомы, возникающим внезапно, как говорится –

«ни к селу, ни к городу», где Петр ополчается на Марию Магдалину:

118. Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни. Иисус сказал: Смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в царствие небесное.

Вот и стала Мария «духом живым, подобным... мужчинам».

Странный, женоненавистнический текст, безо всякой связи прибавленный к Евангелию от Фомы, таким парадоксальным образом подтверждает возможность высокой роли Марии.

МОЛЕНИЕ ХРИСТА

Отто Ран дотошно разбирается с искушением Христа в пустыне, буквоедничает, совершенно теряя из виду смысл того, что произошло. А произошло осознание Иисусом своей мощи и своего призвания: не властью силы овладеть миром, а властью Слова. И это открыто нам Им самим, ибо не было свидетелей в пустыне...

Я раньше уже писал об этом, но только теперь обратил внимание на то, что есть еще один эпизод, в сущности, тоже без свидетелей, и он сложнее: трудно представить себе, что Иисус поделился с кем-то... Я имею в виду моление Христа. Трое Евангелистов (кроме Иоанна) передают эту потрясающую сцену – по человечески потрясающую, где нет ни малейшей попытки обожествления образа. Сошлюсь на синодальный текст от Луки (22, 39-45):

«... пошел по обыкновению на гору Елеонскую; за ним последовали ученики Его. Пришедши же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть во искушение. И Сам отошёл от них на вержение камня и, преклонив колена, молился, говоря:

Отче! о, если б Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.

Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.

И, находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.

Встав от молитвы, Он пришёл к ученикам, и нашёл их спящими от печали».

Ясно, что слов Его с расстояния брошенного камня никто слышать не мог, да и сами ученики, стараясь не беспокоить Его, сидели тихо и грустно, и в ожидании... уснули.

В других переводах имеются несущественные разночтения. Только в переводе В.В. Кузнецовой («Канонические Евангелия» под редакцией Лёзова) почему-то опущены строки, мною выделенные курсивом, – кстати, имеющиеся лишь у Луки. Считается позднейшей вставкой?. Пока я не нашел объяснения этому.

У Марка и Матфея картина несколько иная, но и там получается, что прямых свидетелей-слушателей не могло быть.

У Матфея Иисус, оставляя учеников, берёт с Собою «Петра и обоих сыновей Зеведеевых», у Марка берёт с Собою «Петра, Иакова и Иоанна». Иисус говорит им: «душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте». Почти свидетели? Но Иисус отходит от них, молится отдельно и вернувшись, застаёт их спящими. Христос говорит Петру: «так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» И это повторяется трижды.

Как узнали Евангелисты слова Его моления? Нет ответа. Александр Мень в «Сыне человеческом» пытается выйти из затруднения. Говоря об апостолах, что «дремота, похожая на оцепенение, сковала их», он продолжает: «Христос отошёл в сторону и, упав на колени, стал горячо молиться. Ученики находились недалеко... и отдельные слова Иисуса долетали до них. «Авва, Отче, – слышали они в полузабытьи... – пронеси эту чашу мимо Меня.»

Слабоватая мотивировка. Но вот вопрос – нужна ли она? Убежден, что не нужна.– так всё убедительно и неопровержимо. Моление Христа дошло до нас. Каким образом – таинственным, чудесным? Кому и как открылось? Не знаю. Знаю, что такое не придумаешь. Как сказал бы Ницше: «человеческое, слишком человеческое». Ортодоксам даже «невы-

годно». Ибо Иисус ведёт себя совсем не как Бог. Это Сын Человеческий, скорбящий смертельно, обращается к Богу-Отцу, а не Бог говорит Сам с Собою.

Благодаря таким человеческим черточкам нельзя не верить в Христа. Недаром мне как-то Семён Липкин сказал, когда мы с ним гуляли в Переделкине:

– Я плохой еврей. Я люблю Христа.

ШЕНГЕЛИ И КАРАБЧИЕВСКИЙ

Вадим Перельмутер, включивший в «Избранное» Шенгели его злую (давнюю, подзабытую) работу «Маяковский во весь рост», писал впоследствии: «Шенгели отношения к Маяковскому не изменил... Ну не нравился он ему – почему нет?!» Если бы только «не нравился!» Когда один поэт (небольшой) задался целью публично развенчать другого (великого!), то это называется иначе... К тому же Шенгели после гибели Маяковского не усовестился. Он только струсил, когда Сталин в 1935 году поднял Маяковского на пьедестал. (Через два года – в том самом 37-м! – Шенгели стал писать поэмы о Сталине, а в сороковом советовал Северянину обратиться с письмом к вождю народов.) Другое дело – Юрий Карабчиевский, тоже «ниспровергатель» Маяковского... Вот что он сказал в послесловии к новому (легальному, «перестроечному») изданию книги «Воскресение Маяковского»:

«Я писал эту книгу семь лет назад, в те годы, когда было ничего нельзя и поэтому хотелось всего сразу. Теперь, когда многое стало можно, что-то в ней, вероятно, выглядит лишним, чрезмерным или, наоборот, очевидным. Во всем ли я сам, на семь лет постаревший, согласен с автором? Разумеется, нет. Сегодня я написал бы эту книгу иначе. Уж наверное, она была бы трезвее, добрее, сдержанней, выверенней, справедливей – и ближе к тому, чему-то такому, что принято называть объективной истиной.

...Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и, не глядя, принимаю любые доводы. Но хотел

бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому. Я думаю, каждый, кто прочел книгу внимательно, убедился, что именно этого нет и в помине; что жесткость и даже порой жестокость автора к своему герою вовсе не означает ненависти к нему. Разве жесткими и суровыми мы бываем лишь с теми, кого ненавидим?.. Апрель, 1989 г.»

Честно сказано, достойно, по совести.

АУКНУЛСЯ С АХМАТОВОЙ

Маяковский частенько вышучивал лирику Ахматовой, однако в 1928 году написал чуть ли не в ее духе:

*«Я ж навек любовью ранен,
еле-еле волочусь»,*

а у неё:

*«От любви твоей загадочной <...>
еле ноги волочу».*

ВЛАСТЬ КАК ДИОД

Представитель власти выражает, олицетворяет кого-то, карает за кого-то («от имени»), но не отвечает за того, кого представляет. Нравственный диод. Игра в одни ворота..

Я чувствую власть через ее уполномоченных, но она остается ко мне нечувствительной, пока я не сумею как следует дать о себе знать...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Невозможно дать окончательное определение поэзии, «попасть в точку», так сказать, в центр понятия. Потому что это не мишень с «яблочком», а бублик, у которого центр –

мнимый! Сколько угодно более или менее верных определений, и все – по окружности.

Абсурдизм в поэзии – как сильнодействующее средство против отупляющей привычности (как инсулин разрывает окостеневшие нервные связи, чтобы они, восстанавливаясь, обновились).

Авангардисты, сочинители творческих измов (манифестов) объясняют свои намерения до результатов или вместо них! Система («изм») и талант – как леса и здание.

МАЯКОВСКИЙ, ЕСЕНИН

Комната Маяковского на Лубянке: тяжело ворочался слон в коробочке. «В комнатёнку всажен». Дружил с чекистами. Знал ли о подвалах Лубянки, которые рядом?

У него было три этапа:

Вначале трагический молодой поэт. Одиночество во враждебном мире, отверженность. Жажда вселенского бунта. «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», трагедия «Владимир Маяковский».

Потом революция. Радостный выход из отверженности, иллюзия исполнения желаний. Певец революции, горлан, главарь. (От бунта до законопослушного верноподанного: от «Левой! Левой!» до «Жезлом правит, чтоб вправо шёл. Пойду направо. Очень хорошо!»)

Наконец, недоумение, трагический бумеранг. Поэма «Плохо», «Баня» Любовная лодка...Выстрел. Самосуд неподалёку от расстрельных подвалов Лубянки...

Есенин после революции воскликнул: « В своей стране я словно иностранец... »

Маяковский, наоборот, до революции чувствовал себя чужеродным в России (страусом!), а потом поверил, что революция (а не Россия) стала его родиной! Однако же – в минуту горестных сомнений опять вспомнил об отчуждении:

«...по родной стране пройду стороной, как проходит козой дождь...»

Оба убили себя. Оба навек с Россией.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА АТЕИСТА

Древнегреческий философ (или ученый) не мог бы утверждать: «Радиоволн не существует!». Не мог отрицать то, о чем не имел понятия.

Но если ты кричишь «Бога нет!», ты не можешь отрешиться от понятия о Боге. Он для тебя существует со знаком минус. Богоборец – не может стать безбожником!.

МАКСИМУМ РАВЕН МИНИМУМУ

При сверхнизких температурах – близких к абсолютному нулю движение системы замедляется, замирает, тем самым для него время останавливается (анабиоз). Но, оказывается, по Эйнштейну то же самое происходит и при сверхвысоких скоростях – при приближении к скорости света – время для объекта замедляется, (движение замирает?). Что-то тут не так. При минимальном движении и при максимальном – одно и то же?

БЕСПОКОЙНАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ

Атомы – находятся в беспрестанном движении, звезды – тоже, но из них-то и составлена неподвижность объектов, тел – так называемой тверди земной и небесной.

... Неподвижная форма движения, скорости: свет в комнате «неподвижен», струя из крана сохраняет в текучести форму...

НЕХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Два химических элемента заранее «знают», какая будет между ними реакция. Такая и только такая. Детерминизм. А два человека? При каждом отдельном знакомстве – вихрь неопределенности и вероятности вокруг зернышка (ядра?) притяжения или отталкивания. Узоры, петли, разрывы на поле предопределенности (я родился мужчиной, ты женщиной...) Тайна любви с первого взгляда.

* * *

Жуковский оценил гений Пушкина?

По письмам Василия Андреевича видно, что он всю жизнь считал Пушкина потенциальным гением, прозевав, что тот давно им стал. Жуковский все наставлял Александра, требовал высокого служения искусству, прямо, как Сальери – от Моцарта!

* * *

Пушкин:

*Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно другой,
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой!*

Жутко. Напророчил и себе, и Лермонтову, и Есенину, и Маяковскому!

КОШМАРНЫЙ СОН

Кого собирался воскрешать Николай Федоров? Всех, всех? Или по решению «экспертов»?

Приснился бы этому почти святому философу кошмарный сон, что, наконец, воскрешение (восстановление покойников) стало возможным. Но люди не смогли решить с кого начать и поубивали друг друга...

ГЕНЕРАЛ

Я его никогда не видел. Гулял с его дочкой. Гибкая была, то ускользала, как змейка, то обвивала, как змея. Мать тоже была не прочь примкнуть к молодежи, вместе с нами ездила в Переделкино. Мы шалили с девочками, а мамашу ублажал Женя Карпов, самый старший из нас...

А генерал вращался в сферах.

Прошли года. Генерал вышел в отставку, но каждое утро вскакивал, спешил «на службу», – глубокий склероз. Его с трудом отговаривали. Иногда пропадал на два-три дня. Говорят, его встречали у пивных киосков.

Перед кем и какие речи держал?

ДЕВСТВЕННЫЕ ЖЕНЫ

Был я когда-то в Африке, в Бенине. В древней столице – Абомей посетил бывший гарем. Рассказывали, что когда прогнали последнего царька, обнаружилось среди сотен жен и наложниц тридцать девственниц – «руки» не дошли.

С грустью оглядывая сотни книг в моей библиотеке (которая пополняется неудержимо!), я вспоминаю гарем в Абомее... Некоторые книги (как правило, даренные случайными авторами) остаются «девственными».

* * *

– Красота относительна?

– Но и безотносительна. Она – как цветение в саду. Деревья разные, но цветение одно. Котята, цыплята. Молодость и живость равно существенны и для китайской красоты и для французской...

* * *

Связи нет между ногтями человека и его мыслью.

Но когда смотришь на его неопрятные кривые ногти, я как-то не так отношусь к его мыслям...

ДЕЛО И ВЕРА

Часто сталкиваюсь с тем, что верующие ставят на первое место не образ жизни, не поступки, а соблюдение обрядов как утверждение веры.

А в «Послании Иакова» (2, 13-14) сказано:

«Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет! может ли эта вера спасти его?» И далее : «Я покажу тебе веру из дел моих»(2, 18) , «человек оправдывается делами, а не верою только» (2,24). И наконец: «вера без дел мертва» (2,26).

Но у Мартина Лютера нечто прямо противоположное:

«Превыше всего запомните, что я вам сказал: только вера одна, а не добрые дела, оправдывает, освобождает и спасает». («О христианской свободе»).

Как он мог такое сказать? Наверное, имел в виду, что добрые дела без веры – не спасут.

Грешен, я предпочитаю просто добрые дела заботам о личном «спасении».

* * *

Большинство христиан не знает Библии так же, как большинство коммунистов не читало «Капитал».

* * *

В аккерманской церкви молодой священник на проповеди вдруг ляпнул: «Жидаы убили русского царя». Я не выдержал и внятно произнес:

«Не евреи, а большевики. И уже не царя, а бывшего, отрекшегося ...» Священник помолчал и продолжал проповедь..

Кстати, убийцы царской семьи: шестеро латышских стрелков, пятеро русских, венгр, еврей...

Невольно вспоминается анекдот (ценю анекдоты, в которых есть что-то весьма существенное – кроме смеха!):

– Миссионер в Африке обратил в христианство какое-то негритянское племя. Через некоторое время он узнал, что негры вырезали всех белых в окрестности. Миссионер примчался в ужасе: «Что вы наделали! Почему?» «Мы полюбили Иисуса, а они, белые, распяли Христа!» – услышал он.

ИСПУГАЛСЯ

Михаил Лобанов признается в журнале «Наш современник» (№4, 2002):

«Начну я с одного потрясшего меня события – лета 1967 года, когда Израиль за несколько дней разгромил Египет... Ужасом повеяло от мысли, что то же самое может случиться и у нас... Это было предупреждение, теперь я вижу, страшно-го будущего рождавшегося, чему свидетелями мы стали ныне, с наступлением еврейского ига».

* * *

В Пен-клубе встреча с Ефремом Баухом. Помню его еще кишиневским студентом, молодым поэтом. Теперь он известный прозаик, возглавляет союз писателей в Израиле. Хорошо сказал: от древних египтян остались камни (пирамиды), а от древних евреев – Слово.

* * *

...Перед смертью Блока Любовь Дмитриевна стала любовницей... клоуна Дельвари! Коломбина и Арлекин? Из «Балаганчика», написанного за 15 лет до этого?

* * *

Надо бы писать так:

В 1934-м году, вскоре после ареста одного из лучших русских поэтов XX-ого века Осипа Мандельштама, торжественно открылся первый съезд Союза советских писателей

* * *

Маркс утверждал, что революция – повивальная бабка истории. Он же уточнял: «Существует лишь одно средство... упростить агонию старого общества и кровавые муки родов нового – революционный терроризм».

Значит, противоестественные роды, кесарево сечение? Или выкидыш, аборт?

* * *

Б.Шоу в 1931 году, вернувшись из СССР, воскликнул: «Из земли надежды я вернулся в мир безнадежности» Вот ключ к искренней ментальности многих умников между двумя мировыми войнами.

* * *

Курсистка Маяковского («Каждая курсистка,/ прежде чем лечь,/ она /не забудет над моими стихами замлеть.») аукнулась у Есенина:

«Ах, люблю я поэтов!/ Забавный народ./В них всегда нахожу я/историю, сердцу знакомую, – как прыщавой курсистке/ длинноволосый урод/ говорит о мирах,/ половой истеклая истомою...»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

«Деяния» апостолов быстро становятся деяниями только Павла. И то – основное внимание уделяется внешним событиям и чудесам. О сути Нагорной проповеди нет ничего, только о вере вообще. И удивительно, что сочувственно приводится странная по своей несообразной жестокости история о том, как муж и жена продали имение, внесли деньги в христианскую общину, но часть утаили, Петр их по очереди разоблачил, супругов поразила смерть...Выглядит это так.

Петр говорит: «Ты солгал не человеку, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханным, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего (?!) пришла и жена его, не зная о случившемся. (Как быстро похоронили! И жене ничего не говорят!) Петр ее допрашивает, понимая, какая кара может и ее постигнуть: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искутить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух; и юноши вошедши нашли ее мертвою и вынеся похоронили подле мужа ее».

Это я не ради «критики» в духе вульгарного пересмешника Таксила, а к тому, что на мой взгляд «Деяния» духовно, нравственно много ниже Евангелий, хотя считается, что писал Лука.

* * *

Ленин: буржуазных специалистов «надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться».

Ленин (по Горькому): «мне от интеллигенции и попала пуля». «...не умея ненавидеть, невозможно искренно любить». (Почти Некрасов: «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Маяковский: «Если ты устал ненавидеть...»)

Горький (там же): «Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто никогда не сумел сделать это». (и в конце) «Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его – живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда и нигде не работал».

Действительно, никто, никогда и нигде... Так «помешал» и так «успешно»...

У Ленина, говорит Горький, «ясные слова. Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек».

Из выступления Гитлера 30 марта 1941 года:

«Будущая картина государств: северная часть России отойдёт Финляндии, протектораты в прибалтийских государствах, Украина, Белоруссия... Новые государства должны быть государствами социалистическими, но без собственной интеллигенции. Надо не допустить образования новой интеллигенции. Здесь будет достаточно примитивной социалистической интеллигенции».

Ленин пишет Горькому 15 сентября 1919 года: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитализма, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».

* * *

Только сейчас обратил внимание на то, что Маяковский в предсмертном письме высказался неожиданно и странно: «начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся». Почему не «Лиле»? Что за интонация – «Брикам», «они»? И в стихах обращение к Лиле «с тобой мы в расчете» заменено на «я с жизнью в расчете».

Хотя выше все-таки сказано было: «Лилия – люби меня».

* * *

В. Перельмутер: «Шенгели отношения к Маяковскому не изменил... Ну не нравился он ему – почему нет?!»

Если бы только «не нравился!» Когда один поэт (небольшой) задался целью публично развенчать другого (великана!), то это не такое уж личное дело и не такое невинное...

При жизни поэта он (в 1927 году) печатает книжицу «Маяковский во весь рост», которую заключает словами:

«Бедный идеями, обладающий суженным кругозором, ипохондричный, неврастеничный, слабый мастер, – он вне всяких сомнений стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него».

* * *

Зоя Масленникова:

*«Мне гении давно не интересны...
Меня влекут к себе одни святые».*

Вспомнился покойный Юрий Иванович Суворцев: «Я не люблю гениев» (он, разумеется, имел в виду претенциозных и наглых литераторов, но тут есть и эффект бумеранга – он-то был убежденным конформистом...)

* * *

П. Вяземский о женитьбе Пушкина: (пишет почти как Геккерн!): «Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастьем лопнет прекрасная струна его лиры».

* * *

В. Соловьев (теперешний): «Поэт и актер – противоположные профессии, несовместимые». Да, если понимать узко (актер играет с помощью режиссера и произносит только чужие тексты). Но поэты частенько актерствуют, играют себя, пестуют свой образ (имидж – по-нынешнему).

* * *

Максим Горький недаром удивлялся интуиции Леонида Андреева. Я вспомнил это, перечитывая «Верните Россию!» – неизвестную публицистику Леонида Андреева, изданную при мне в «Московском рабочем». Плохая бумага, слепой шрифт. Зато содержание – удивительные прозрения сквозь посредственный пафос, настоящая боль.

Ну чем не ясновидец? Вот что он пишет в «Русской воле» 15 сентября 1917 года в очерке «Veni, creator!»: «... По июльским трупам, по лужам красной крови вступает завоеватель Ленин, гордый победитель, великий триумфатор – громче приветствуй его, русский народ! Вот он, серый, в сером автомобиле: как прост и вместе величав его державный лик..

Прими и мой привет, победитель.. Ты так велик, ты так божественно прекрасен, необыкновенный победитель, раздавивший отечество, вставший над законами, смело презревший всякого другого Бога, кроме тебя. Ты почти Бог, Ленин, – ты знаешь это?

... Уже нет человеческих черт в твоём лице; как хаос, клубится твой дикий образ, и что-то указывает позади дико откинутая черная рука.

Или ты не один? Или ты только предтеча? Кто же еще идет за тобою? Кто он, столь страшный, что бледнеет от ужаса даже твое дымное и бурное лицо?

Густится мрак, и во мраке я слышу голос:

– Идущий за мною сильнее меня»

Поразительно! Это написано за сорок дней до Октября. Никто тогда не чуял того, кто незримо следовал за ним – Джугашвили-Сталина...

* * *

Я на читал знаменитый роман Оруэлла «1984». Во-первых, я заранее узнал его содержание и мне казалось уже, что ничего нового в нём для себя не почерпну. Во-вторых, интуитивно чувствовал, что это не очень художественно. И теперь нашел подтверждение у Милана Кундеры («Нарушенные завещания»): роман Оруэлла сужен до беллетризации политической мысли. Прогрессивное («передовое») искажение реальности.

Параллельно читаю другие книги, в частности – «Идеология партии будущего» Александра Зиновьева. Вот уж неожиданно плоское мышление! Человек, когда-то блистательно остроумный, стал скучным, многословным, слепым. Критикуя марксизм за претензию быть наукой, не видит в упор кровавую утопию: «пролетарии всех стран, соединяйтесь» путём насилия, уничтожения собственников. Маркс предложил окончательное разрешение классовой борьбы Гитлер: окончательное решение еврейского вопроса.. Ох, уж эти любители «окончателюстей»!

СТАЛИН В ТУАЛЕТЕ

Эммануил Борисович Вишняков (зав.отделом науки в «Юности») рассказывал: в начале тридцатых годов на каком-то съезде он, молодой журналист, с другом пошли в туалет во время перерыва. Друг говорит: «Неужели товарищ Сталин тоже здесь писает?» Дверь кабинки открывается и выходит сам Сталин: «А вы думаете – мы воздерживаемся?» У наших друзей струю как ножом отрезало...

Нинина тётя Катя служила в дома ЦК лифтёршей, много раз возила и Сталина. Но после убийства Кирова не видела его ни разу. Ему завели отдельный лифт.

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ ШОЛОХОВ

«Наш современник» №5, 2005. Петр Лапченко «Воспоминания о Шолохове»: «М.А.Шолохов приехал на постоян-

ное местожительство в Вешенскую в 1926 году. Купил обыкновенный двухэтажный дом с небольшим подворьем в нижней части станицы. А позже – в 1927-1928 годах – в станичную библиотеку поступили первые его рассказы...»

Юноша в 21 год купил двухэтажный дом? На какие шиши?

БОЛЬШЕВИЦКИЙ ОРДЕН

Сталин в начале двадцатых годов пишет («О политической стратегии и тактике русских коммунистов»):

«Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность»,

Ему вторит не ведающий своей судьбы Бухарин в статье «Железная когорта революции» (1922 г.):

«Суровая дисциплина большевизма, спартанская сплочённость его рядов... крайняя односторонность взглядов... партийный «патриотизм», исключительная страстность в проведении партийных директив, бешенная борьба с враждебными группировками всюду... делали из нашей партии какой-то своеобразный революционный орден».

Сей «орден» быстро сузился, выделился из партии – стал над нею во главе с вождём.

* * *

Не ведающий своей судьбы, вскоре расстрелянный, Михаил Кольцов пишет в «Правде» 3 марта 1938 года о процессе над Бухариным и др.:

«... когда они встают и начинают... подробно рассказывать о своих чудовищных деяниях, – хочется вскочить, закричать, ударить кулаком по столу, схватить за горло этих грязных, перепачканных кровью мерзавцев, схватить и самому расправиться с ними...»

Несколько раньше сам Бухарин после процесса над Зиновьевым и Каменевым писал Ворошилову: «Что расстреляли собак – страшно рад!»

Несчастливые люди.

* * *

Я никогда не старался делать карьеру.

Ни служебную, ни литературную. Работу мне всегда предлагали, я её не искал. А с поэтическими знаменитостями не заводил полезных знакомств, – что было, то делалось само собой. Заслуга ли это? Что мной руководило? Кроме всяких приятных объяснений, есть и одно не очень похвальное: избалованность. Я с детства привык, что меня любят, ценят, знают мои способности. Привычка распространилась и на взрослую жизнь, я верил (порой подсознательно), что моё от меня никуда не уйдёт, верней – моё ко мне само придёт. Рано или поздно. В общих чертах так оно и вышло, хотя моё имя не попадало (и не попадёт) в так называемый мейстрим. Нормальным людям мои книги нравятся, зато многие профессиональные критики, хоть и свыклись с моим присутствием в литературе, «чувствуют», что мои новые сочинения можно не читать, я не делаю погоды. Например, Аннинский, Рассадин, Шайтанов (которым я дарил книги), не говоря уже о молодых волчатах (которым я книги не дарил). С другой стороны – среди «поклонников» бывали курьёзы: публично называли меня «великим поэтом»...

* * *

За моим столом в «доме творчества» две старушки. Застаю их разговор о прошлом и о каком-то озере:

– Теперь в нём рыбок нет...

– А вода есть?

УЛУЧШЕНИЕ ЗАПОВЕДИ

«Теология насха» Валерия Сендерова в «Новом мире» №2. Насх – отмена, запрет. Коран (2:106): «Всякий раз, когда Мы отменяем стих или заставляем его забыть, Мы приводим лучший, чем он, или похожий на него. Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен?». Таким образом вместо «не убивай неверного» появляется «убей его!». Замечательно!

Прямо, как в марксизме-ленинизме. Или проще – в армии: выполняется только последний приказ. Это из девятой суры – «Покаяние».

«А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; когда же произведете великое избиение их, то укрепляйте узы» (47:4, 5)

Извиняюсь, абсурдно выглядит положение о том, что Коран существовал предвечно, до сотворения мира. Наставления человеку до человека? Подробные наставления правверным против неверных до появления последних? Не лучше и утверждение догматического христианства, что Христос существовал предвечно, то есть до своего рождения. Якобы этого требует логика. Но вера не нуждается в логике. Истинная вера чтит тайну и не старается всё объяснить.

* * *

Проходим с Катаевым мимо дачи Леонова. Спрашиваю: «Вы общаетесь с ним?» «С ним? Разве это человек?»

«У вас удивительная память!» – говорю. «Это симуляция памяти», отвечает.

«Собираюсь уйти с работы», говорю. «Не торопитесь. Надо иметь положение» советует.

«У Маяковского были синие зубы (вставные). Женщины его боялись. Лиля говорила: «Я не любила заниматься с ним этим...»

Маяковский с собой пистолет. Любил как бы невзначай при людях – например, в магазине, – переключать его из кармана в карман. Мандельштам? Конечно, знал его стихи, повторял отдельные строки. Почему нигде не упоминал о нём? Ну, видно, не считал его ни союзником, ни противником... (Примерно то же самое говорила мне и Вероника Витольдовна Полонская).

Катаев написал об этом подробней в книге «Алмазный мой венец». А Сарнов передает слова Лили Брик о том, «что они с Осей и Володей и в грош его (Мандельштама) не ставили... Мы его называли «Мраморная муха».

Василий Катанян возразил: «Да разве можно верить Катаеву?!», а Лиля добавила: «Он (Катаев) нам был совершенно чужой».

Я всё-таки думаю, что Маяковский «и в грош не ставил» Мандельштама как фигуру на тогдашнем литературном поле, но не мог не чутить в нём поэта (хотя, понятно, знал лишь раннюю часть его творчества). Тут я больше верю Катаеву. Лилия и Ося запомнили только внешнюю сторону. К тому же беспокоились – Мандельштам вынырнул из литературного небытия и посмертно стал расталкивать фигуры в советской поэзии. Лилия Юрьевна простодушно спросила Сарнова: «Вы в самом деле считаете Мандельштама большим потом?»

Я в «Моей мозаике» писал о том, как искренне удивлялся Кирсанов «моде» на Мандельштама.

СОВРЕМННЫЙ КОММУНИСТ

Г.Зюганов со статьёй о Сталине («Наш современник» №6, 2005)...

Пишет современный коммунист? Смешно. Просто ренегат (с точки зрения Ленина, который походя раздавил бы его). Ни слова о коммунизме, социализме, классовой борьбе, интернационализме, пролетарской революции и т.п. Откровенный имперский самодержавник. Потому и статья называется «Строитель державы», а одна из глав – «Великий государственный». Другая главка – «Государство и церковь: новая «симфония».

Сталин действительно строил державу, но под соусом «первой страны социализма». Зюганов стыдливо отказывается от соуса, оставляя Сталина в его голой имперской ипостаси. Конечно, ни слова об его агрессивности, в извечных агрессорах значится некий собирательный «Запад»...

Посмел бы Зюганов при Сталине написать о нём следующее:

«Богоданный вождь» – так охарактеризовал Сталина известный православный публицист, священник Дмитрий Дуд-

ко» И далее сочувственно цитирует несчастного Дудко: «Сталин с внешней стороны атеист, но на самом деле он верующий человек...»

Сталин взорвал Храм Христа Спасителя «с внешней стороны»?!

НА ПРОЩАНИЕ С ПИШУЩЕЙ МАШИНОККОЙ

Помню, в свое время я, как ребёнок, мечтал о пишущей машинке с разными шрифтами (круглая печатающая головка). Завидовал Алику Бродскому, который приобрел такую машинку за 600 рублей. Не нужны мне были разные шрифты, но очень хотелось. В конце восьмидесятых я узнал от Зерчанинова о существовании электрической машинки с памятью на две страницы. Не пожалел тысячи рублей, приобрел и ликовал. Она казалась пределом мечтаний. То есть я был, как Шура Балаганов, – на вопрос Остапа Бендера сколько он хотел бы денег иметь, не задумываясь, ответивший «пять тысяч». Выше его фантазия не залетала. Так и я с мечтой о машинке, когда уже появлялись компьютеры. Как я мог мечтать о том, что было выше моих представлений? Утешает меня только то, что и самые смелые фантасты не предсказали информационную революцию...

Когда в «Московском рабочем» увольняли (верней, вытолкнули на пенсию) последнюю машинистку (весьма квалифицированную!), она была в полном отпаде: как издательство обойдется без машбюро? Плакала, ни в какие компьютеры не верила.

Первым моим приобретением по прибытии на работу в Кишинёв в 1954 году была пишущая машинка «Москва». Плюс ведро, кружка и нож. В пустой комнате на Валя Дическу у стены стояла койка, перед ней табурет. И всё.

Как мне жаль теперь, что моя молодость началась не с компьютера!

* * *

Во сне какой-то польский поэт даёт мне читать свои стихи в переводе на русский язык. Помню начало:

«Когда любишь, деревья тебя обступают тесней...»

Дальше не помню, но в конце появляются мыши. Я сказал, что это неубедительно...

* * *

Попалась на глаза толстая книга стихов Юрия Могутина. Он без зазрения совести включил в свои «Бурлески» давным-давно известные стишата вроде:

*Однажды княжеский вассал
Весь княжий замок обо... шёл,
Нигде уборной не нашёл
И в книгу жалоб написал...*

* * *

Вас. Молкосян в «Временнике пушкинской комиссии. Выпуск 24» пишет о поздней неизданной рукописи Замфира Ралли-Арборе (или Арбуре) и приводит следующий отрывок из воспоминаний о Пушкине в Бессарабии, о его «цыганском» эпизоде близ села Долна:

«Пушкин бросил брата в Юрченах и поселился в шатре булибаши, куда каждый день его слуга Никита должен был приносить своему барину полотенце, мыло и подавать воду для умывания. По целым дням Пушкин и Земфира бродили по лесу; красавица пела песни, а Пушкин слушал...

В одно утро Никита нашел своего барина одним-одиошеньким в шатре. Слуга его Никита рассказывал потом, что его барина приворожила цыганка, спойив настоем каких-то трав».

Почему-то публикатор спешит с опровержением:

«Новым и маловероятным в рукописи является сообщение о пребывании в цыганском таборе слуги поэта Никиты. Необоснованным также является сообщение, что Джованни...» и т.д.

Как ловко: «маловероятное» уравнивается через «также» с соседним «необоснованным»! В чём дело? А в том, что это нехорошо. Что подумают советские читатели? Демократически настроенному поэту, поселившемуся в шатре, слуга как барчуку каждое утро приносит полотенце с мылом...

А почему собственно Никита не должен был быть поблизости, при барине? Как он мог его оставить?

Деталь с полотенцем и мылом вполне правдоподобна, да и зачем было бы ее придумывать?

* * *

Забавное совпадение: в журнале «Новый мир» №8 вышел цикл моих стихотворений, в котором есть строки «в зеркало заглянуть – / познакомиться». И в том же номере у В. Салимона как эхо: «взглянувши в зеркало, поэт / страшиться собственного облика». А еще рядом печатается роман Ирины Полянской «Как трудно оторваться от зеркал...»

Еще совпадение: мои стихи в журнале начинаются с 105 страницы – точно как в «Новом мире» №9, 2003 года. Почему-то всегда в любых журналах мои стихи попадают во вторую половину и никогда не анонсируются...

К УХОДУ ТОЛСТОГО

Лев Толстой записывает в дневнике 17 февраля 1910 года: «Получил трогательное письмо от киевского студента, уговаривающее меня уйти из дому в бедность».

Этим студентом был некий Б.С. Манджос. Он писал: «Откажитесь от графства, раздайте имущество родным своим и бедным, останьтесь без копейки денег и нищим пробейтесь из города в город».

Студент этот был дураком, надутым идеями. Какова стилистика! И как он себе представлял Льва Николаевича на девятом десятке нищим пробирающимся из города в город? И, кстати, почему забыты сёла?

Дурак попал в больную точку. Толстой находит это письмо «трогательным» и отвечает серьезно:

«То, что вы мне советуете сделать: отказ от общественного положения, от имущества и раздача его... сделано уже более 25 лет назад. Но одно, что я живу в семье с женою и дочерью в ужасных, постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты, не переставая и всё больше и больше мучает меня, и нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего совета».

Как себя чувствовал студент, когда действительно Толстой ушел из дому и умер в дороге? Гордился, что знаменитый писатель «исполнил» его «совет» или все-таки смутился?

* * *

Читал у Сарнова про дружбу шестерых поэтов – это Кульчицкий, Коган, Самойлов, Слуцкий, Наровчатов и... Михаил Львовский (он потом стал сценаристом). Про последнего я ничего не знал. Тут же вспомнил, что старушка-соседка по столу отрекомендовалась как Елена Львовская. Навёл справки – именно: она вдова Львовского. Вот совпадение!

ТАЙНА ПЕСНИ

Невспомненная песня. Давно я хотел написать об этом. В счастливые минуты вдруг возникал музыкальный мотив (начинал во мне звучать), я напевал его несколько минут, повторял, старался запомнить, но потом это никак не удавалось, уходил этот замечательный и таинственный мотив, скрывался на задворках памяти. Более того – я не знал, чья это музыка, как называется. Редко возвращался ко мне этот мотив и всегда по собственному почину и в заветный час. Так продолжалось много, очень много лет, эссе об этом я так и не написал.

И вдруг несколько дней назад иду к Белорусскому метро мимо музыкального киоска, и как бы спотыкаюсь на ровном месте – громко, победно звучит именно эта песня, я мгновенно вспоминаю: «Маленький цветок» пятидесятых годов!

СТРАННОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Мой будущий отец в начале Первой мировой войны жил в Кишиневе. Он был скептиком и подтрунивал над своей старшей сестрой Марусей, которая собралась к гадалке. Однако это Марусю не остановило. У гадалки она, кроме своих сердечных дел, поинтересовалась и мировыми. Она спросила гадалку победит ли Россия в этой войне. Та раскладывала карты так и эдак, развела руками и тяжело вздохнула:

– Получается, что нет...

– Неужели Германия с Австро-Венгрией?

Хотя вопрос был вполне риторический гадалка на всякий случай опять раскинула карты. Взглянула и смутилась:

– Получается, что и они не победят...

– Но так не бывает!

– Что-то с моими картами сегодня... не знаю.

Тетя Маруся честно пересказала все моему отцу, оба посмеялись и забыли. Но через четыре года отец вдруг вспомнил об этом странном предсказании и хлопнул себя по лбу: а ведь правду сказали карты! Россия не выиграла войну, но и Германия с Австро-Венгрией – тоже!

В жизни, как и в судьбе отдельного человека, оказывается, бывает не только «или-или», но частенько и нечто третье, непредусмотренное. Так в начале пятидесятых годов, помню, я ломал голову над тем, чем кончится противостояние двух «лагерей»: США и СССР. Мир необратимо раскололся на две половины, такого в истории еще не бывало. Или-или... Либо трудное сосуществование, либо самоубийственная война (в крушение капитализма я не верил).

А произошло непредвиденное. Сначала поссорились СССР и Китай. Потом весь «социалистический лагерь» распался без особого шума...

Вот и Моэм, умный человек, написал однажды («Подводя итоги») такое, что сегодня выглядит просто глупостью: «Мы живем накануне великих революций. Я не сомневаюсь, что пролетариат, все яснее осознавая свои права, в конце концов захватит власть в одной стране за другой...»

Но если учесть, что это сказано года за два до Второй мировой войны, то фраза звучит иначе. Моэм видит, что Европа Гитлера, Чемберлена, Муссолини и им подобных катится в пропасть, выхода нет. Существующий уклад обречен. Только революция... и т.п. И в каком-то смысле оказался прав. После войны коммунисты захватили власть «в одной стране за другой», но... при чем тут пролетариат?

Говорят, Эрнст Генри еще в 1938 году предсказал не только нападение Гитлера на Советский Союз, но и сам план Барбаросса и события 1941 года. Я нашел книгу Генри в библиотеке Семена Абрамовича Гуревича. Увы. Ничего подобного. Генри (или Семен Ростовский, а на самом деле – Леонид Аркадьевич Хентов из Витебска – со слов его сестры, которая принесла в «Юность» какой-то юмор в переводе с английского) так вот, Генри полагал, что Гитлер вместе с Польшей (!) нападет на нас, будет разбит в пограничных боях, в Германии разразится пролетарская революция, сметет фашистских правителей и т.д. Правда, была и карта, на которой значились направления трех ударов – на Москву, на Ленинград и на Украину. Но такие удары запланирует и пятиклассник, это первое, что приходит в голову. Война произошла совсем не по Генри, но произошла все-таки...

Я был знаком с ним, попытался напечатать его рецензию на книгу нашего шпиона Кима Филби, но цензура в последний момент сняла материал с номера (почему – осталось неизвестным). Потом я как-то отклонил его рецензию на скучную книгу Шахназарова («Скучная?» – страшно изумился он – автор тогда работал в аппарате ЦК). Однажды, я чуть не сплоховал: Генри обедал в ЦДЛ с мальчиком лет десяти, я хотел сказать «какой у вас славный внук!», но помедлил, и слава Богу – это был его сын. Семен Николаевич обзавелся молодой женой, которая, говорят, стала над ним измываться, отравила ему последние годы жизни.

КТО СКАЗАЛ

Как слова разительно меняют свой смысл, когда мы узнаем кто сказал, когда, о ком... Например: «...имя величайшего философа всех времен. Того... кто провозгласил человека величайшей ценностью на земле; того, чья имя является самым прекрасным, самым близким и самым удивительным во всех странах для людей, борющихся за свое человеческое достоинство...»

Сказал Арагон. В начале 1953 года. О Сталине. (Когда вручали премию Эренбургу).

Арагон до войны написал поэму о ГПУ («Воспеваю ГПУ, которое возникнет во Франции, когда придет его время...»).

*Вспоминая время дракона,
сестрам Брик подарил бы строку:
«...от Агранова до Арагона.» –
(ассонансом засело в мозгу).*

ОТНОШЕНИЕ ПОЭТА

Маяковский в стихотворении «Император» (1928 г.) пишет, что ему под Свердловском показывали место захоронения останков царской семьи. Строки звучат балладным рекевиемом (привожу без «ступенек»):

*...Снег заносит седые кровельки,
серебрит телеграфную сеть,
он схватился за холод проволоки
и остался на ней висеть...
За Исетью, где шахты и кручи,
за Исетью, где ветер свистел,
приумолк исполкомовский кучер
и встал на девятой версте...*

(Далее рассказывается, как Парамонов, шестипудовый председатель свердловского исполкома ищет место захоронения и... находит!):

*Здесь кедр топором перетроган,
зарубки под корень коры,
у корня под кедром, дорога,
а в ней – император зарыт.*

(Переключка с лермонтовской строкой о Наполеоне. Но самое интересное – дальше. В черновике – весьма существенный отрывок, не включенный поэтом в окончательный текст стихотворения.. Хоть и противник царизма и царя, Маяковский, в отличие от злорадствующих Демьяна Бедного, Александра Прокофьева и прочих, содрогнулся и по-человечески восстал против казни семьи Романовых. Не мог не написать, но и не решился обнародовать...):

*Спросите руку твою протяни
казнить или нет человечьи дни
не встать мне на повороте
Я сразу вскину две пятерни
что я голосую против
Живые так можно в зверинец их
промежду гиеной и волком
И как ни крошечен толк от живых
от мертвых меньше толку
Мы повернули истории бег
Старье навсегда провожайте
Коммунист и человек
не может быть кровожаден.*

(Так в черновике – без знаков препинания)

Помнится, при Хрущеве меня пригласили на просмотр в узком кругу телевизионного фильма о молодом Маяковском. Совершенно не помню, кто был режиссер, помню, что молодой. Все были настроены празднично, предвкушали его ус-

пех, готовились к поздравлениям. Зал был маленький, зрители были подобраны с целью поддержки режиссера.

Фильм меня возмутил. Это было нечто благостное, лакировочное, маскарадно-опереточное, чуть ли не бально-танцевальное. Футуризм выглядел милой светской маскарадной шалостью (советские исторические фильмы к тому времени охотно смаковали дворянские приемы и рауты). Нестерпимая фальшь, преснятина и безвкусица.

Первые высказывания были вежливо-комплиментарные, говорили о новом взгляде, о смелой интерпретации и т.п. Я не выдержал и прямо сказал, что думаю: не стоит такой фильм показывать, все было с точностью до наоборот... Вместо молодого трагического бунтаря мы видим любимца публики, чуть ли не Игоря Северянина... Никто мне толком не возразил, но и не поддержал, дальнейшее обсуждение как-то скомкалось. Слава Богу, фильм на экранах не появился (или я не видел?)...

Матери моего знакомого Олега Петровича Курятникова было двадцать лет в тридцатом году, она работала уборщицей в доме, где жили Брики и Маяковский (Гендриков переулок), была их соседкой, хорошо помнила поэта. Гостей бывало много, громко читали стихи, было далеко слышно (в хорошую погоду окна были открыты), пили вино и очень много воды – выносили бутылки ящиками... Накануне самоубийства по ее словам он попросил приготовить ванну, принял ее. (Получается, что приехал туда после вечера у Катаева) а утром уехал в свою комнатку на Лубянке. Вышел в ботинках на крупных каблуках (привез из Америки) и в заграничном плаще, долго не мог застегнуть пряжку. Удивилась, что он впервые не поклонился ей, словно не увидел (она, уже беременная нашим Олегом) сидела на крыльчке. День был яркий, солнечный. Потом его привезли с Лубянки мертвого, народу было – не продохнуть.

Маяковский в 1923 году пишет Лиле Брик: «Чтоб ты ни захотела, что б ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом». Через год или больше он пишет о Ленине: «Я бы жизнь свою, глупея от восторга, за одно б его дыханье отдал». Восторги...

Шкловский писал Тынянову, что Маяковский оставил еще два письма: «Одно Полонской, другое – сестре». Интересно. Это к моей записи, что опубликованное предсмертное письмо Маяковского почему-то начинается со второй страницы. Письмо, кстати, сразу забрал Агранов и держал у себя (в своем ведомстве). Что-то во всем этом есть. Хотя не думаю, что было письмо к Полонской (зачем предварять встречу письмом? – психологически сомнительно).

В 1947 году я написал стихи о Маяковском, которые кончались строками: «Да. Вам бы жить и жить, сквозь годы мчась! / О, сколько было бы еще написано!...А, может, лучше так сейчас / я не хотел бы видеть Вас / состарившимся, с лысиной».

В 1976 году Лиля Брик говорит Ваксбергу: «...больше всего он боялся старости. Он не раз говорил мне: «Хочу умереть молодым, чтобы ты не видела меня состарившимся». Удивительно, как совпало – даже слово то же... Кстати, Есенин так же боялся выйти из молодости. Но когда я писал те строки («лучше так сейчас») Маяковскому было бы всего 54 года. Какая это старость? В этом возрасте Горбачев пришел к власти. Все удивлялись – какой молодой!

* * *

Натан З. почему-то счел нужным с достоинством сообщить: «Я никогда никому стихов не предлагаю». И присовокупил: «Я даю стихи в журналы только, когда меня просят».

Бедный, он «забыл», кем работает. Лет двадцать он возглавлял отдел поэзии в журнале.

Я был вне круга взаимных поэтических услуг (мои должности были не по «профилю»). Но, надо признать, не будь я сам работником журнала (и членом редколлегии), я никогда не печатался бы там большими подборками.

* * *

...Поразил меня Каспаров – он по телевизору (в программе Андрея Максимова) страстно превозносил «новую хронологию» Фоменко. Один из его аргументов был особенно глупым: дескать, как можно верить документам, хроникам,

летописям и пр. когда есть только поздние копии, но нет оригиналов!.. Бедный чемпион. Христос и Магомет не оставили ни одного «оригинала», ну и что? Да и в наши дни – всему миру очевиден был сговор Германии и СССР в 1939 году, тем не менее официальная советская версия «до последнего» защищалась тем, что нет оригинала секретного протокола...

* * *

Читал ли Блок «Товарища» Есенина (опубликован до написания «Двенадцати»)? Есенин: «пал сраженный пулей младенец Иисус».

Блок про Иисуса (взрослого): «и от пули невредим»!

* * *

А.Левинтов («Грани» № 204) в статье о Бродском пишет: «Поэзия, по логике антропогенеза, возникла первой, только вслед за ее ритмами появилась идея танца, ритмизированные движения которого кодировали технику (?!) секса, войны, охоты, единоборств, других ритуалов...»

Вспомнилась теория поэта-верлибриста Владимира Бурича. Я как-то пригласил его на свою студию, где он прочел целую лекцию о происхождении поэзии. Даже мелом на доске чертил какие-то схемы. Так был серьезен, что просил у меня гарантий, что никто не украдет его идеи. А мысль его была такова. Поэзия возникла из прозы. Членение прозы (паузы) есть первоначальная форма стиха. Очень всех позабавил, взяв цитату из «Капитала» Маркса и путем разбивки превратив ее в «стихи». То есть – членение прозы создало «верлибр», потом появились белые стихи (гекзаметр, например), которые со временем увенчались рифмами...

Думаю, ничего подобного. Сначала был танец, потом танцевальные выкрики, прибаутки, потом песни, отделение песни от танца и, наконец, выделение стихотворного текста из песни.

Следует оговориться: речь идет о зарождении стихотворной формы. Она не тождественна поэзии. В религиозных текстах полно поэзии, но это не значит, что они плясались или пелись. Были, конечно, пересечения (пляски шаманов,

заклинания), но, думаю, собственно стихотворная форма в фольклорном виде происходит из песни (с танцем или без). Потому и Левинтов неубедителен. Дикарь плясал и пел до того, как овладел развитой речью!

* * *

Расстёгивал пуговицы её кофточки, загадывая: любит, не любит...

* * *

Грабитель девушке: – А ну давай стриптиз!

* * *

Я – как матрёшка, один в другом, и все – я. Но самый последний, самый маленький, самый для тебя, любимая, – не сама суть. Чтобы добраться до сути, собери меня обратно.

Снимая кольца дерева, не увидишь деревцо. Дерево – со всеми кольцами...

* * *

Вещи приказывают человеку – он исполняет их волю.

* * *

Водитель девчонку сшиб. Думал – перебежит, а она семенила: ноги были перехвачены ленточкой для шиковой походки. А из-под копны волос «а ля бабетта» выкатилась пустая консервная баночка...

* * *

Тетушка подружилась с соседкой. Как-то вышла в другую комнату, видит – та полезла в её сумочку, вынула паспорт. Думаете, тётушка возмутилась? Она поступила чисто по-советски: задержалась, пусть соседка проверит и... поверит.

* * *

Русский критический реализм: от «Мертвых душ» до «Записок из «Мертвого дома» и до «Живого трупа».

* * *

Читаю «Ленина» Арутюнова. Интересны факты, документы, а сам автор уж больно вульгаризирует поступки и намерения Ленина. Сейчас много говорят о жестокости Ленина. Думаю, это не то слово. Он не был жесток в обычном смысле. Это что-то другое. В нём была атрофирована та часть души, где обитают жалость и жестокость. Он проливал кровь бесстрастно – как стратег. Он прежде всего был целеустремлен идейно. Смерть тысяч людей была для него абстракцией. А в отношении к конкретным живым противникам он не чувствовал потребности мстить и физически их уничтожить. Он громил противника – Каутского ли, Мартова – как выразителей враждебной идеи. Если противник «менял фронт», он без труда солидаризировался с ним. Например, история его отношений с Троцким. Совсем другое дело – Сталин. Этот был и жесток и коварен. Он получал удовольствие от унижения и уничтожения конкретных лиц, соратников, близких, друзей. Конечно, миллионы для Сталина тоже были абстракцией, без этого деспот просто не дееспособен. Речь, повторяю, о жестокости конкретной, личной.

* * *

Самая трудная, невыполнимая, невыполнимая – это 11-я заповедь:

Не вели убить и не убивай по велению.

То есть не убивай сам по приказу власти, и не вели другому убивать за некую цель. Ибо в этих случаях убийство как бы снимается (Гитлер лично никого не убивал) и отменяется личная ответственность (солдат, убивший по приказу, еще и награжден).

Опасная заповедь?

Не потому ли она нигде не записана?

* * *

Боже мой, скольких не издавали (вообще или в разные периоды) при большевиках! Гумилева, Мандельштама, Ходасевича, Георгия Иванова, Есенина, Хармса, Павла Васильева,

Бориса Корнилова, Бродского, ... Зато их стихи переписывали, передавали из рук в руки, из уст в уста. Я уж не говорю о «звучащих» Высоцком и Галиче.

Боже мой, скольких издают теперь! Но кто читает Парщикова, Айги, Мнацаканову и т.п.? Если б не издавали фолианты «Девять измерений», «Братскую колыбель» или «Освобожденного Улисса», кто бы и что стал переписывать, передавать друг другу? Почти ничего. Никакой запрет им бы не помог. Парадокс. Кризис «свободной» поэзии.

* * *

Отличная книга Тамары Жирмунской «Библия в русской поэзии». Подумал: почему Маяковский и Цветаева не влюбились друг в друга? Родственные таланты, мощь. Но противоположности. Мужчина-поэт, женщина-поэт. Могли быть врагами: красный и белая. Россия и революция в двух зеркалах. Судьба России двадцатого века в ярком творчестве двух самоубийц. Он памятником стоит на площади, ее могила затеряна. Но ее час настал («свой черёд»), слава ее сильнее, любовь к ней сильнее сегодня. Но они не соперники, они оба в сердце России.

* * *

Когда-то шокирующие строки Бальмонта сегодня звучат почти пародийно – настолько они слабы, легковесны:

*Я ненавижу человечество
И от него (!) бегу, спеша (!)...*

и т.д.

Каким это образом можно бежать «от человечества» да еще «спеша»? «Но я не размышляю над стихом» – ставил себе в заслугу Бальмонт. Увы, от вдохновенной импровизации до графоманства – один шаг.

К концу века куда жестче и внушительней выразился Бродский:

Я не люблю людей...

Бальмонт, конечно, талантлив, но... Вот «лирические» строки 1904 года, по мнению Т. Александровой относящиеся к его роману с Миррой Лохвицкой:

*Тринадцатого мая
Я сделал, что хотел,
И замер, обнимая,
Еще одно из тел.*

Чем не капитан Лебядкин? Не будь это писано всерьёз, я бы сказал, что такой Бальмонт – невольная предтеча обэриутов... Правда, до упора дошёл Тиняков, но в другую сторону. Северянин, лишившись своего вызывающе-яркого оперения, тоже стал частенько «давать петуха»:

*... Не бросай же меня! не бросай!
Ну, а бросишь – прости, застрелю.*

*Застрелю, потому что нельзя ж
Сжиться с мыслью, что гибнет мечта,
Что другому себя ты отдашь
И его поцелуешь в уста.*

Похоже на будущего Глазкова («... Но если ты не отдашь мне,/ То поэма не будет написана!»). Однако опять же – ироничен ли Северянин? Ведь за «глазковской» строфой следует нечто совершенно невозможное:

*Если ж ты, от тоски изойдя,
Для земли беспробудно уснёшь,
Ты прозреешь, невестя-дитя,
И меня в светлый рай призовешь!*

Строгий Брюсов тоже не был строг. Порой лепил слова – абьы поскорей заполнить «пространство». Даже в программных стихах:

*Быть может, всё в жизни лишь средство
Для ярко-певучих(?) стихов,
И ты с беспечального(!?) детства
Ищи сочетания слов.*

Кстати, он тоже отдал дань «человеконенавистничеству», и тоже легковесно, в плясовом ритме:

*Великое презрение и к людям и к себе
Растёт в душе властительно(?!), царит(?) в моей
судьбе.*

Как стремительно развивалась тогда поэзия! Всего через десять-пятнадцать лет Маяковский, Цветаева, Мандельштам, Пастернак далеко оттолкнулись от картонного словаря недавних лидеров – Бальмонта, Брюсова.. (Анненский был в тени. Блок не «лидировал»)..

* * *

Вдруг сегодня наткнулся у Вийона: «Чего не совершал, в том каюсь». А я давно написал (и опубликовал) одностишие: «В несодеянном каюсь».. Но у него это обесценивается цепью однотипных парадоксов («Уверен в том, чего не знаю...» и т.п.) и обретает игровой (вызывающий) характер в концовке «Не каюсь в том, что совершал». Моя же строка – самодовлеющая. Потому с виду повтор, а на самом деле – не повтор.

* * *

В книге Л. Гармаш о Лу Саломе: «Камертоном её поступков была главная тайна всё того же Гёте, «заключенная в трёх словах»: «То, чему я учу, кажется столь лёгким, а осуществить его почти невозможно: это податливость при большой воле».

Очень интересно. В определенной степени я знал это за собой, но не осознавал положительности такого свойства характера. Моя податливость казалась мне слабостью, хотя я чувствовал, что в глубине всегда остаюсь верным себе и своему пути.

* * *

Ночью две подружки лет пятидесяти идут по улице. Одна говорит:

– Ты гляди, блядушечка, на зацепи проволоку, я здесь днем проходила... Да... Какая жизнь пошла, дворов нет. А раньше, когда густо жили, летом в тёплую ночь железные кровати во двор выносили да и укладывались по разным углам двора. Перекликались – как у кого с женой получалось...

* * *

У Маяковского: “Глаза-небеса, любимой моей глаза, (голубые?) Круглые да карие (?!), горячие до гари”... Так голубые или карие? Конечно и “до гари” – не фонтан, но энергия ритма и звукописи таковы, что оттесняют буквализм (гарь!):

кру...-да кар...
гор...-до гар.

Вообще Маяковского нельзя читать буквально: Например: «Мы открывали Маркса каждый (ну уж каждый!) том, как в доме собственном (это в пору коммуналок?) мы открывали ставни (как устарело!)»...

* * *

Ципко борется с ветряными мельницами: дескать, либералы ненавидят Россию, а патриоты отстаивают ее идентичность. Кто такие либералы? Дал бы определение... Пыль в глаза, политический туман. Если “либералы” за демократию, рынок, права человека, то почему это против России? Неужели ради любви к России надо предпочесть нечто обратное?

Кстати, о понятиях, действующих не на разум, а на эмоции. Так в свое время боролись с троцкистами. Марксизм имел четкое определение, неотличимое от “троцкизма”. Разве Троцкий был против классовой борьбы, революции? Фактически “троцкист” просто понимался, как “враг народа” (то есть Сталина). Жупел. Страшное клеймо. Иррациональный страх.

* * *

Книга, составленная неким Е. Трибисом “Гипотезы и заблуждения”. Почему-то по-школьному отстаивает парадокс “близнецов”, не снисходя до определения времени и пространства. Почему-то по-школьному же сводит тепло к интенсивности движения. Как же тогда солнечное тепло доходит до нас через космический холод? Сказал бы хоть что-то об энергии...

ЦАРЬ И ФЁДОР КУЗЬМИЧ

Книга, составленная Н. Непомнящим “Самые знаменитые тайны России”. В материале, отстаивающем легенду о Фёдоре Кузьмиче (автор – по-видимому Б.Воробьев) мнимая объективность. Вот, дескать, сколько несовпадений и противоречивых сведений о болезни и кончине Александра Первого. А ты скажи: болел он или нет? Получается, что болел. Значит, больной решился на побег?

Да и кроме болезни возникают сокрушительные вопросы. Как мог православный, набожный Александр решиться на тягчайший двойной грех – дезертировать с трона (без отречения!) и инсценировать собственные похороны при жизни? Получается, что Николай короновался при живом царе (хуже двоеженства!). И не мог не знать этого! Я уже не говорю о “вдовствующей” императрице Елизавете Алексеевне и еще немалым количестве лиц, без которых не обойтись при таком невероятном предприятии.

А у подставного покойника не было родственников? Их подкупили, что ли? Чушь несусветная!

Хорош царь, который уклоняется от своего долга. Он, кажись, не стал бы вешать декабристов. Смолчал? А поражение в Крымской войне? Опять смолчал? Помер-то “Федор Кузьмич” аж в 1864 году. Сыщики им вообще не интересовались?

Немыслимо представить себе кто и как мог организовать и обеспечить побег государя, да еще хворого. Недаром Лев Толстой отказался от соблазнительного замысла написать про

царя, ушедшего “в народ”, он все таки был художник-реалист с весьма цепким дотошным воображением. Кстати, сам Толстой и не пытался скрыть от общественности свой уход, понимал, – вся Россия завтра же узнает.

* * *

Происхождение языка. Не кем-то создан и не сам возник. Особая реальность, творимая коллективно цепью поколений...

Происхождение жизни. Ясно, не сама возникла. Не «самозарождение». Но Он ли один ее создал? Или Он – вселенская творческая Среда, которой нужно воплощение? Ищет сама себя, творит сознательно-стихийно, – как развивается язык, как растет город?

* * *

Материалисты твердят об относительности добра и зла. Дескать, дождь для урожая хорошо, а для свидания плохо. Но это побочные следствия нейтральных явлений: дождь ничего не знает об урожае или свидании. Говорить о добре и зле имеет смысл только в рамках отношений между живыми. Разве любовь и ненависть относительны?

ЗАРАЗИТЕЛЬНО!

В румынском литературном ежемесячнике «Лучафэрул» (№8, 2012) Иоан Будука в статье «Национал-культурный ромынизм», говоря о параноидальном увлечении заговорами против своей страны, пишет, что в книге «Великий манипулятор» бывшего сенатора и даже кандидата в президенты Иона Кожа, собраны в кучу все «аргументы» конспирологии. Этот автор «обвиняет жидо-масонство и мировой финансовый клан, разумеется, еврейский, в практике оккультной политической войны против политического и культурного ромынизма. Короче, Кодряну, Чаушеску и Кулиану стали якобы жертвами этой войны. Были убиты по оккультному приказу еврейской элиты, говорится в книге Иона Кожа».

(Кодряну, глава фашистской «Железной гвардии» был убит до войны, кто такой Чаушеску – известно, а кто упомянутый Кулиану – я не знаю).

Ну не плагиат ли? Обокрали (с заменой имён) наших борцов против всемирного заговора. Которые в свою очередь списали с немецких источников, а те – с французских. .

И т.д.

ТИНЯКОВ

Наткнулся на пассаж о нём у Евгения Витковского в предисловии в трехтомнике Георгия Иванова. Глянул в «Строфы века», составленные Евгением Евтушенко и.. увидел те же строки. Один Женя охотно взял у другого Жени. С его согласия?

Витковский: «... допившийся до галлюцинаций Тиняков бормочет по-французски знаменитое стихотворение Бодлера «Падаль» ... он определенно хотел «перебодлерить» Бодлера: уж если Бодлер пишет о том, как пребывал «с еврейкой бешеной простертой на постели», то Тиняков вдохновенно забирается в подъезд «со старой нищенкой, осипшей, полупьяной», если Бодлер воспекает кота, то Тиняков проклинает собаку...» и т.д.

Евтушенко: «Если уж Бодлер пишет о том, как занимается любовью «с еврейкой бешеной простертой на постели», то Тиняков занимается тем же самым «со старой нищенкой, осипшей, полупьяной» в чужом подъезде; если Бодлер воспекает кота, то Тиняков проклинает собаку... и т.д.; не зря Георгий Иванов вспоминает: ... совершенно пьяный Тиняков бормочет на хорошем французском языке «Падаль» Бодлера».

* * *

Читаю «Жизнь без границ» Владимира Жижаренцева. Что-то полезное, глубокое – от дзэн-буддизма, но сочинение многословное и уязвимое в своем стремлении к логической за-

вершенности, к «учению», что приводит к одномерности, упрощенному оптимизму, похожему на многообещающие рекламные панацеи.

* * *

Адам Пуслоич: «Существуют стихи, которые можно сказать только по-сербски!»

Да! истинной жизнью поэзия жива только на родном языке.

* * *

Хорошая шутка в «Вечёрке»: Никто не заметил, что по ошибке в музее картина Малевича «Чёрный квадрат» провисела два месяца вверх ногами...

Смешно и серьезно.

БУРЖУАЗНЫЙ СУБЪЕКТИВИЗМ

Прогрессивный итальянский издатель в начале шестидесятых годов обратился в Союз советских писателей по поводу своего намерения выпустить небольшую всемирную антологию современной поэзии (послевоенного периода). Во избежание упреков в пристрастности при отборе он убедительно просил порекомендовать ему пять наиболее выдающихся русских поэтов.

Немедленно собрался Секретариат СП. Сперва решили вежливо напомнить прогрессивному издателю, что в СССР пятнадцать республик, – пятью поэтами ограничиться никак невозможно. Просьба издателя будет соответственно разослана по писательским организациям союзных республик. Пусть там решают, у нас демократия. Хотя заранее ясно, что без Рьльского, Межелайтиса, Мирзо Турсун-заде не обойтись. Что же касается России... Тут опять проблема: и в РСФСР много республик. Придется и им посылать циркуляры. Как же без Гамзатова, Кугультинова? А что до собственно русской советской поэзии, то само собой разумеется – Твардовский, Исаковский, Симонов, но... в самом Секрета-

риате гораздо больше пяти выдающихся поэтов: Грибачев, Софронов, Сурков, Михалков – как же без них? А маститые Асеев, Тихонов, Светлов, Кирсанов, Прокофьев? А сколько поэтов в Правлении, а сколько лауреатов... Короче, послали итальянцу список из 50 имен (утвержденных, разумеется, в инстанциях).

Непонятливый издатель тут же телеграфирует: видимо, тут ошибка, лишний ноль, недоразумение, он просил 5, а не 50!

Опять собирается Секретариат. После долгих и мучительных дебатов список сокращается до 45 («сокращенные» узнают об этом и уже начинают скандалить). Прогрессивный издатель тоже недоволен, настаивает на своей «пятерке». Секретариат в последний раз сокращает список до 41-го (кто-то за это время умер, кто-то проштрафился) и просит уважать его окончательное коллективное мнение. Тогда итальянец, махнув рукой на советских друзей и понимая, что в прогрессивных ему больше никогда не числиться, выбирает сам: Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Твардовский, Евтушенко... То есть проявляет тот самый буржуазный субъективизм, которого якобы хотел избежать... Секретариат подозревал это с самого начала (с его списком совпал только один – Твардовский).

* * *

Познание требует умножения точек зрения. От фиксированной точки наблюдения к движущейся. Дуга зрения, круг зрения. Орбиты зрения, витки спирали. Познание зависит от поля точек зрения. Человек не виден с точки зрения атома, как и с точки зрения Вселенной.. Умозрение. Существуют ли точки зрения, кроме наших, человеческих?

* * *

Уже не в первый раз я «придумываю велосипед». В связи с познанием, пространством и временем я вообразил себе шар. И вот сегодня (6 апреля 1981) читаю у Анри Амиеля (1821-1881), швейцарского поэта и мыслителя (к столетию со дня его смерти): «Глаз не видит шара всего сразу, хотя шар суще-

ствует весь сразу» – буквально моими словами. Дальше – уже его мысль: «Для высшего разума нет времени: что будет, то есть. Время и пространство – это раскрытие бесконечного для пользования им существами конечными»

Я бы так не сказал и не скажу. Если движения светил детерминированы, то это всё-таки не относится к жизни, к свободе воли. Что будет, то есть и не есть...

* * *

Вечный мир делится на три части:

1. Вечный мир до меня.
2. Я. (кратковременный)
3. Вечный мир после меня.

Но точечная вспышка моего «я» бездонна, в ней мир.

* * *

Земля без Истории – не «древняя».

В Риме есть древний Рим, а в Антарктиде нет древней Антарктиды.

Во Вселенной по крайней мере три уровня: уровень, на котором существует жизнь, ниже – микромир, выше – макромир. Ноосфера познает остальной мир относительно себя, мир «выглядит» с ее точки зрения. «На самом деле» он никак не выглядит. Вопрос: какое место в иерархии Вселенной занимает духовный мир? Пусть жизнь возможна в определенных метрических пределах. А сознание? Микромир, говорят, имеет «выходы» в макромир и наоборот. А сознание?

Восток и Запад – как левое и правое полушарие Земли? Дуализм русской мысли, симбиоз Востока и Запада...

* * *

Как возникает протяженность линии из непротяженных точек? Парадокс снимается, как только мы соглашаемся, что ни то, ни другое не имеет физической реальности, это умозрительность. Но вот непрерывность жизни, её эстафета. Могла ли возникнуть живая система из неживого? Существуют

три ответа: 1) Всё сделалось само собой 2) Сотворено кем-то и 3) Всё было всегда. Первый и третий невероятны. Остается второй ответ, и он – тайна. (Думать, что жизнь самозародился так же глупо, как настаивать на том, что у женщины самозародился ребёнок. Иисус тоже не «самозародился»...

... Атом выглядит извне безусловной целостностью (попробуй проникнуть в него, расколоть!) Издали наша Галактика – светящийся комочек, звездочка. Ясно, что всё в этом сгустке взаимосвязано. Мы просто не знаем, как созвездия сгустка действуют на нас (астрологи говорят, что знают), и не знаем, как мы сами действуем на составляющие нас атомы. Мы не сознаем сложной жизни собственного тела. Чувствуем внутреннее единство, целостность своего существа. И внешнее единство с миром и вечностью (религиозное чувство).

Научным фактом признается тот, который можно воспроизвести, повторить. Возникновение живого из неживого невозможно воспроизвести. Что ж никто с точки зрения науки не отрицает существование жизни?

* * *

Равноправие систем отсчёта? Пристойно ли утверждать, что хвост вертит собакой?

Мы чувствует временные границы понятия «теперь». А пространственные? Какое дело планете Плутон до нашего «теперь»?

«Наблюдатель» у Эйнштейна это образованный физик XX века. А что сказал бы наблюдатель Средневековья? А что скажет наблюдатель через тысячу лет?

Наблюдатель с Луны подтвердил бы земные выводы опыта Майкельсона?

В классической механике часы удаляющейся ракеты замедляются только на экране земного телевизора (при возвращении отставание компенсируется). Часы на ракете, летящей вокруг Земли идут равномерно независимо от скорости. А по Эйнштейну?

* * *

Планетарная жизнь как единый организм. Развитие жизни – не слепая эволюция, а программа – словно у ребенка: его физические параметры определены заранее (жизненная «начинка», вестимо, формируется особо).

* * *

Не похож ли бесконтрольный и опасный рост человечества на раковую опухоль?

* * *

Чудо, защищаясь от неверующих, сбрасывает им своё «объяснение», как ящерица – хвост.

* * *

Нельзя разоблачить миф или отрицать какую-то его часть.

* * *

Храм переживает бога, для которого воздвигнут.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ХОЧЕТ ПОНЯТЬ

Кандидат физико-математических наук Г. Горелик («Знание-сила») пишет: «К удовольствию знатоков школьной физики, несколько выписок из дневника Л.Толстого: «Закон тяготения есть закон центробежной и центростремительной силы. . . Вечное движение возможно без трения и тяготения. . . Движение без тяготения невысмыслимо. Движение есть тепло. Тепло без тяготения невысмыслимо».

Какой учитель физики поставит за такое выше двойки?!»

А я-то именно Горелику влепил бы кол. Если отвлечься от «ненаучности» языка Толстого, то тут есть над чем подумать. Ученик должен выучить, запомнить, а Лев Николаевич хочет понять. Думает, ищет. За это и пятёрки не жаль! Неужели Горелик разобрался в фундаментальных тайнах движения, тяготения и т.п.?

Лев Толстой. Дневник 1910 года.

15 января. «Сознание неподвижно. От этого только и есть то движение, которое мы называем временем. Если время идет, то должно быть то, что стоит. Стоит сознание моего «я».

21 января. «... явления вневременные и внепространственные, как душа, Бог... Но если душа будет жить после смерти, то она должна была жить и до жизни. Однобокая вечность есть бессмыслица».

Лев Толстой в дневнике 1910 года (17 марта) выступает против интеллигенции в частности за то, что оно всегда в меньшинстве, следовательно не право. Странно. Сам он был той единицей, которая перевешивает большинство. Там же (4 апреля) он пишет о Боге как о тяготении (от Земли к Солнцу и т.д.) к непостижимому центру: «этот непостижимый центр есть, также несомненно и то, что Бог есть». Не говорю, что логические доказательства необязательны для верующего, я – о самой метафоре. Но в центре нет ничего. Тяготение – это вся Земля, сила притяжения которой как бы в центре. «Центр» везде, потому давайте вернемся к простой формуле: Бог всездесущ. Или как выразился Аллах в Коране: «Мы нигде не бываем отсутствующими»...

Бурсов говорит о Толстом как о Китоврасе – идет напролом.

Молодой Толстой писал, что «цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях». Но к старости как раз тщился неоспоримо разрешить все вопросы и стал упрекать, даже обвинять жизнь... Стал Китоврасом.

* * *

Что написал бы Лермонтов, проживи он еще лет тридцать?

Творчество непредсказуемо и в этом смысле похоже на случайность, будучи ее антиподом. Гармония требует воли, а хаос – отсутствия воли.

* * *

Толчок прошлого – притяжение будущего. Новая жизнь – встреча прошлого с будущим.

* * *

«Время – деньги»... В другом смысле это еще точнее: мы вводим единое время для разных движений так же, как вводим единую валюту для разных стоимостей. Время без человека теряет смысл точно так же. Как деньги...

* * *

Легко сказать что нечто состоит из атомов, но сказать, что атомы собираются составить нечто – невозможно. Буквы не собираются составлять слова. Первично слово, фиксируется буквами, но не состоит из них. Конструктор собирает машину, как наборщик – слово из букв. Бог творит жизнь как Слово (в целом, не из частей).

Буква не несёт никакой информации о слове. Смысл возникает сразу: сто + л = стол, стол + б = столб, сто + г = стог и т.д. Но клетка организма полна информации, она содержит в себе целое. В физике незыблем закон сохранения энергии. Но духовная творческая энергия есть добавление к всемирному количеству энергии! В логике причина предшествует следствию. Но творческая цель (будущее) предшествует действию, определяет его.

* * *

Цветок знает, где солнце, но знает ли солнце, где цветок? Подобно ли это взаимоотношениям между мной и Богом? Но Бог поставил солнце в услужение цветку. Бог облакает меня, как я облакаю сперматозоид.

* * *

А. Мень в «Сыне Человеческом» повторяет ошибку Ренана и прочих, превращая жизнь Иисуса в реалистическое повествование.

Но смысл Его жизни разворачивается надреально, сверхреально, сакрально – на все времена, потому киноподробности даже вредны.

* * *

Зачем и Блок перед смертью стал восстанавливать историю своих ранних стихов? Зачем возвращаться к «сору» жизни? Время и пространство в духовной истории, как и в поэзии – иные! Поэзия-следствие отбрасывает причину, как ракета – первую ступень..

* * *

Умная статья Андрея Ильницкого «Гражданская миссия» («Знамя» №3, 2004). В частности, он пишет, что элиты гражданского общества нет, как нет и самого общества. Не видно новых властителей дум. За последние 15 лет литература прошла путь превращения из поля общественных битв времен перестройки в сугубо личное дело каждого. И вывод: «Творческая интеллигенция не справилась с ролью духовных лидеров общества». Совсем бы согласился, когда б не противоречие: можно ли стать лидером общества, которого нет?

* * *

Имя автора и его произведение само по себе... Показывают картину и говорят, что она изготовлена компьютером. Интересно и только. Но вдруг говорят, что это мистификация, на самом деле это творение известного художника. И мы сразу смотрим на картину другими глазами. Смешно? И да, и нет. Произведение есть послание от человека к человеку, к людям. Оно что-то означает даже независимо от качества. «Чёрный квадрат» Малевича сам по себе ничего никому не говорит. Он – без имени автора – пустое послание. Но автор, в данном случае Малевич и все его творчество, являются основным содержанием картины. Есть о чём подумать. А красивая картина машинного производства – псевдопослание, призрак смысла. Грубая аналогия: подлинная древняя монета и искусный новодел. Обман, пока он не разоблачён, безусловно действует на воображение. Всё не так просто. «Чёр-

ный квадрат», хоть и имеет значение, к искусству не относится. Отчаянный жест творческой личности.

* * *

Софья в «Горе от ума» – будущая мать семейства. Она отворачивается от Чацкого как от ненадёжного в этом смысле. И по-своему права. Но не права Марченко, когда за это же корит Лермонтова. Требование гения выше: женщина должна посвятить себя Мне, несмотря ни на что!

О ПАВЛЕ БОЦУ

Т.Набатникова, «Дар Изоры»: «Хочешь оправдаться перед кем-то раз навсегда? – есть один способ, лучший способ доказательства правоты, он успокаивает всех обвинителей. Это самоубийство она имеет значение абсолютной правоты и реабилитации...» Спорно, но есть над чем подумать. По крайней мере это подходит для объяснения гибели Павла Боцу. Он был поэт, но волей судьбы достиг номенклатурных высот. Ему еще и тридцати не исполнилось, когда его назначили председателем Союза писателей Молдавии, пошли чины и регалии, он стал депутатом Верховного совета СССР. И вдруг, к началу перестройки всё зашаталось. Его враги зашевелились, он метнулся в Москву и понял, что придётся лишиться всего. Не доезжая до Кишинёва, он застрелился. Но это сделал не поэт, а чиновник. Боцу уже не смог остаться только поэтом в том самом Кишиневе, где он столько лет был видной государственной персоной. В порыве ложной гордости он одним выстрелом посрамил всех своих недоброжелателей. Жаль. Талант у него несомненно был.

Другой случай, помельче: Нагирняк. Молодой поэт, способный. Его поддержал Семеновский, потом я (это было в Кишиневе середины пятидесятых годов), но Костя Семеновский с ним и выпивал. Молодой поэт стал спиваться. Однажды он украл чей-то плащ в редакции газеты «Молодёжь Молдавии», был вскоре уличен. В ответ он вколол себе целый шприц

керосину в вену. Его спасли, но ненадолго. Всё-таки погиб (как – не помню, я к тому времени уехал из Молдавии)...

* * *

Физика занимается объектами, но мир состоит не из них, а из взаимодействующих систем. Отсюда принципиально разные точки отсчёта – изнутри системы и извне. Изнутри «я» уникален, извне – таких и всяких «Я» полно. Общее время вводится в мир нами. Эйнштейн почему-то полагает, что время объекта замедляется в зависимости от нарастания его скорости...

* * *

Если жизнь человека уподобить сложной дроби, то наука стремится сократить её, упростить, искусство тут же бросается восстановить сокращенную дробь!

* * *

В жизни один раз по сто и сто раз по одному – не одно и то же. Как и прибавить к рублю миллион или к миллиону – рубль..

* * *

Гении любой национальности прекрасно уживаются в единой семье, имя которой – мировая культура. Они находят общий язык со всеми нормальными людьми во все времена. Это я к тому, что я с недоумением и болью сталкиваюсь с писателями, которые только «украинцы» или «азербайджанцы». Встречаясь с писателем, я всегда надеюсь найти в нём что-то, что отличает его от политика-патриотиста.

* * *

«Новейшие» поэты (Пригов, Рубинштейн) стали жвачкой стиховедов. Хорошо сказал Аверинцев: «Знания историка и филолога не засчитываются поэту». И Гаспаров – в унисон: «Стиховедение выросло так, что может существовать уже и без стихов». К сему максима Бонифация (Германа Лукомникова): «Это нужно для того, чтобы понять, что это не нужно».

* * *

Маркиз де Сад «Философия в будуаре» (1795). Из главы «Французы, еще одно усилие, чтобы стать истинными республиканцами»:

«Я намереваюсь открыть перед вами великие идеи.

Европа ждёт от Франции освобождения сразу и от скипетра и от кадила. Единственными богами республиканца сегодня считаются только храбрость и свобода. В самом деле, Римская империя исчезла с лица земли, лишь только в Риме стали проповедовать христианство. Закон должен полностью разрешить самые яростные богохульства, самые крайние атеистические произведения. Власти непременно учредят соревнование с этой целью.

Я никогда не считал клеветы злодеянием. Она может быть направлена на гражданина действительно вредного или же задеть человека добродетельного, третьего здесь не дано. В первом случае, преувеличивая пороки человека опасного, клеветник делает хорошее дело, а во втором – его клевета прекрасна, ведь она принуждает добродетель открыться для нас во всей своей полноте.

Воровство укрепляет храбрость, ловкость и силу, собственно говоря, все добродетели, в которых испытывает нужду любое республиканское правительство, следовательно, и наше государство. Воровство, поддерживая имущественное равенство, одновременно вынуждает собственника исправней оберегать своё добро. Вполне ли справедливо требовать по закону от человека, ничего не имеющего, чтобы тот уважал другого гражданина, ни в чём не испытывающего недостатка?

Республика продолжает существовать только благодаря войне, нет ничего более нравственного, чем война. Как можно обосновать необходимость поддержания нравственности среди граждан, если само государство оказывается безнравственным в силу возложенных на него обязанностей. Моральное разложение почти неизбежно приводит к возрастанию общественной активности граждан республики. Целомудрие является жалким и искусственным чувством. Любовь же, которую можно определить как душевное безумие, также не имеет

права притязать на законность присущего ей постоянства. Любовь удовлетворяет только двух людей, она выглядит совершенно бесполезной для счастья всех остальных. Я требую от законодателей предоставить женщинам право свободно отдаваться любому числу мужчин, если у первых появится такое желание. Каковы же, я спрашиваю, опасности, связанные с подобной распушенностью? Дети, которые не будут иметь отцов? Да какое это может иметь значение в республике, ведь граждане республики имеют только одну общую мать – родину, так что все рождающиеся дети остаются детьми родины. Ах, насколько сильнее любят родину те, кто с первого мига рождения никого кроме неё не знает... Итак, мы причиним сами себе значительные неудобства, если позволим нашим детям приобретать в семейном кругу наклонности, как правило сильно отличающиеся от интересов родины.

Общность жён с необходимостью предполагает кровосмешение... Перейдём к изнасилованию. Совершенно ясно, что насилие, которое, кстати говоря, доказывается редко и с великим трудом, наносит ближнему несравненно меньше вреда, нежели воровство.

Люди публично учат искусству убивать и даже удостаивают награды человека, преуспевшего в подобном искусстве, и одновременно наказанию предаётся тот, кто в силу каких либо частных причин пожелал окончательно отделаться от своего противника! Не настало ли, наконец, время, обратить внимание на столь дикое заблуждение?

Если мы имеет дело с народом старым и испорченным, который сбросил с себя иго монархии, дабы скорей перейти к республике, то последняя сможет продержаться лишь благодаря множеству преступлений. В самом деле, рождение республики уже является преступлением, так что если вы пожелаете обратиться от злодеяний к добродетели, то есть от состояния насильственного к безмятежному, когда повсюду царит бездействие, то скорый крах вашего государства окажется неизбежным.

Ради величия государства вы позволяете воинам убивать людей, но почему вы не разрешаете отдельным гражданам

свободно посягать на жизнь других лиц, ведь при этом республиканская форма правления сохраняется в силе? Поскольку же убийства не наносят вреда вашему правительству, то мы обязаны предоставить родителям право освобождаться от детей, которых они прокормить не могут или же от тех, ко наверняка не принесёт государству ни малейшей пользы».

К чему такая обширная выписка? А к тому, что здесь вирусы не только революции, а и фашизма, а и коммунизма!

* * *

О пушкинском “Движении” (попутно): Ходьба человека и движение солнца – принципиально разные. Движение человека – взаимодействие с Землей. К тому же человек ходит, как хочет. Потому его движение реально, а солнечное – относительно.

* * *

Примитивный человек – одноэтажный. Гений проживает в башне с множеством ярусов. Не всякий раз застанешь его на высоте...

* * *

Математик признает мнимые числа, но сомневается в существовании души...

* * *

Нет общей меры для добра и зла.

* * *

Толстой разоблачает «видимости» (балет, поэзию, обряды). Почему не разоблачил азбуку? Чёрточки, кружочки – тоже сплошная видимость!

* * *

Если скорость света такая хорошая, такая постоянная, то почему не привязать к ней систему отсчёта, координаты – к кванту? Поле тяготения статично или обладает скоростью

(истечения?). Если да, то какой? И относительно чего? В скорости света (столько-то километров в секунду) какая секунда имеется в виду?

* * *

Необратимость: бывший царь уже никогда не станет рядовым человеком.

* * *

Почему с возрастом время «летит быстрее»? Потому что внимание уже обращено не только на себя, а на жену, детей, друзей и известный круг обстоятельств. Не успеваешь за всем уследить. Чужие дети быстро растут.

(От показаний множества приборов на пульте – глаза разбегаются.)

* * *

Изучая отдельно взятую волосинку, не получишь ответа – зачем она растёт. Ответ не в ней и не в волосах вообще, а в целостном организме. Но и отдельно взятый организм не ответит – зачем он, ибо ответ – в чём-то большем!

* * *

Настоящее время вовсе не миг, а то, что не завершено, длится, делается (когда зуб болит, боль не делится на отдельные мгновения!). Потому настоящее – как расширяющийся клин: опрокинутая пирамида с вершиной на оси абсцисс.

Время появилось вместе с жизнью, Человек же его осознал.

Время по Фейнману «это то, что отделяет два последовательных события». Значит, подразумевается наблюдатель. Без него – где время?

* * *

Ленин верил, что служит мировой пролетарской революции, а восстановил империю. Ошибка Колумба была куда плодотворней!..

* * *

В 1962 году китайский коммунист Лю Шаоци ляпнул:
«Нет ничего более бесплодного и недопустимого, чем посвятить себя интересам личности или какого-либо незначительного меньшинства».

* * *

Энгельс: Россия в лице народолюбцев «создала революционную партию, обладающую неслыханной энергией и способностью к самопожертвованию». Маркс и Энгельс к русскому изданию «Манифеста...» в 1882 г. о «Народной воле» как о «передовом отряде революционного движения в Европе». Ленин о народолюбцах же: «они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира».

Как это, мягко говоря, нехорошо звучит в наше время!

* * *

Сельвинский:

*...я чувствую в себе чужое тело
гения невероятной мощи,
надевшего меня, как брюки...
«Из дневника» (1918-19)*

Тут же вспоминается Вознесенский:

*В прозрачные мои лопатки
Вошла гениальность, как
В резиновую перчатку
Красный мужской кулак.*

Оба ощущают гений как тело, плоть, а не дух, оба – как низ, брюки и что в брюках, а у Вознесенского хотя и «лопатки», но сам образ – напоминает нечто, влезающее в «резинку»...

* * *

Ефим Диннерштейн, проработавший десять лет в музее Маяковского, говорит, что до сих пор держится в секрете

вырванный листок календаря от 12 апреля 1930 года. Дескать, он видел этот листок, ничего особенного, Маяковский ругает Катаева и, кажется, Шкловского (они дескать открыли Яншину, что его жена любовница Маяковского), но тут же добавляет, что давал подписку о неразглашении... К тому же известно, что 13 апреля вечером поэт и Вероника были у Катаева, и Яншин ничего еще не знал. Что-то здесь не то.

* * *

Как переводить Пушкина на другой язык? Надо, чтобы он был с тобою с детства, как тот одноклассник, который был со мною, толстенный, как Библия, с гравюрами во всю страницу, он для меня остался неповторимым, чуть ли не оригиналом, главным изданием. Увы, перипетии двух эвакуаций погубили его, после войны нашлась только часть книги без переплета, да и та со временем куда-то подевалась. Всё равно в памяти книга жива, я даже могу ее перелистывать. Пушкин моего детства, первая моя книга, чуть ли не единственная русская книга до сорокового года... (Помню еще какие-то детские русские книги, изданные в Праге, и Чуковского. Румынские книжки появились позже, лет к шести).

Как перевести изначальность существования Пушкина в каждой русской душе? Как перевести боль от его гибели?

* * *

Герман Раушинг в марте 1944 года записывает, что Гитлер сказал Иону Антонеску про Сталина в связи с кампанией 1939 года: «Даже если у него в руках револьвер, а противник вооружен лишь ножом, он дождетя, пока тот уснет... Лютость дикого зверя сочетается в нем с малодушной низостью человека».

* * *

Не об управляемой ли демократии сказал Фридрих Великий:

«Люди могут говорить всё, что им хочется, пока я делаю то, что хочется мне».

* * *

Беркли приводит мысль Ямвлиха, что мир – одно животное, в котором все части, как бы они ни были удалены друг от друга, тем не менее связаны и соединены одной общей природой. Вернадский говорит то же самое: биосфера с ноосферой – живой космический организм. Коли так, то в основании был единый код. Жизнь пошла на планете фронтом, а не линейно, стрелами. То есть растения, насекомые, животные – как печень, легкие, кишки развивались как целое, а не порознь.

* * *

Румынский язык... Решительно не помню, как он вошёл в меня. Такое чувство, словно я знал его всегда, был мне родным. – как русский. Хотя знаю, что лет до четырёх-пяти я говорил только по-русски, дома меня говорить по-румынски не учили (мама вообще знала язык слабо). Научился я писать года в три по-русски – печатными буквами. Не помню почему – в Кагуле меня отвели в детский сад, я оттуда удрал – видимо меня дразнили, задирали за то, что я не понимал по-румынски. Мать вернула меня в садик, я опять удрал, но на этот раз пошёл задами, отыскал лаз в заборе нашего двора, устроился там (на границе!) и обливался слезами, – не решался ни назад, ни вперёд. Но вот факт: в шесть с половиной лет меня зачислили в первый класс румынской школы. Никаких затруднений с языком я не испытывал, более того – был вполне успевающим учеником. И ещё раз – более того: весной 37-го года (то есть в первом же классе) я первое своё стихотворение написал по-румынски и на празднике в честь окончания учебного года я читал его со сцены. Повторяю: как это произошло, как румынский язык вошёл в меня – понятия не имею, ни одной детали не приходит на память. Вошёл как целое, равноправное с русским, как присущее мне изначально. В Румынии я незаметно, можно сказать – мгновенно переключаюсь – думаю по-румынски. И никто не подозревает во мне приезжего (я уже не говорю о том, что мне не раз приходилось, сопровождая румынские писательские делегации, работать снихронным переводчиком, хотя с румынской языко-

вой средой я, так сказать, распрощался еще осенью 44-го года, когда мне шёл пятнадцатый год).

* * *

В генах не только программа развития организма, но и информация о внешнем мире, куда он вступает при рождении. Представить себе не могу, как и где в генах это записано.

Абстрактный мир геометрии не начинается с точки,

Физический мир не начинается с объекта,

Живой мир не начинается с хромосомы.

Качество можно разложить на количество только ценой потери качества,

Система может распасться на детали, но не может собраться из деталей. Целое больше своих составляющих (дом – не сумма строительных деталей) Отрезок можно свести к точке, но из точек нельзя построить отрезок.

* * *

Если не можешь догнать кого-то на круговой дорожке, отстань, он сам на тебя наткнется. Не гонись за удачей, может быть, она за твоей спиной и тебе достаточно дать ей догнать тебя.

Вогнутое для внутреннего наблюдателя является выгнутым для внешнего.

За состояние «нет вопроса» должен последовать вопрос.

Прямой путь и обратный не тождественны.

Много путей ведут в одному и тому же результату, но по результату нельзя определить какой именно путь привёл к нему. (к 10 приводят и $8+2$ и $1+9$ и $3+7$ и 5×2 и $12-2$ и т.п.) Из матери и отца «составляется» ребёнок, но из ребенка невозможно вывести родителей. Диоды ..

У лица нет обратной стороны, изнанки. Триада: внешнее, внутреннее и дух целого. Движения духа: 1) Рутинные. Воспроизводство времени. Элементарная свобода в рамках необходимости. 2) Творческие, непредсказуемые. Преобразование времени в вечность.. Высшая свободы, достижение гармонии.

Семь уровней времени:

0 – покой, 1 – случайные процессы, 2 – обратимые процессы, 3 – необратимые, 4 – биосфера, 5 – ноосфера, 6 – всеобъемлющее, вселенское.

Хайдеггер о времени: очень смутно, натужно, по-немецки занудно.

* * *

Утром по «Свободе» Борис Парамонов упражнялся в своём парадоксально-издевательском стиле на тему Евтушенко. Вроде бы всё по правде, или почти по правде, но всё-таки неправда, потому что больно уж неприязненно. Как не крути – Евтушенко явление нашей культуры, он был самой судьбой вовремя призван и выполнил свою добрую роль. Из тройки призванных тогда (Вознесенский, Рождественский...) он оказался щедрей, шире, гибче. А были они очень похожи – я смотрел сегодня по телевизору кадры из «Заставы Ильича», где все они прекрасно-молодые. Телевизор был включен в музей Окуджавы перед выступлением самого Евтушенко. Женя сидел неподалеку, рыжевато-седенький, постаревший и смотрел (что чувствовал?) на экран, где молодая красавица Белла, его тогдашняя жена звонко читала стихи про дуэль Пушкина.

Среди публики отмечу Фазилю Искандера, Инну Лиснянскую, Ларису Миллер, Игоря Волгина, Вадима Рабиновича. Говорил и декламировал Женя часа два – с полной отдачей, но поэзии было кот наплакал, остальное – его старая публицистика на новый лад. Честно, умно, благородно и ничего нового. И только сочувственная площадка в Переделкине, а вокруг другая страна, другие люди, их уши, их антенны направлены в другую сторону. Я смотрел и слушал со смешанными чувствами, это часть моей жизни, моего поколения, многих уже нет (в этом же Переделкине улица Роберта Рождественского), десятилетия прошумели, и какие! Шестидесятники, они пришлись впору, в самый раз, а я за два-три года до из «звездного часа», покинул Москву, пытался солировать в том же духе в Кишинёве. Конечно, ни по темпераменту, ни по

творческому потенциалу я не тянул в компанию моих московских сверстников, я же им «помогал» как мог на молдавском участке литературного фронта. Наезжая в Москву, я прежде всего навещался к Жене Евтушенко на 4-ую Мещанскую. Помню, как он показывал мне шкаф, набитый поэтическими сборниками, школьную тетрадь, всю исписанную одними рифмами, как он читал мне с восторгом «Верку вольную» Михаила Голодного (я тут же запомнил её наизусть), стихотворение, кроме нескольких лишних и неудачных строф вполне «евтушенковское», как он знакомил меня со своей будущей женой Беллой (вызвал Ахмадулину специально по телефону, чтобы похвастаться), как, наконец, я читал ему и Межирову свою «Свободу», которая их несколько смутила, поскольку выбивалась за рамки опорного для них антисталинизма («Свободу» я смог напечатать только в годы перестройки)...

* * *

Искушение Христа, предательство Иуды происходит не столько с ними, сколько для нас. Пусть аналогия рискованна, но нечто подобное в сути художественного произведения. «Война и мир» – всё там не так, как было на самом деле, но оно, произведение писателя, живей, сильнее и реальней живших тогда людей и бывших тогда событий. Документальность подлинна, но мертва. Произведение сверхподлинно и полно жизни. Высокий (высший) смысл Евангелий открывается сразу – тогда, теперь и потом, неграмотному и ребёнку Эмоциональное переживание вносит нужный смысл почти подсознательно прямо в сердце, минуя аналитические центры умников.

* * *

В прозе – читатель зачастую свидетель, сопереживатель, а в поэзии – участник.

* * *

Д.Менделеев в книге «Материалы для суждения о спиритизме» (СПБ, 1876) приводит слова доктора Бирда, сказанные задолго до Фрейда: «Духи действительно окружают нас,

но они выходят из нашего собственного мозга – тюремщик ушёл, оставив двери незапертыми, и заключенные вырвались на волю». Правда, остается вопрос: полностью ли изолирован мир нашего мозга от ноосферы вообще. Кроме подсознания предполагается еще сверхсознание.

* * *

На пляже лежащая женщина выглядит иначе, чем когда на ногах. Бывало, я знакомую в лежачей не мог узнать..

Лежат две подружки. Одна с открытой грудью, бикини скатаны и свёрнуты жгутом. Поневоле засмотрелся на молодое ладное тело, мощный выгиб бедра. Но вдруг она встает.

– Ты куда? Вода холодная. – говорит подруга.

– Ничего. Надо помочиться.

И груди у нее обвисли, как бы сползли...

* * *

Память не запоминает время жизни, а создает иную, как бы панорамную цельность, разворачивая по требованию те или иные эпизоды. Но память точно удерживает в упакованном виде время музыкальных произведений.

* * *

Энергия заблуждения (Л.Толстой). Заблуждения агрессивны, нетерпимы, навязывают себя, требуют... Истина пассивна.

Человек всегда находится в той же точке, которую он носит с собой. В центре мира!

К ВОЗВРАЩЕНИЮ ГУМИЛЁВА

Начало перестройки. В.М.Озеров ведёт совещание по критике в конференцзале СП. Я выступил за восстановление имени Гумилёва, придравшись к тому, что в хрестоматии опубликована статья-манифест Гумилёва без его имени! Затем издался над публикацией в той же хрестоматии постановления 46-го года, в котором старательно «сняты» имена Зошенко и

Ахматовой. Увы, «Вопросы литературы» опубликовали отчёт без всего этого, оставив лишь мою критику стихов Ляпина. Галя Львова пыталась оправдать эту «осторожность», но уже через месяц— другой имя Гумилёва вырвалось на поверхность. (Первым Н.Тихонов заговорил о нем по радио).

ТРИ ЧУДА

Мережковский выделяет три нарастающих света – три чуда: Хожение по водам, Преображение, Воскресение.

Я бы выделил другие три: Рождение, Крещение, Смерть-Воскресение. Первое: зерно Бога в человеческом чреве. Второе: человек открывает в себе Бога, Третье: человек прекращается, остается Бог.

Если отрицаешь Аллаха, это не значит, что Бога нет. Отрицание одной из проекций не снимает вопрос о всех проекциях, об их Источнике. Ловлю себя на двух крайностях: Бог непостижим, непредставим (умом), а в чувстве абсолютно реален. Словно это мой Бог, а я его создание, Его как Создателя я всегда чувствовал над своими родителями. Родители не дали мне никакого задания, а Он дал (словно я Его микроскопическая частица и нужен в общей целостности). Есть связь горизонтальная: человек-народ-человечество) и вертикальная (человек– Вселенная– Бог).

* * *

Секст Эмпирик: «Если последующее истинно, то это далеко еще не значит, что истинно предыдущее» (кочерга летает, значит она существует). Он же: «Нельзя сказать и того, что атомам свойственно быть вечными».

Юбилей (например, 50-летие). Для одного это прошлое, для другого будущее, а для юбиляра – настоящее. Всё это сегодня наблюдаю я. Для наблюдателя в данном случае все три вида времени существуют одновременно. Общее время вводится и удерживается памятью как нечто независимое. Оно мера, понятие, а не субстанция..

* * *

Все тела падают с одинаковым ускорением. А если тело слишком большое? Его тяготение не в счёт?

Почему космонавт в невесомости не чувствует притяжения солнца?

Русский язык существует не так, как его носитель. Уровни существований, иерархия между да и нет.

Почему вертикальный луч света в вагоне ведёт себя так, как падающий мяч? Свет должен распространяться независимо, значит должен отклоняться от падающего мяча, который увлекается мчащимся вагоном.

Я привязан к моему телу, как мое тело привязано к Земле, как Земля привязана к Солнцу. Но моя душа так же привязана к Духу сознания и созидания, как.. Куда тянется конец другой веревочки?

КРАСОТА ПОЛА

Фрейд: «Психоанализ мало что может сказать о существовании прекрасного», Он удивляется, что половые органы «не считаются красивыми, характер же прекрасного как будто связан с известными вторичными половыми признаками».

Почему «как будто»? Действительно так. Прекрасно яблоко, а не его скрытые зёрна. Что тут удивительного? Человек прекрасен в целом, а не как цель, сосредоточенная в одном месте тела. Пол прекрасен лицом, всем телом, всем человеком.

ВАНГА

Утверждают, что Ванга видела умерших. То ли байки, то ли свидетельство посмертного существования.. Но есть и третий ответ: а может быть, Ванга обладала способностью подключаться к пациенту, видеть то, что продолжало жить в его памяти? Так при верчении блюдца появляется и вещает тот Наполеон, образ которого «сидит» в участниках действия..

ЯЗЫК И ПОНЯТИЯ

Любопытно, что переводчик с румынского редко употребляет слова: родной, совесть, простор, воля вольная, подвиг, потому что их нет в румынском. Скорей соответственно появятся слова: дорогой, стыд, открытое пространство, свобода, героический поступок. Может быть, простор, вольная воля не появились, потому что в Румынии нет русского простора, вольницы. С совестью – сложнее. Похоже, это русское понятие, отсутствующее как отдельное во многих европейских языках. Например, понятие “конштиинца” означает и совесть, и сознание, и сознательность. Потому со спокойной совестью звучит как с чистым сердцем, без зазрения совести – ничем не брезгуя, по совести говоря – говоря по правде, бессовестный – бесчестный, бесстыдный и т.п. А совестливость, подвижничество – вообще повисают И наоборот: как перевести румынское *dor*? Это и любовная тоска, томление, ностальгия, и желание увидеться, соединиться, и сам любимый, и сама любовь, и вообще стремление куда-то. Понятие, без которого румынский фольклор просто невыносим. Различаются *arbore* – дерево вообще, *pom* – фруктовое дерево, а дерево как материал – *lemn*. И три слова для любви – *amor*, *iubire*, *dragoste*. *Moft* – причуда, каприз, дурь. *Piept* – это грудь как часть туловища, а *sân* – это женская грудь и пазуха. . . Зато нет отдельного слова бок, вместо него – сторона.

* * *

Крест. Правое – любовь к Родине. Левое – к человечеству. Вниз – любовь к низшим, ко всему живому, вверх – к Богу. . .

* * *

Мама умела гадать на картах. К ней частенько ходили. Кажется, я ни разу не просил её погадать мне. Почему? Отец не интересовался гаданием, зато любил на старости раскладывать пасьянсы. Еще мама умела лечить ячмень на глазу. Проводила трижды по веку ключом от дома больного. Получалось.

Во время войны решила заработать. Вертуты, пирожки ей особенно удавались. Наготовила, открыла окно на улицу и начала «торговать». Первая же проходящая знакомая (а в своем околотке почти все – знакомые!) всплеснула руками: что за прелесть!

– Маргариточка, дай попробовать... и т.д.

Всё раздала. Обанкротилась...

* * *

Хорошая умная книга «Что такое философия» Игоря Гарина. Но – два сквозных недостатка. Как всегда, Гарин не приводит источники цитат (во всех его книгах отсутствует аппарат). И – очень увлекается (поддается) абстрактными терминами. Так, он начинает говорить о времени, не определив его. То же с истиной. Понятие истина становится столь расплывчатым, что совпадает с достоверностью, фактом, событием, существованием, познанием и т.д. Борьба с ветряными мельницами. Отсюда «красивые» фразы:

«Нельзя опровергнуть музыку, но нельзя опровергнуть и Калигулу – его существование и деяния. Трагедия человечества в том, что бессмертная музыка и огромное количество смертей, обязанных историческим «деятелям», – равно истинны.»

Какая трагедия? Какие истины равны? Что ни слово – то вопрос. Понятие «истины» здесь ни при чём. Поставь вместо «равно истины» – «равно относятся к нашей реальности» и сразу несуразно, неуместно и смешно выглядит высокопарное восклицание – «трагедия человечества в том...». И при чём тут «опровергнуть»? Калигулу запросто можно свергнуть (что и было сделано). А к самому факту его существования тоже не очень-то клеится «нельзя опровергнуть». Можно даты события уточнять, спорить, можно даже отрицать (Фоменко). Музыка же пребывает совсем не в той реальности, в которой побывал Калигула. И применительно к музыке выражение «нельзя опровергнуть» столь же нелепо, как и «нельзя взвесить» её. Калигулу тоже нельзя взвесить (в виду его отсутствия), что же из этого следует? Об истине давайте гово-

ритель только конкретно. Поиск истины как поиск смысла жизни – это одно, а истинно или ложно то или иное утверждение – совсем другое. У Гарина (и не только у него) истина превращается в фантом, заклинание, словоблудие. (Правда, под конец Гарин приводит целый список определений истины – почему же под конец, когда об истине без ее определения столько лишнего уже наговорено?)

НИ МУЖЧИН, НИ ЖЕНЩИН

Роман Виктюк в одном из своих интервью («МК», 15 июля 2000) делает шокирующее заявление:

«Возникает еще одна тема – мастурбация. Невозможность найти свою вторую, андрогинную половину вынуждает человека обратиться к мастурбации. Мастурбация становится главным героем XX века. Самодостаточность человека позволяет ему посредством собственной руки перелетать страны, достигая в своих смелых поисках высочайшего удовлетворения, недоступного в реальности. Мастурбация дает возможность единения с небом. Но это обман. Потому что истинное единение – андрогинность»

Жаль, не могу найти: в свое время я сделал выписки, в которых два идейных антипода – Лев Толстой и Чернышевский – неожиданно совпали в женобоязни, чтобы не сказать – женоотрицании.. Оба они (почти в тех же выражениях) мечтали о том золотом времени, когда человечество не будет разделено на мужчин и женщин. Я полагал, что это одна из чисто русских крайностей. И вот нахожу у Отто Вейнингера: «Правда настанет только тогда, когда из двух станет одно, из мужчины и женщины – третье, самосущее, что есть ни мужчина, ни женщина»

У того же Отто – взаимоисключение любви и секса (вспоминается Блок). Вот одна из его фраз: «Половой акт включает в себе глубочайшее низведение женщины, любовь – высочайшее возвышение ее. Но женщина предпочитает половой акт любви, следовательно, она хочет быть низведенной, а не

вознесенной». Доля (вернее – долька) истины в этой глупости несомненно есть!

* * *

«Го Юй» («Речи царств»):

«Необходимо дожидаться благоприятного времени, ибо того, кто силой стремится к успеху, ждут несчастья... благоприятный момент не приходит дважды. Если благоприятное время приходит, но его не используют для достижения цели, Небо отворачивает свое лицо».

Сильно и глубоко сказано. Мне не раз приходилось убеждаться в этом.

Одно из правил синергетики: «Малым вызовешь большое, но большим не всегда добьешься и малого».

В.И. ВЕРНАДСКИЙ

Три мира: космос, ноосфера, микромир. Атомы не вечны. «Реальный случай не есть случай теории вероятностей». «Научный факт должен наименьшим образом отражать личность, которая его устанавливает». «Идеал научной работы – безличная истина».

Треугольник жизни: судьба, воля, случай.

Владимир Линденберг (Челищев) пишет:

«Вся жизнь, кажущаяся глупцам лишь материальной, расположенной на поверхности, является, подобно кристаллу, вросшей в знаки и символы, в вопросы и ответы. <... > Поэтому случайности и случайные встречи приобретают характер чего-то нам подыгранного, выпавшего нам на долю, ниспосланного нам свыше, судьбы, и мы начинаем сперва смутно, но затем отчетливее, все более чутко догадываться о смысле встреч и придавать им значение».

Я точно так чувствую, но задаю себе вопрос: для каждого ли человека годится эта максима? В глупцах ли дело? Многие люди лишены путеводной звезды (или – покинуты ангелом хранителем?), я эту ущербность, тупиковость в людях, мож-

но сказать, физически ощущаю и, охваченный безнадежностью, отдаляюсь от них. Некоторые люди – лишь «горизонтальный» переход к следующим поколениям, в то время, как иные сами – цель, и через них осуществляется некая «вертикальная» связь... (Додумать бы: вертикаль – она ведь не только вверх, но и вниз! Добро и зло? А измена себе, богоотставленность?)

* * *

В Доме Марины Цветаевой на Борисоглебском удивленно вижу ломберный столик, точно такой, какой был у нас дома. Гнутые резные ножки, складная фигурная столешница с квадратным зеленым сукном посередине. Этот столик чуть ли не единственный предмет из детства, сохранившийся после войны, двух эвакуаций и прочих перипетий. После смерти родителей я не знал куда его деть – брать в Москву было несподручно. Пока суд да дело передал его Рудикю Ольшевскому. Столик весьма полюбился его теще.

Но все семейство Ольшевских перебралось в Америку. Где он теперь – столик моего детства?

СТАЛИН И ДРУЖБЫ

Сталин в письме Шатуновскому (том 13, стр.235) пишет: «Имейте преданность рабочему классу, его партии, его государству. Это нужно и хорошо. Но не смешивайте ее с преданностью лицам, с этой пустой и ненужной интеллигентской побрякушкой».

Вот рыцарь – так рыцарь!

* * *

Изгнание из рая – метафора цены за пробудившееся сознание. Добро и Зло, противоречия. Образ и подобие хаоса и гармонии Вселенной. Дьявол – выражение хаоса, разрушительной случайности, катастроф. Бог – творческая закономерность мира.

* * *

Тейар де Шарден:

«Взятое в целом живое вещество, расплывшееся по Земле, с первых же стадий своей эволюции вырисовывает контуры одного гигантского организма». То же у Вернадского.

* * *

В «Аргументах и фактах» журналист Николай Добрюха охотно предполагает, что «... воспоминания о том, как тяжело и долго умирал Сталин, касаются уже не самого Сталина, а его двойника, который Лаврентием Берия был уполномочен играть роль умирающего вождя...».

Добрюха просто тупица или читателей считает идиотами.

К месту такой анекдот: Один поляк говорит другому: – Знаешь, кем оказался папа Иоанн Павел II-ой?

Тот хватается за голову: – Не может быть!!

Великолепная модель современной параноидальной готовности поверить во что угодно.

* * *

Очень смешной и очень глубокий анекдот:

Муж приходит домой под утро, пьяненький, галстук на бок, на шее следы губной помады.

– Где ты был?! – восклицает жена. А он ей:

– Ну придумай что-нибудь Ты же у меня умница!

ДВА ВАРИАНТА

Я пришел в кабинет Приставкина раньше всех, посетовал, что фактически с помилованием покончено... Толя в ответ: “Недавно я во дворе (кремлевском?) встретился с Путиным, на ходу сказал о резком сокращении числа помилованных, о задержке дел в его администрации”. А он: “Убийц много?”. Пришлось признать, что много, остальные теперь предпочитают ждать условно-досрочного освобождения. “Убийц я миловать не буду!” – твердо сказал президент. На том и расстались.

Потом, когда все собрались, Толя повторил этот эпизод, но в иной редакции:

– Я как советник, потребовал встречи с президентом, я имею на это право. Мы с ним говорили час-полтора...

И т.д.

* * *

Яков Флейшман, «теневик», отсидевший при Брежневе, пишет в «ЛГ» (26 мая 2004): Горбачёв «попытался увести нас от реально существующего тайного государственного капитализма в романтическое никуда, и его смело вмиг...» Похоже на правду. Я бы добавил, что он, как Дубчек, верил в «социализм с человеческим лицом», но если у Дубчека, не вмешайся мы, могло получиться что-то дельное, то у нас, к сожалению, не могло. Уровень не тот, общество не то и страна не та. Я был за Дубчека, потом за Горбачева и Яковлева. Я тоже верил в перестройку, не понимая, что нет у нас соответствующих общественных (а, значит, и политических) сил, способных удержать штурвал на крутом повороте. Я верил, что выборность и гласность сметут реакционные препоны. А дальше «само пойдёт»... Что я думаю сейчас? Несмотря ни на что, я оправдываю историческую роль Горбачёва и Ельцина. Победа других (от Крючкова до Хасбулатова) грозила гражданской войной и распадом. Теперь есть реальный шанс нормального восстановления и развития.

О ДЕТСТВЕ

Глядя на внуков, подумал о своем детстве. Оно прошло без бабушек-дедушек. До десяти лет я с родителями жил в Ташлыке и Кагуле вдали от родственников. В Кишиневе был дед, но я не уверен, что его видел. Заслоняет память фотография, сделанная незадолго до его смерти. Кажется, я такого грузного человека видел году в 38-м. Наверное, мельком. Больше запомнился (в Ташлыке?) Заикин, который качал меня на колене, подбрасывал и хвалил, что его не боюсь... Примерно в то же время (году в 37-ом) познакомился в Аккерма-

не с бабушкой, но ничего, кроме общего впечатления о доброй старушке, не осталось в памяти. Что до других родственников, то любимой была тетя Зина, сестра отца, однако виделись мы с ней редко (она с мужем жила в Бендерах). Она была бездетной, очень ко мне привязалась, баловала меня подарками. А со стороны матери дядей и тетей было полно. Общения с ними началось в Аккермане в 1940 году и так или иначе продолжалось долго. Детство было коротким – в 1941 году началась война.

Что я назвал бы родным домом? Не дом в Ташлыке, где я родился, его почти не помню, не съемные квартиры в Кагуле, а мамину часть дома в Аккермане (Шабская, 28, при румынах – улица Траяна), где мы стали жить с мая 1940 года (то есть с моих десяти лет) и где я прожил до осени 1949 года, а потом наезжал из Москвы на каникулы до зимы 1954-ого.. Но и отмеченные девять лет стабильными не назовёшь. Мы дважды были беженцами, покидали дом в сорок первом (с июля по ноябрь – осада Одессы) и в сорок четвертом (с марта по ноябрь, Калафат). Кроме того, на год или меньше (в 1942 или 1943) мы с мамой жили на другой улице, а в 1947 я на несколько месяцев оказался в Одессе (когда поступил в ОИИМФ).

* * *

К.Э. Циолковский (Очерки о вселенной. «Золотая аллея» 2001):

... Обдуманность космоса изумительна, он построен так, чтобы дать себе только счастье. Какова же мудрость причины, если ее изделие – вселенная поражает нас до обморока! (48)

... Самое простое понятие – время. ... Более сложно представление о пространстве (194) ... Время течет также неодинаково. В неорганических телах (почва, вода, воздух) его совсем нет, в низших существах есть только настоящее... (218)

Бедный Циолковский! Его «самодельный ум» то прорывается к гениальным догадкам, то проваливается в идиотизм. Например:

... Сначала исчезнут вредные животные и растения, потом избавятся и от домашних животных... Многочисленное население Земли будет усиленно размножаться, но право производить детей будут иметь только лучшие особи. (203-204)

... – Все люди до своего рождения были в недрах солнца, однако ожили. (258)

... Не должно быть насилий, жестокой неестественной смерти, неразумных животных, мучающих друг друга, войн, казней, болезней, смерти. Природа заставляет нас болеть и умирать. Будем бороться и с природой. (278)

... Уничтожения нет, а есть только преобразование. Тяжелая и дурная земная жизнь есть случайность, очень редкая во вселенной.... Смерть есть радость, награда, неизмеримое счастье, хотя и сопровождается на Земле болью. (284)

... Распределим людей по порядку их ценности, начиная с высшей. (Первый ранг – Джордано Бруно, Галилей, Кеплер, второй – Мендель, и т.д. – прим. мое) Шестой ранг: громкий практический успех, карьера, завоевания, престол. Оценка высока только при жизни. Оценка колеблется. После смерти падает и доходит до отрицательной величины (это пишется в феврале 1934 года! – прим. мое) ... Восьмой ранг: мнимый успех. Слава писателя, изобретателя, художника, ученого. Но, увы, еще при жизни современники разочаровываются. Несчастные переживают свою славу. Это – мыльные пузыри. (306)

... Права человека... Всякое слово не считается насилием, а только дрожанием воздуха. Поэтому все выражения мысли совершенно свободны. (309)

... Я много работал над целесообразностью природы и пришел к положительному выводу. (340)

... Когда не будет животных, то атомы будут жить только жизнью человека. (360)

* * *

К вопросу об искусстве. Помню, Эренбург в Литературном институте рассказывал, что он привёз из Африки великолепную эбонитовую статуэтку, изображающую слона во

гневе. В гостях был дотошный скульптор-любитель, он воскликнул: – У него подняты бивни! Так не бывает!

Эренбург предложил ему исправить ошибку. Скульптор сделал нужную копию, через несколько дней принёс – всё были разочарованы. Эффект пропал. «Слонов надо изучать по учебникам зоологии, а не по произведениям искусства!» – подвёл итог Илья Григорьевич, усмехаясь.

Недавно мне попала в каком-то рассказе фраза, что некий солдат-художник “изображал людей с такой поразительной точностью, что его товарищ сказал: “Аж скучно было смотреть”»...

НРАВСТВЕННОСТЬ ТЕРРОРИСТА

Камю в “Человеке бунтующем”, а потом в статье “Бунт и полиция” мучительно определяет свое отношение к терроризму. Ему кажется, что он нашел нравственное ему ограничение:

“Пример Каляева и его товарищей привёл меня к выводу, что убивать можно лишь при условии, что и сам умрёшь, что никто не имеет права покушаться на жизнь какого-либо существа, не соглашаясь в то же время на собственную гибель...”

Прошло всего пятьдесят лет, и эта сугубо европейская формула выглядит жалким лепетом перед восточным фундаментализмом, перед чуть ли ежедневными “подвигами” шахидов. Что сказал бы Камю, когда 19 самоубийц, не дрогнув, атаковали американские небоскрёбы и (ценой своей жизни!) погубили разом три тысячи ни в чём не повинных людей?

Какое тут «нравственное ограничение»!

РУССКИЙ АНЕКДОТ

Я с удовольствием рассказывал анекдот:

Некто звонит знакомому:

– Привет. Как дела?

– Всё в порядке. Отлично!

– Ой, простите, я ошибся номером...

И мне не приходило в голову, что это типично русский анекдот. Читаю в “Дружбе народов” (№1, 2008) беседу с Игорем Яковенко. Профессор говорит:

“Вам известна такая широко распространенная в нашей стране практика, как обмен негативными новостями? “Как дела?” – “Ой, ужас! Ребёнок болеет, муж совсем замучил, на работе неприятности...” – “А у меня ещё хуже...!””

... Оптимист в России – существо как минимум странное.”

* * *

Лучше быть забытым, как кто-нибудь из Апостолов, чем остаться в памяти людской – Иудой.

* * *

Блаженный Августин: “Мир сотворен не во времени, но вместе с временем”.

В нас стрела времени направлена из будущего в прошлое, где и накапливается. Остроумно, но так ли? Однако в памяти никакого времени (длительности) нет. В памяти – склад эпизодов, их монтаж. А музыка? Она хранится в свернутом виде. Музыка воспроизводима, а зрительные картины вспоминаются без голосов...

Но и Августин восклицает: “Я низвергаюсь во время, строй которого мне неизвестен”. А Парменид обращается к Богу: “Ты возвышаешься над всем будущим, все твои годы одновременно и неподвижны”.

* * *

В Переделкине меня почему-то не тянет к той даче, где я жил в студенческие годы. Странное чувство, словно это было в другом месте. Не здесь. Требуется усилие, чтобы совместить то время с нынешним в одном и том же пространстве...

* * *

Иза Кресикова пишет (“Из записных книжек поэтессы” (“Интер-рес”, М., 2008): “... в чём-то образы Христа и Про-

метея подобны. Но Прометей – борец.. Всё, что есть у человека для жизни.. дано ему Прометеем”. А Христос по её мнению, видите ли, “покорный мученик”..

В своё время я написал полемические стихи о Прометее, представив себе, что коршун терзал Прометея картинами жутких пожаров: вот, дескать, что делают люди с твоим огнём.. Прометей даровал людям огонь, но не научил, как с ним обращаться.. Потому он не Учитель. Главное у Христа – Нагорная проповедь, – пусть такая проповедь “тотальной” любви кажется утопичной, но раз уж существует полюс зла, должен быть и полюс добра. Убери полюс добра и однополюсный мир превратится в ад. Так что давайте Прометея – отца цивилизации – не ставить выше Духа, Учителя жизни, её идеала.

Автор сочувственно ссылается на Розанова: “Боль мира победила радость мира – вот христианство. И мечтается вернуться к радости..”

Бедный Розанов. Видел бы он “радость мира” в победившей христианство советской России тридцатых годов!

Понимаю искус материализма, сам в юности увлекался им (простые ответы избавляют от мучительных вопросов!), не собираюсь кого-либо переубеждать, но как быть, когда натыкаешься на такое “смелое” утверждение автора: “биологи уже знают отчего и как зарождается жизнь”?

Не знают! Вот когда из неживого сделают живое, тогда поговорим..

* * *

Сколько у Федора Сологуба необязательных, почти графоманских стихов! С кем не бывает.. Но почему неудачные стихи попадают в “Избранное”? Например, у него (стр. 365, издание 1997 года):

*Дорога от дождя размокла (дорогу развезло!),
Я подвернул мои штаны (мои? А чьи же еще?).
Босые ноги, точно свёкла,
Совсем (лишнее слово!) от холода красны.
Иду с трудом по липкой грязи.*

*Из-за пролившихся (лишнее слово!) дождей
Не стану порывать я связи
С землёю милою моей (патриот!).
Пусть грязь, тесняя через пальцы (коряво),
Марает (?) ноги, – ну так что ж!
Бредут к святым местам скитальцы
(какой полёт мысли!),
И ты до дома добредёшь. (пародия?)*

КТО ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ

Лев Толстой пишет в “Исповеди”:

“... для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь трудового народа, того, кто делает жизнь”.

Лучшие сыны народа, его гении, включая самого Льва Николаевича, суть “паразиты жизни”? Удивительное упрощение в духе классового антагонизма, противопоставление физического труда умственному, столь любезное товарищу Ленину, открывшему, что интеллигенция не мозг нации, а говно.

Толстой под “трудовым народом” разумел прежде всего крестьянство, а Ленин – рабочих. Хороша была бы страна, состоящая из одних крестьян или из одних пролетариев!

Толстым (в отличие от Ильича) руководила совесть, это делает ему особую честь. Слава Богу, он не был вождём.

* * *

Олег Платонов, известный сочинитель несуразиц, пишет в журнале «Молодая Гвардия»:

«Реформа Уварова вызвала переполох в масонско-космополитических кругах... Формула «Православие-Самодержавие-Народность» стала идеологической основой для многих выдающихся деятелей русской культуры: писателей... А.С.Пушкина, Ф.Т.Булгарина, О.В. Сеньковского».

Пушкин «заединщик» Булгарина? Анекдот! К тому же Булгарин не Ф.Т., а Ф.Б. Наконец, Сенковский пишется без мягкого знака.

А главное: Пушкин совершенно не нуждался в чьей-либо «идеологической основе», тем более – Уварова. «Переполюха в масонско-космополитических кругах» не было за отсутствием таковых. А сам Пушкин в молодости масоном побывал...

Таков весь многотомный О. Платонов.

* * *

«Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась...»

Казалось бы, Маяковский отмечает на сей раз самоубийственную «точку пули в своем конце». Но оказывается все-таки «в конце хочу» принять смерть от пули (пусть со стороны – как «товарищ Нетте»). Навязчивая пуля.

* * *

Лифты «М» и «Ж».

* * *

Прохожий сует попрошайке рекламный листок: «Дублинки. Скидка 50%».

* * *

В метро, увидев нищенку, я полез в карман за монетами. Она заметила и замахала рукой – дескать, ступай себе! Меня в краску бросило. Инфляция!

* * *

Илья Стогов в книге «Грозная тень грядущего» (Эксмо, Домино, 2003) на стр. 196-197 заявляет просто и мило:

«В маленьких мирках нет места «большим» людям. Эпоха «большого искусства» также осталась позади.

Все книги и картины давно написаны. Все симфонии сыграны. Уже сегодня ничего принципиально нового в этой области невозможно не то, что создать, но хотя бы представить».

Действительно, множество дорог в искусстве превратились в тупики. Смешно говорить о плодотворных традициях абстракционизма. И т.п. Действительно в искусствах кризис. Мировой.

Давненько нет великих, нет гениев. И действительно им всё трудней появляться. Но, во-первых, в паузах нет ничего страшного. Культура накопила столько сокровищ, что век живи и осваивай! Во-вторых, нормальное искусство (литература, музыка, живопись) продолжает рождаться (пусть на втором плане), у каждого поколения своя пища.

Последняя фраза Илья Стогова слишком наивна. Никогда нельзя было себе представить, что будет в искусстве принципиально нового. Искусство непредсказуемо. Не только в целом (футуризм после символизма?), но и частности. Разве можно себе представить, что именно написал бы Лермонтов, проживи он еще лет пять-шесть?

* * *

Читал всякое, между прочим (по настоятельной рекомендации Ани Гедымин), рассказ Прилепина “Сержант”. Конечно, талантливо, но слишком литературно. Ни на минуты не забываешь о литературном мастерстве автора. А я хочу об авторе забыть, хочу поверить, что персонажи – живые люди...

Прочитал “Калигулу” Камю – драматургия мыслей... В “Дружбе народов” чушь А. Тарасова про 11 сентября (подстроили спецслужбы!), в “Науке и религии” чушь про тахионов, которые могут носиться туда-сюда во времени (время – это пространство?)... Окончание дневника Полонского в “Новом мире” – точно сказано про Сельвинского и Шолохова (кроме пролетарского гарнира).

* * *

Римма Казакова писала рецензию на меня, будучи беременной Егором, а через много лет Егор написал рецензию о моей книге в “Ex libris”-е НГ...

* * *

Теодос Харнак утверждает, что “либо Христос воскрес – и тогда христианство истинно, либо Он не воскресал – и тогда христианство не имеет никакого смысла”. Никакого смысла?! Лев Толстой страстно доказывал обратное. И не без успеха. Другое дело, что он ударялся в другую крайность, пытаясь избавиться от какой либо тайны вообще. А если без крайностей? Нагорная проповедь – вот самая суть христианства. По ней (?) надо стараться жить. По ней сверять тот или иной свой поступок – с совестью. Христианской.

Что до Воскресения, то нет у меня простого ответа. Судя по первоисточникам, очевидно, что Христос воскрес не так, как Лазарь, то есть не вернулся к прежней человеческой жизни. Произошло преобразование, явление тайной непостижимой ипостаси, пусть на время в привычном человеческом облике. Христос проходит сквозь стены, неизвестно как появляется и исчезает, неизвестно, где ночует и т.д. С другой стороны – даёт убедиться Фоме, что Он – и во плоти, если тому так важно. И покидает Землю до второго Пришествия. Воскресения как бы и нет. Просто прекратилась, полностью завершившись, человеческая миссия Христа. Осталась небесная. Но при этом и земная победа над смертью состоялась – вот он, Христос, через две тысячи лет во главе мировой религии! Кто может отрицать этот факт? Благодаря Христу вошёл в мир и Ветхий Завет, и мусульманство не обходится без Исы – Иисуса Христа. Его существование, Его присутствие в мире и во мне – несомненны. Легче верить, но лучше – знать.

Стремление к такому знанию не отрицает веру, а дружит с ней. Вера же (догматическая) противится знанию. Хотя в итоге – сколько бы слов не тратилось на разные толкования (в том числе и на это), истине достаточно двух слов:

Христос воскрес!

* * *

Екатерина II, не в пример Сталину, любила повторять:
– В обществе всегда находится человек, который умнее меня.

– Меньшинство обычно более право, чем большинство.

* * *

Солдат-художник “изображал людей с такой поразительной точностью, что его товарищ сказал: “Аж скучно было смотреть”. (Н.Еленев)

* * *

Народ всегда имеет власти, над которыми не имеет власти...

* * *

Маяковский сначала хотел спрятать звон свой в мягкое, женское, потом всю свою звонкую силу поэта отдавал атакующему классу. Кстати, и Есенина приравнял к своей звонкости: “умер звонкий забулдыга-подмастерье”. А после его смерти – перед собственной гибелью – с ним аукнулся Мандельштам: “Лучше сердце моё разорвите/ Вы на синего звона куски...” Кстати, у Маяковского было “сердце отдать временам на разрыв”. Если продолжать тему переключки двух столь различных поэтов, то как не вспомнить “всё это отдам за одно только слов ласковое человечье” Маяковского и “Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, – И спичка серная меня б согреть могла”...

* * *

Эрих Фромм о преувеличенном материнском бескорыстии, как о скрытой нелюбви к жизни и даже – детям! «Нет более подходящего способа передать ребенку опыт любви, радости и счастья, чем любовь матери, умеющей любить себя».

* * *

Аккерман для меня закончился, как роман. С удивлением (после эпилога) я, приезжая, вижу продолжение. Ненужное (с точки зрения биографии и «искусства»).

* * *

Как писать о прошлом когда знаешь последующее?
Как заставить читателя «не думать о слоне».

* * *

Свобода воли, выбора – от Бога как высшее выражение ненасилия. Он воздействует на людей, но ненасильственно. Мудрое государство должно вести себя так же по отношению к алкоголизму, проституции. Но применение силы против насилия – вечная проблема.

* * *

Увы: не разум, логика, истина ведут массы, а – вера, воля, страсть. Чувствуешь харизму оратора даже тогда, когда он выстучает на незнакомом языке. Как и певца, не понимая слов...

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Я в гостях у румынского знакомого. Пока готовится ужин в столовой, заглянул в соседнюю комнату, где занимается дочь, студентка биофака. Рядом какая-то вешалка под простыней. Глянул вниз – вздрогнул, из-под простыни выглядывают ступни скелета. Заметив моё смущение, девушка объяснила, что одолжила, готовясь к экзамену, а перед приходом гостей накрыла «наглядное пособие»).

Я потерял аппетит. Все думал о человеке, скелет которого стал экспонатом...

* * *

– После Пушкина как писать?

– Но он писал бы еще долго и много, если б продолжал жить! Вот и пиши, старайся досказать за него хоть что-нибудь. Он же не дожил до твоих лет! И до наших дней...

* * *

В начале двадцатого века диагноз, поставленный Лениным и компанией был неверен. Устарел не капитализм как формация, а царизм. Потому-то и лекарство оказалось ядовитым...

Идем в Одессе с Хазиным по Пушкинской. На высоте третьего этажа с балкона нависает толстуха невероятной ши-

рины. Мы приостановились, невольно уставившись на нее.
Она вдруг произнесла:
– Сами вы корова!

ПАРОДОКСЫ СВОБОДЫ

*Той дорогой, которой иду,
Я, наверное, в ад попаду.*

Где это написано, кем, когда? А пишет это Юрий Одарченко в Париже в тридцатых или сороковых годах. Впоследствии он кончает жизнь самоубийством... Немало русских поэтов во Франции (Г. Иванов, М. Цветаева, В. Ходасевич), но они не видят прекрасного Парижа, жизнь бессмысленна, безысходна. Хотя они-то свободны. А в те же годы в рабской отчизне тысячи и тысячи поют вполне искренне: «Легко на сердце от песни веселой...»

* * *

Кольца годовые можно увидеть на срезе, но их нельзя размотать, размонтировать. Книга лирики как целое. Нет точных начал и четких окончаний. Поверх строчек, прописных и точек идет непрерывающееся течение. Лики лирики.

* * *

Пушкин и тип вроде капитана Лебядкина – существа одного и того же биологического вида, они одинаково отстоят (по горизонтали) от приматов. По вертикали же от Лебядкина до Пушкина расстояние – как от земли до звезд!

* * *

Широко известна цитата из дневников Чуковского 1934 года о Сталине. Для понимания менталитета того времени: в «Вопросах литературы» (январь-февраль 2008 г.) на стр. 29 строки из письма Маргариты Алигер к Луговскому (май 1936 года) в Мисхор, где он в пансионате НКВД «отдыхал

после успешной четырехмесячной (!) командировки во Францию: «Вот теперь уже серьезно завидую, что Вы там с чекистами. Ведь вот, наверное, чудные люди. Я их очень люблю, даже понаслышке. Мы с Женькой всегда мечтали иметь таких друзей...»

Женька – это Долматовский.

* * *

О совпадениях. Известны текстуально совпадающие строки у Г. Иванова и Б. Чичибабина: «И никто нам не поможет,/ И не надо помогать» (Правда, в контексте смысл разный. У Иванова – потому, что мы того не стоим, у Чичибабина – сами справимся). А есть еще у Володи Соколова: «Мне не может никто и не должен помочь». Это из стихотворения 70-х годов.

* * *

Странная книга «Неизвестный Дзержинский». На обложке нет имени автора. В выходных данных – Анатолий Иванов. А «От автора» подписано Гертруда Стаф. И действительно, многие куски идут от женского имени. В целом – книга грубо компилятивная. Например, вставлен явно советский эпизод с шалашом, где есть Ленин, а Зиновьева нет.

* * *

У меня с Александром Ивановым был забавный случай. Он напечатал пародию на меня. С эпиграфом из моего стихотворения. Читаю – в эпиграфе ошибка: вместо «излучение» – «извлечение».

Встречаю его в ЦДЛ, говорю, «Саша, пародируй сколько хочешь, но не искажай цитату!» А он вытянулся во весь свой глистообразный рост и изрёк: «Я никогда не ошибаюсь!» Я опешил. Прибежал домой, смотрю, действительно: в сборнике «извлечение».

Я до этого не видел! Правда, он мог бы и догадаться, что опечатка...

Кстати, у него не пародии, а, как правило, – стихотворные фельетоны на поэтов.

* * *

Бродский, следуя за Пастернаком, смело ввёл русские реалии в свои стихи об Иисусе и Марии. Но вдруг вспомнил, что так поступил еще Бунин! Я имею в виду «Бегство в Египет». У Бунина получается, что Мария (почему-то без Иосифа) бежит в Египет... из России: «По лесам бежала Божья Мать, / Куньей шубкой запахнув Младенца... Холодна, морозна ночь была... Волчьи очи зеленью дымились... Две седых медведицы в лугу...» и т. п.

А, может быть, пример подал Тютчев:

*Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.*

Да и в средние века русские богомольцы мыслили Иерусалим и Евангельские события как происходившие в России...

Кстати (или некстати): помню, нинина тётя Катя возмутилась, когда я сказал, что Мария была еврейкой. Была убеждена – конечно, русская. Мария ведь! Ну, ладно, она была не очень грамотной, но Соснин, зав.отделом партийной жизни в газете «Советская Молдавия» (дело было в пятидесятые годы) также возмутился, когда ему сказали, что Маркс – еврей. Немец! – настаивал он. Тогда мы (я и Ося Герасимов) ему предложили заглянуть в энциклопедию. Он помчался в редакционную библиотеку, вернулся и говорит: «Ничего подобного там не сказано!». А мы – ему: ты в старую загляни, в «Гранат»...

Он к нам не вернулся. Целую неделю ходил хмурый, нелюдимый. Потом вдруг опять заулыбался. Оказывается, где-то вычитал, что Маркс был крещённым. Соснин, матёрый партиец, «интернационалист», утешился тем, что вождь был выкрестом, то есть как бы уже не евреем...

* * *

Просто и верно высказался Нагибин о поэзии в своём дневнике (17.04.82): «Цветаева была безумным, но трезвым

человеком с мускулистой душой, которой никогда не изменяла главная сила поэзии: способность сказать найкратчайше. Ахмадулина растекается, как пролитая на столешницу водка».

Подчеркивание – моё. Оказывается, я всегда так и думал, так и делал, но удивлялся и даже завидовал способности других опьяняться словами. Поэтов уйма и 90% написанного ими – лишнее...

Правда, то, что сказал Нагибин, относится к лирике Цветаевой, а в «Царь-девице» и «Перекопе» она тоже впадала в многословие.

* * *

Реже, но жильцы продолжают сбрасывать книги. Я чуть ли ежедневно заглядываю в мусорные контейнеры. Недавно подобрал «Унесенные ветром», однотомник Фиджеральда и др. Но самое поразительное: наткнулся на редкую, ценную антологию поэзии Ежова и Шамурина. А в палатке уцененных книг у метро «1905-го года» – томики избранных стихотворений Самойлова, Смелякова, Тряпкина по 10 рублей (билет на троллейбус стоит дороже!). Первых раскупили, но Тряпкин ещё лежит.

* * *

Прочитал Алена Деко об убийстве Джона Кеннеди. Он уверен в виновности Освальда (я тоже), но соглашается с тем, что стрелял не он один, а еще кто-то со стороны холма. Тогда остается в силе версия заговора...

Меня удивляет, что такой внимательный и дотошный публицист как Деко не замечает невероятного: как могли двое стрелков так согласовать свои выстрелы из разных мест, чтобы они совпали по секундам, были в сущности одновременными! Откуда такая синхронизация?

* * *

Поразительна готовность многих поверить чему угодно. Хорош на эту тему анекдот: Поляк встречается знакомого: –

Знаешь, кем оказался Папа Римский?.. Тот, потрясённый, всплескивает руками: – Не может быть!

Так, тёртый калач, один многоопытный чиновник в своё время совершенно серьезно убеждал меня, что Ельцин давно умер, вместо него – двойник. Только человек с отключенным представлением о конкретной реальности может верить в такую возможность. На днях читал – кто-то додумался, что Пушкин сам сочинил анонимку против себя, чтоб иметь повод вызвать Дантеса на дуэль. Можно ли реально представить себе такого Пушкина? В этом ряду и фантастические версии об убийстве Есенина и Маяковского. Одна знакомая возражала: – Но ведь на фотографии, где Есенин в гробу, ясно видна глубокая травма на его лбу!

Смешно. Если так тщательно осуществили инсценировку, чтобы скрыть убийство поэта, то прежде всего загримировали бы покойника!

Неувязка и с Николаевым, убийцей Кирова. Если кто-то направлял Николаева, то почему он согласился умереть? Ведь ничего не было предпринято (и не предполагалось) для спасения убийцы. Напротив, он после выстрела в Кирова выстрелил (неудачно) и в себя. И валялся в истерике рядом с ним, пока его не скрутили. Неужели кукловоды придумали такой странный (и опасный) сценарий?

* * *

Во время гражданской войны белые пели:

*Мы смело в бой пойдём
За Русь святую
И, как один, прольём
Кровь молодую.*

Красные, не смущаясь, подхватили и пошли дальше – решили не кровь пролить за Русь, а умереть за Советы:

*Мы смело в бой пойдём
За власть Советов
И, как один, умрём
В борьбе за это.*

Пели, не обращая внимания на то, что, если «как один, умрём», кто же останется? Нелепый и страшноватый мотив смерти уже маячил в песне на слова Ф. Шкулёва «Мы кузнецы»:

*...и за желанную свободу
Мы все страдали и умрём.*

Невольное (подсознательное?) некрофильство. И действительно – «мы за ценой не постоим» – умирали за свободу...

* * *

Я писал, что мне вдруг в 1968 году открыла глаза на «гегемона» одна фраза Маркузе: «Каждый пролетарий мечтает стать буржуа». А, оказывается, еще Герцен сказал: «Рабочий – буржуйский буржуа»...

* * *

Кто-то из видных математиков предложил праздновать число «пи» 14 марта (3,14) – ... мой день рождения!

* * *

У Маяковского немало шероховатостей, корявостей и просто ошибок. Но его энергетика так сильна, что годами ничего такого не замечаешь. Например, только недавно обратил внимание на неправильное ударение в рифме «понуру-конуру» («Облако в штанах»), или «Навсегда теперь язык в зубах затворится». («Сергею Есенину»). Как это – «язык в зубах»?

(Не в оправдание будь сказано, но всё-таки «правильные», гладкие стихи сотен профессиональных поэтов вызывают отвращение!)

Колдовство стиха – поверх смысла. В юности я с удовольствием читал у Блока, скажем, такое: «Все на свете, все на свете знают:/ Счастья нет, / И который раз в руках сжимают/ Пистолет. /И который раз, смеясь и плача,/ Вновь живут...» А ведь можно было придаться: почему это «все знают»? Не все! И почему «счастья нет»? У кого как... И откуда «у всех» пистолет? И что это за фраза «в который раз вновь живут»? Как у Ваншенкина о жизни: «Я люблю тебя снова и снова»?!

С таким же удовольствием смаковал звукопись у Маяковского, – не вдумываясь: «Пули погуще,/По оробелым,/В гущу бегущих,/Грянь, парабеллум!»

А в его стихотворении «Сергею Есенину» есть образ, который пугающе аукнулся в предсмертном «Во весь голос»:

«И несут стихов заупокойный лом» (это о Есенине)

«В курганах слов, похоронивших стих,

Железки строк случайно обнаруживая...»

(это о своих стихах!)

Маяковский, говоря о предсмертных стихах Есенина, цитирует строки «Предназначенное расставанье/ Обещает встречу впереди...» и добавляет: если бы Есенин подумал, он написал бы «Предначертанное...». Почему Маяковский обращает внимание на звук, а не на смысл? Неужели мистицизм самоубийцы ему был безразличен? Также, отвлекаясь от содержания, он рассматривал с точки зрения формы явно контрреволюционные стихи Гиппиус.

* * *

В послевоенные годы вдруг разразилась, как зараза, борьба в очередях с вопросом «кто последний?». Зло отвечали «здесь последних нет!». И победили. Надолго воцарилась кривая замена «кто крайний?».

Постепенно «последний» вернулся, но и сейчас нет-нет да услышишь «кто крайний?»...

* * *

В ЛГ от 11.06.08 панегирик Личутину (автор Ю.Архипов). Главная идея: «Как бы нам всем уяснить, что наше будущее – в нашем прошлом.» А как пример художественного таланта Личутина – такой образ: «Русь легла, раскорячась, на две стороны света, и в брюшине у нее заходили дурные ветры». Ну, чем не карикатура, сочинённая русофобом? Вдобавок глупость самого Архипова: «А Александр I, победитель гордеца Наполеона, смиренно растворившийся в народной молве под видом скитальца Фёдора Кузьмича?».

* * *

Блаженный Августин: “Мир сотворен не во времени, но вместе с временем”. В нас стрела времени направлена из будущего в прошлое, где и накапливается. Остроумно, но так ли? Однако в памяти никакого времени (длительности) нет. В памяти – склад эпизодов, их монтаж. А музыка? Она хранится в свернутом виде. Музыка воспроизводима, а зрительные картины вспоминаются без голосов. . .

Но и Августин восклицает: “Я низвергаюсь во время, строй которого мне неизвестен”. А Парменид обращается к Богу: “Ты возвышаешься над всем будущим, все твои годы одновременны и неподвижны”.

В Переделкине меня почему-то не тянет к той даче, где я жил в студенческие годы. Странное чувство, словно это было в другом месте. Не здесь. Требуется усилие, чтобы совместить то время с нынешним в одном и том же пространстве. . .

* * *

Зоргенфрей пишет о Блоке: «...всяческое литературное мастерство, все формально-поэтическое вызывало в нем отрицательное чувство... Достижения в области стихотворной техники оставляли его глубоко равнодушным, если с ним не связывались достижения иные». Как хорошо!

У Блока бедный словарь, в сущности – книжный (словарь Клюева куда богаче!), но он из всего нескольких сотен слов сотворяет чудо – волшебник!

Мария Бекетова о Наталье Николаевне Волоховой: «...дивное обаяние... Но странно, все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла.» Актриса В. Веригина добавляет: «То же самое мне говорила мать Александра Александровича. Однако это неверно, верно одно, что Снежная дева отухла, ушла, но сама Волохова осталась той же яркой индивидуальностью...» Что же неверно? Что Волохова без Снежной девы? Что Анна Керн после Пушкина?

Александр Гладков: «Из разговора с Н.Я.Мандельштам (дек. 1960 г. Таруса).

Я: – Н.Я., я очень люблю одно из тончайших стихотворений О.Э.Мандельштама «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...». Я хотел бы чтобы вы мне рассказали об его биографическом контексте...

Н.Я.: – Очень просто. Оська уехал от меня из Крыма и где-то таскался по бабам...

Ирина Сурат отмечает, что «народная этимология сближала слова «Русь» и «Ерусалим» как родственные, однокорневые... В русских духовных стихах Иерусалим стоит посреди Святой Руси... Христос родился на Святой Руси...» Она же замечает, что только Русь назвала себя святой и цитирует Карташева: «Англия охотно величает себя «старой», Германия «ученой», Франция «прекрасной», Испания «благородной» От себя добавлю, что Румыния называет себя «сладостной». Выходит, я зря смеялся над нининой тетей Катей, когда та называла Марию русской – оказывается, это – в генах...

* * *

Публичный человек – это одно, а публичная женщина? Коварство языка, сохранившего древнее понятие «человек – это мужчина». Скажи «навстречу шли два человека» – невольно представят себе двух мужчин.

* * *

28 ноября 1945 года Панфёров пишет Маленкову:

«Свершилось Величие – победа нашей партии, нашего народа над оголтелым врагом – фашистами, стало быть, в конечном итоге – победа коммунистической идеологии над варварской идеологией – фашизма-капитализма».

Забыл, что «партия и народ» победили Гитлера вместе с капиталистами-союзниками? Но любопытней другое: забыл, что еще недавно (перед войной) Сталин и Молотов подчеркивали, что никакую идеологию нельзя победить оружием, что это – средневековье... и т.д.

Кстати, сын Цветаевой Г. Эфрон 29 июня 43 года (!) записывает в дневнике: «...сражаемся мы не против фашистов, а против иностранных захватчиков. На фашизм нам было

наплевать до июня 1941-ого года». Точно. Это «уточнение» не так давно мне самому пришло в голову, когда в сотый раз прочитал, что заслуга СССР в том, что он сокрушил фашизм и освободил от него Европу. Привычное повторение этой формулы мешало ее осмыслить. Сам Гитлер заставил Сталина воевать. К тому же, ту часть Европы, которую мы попутно освободили, мы же и подчинили себе...

МАЙОР МИЛИЦИИ ДАРИТ МНЕ РУЖЬЕ

Однажды ко мне в «Молодёжь Молдавии» пришел тихий скромный майор милиции Александр Петрович Левичев и принес легкие, изящные, но весьма занозистые сатирические стихи. Я стал его печатать, он воспыал ко мне восторженной влюбленностью. Однажды он заманил меня (с кем – не помню) к себе домой. Веселились, пили. Мой майор, раскисший от умиления, горячо придумывал способы, как спасти меня в случае атомной войны. Перед уходом он вдруг сорвал со стены охотничье ружье и сунул его мне в качестве подарка. Как я не отбивался, как не клялся, что я не охотник и никогда им не буду, он продолжал настаивать, грозя в противном случае смертельно обидеться. Пришлось взять. Не забуду глаза моей жены, когда я заявился домой заполночь подвыпивший, с ружьем!

Выспавшись, я, разумеется, отнес «подарок» обратно. Левичев сконфуженно принял его... Добрый, чистый был человек. И при этом едкий сатирик. От сокрытой ранимости, что ли? Потом я уехал из Кишинева, потерял его из виду. Через годы узнал, что он осенью 1972 года погиб, защищая женщину от бандитов. Тетрадь его стихов до сих пор хранится у меня.

ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ, ИЛИ ДОСТАТЬ КНИГУ

Достать книгу...

В советскую пору это была проблема: цены не имели значения: книгу не покупали, а доставали, решали дело привиле-

гии, блат. В отличие от простых смертных у нас был свой магазин. Еще со скамьи Литературного института, мы получали доступ в заповедную «Книжную лавку писателей» на Кузнецком мосту. А точнее – на второй ее этаж. Прочие граждане толклись на первом, где ассортимент ничем особым не блистал, члены же союза уверенно, но осмотрительно взбирались по весьма узкой лестнице на «капитанский мостик». Наверху, в метре справа и спереди от лестницы в тесном промежутке стоял прилавок, где книг навалом – редкие книги и новинки: выбирай!

Я восторженно пользовался этой привилегией после каждой стипендии, был вполне доволен и долго не замечал, что и верхней этаж – это только нижний ярус особой иерархии.

Во-первых, нам «прилавочникам» далеко не всегда доставалось желанное. Надо было придти заранее (предупреждали сведущие друзья: «дают того-то и того-то...»), отстоять очередь, сначала на лестнице, потом у барьера.

Во-вторых, за прилавком был зал, похожий на библиотечный, со стеллажами и столами, – заповедная зона. Маститые и полумаститые писатели смело проходили за прилавок, слонялись по залу, перебирали книги и брали, что хотели. Иногда отходили в сторонку и как старые знакомые шептались с «хозяевами» – Кирой Викторовной и Олегом Леонидовичем.

Но в правом углу зала была еще небольшая комнатка с занавеской в дверном проёме. Туда проникали только избранные, всякие члены правлений и редколлегий. Однако и это еще было не всё. Уже будучи работником аппарата Правления СП СССР, я узнал, что лауреаты и секретари СП вообще в Лавку не ходят, им подбирают книги в той самой спецкомнате с занавеской, пакуют и передают через посыльных и родственников.

С падением советского уклада быстро увяла и Лавка писателей. Свобода печати и книготорговли лишили ее привлекательности и власти привилегий. Те же книги отныне и наверху и внизу. И на улице. Выбор огромный, но...

Доступность, конечно, великое благо. Если не брать в расчёт, что настоящая книга теперь почти недоступна по цене, а доступной – грош цена... Однако не это стало для меня нео-

жиданностью – я не раз побывал в «рыночных» странах. Поразило меня другое:

Я живу на Малой Грузинской возле «писательского» дома, где писателей почти не осталось. Между домами – три мусорных контейнера, в которые я попутно всегда заглядываю. Туда новые жильцы сбрасывают всякий хлам и... книги. Не только макулатуру, а и настоящий прежний «дефицит». Сборники Евтушенко, Вознесенского, Самойлова, Слуцкого, однотомики Бабеля, разрозненные тома Чехова, Герцена. И (к слову, – из другой оперы) полное (коричневое) собрание сочинений Ленина.

Вот тут, у мусорного контейнера я «весомо, грубо, зримо» почувствовал, что прежний мир перевернулся. Вот этого я, выживая книги из мешанины бутылок, коробок, тряпок, – книги, за которыми прежде гонялись и выстаивали очереди, этого и в дурном сне представить себе не мог.

Наклоняюсь в мусорный контейнер, чтобы в буквальном смысле – достать книгу...

КОТ И КОТЁНОК

Вчера умер Васенька-кот. Нина привезла его больного с дачи, он задыхался, часто и трудно дышал, однако ночь провел почти блаженствуя в укрытом домике, сооруженном на кресле рядом с Ниной. Домашняя обстановка и ласка его утешили. Но утром мы повезли его к врачу. Бедный Васенька не понимал почему его увозят, впервые два раза хрипло мяукнул, оглядываясь напоследок, словно прощаясь с квартирой (до этого он молча страдал). В такси с ним был приступ, вырывался из нининых рук, – доездили до врача в последний момент, началась агония, прямо на столе обмяк и ушел из жизни. Нина позвала меня (я оставался в приемной):

– Погладь его, простишь!

Я зашел, увидел его беленького на столе, погладил и, выбежав в коридор, разревелся... Долго не мог успокоиться. Ры-

дал скорей оттого, что получилось, будто обманул доверие животного...

Прожил он пятнадцать лет, врач определил большую опухоль в животе.

Последний год Васенька жил в большом недоумении. Рушился привычный и единственный его уклад, мы долго перебирались, оставляли его днями и ночами одного в почти пустой квартире, потом впервые за все его годы увезли на дачу, где он обретался во дворе, в полуизгнании. Он стоически все перенес, но жизнь комкалась, кончаясь...

А Нина всё сокрушалась, что Васенька будет «метить» в новой квартире. Васенька словно понял и избавил ее от хлопот...

Николай Валентинович, врач, тут же нам предложил полуторамесячного котика, подкидыша. Так мы и вернулись домой – с мертвым Васенькой в коробке и с котенком на руках...

Котик немедленно освоился, живчик, игрун. Вышло так, что Васенька определил его судьбу...

КАК Я НЕ ПОПАЛ В НОМЕНКЛАТУРУ

Наверное, я в Инокомиссии был белой вороной. Это довольно быстро поняли. Не знаю, по собственной ли инициативе или по чьей-то подсказке, но Чугунов посоветовал Дангулову взять меня в свои замы. Тот обратился ко мне с соблазнительными речами, я поддался искушению (будет достаточно времени для себя – журнал «Советская литература» (на иностранных языках) новых произведений не печатает, только переводы уже известных – легко справлюсь, да и зарплата выше!). Косоруков меня не удерживал. Так я оказался отв. редактором французского издания («Произведения и мнения») и первым заместителем гл. редактора «Советской литературы». Конечно, с моей стороны это попахивало авантюрой – я недостаточно знал французский язык, и хотя за мной была только подготовка номеров по-русски, все равно я попадал в несколько двусмысленное положение.

Я не знал тогда, что такой пост носит номенклатурный характер, а потому подлежит утверждению в инстанциях. Как я узнал впоследствии, мое назначение первым замом не было утверждено (это наверняка насторожило Дангулова), я остался только отв. редактором французского издания. Слух об этом до меня дошел, но я на него не обратил внимания, мне официально никто ничего не сказал! Зарплата осталась та же, обязанности те же...

Фактически заведовала редакцией Люся Галинская (она отвечала за издание на французском языке). Ее мужем был Жан Катала, корреспондент «Юманите». А кроме того он был переводчиком советской литературы. Вдруг разразился скандал в связи с его переводом «Блокады» Чаковского. Книгу раздолбал в газете «Монд» тот же Катала! Конечно, поступил неприлично. Но речь в данном случае не об этом. Меня вызвал Дангулов и сказал, что надо увольнять Галинскую. Я отказался: жена за мужа не отвечает. Дангулов удивился и показал пальцем на потолок – инстанции требуют! Я ответил, что не могу нарушать кодекс о труде. Галинская прекрасный работник, ни одного замечания за много лет.

– Тогда предложите ей уйти по собственному желанию!

– И этого я сделать не могу. Это несправедливо, у меня язык не повернется.

Савва рассвирепел:

– Вы не понимаете или хотите меня подставить? Хорошо, я сам!

Я предупредил Люсю. Дангулов вызвал ее, предложил написать заявление об уходе. Она категорически отказалась. Тогда Дангулов (сам додумался или ему подсказали?) через некоторое время сократил должность Галинской. Абсурд! Редакция оставалась без заведующего. Галинская попробовала судиться, но ясное дело – ничего не добилась (на дворе стоял 1971 год). Вскоре она и Жан уехали в Париж. А я приобрел в Дангулове недоброжелателя. При первой же возможности я от него ушел (и сам Дангулов меня «поддержал», он сказал Суровцеву, главному редактору вновь создаваемого журнала «Литературное обозрение»: – Возьми ты его от меня!

Я стал заведовать отделом зарубежной литературы. Это было понижение. Но спасибо судьбе – я от этого только выиграл – из болота вернулся в нормальную литературную жизнь.

БОСОЙ МАРШАЛ

Дочь Буденного – Нина Семёновна – была моей сослуживицей в издательстве «Московский рабочий». Как-то рассказала эпизод из своего детства: всей семьей ехали на поезде в Крым. Конечно, отдельный вагон. На какой-то станции люди прознали, кто едет, стали выкликать Буденного. А маршал от вагонной духоты лежал в одних трусах. Торопясь, он накинул на голые плечи китель с орденами, застегнулся и встал к окну. Народ приветствовал своего любимца, а Нина видела сзади папу: в маршальском кителе до пояса, а ниже каёмка трусов и голые босые ноги. Давилась со смеху...

Я подумал, – картинка символическая. Такой была и страна. Парадная и голоштанная.

ФЕЛИКС ЧУЕВ

В мое литобъединение при газете «Молодёжь Молдавии» он пришел еще школьником, симпатичный белокурый русский парень. Я первый поддержал его в Кишинёве. Писал Феликс простые искренние стихи об отце, погибшем летчике, трогательно заботился о младшем брате. Поступил в московский энергетический институт. От него, приехавшего на каникулы, я впервые услышал «Мы живём, под собою не чуя страны» Мандельштама и тут же запомнил. Феликс был вполне, так сказать, прогрессивно настроен, пока не попал в компанию Егора Исаева, который в «Советском писателе» издал его первую книжку «Год рождения 41-й» и стал его пропагандировать в пику шестидесятникам. К тому времени Феликс женился на красавице, талантливой поэтессе Тане К. Но в той компании, к которой он примкнул, полагалось пить и ругать евреев. Его

дрейф в «ту» сторону ускорился еще и тем, что Таня ушла от него. Чувев со временем «прославился» тем, что опубликовал в «Московском литераторе», стихотворение, оказавшееся акростихом: «Сталин в сердце». Когда его вызвали «на ковёр», он оправдывался: – Я же не написал «Гитлер в сердце»!

Мы почти не виделись, но, когда виделись, он всячески выражал дружеское расположение ко мне. Работая в издательстве «Советская Россия», он оказался редактором моей книжки «Кольца годовые» (1981). Не помогал, но и не мешал. Вяло возражал на мои политические «шпильки». У него самого выходило немало сборников, но славы не прибавлялось, он всё чаще попивал, грубел. Во время перестройки вступил на съезде союза писателей России со «смелым» открытием: «Произошла контрреволюция», – бедняга полагал, что революция была жива... Он как-то глухо, в одночасье умер в 1999 году. Говорили, что его хватил удар в машине.

И Чуева бы скоро забыли, если б не его примечательная заслуга: он познакомился, вошёл в доверие к Молотову, затем к Кагановичу, добросовестно записал и опубликовал все беседы с ними. Эти книги останутся ценными историческими документами, во многом разоблачительными (против намерения публикатора)... Чего стоит, например, такое высказывание Молотова от 4-го декабря 1973 года, высказывание коротко и круто определившее всю действительно агрессивную советскую политику:

«... подготовка к войне должна быть огромная. И тут жалеть ничего не надо, пока американцы не жалеют. Мы взяли на себя большую задачу – помочь осуществлению свержения империализма. Это очень дорогое дело»

* * *

«Мы открывали Маркса каждый том,/ как в доме собственном мы открываем ставни» – сообщил Маяковский. Преувеличил Владимир Владимирович. Честней был Есенин: «... ни при какой погоде/ Я этих книг, конечно, не читал», хотя угваривал себя: давай, мол, « за Маркса тихо сядем, понюхаем премудрость скучных строк». Это уж точно не «каждый том»!

А «собственный дом» откуда затесался в социализм? Удивителен был и Пастернак, воскликнувший в те годы: «Мне хочется домой, в огромность / квартиры, наводящей грусть». Это при острейшем жилищном кризисе! По тогдашнему времени точней у Асеева: «За эту вот площадь живу, / за этот унылый уют / и мучат тебя и целуют, / и шагу ступит не дают».

* * *

Наконец (с опозданием!), прочитал «знаменитый» роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Интересны и информативны всего несколько страниц, остальное – изобретательная, но совершенно пустая детективная игра, ремесленная поделка, деградация жанра. Неужели теперь такое становится бестселлером?

Странно, автор упустил одну деталь. Он утверждает, что на «Тайной вечери» справа от Иисуса не Иоанн, а Мария Магдалина (образ действительно женственный!), но тогда за столом не 12 апостолов, а 11 плюс женщина! Где еще один апостол?

* * *

В журнале «Москва» случайно прочитал, что в 2002-м умерла в Париже Элизабет Маньян в возрасте 96-ти лет. Узнал, что она «до самого последнего времени (до распада СССР...) получала из Москвы огромную пенсию, какая и не снилась коренным французам...» Она родилась в России, работала в Коминтерне, вышла замуж за секретаря французской компартии, затем стала «профессиональным другом» советской литературы.

Я с ней познакомился, когда работал у Дангулова во французском издании – «Произведения и мнения». Будучи в Париже с туристской группой, я вспомнил про неё, позвонил и напросился в гости вместе с Лёней Жуховицким (недаром же при ее наездах в Москву её кормили обедами в ЦДЛ).. Она нас приняла вежливо, но ничем не угостила, хотя в комнате был стол со следами недавней трапезы. Я намекнул на скудость наших средств и что мы впервые во Франции. Тут она спохватилась и не только угостила, но вызвала сына и он

повез нас с нею на Монмартр. Посидели и в ресторане, где я станцевал с французенкой, работницей какого-то банка (об этом есть стихи), а мадам Маньян пригласил молодой человек (ей уже было лет шестьдесят), она сияла (мне впоследствии объяснили, что это – типа жиголо, одна из услуг ресторана для одиноких пожилых женщин).

* * *

Огрызко в «ЛитРоссии» утверждает, что у Бориса Полевого не было никакого вкуса в литературе. Может быть. Мне не приходилось прямо с этим сталкиваться. Помню, говорили, что активно читала материалы его жена – учительница языка и литературы. Редакционный коллектив и редколлегия играли серьёзную роль в формировании номеров журнала, Полевой отвечал за политику в «сферах»...

Еще в упомянутой газете приводится письмо Шолохова от 11 ноября 1969, адресованное Брежневу в защиту гнусного романа Кочетова «Чего же ты хочешь?». Шолохов писал: «... не надо ударять по Кочетову. Он попытался сделать важное и нужное дело, приёмом памфлета разоблачая проникновение в наше общество идеологических диверсантов». Это автор «Тихого Дона»?

* * *

– Что вы зациклились на поисках общего предка у человека и обезьяны? Найдите его общего предка с одуванчиком! А его не может быть, как не может быть у мочевого пузыря и мозга. Познайте общий организм!

Существует ли информационное поле, связанное с жизнью? Очевидно – что-то существует, как в обществе пчёл и муравьёв. Кошка каким-то образом подтверждает своему роду, что с человеком можно дружить. Эмбрион снабжён не только программой внутреннего развития, но и информацией о том, что ожидает его во внешней среде. Как она передаётся? Где и как записывается? Почему не предположить и более высокую ступень передачи и сохранения информации?

* * *

... В интернете обсуждают Катынь, коммунизм. Удивительно, сколько глупости! Откуда немецкие пули в Катыни? Дескать, как могли туда попасть в 1940-м году? А подсыпали в 44-м при инсценировке для комиссии Бурденко. Это же очевидно! Главное же – убегают от вопроса: как лагерь попал к немцам. Если не был выполнен приказ об эвакуации (где следы приказа?), то кого наказали? Охрана разбежалась, а поляки – нет? Или нарочно оставили немцам на погибель? Тогда тоже преступление!

Другая версия: поляков, дескать, до войны передали немцам, а они... и т.д. Явная туфта!

* * *

В Интернете статья какого-то типа (псевдоним «Голос»), где любопытная мысль: демократия существует только в границах того или иного государства, – межгосударственной демократии быть не может... Сама же демократия исчерпывается выборностью...

Ну, вряд ли только выборностью. Демократия – это набор известных гражданских свобод. Государство при демократии (в идеале) выступает как подконтрольный регулятор всей общественной жизни... А о границах – это интересно! Действительно, демократия внутренней политики автоматически не распространяется на внешнюю...

Но автор «идёт дальше», делает вывод, что борьба государственных интересов непреодолима и отрицает будущее Евросоюза.

Это не так (говорю с осторожным оптимизмом). Маркс ошибался, утверждая, что классовая борьба непримирима и ведёт к революции. Теперь этот дядя переносит марксистский тезис на антагонизм между государствами. Но на наших глазах совершилось чудо: Европа, которая была веками раздираема войнами, сумела как-то объединиться. И капитализм уже совсем не тот, не «антипролетарский». Это неоспоримый факт и он внушает надежду. Кстати, обе мировые войны не были войнами между демократическими странами, а, меж-

ду прочим, как раз привели к падению многих недемократических режимов...

* * *

Читаю между прочим о Лютере. Раньше (почти не зная ничего о нём) думал, что он пытался вернуться к первоисточнику, к истинному христианству. Теперь вижу, что его «возвращение» – не в ту сторону. У меня вызывает глубокое неприятие его отрицание самодостаточности добрых дел, фаталистическое истолкование веры. Куда ближе и человечней путь улучшения кармы (учение может быть повлиявшее и на Христа!).

С возрастом меня раздражает философия – ее логическое многословие, столь разительно отличающееся от Нагорной проповеди, Екклесиаста и Песни Песней... Как и в поэзии, истина рождается (постигается) сразу – как любовь с первого взгляда!

* * *

... Мера таланта – способность к росту. Как быстро и резко рос и менялся Пушкин! Или Блок, или Есенин. А Маяковский, Пастернак! Большинство талантливых поэтов достигает профессионального уровня, находит свою нишу и пребывает в ней. Свежесть испаряется, остается инерция ремесла.

* * *

Прислали мне ксерокопию из воспоминаний Адриана Пэунеску, где упоминаюсь и я, а через несколько дней узнаю, что он умер... Он родом из Бельц, ему еще и 70 не было. Помню его молодым. При Чаушеску стал весьма известным как официальный поэт-националист. Легко и обильно писал в традиционном стиле.

Привожу отрывки из этих воспоминаний, озаглавленных:
“С Мироном Раду Параскивеску по Советскому Союзу”
 (“Jurnalul de Dumínica” 30 oct. 2010)

Адриан Пэунеску рассказывает о выступлении во Дворце Спорта «Лужники» году в 66-ом, «куда 13000 советских людей пришли порадоваться литературной встрече с поэтами социалистических стран, собравшихся на огромной сцене

вместе с поэтами советских республик. Тогда я впервые увидел Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Инну Кашежеву и многих других, чьи имена стерлись в моей памяти. Поэты выступали поочередно и перед тем, как читать стихи, благодарили организаторов, приветствовали страну Советов. Так обстояло дело до того, как объявили Мирона Раду Параскивеску; он, оглянувшись в сторону румынской делегации, как-то загадочно улыбнулся, словно приготовил сюрприз, и действительно, он нарушил все формальные условности сенсационной речью, которую Кириллу Ковальджи пришлось переводить. Хотя с тех пор прошло много лет основные мысли и выражения большого румынского поэта сохранились в моей памяти:

«В каждом обществе важное значение имеет отношение к свободе слова. ... Здесь, в великой стране нашего мира, Ленин сумел сказать о творчестве магическое слово *prosto!* То есть свободно. Это отношение мудрого человека к любому барьеру, препятствующему творчеству. Это единственное цивилизованное отношение, допустимое в наши дни: *prosto.* То есть свободно.

Слышал я, что в стране, в которой была произнесена ее учителем эта магическая формула, имеются сегодня люди, пострадавшие за свои идеи, люди, лишенные не только свободы слова, но и собственно свободы. Я обращаюсь к товарищам из советского руководства и прошу их срочно, согласно отношению Ленина, сказать тем, чье мнение отличается от официального: Просто! Свободен!»

Измученный переводчик этой вызывающей позиции, Кирилл Ковальджи, весь вспотел и оглядывался вокруг, ища выхода, спасительного знака. В зале, странно, обозначилось начало какого-то гула. Это еще не было резкой реакцией... Но росло смятение в «Лужниках». Бурные аплодисменты накладывались на рев негодования. Модератор встречи, официальный поэт Марков дал слово венгерскому поэту, представленному в качестве художника слова, который прибыл в Москву не для того, чтобы учить нас политике.. И поэт из Будапешта начал с прискорбной банальной строки: «Милая Россия! Хорошая!»

Что имел в виду Адриан, повторяя русское слово с ссылкой на Ленина? Речь как будто о свободе творчества, но где нечто подобное сказано у Ленина так «просто»?

Я должен был бы помнить лучше и точнее, но – увы! – в памяти осталось только нечто расплывчатое. Мирон действительно высказал что-то рискованное, в меру крамольное, я перевёл, может быть, смягчил (не потел, конечно!), но зал понял и отнесся к этому эпизоду одобрительно. Мирон был горд... Наверное, это происходило после ареста Синявского и Даниэля, но до суда над ними.

* * *

22 декабря 2010 г.

Звонил из Израиля Лёва Беринский с печальной вестью: вчера умер Валерий Гажа (Валериу Гаджиу). Помню его парнишкой с 1954 года – пришел на литобъединение, потом даже подружились. Писал стихи, подавал надежды, учился в Москве, стал известным как сценарист фильма «Человек идет за солнцем». Потом еще работал в кино, но тот первый успех не повторился. Со временем потерял его из виду и, будучи в октябре в Кишиневе, каюсь – не вспомнил о нём... Жаль, что так получилось.

* * *

Пробовал читать прозу Брюсова. Рассказ «Торжество науки» сухой, неинтересный, хуже того – неталантливый, просто ремесленный. А затронул серьезный вопрос: существуют ли живые информационные поля? А если да, то какие? У муравьев, у птиц, у пчёл – понятно. А у нас – у людей?

Потом открыл хваленый «Огненный ангел», но старт романа – устаревший до невыносимости. Вообще – как быть с художественной литературой сегодня? Какой она должна быть? Я-то чувствую, как она из живой жизни переходит в музей и становится в ряд с экспонатами для зевак и высоколобых литературоведов.

КАК СОЧИНЯЮТСЯ СТИХИ

Нашему Сане годика три-четыре. После обеда Нина его укладывает спать, ему не хочется, он что-то бормочет под впечатлением какой-то ему прочитанной книжки, сам пробует сочинить стих. И делает это вслух. Через некоторое время он громко выдает:

*– Ой коровушка Муму,
Не ходи... нигде...*

Помолчал смущенный. Что-то не так. Вздохнул и начал сначала:

*Ой коровушка Муму,
Не ходи... нигде... му...*

С интересом прислушался к последней строке, повторил ее, мотнул головой и наконец торжествующе возгласил:

*Ой коровушка Муму,
Не ходи к тому дому!*

Вот теперь и складно, и ладно. Довольный, сообщил:

– Я вспомнил!

Процесс сочинения у него уподобился воспоминанию.

ПЕРЕВОДИТЬ ВЕРЛИБР

Во второй половине пятидесятых годов я с волнением смотрел документальный фильм о Париже, который заканчивался запомнившимися строками из стихотворения Жака Превра (не знаю чей перевод):

*...И если ветер последнего дня
задует мою свечу
где-нибудь под мостом,
и я навеки усну
в роскошном отеле бродяг*

*на кладбище Пер-Лашез,
я скажу:
– У меня была Сена,
у меня была любовь,
у меня была жизнь...*

(Образец верлибра, который запоминается, – это и есть один из признаков поэзии! Так надо верлибры переводить!)

И вот теперь в «Строфах века-2» набредаю на перевод Всеволода Рождественского того же стихотворения («Сена встречает Париж»). Но, Боже мой, насколько это хуже (хотя, может быть, ближе к подлиннику!):

*...Когда здесь, под Новым мостом,
Ветер задует свечу моей жизни,
Когда все земные покончу я счеты,
Когда наконец обрету я последний покой,
Там, в чертогах лежащих безмолвно рядами,
На кладбище Пер-Лашез,
Я улыбнусь и скажу:
«Была когда-то Сена.
Да, была, была...
Была когда-то Любовь.
Были радость и горе,
И были все же минуты забвенья...
Была когда-то Сена,
И Жизнь когда-то была...»*

* * *

Пространство в механике – это, так сказать, вместилище: попробуй налей ведро воды в стакан. На этом уровне, кажется, ясно. Но сколько звука может вместить стакан? Сколько света? Сколько вообще волн, частиц? Земля для нейтрино прозрачна. И т.д. Проще всего определять пространство только на определенном физическом уровне. В определенной системе.

Сказано: время – мера движения. Но вопрос: что означает, например, неизменность срока беременности.

Ее девять месяцев – свойство нашей системы. Может ли она в другой системе родить намного раньше в сравнении с другим ритмическим миром? Срок беременности задан, это, так сказать, константа. Но – для всего мира или только для нашего? Пока ясно, что в данной системе – время абсолютное и неизменное (ритм развития, время – маска взаимосвязанных движений). Я думаю, что ритмический мир един, потому «парадокс близнецов» Эйнштейна – чистое умозрение.

* * *

Заново просмотрел «Телёнка...» Солженицына. Героическая личность. Великая. Но теперь заметно, как с годами заедает его многословие, самоценность, отсутствие чувства юмора. Отсюда такие фразы, как: «Весь минувший бой имел для меня значение, теперь видно, чтобы занять позицию... – к следующему, главному сражению, шлемоблещущему, мечезвняющему» (стр. 406).

Для себя отметил несколько мест. Например: «Когда я попал в СП, я с удивлением и радостью обнаружил здесь много живых свободолюбивых людей – искони таких, или не успевших испортиться, или сбросивших скверну. (Лишний пример того, что никогда не надо сметь судить огулом.)» (стр. 156).

Подумал, что это в определённой мере относится и к партии, она со времён Хрущёва стала раздваиваться, прогрессивная ее часть привела к Горбачёву, Яковлеву, Ельцину...

* * *

Парадоксальная апология зависти в «Литгазете». Дм. Каралис пишет: «Если добросовестному работнику платить миллион, а бездельнику – два миллиона, то добросовестный, скорее, сойдёт с ума, уволится или устроит мировой скандал, чем возрадуется своему достатку». С таким менталитетом я столкнулся только в Советском Союзе (теперь и в России). В Бессарабии не помню этой болезни. Те, которые жили вполне прилично, никак не реагировали на богачей, не считали

деньги в чужих карманах. Неравенство – естественный порядок вещей там, где общий уровень жизни вполне приличный. А именно при таком уровне (по версии Каралиса) получающий миллион сойдёт с ума от зависти к более богатому бездельнику!

* * *

Мистическая переключка. Лермонтов пишет на смерть Пушкина, что он пал «С свинцом в груди», хотя, наверное, знал, что поэт был смертельно ранен в живот. Предчувствуя собственную гибель, Лермонтов в стихотворении «Сон» вдруг повторяет: «С свинцом в груди лежал недвижим я...» – действительно, на этот раз точно – он был убит выстрелом в грудь. Как был убит Ленский: «Недвижим он лежал... Под грудь он был навывлет ранен». И еще. У Лермонтова: «Глубокая еще дымилась рана,/По капле кровь точилась моя». А у Пушкина о Ленском: «Дымясь, из раны кровь текла...» Лермонтов повторил: «В его груди, дымясь, чернела рана/И кровь лилась хладеющей струей.» Лермонтов подсознательно связал себя с Пушкиным общей гибелью, как общей строкой. Более того, в том же стихотворении Лермонтов пишет «Знакомый труп лежал в пустыне той...» – строка (случайно ли?) переключается с «Пророком» Пушкина: «Как труп в пустыне я лежал...»

* * *

В прежнее время мне представлялось, что в обществе зреет противоречие между тоталитарной властью и демократическим обществом, между передовой её частью и реакционерами. Панацеей казались выборность и гласность. Никогда не думал, что общества-то нет, есть народонаселение, поражённое холодной гражданской войной (и межнациональной). И сегодня утрата СССР многими воспринимается как падение *русской* империи, что порождает дикие мифы. Например, сегодня читаю в «Нашем современнике» №4 пассаж Виктора Лихоносова, которого Твардовский охотно печатал: «Когда грянула измена, распался Советский Союз, воцарил-

ся пьянчужка и самодур Ельцин, почти все бывшие авторы и сотрудники «Нового мира» топтали все подряд, повернулись к Америке, а некоторые прослыли прямыми русофобами. И это не случайно. Помню, нигде так не ненавидели Шолохова, как в «Новом мире»...

Бред. Далее Лихоносков сам признает: «Вы боитесь нынче гражданской войны, а она никогда не кончалась...» В том же номере журнала эпиграф из Ю.Кузнецова: «Пала Россия, пропала Москва...» к стихам некоего Виктора Бронштейна (!), который причитает: «Не слышно русского народа/ В пределах родины давно»

* * *

Говорил с Володей Новиковым. Любопытно, он в противовес Бродскому выдвигает Соснору и Айги. Я как раз считаю Бродского «центральной» фигурой, а Соснору и Айги – «боковыми». Более того, – виноват, не пробился я к ним, они мне кажутся поэтами без читателей, филологическими.

Прочитал интервью Айги о поэзии. Мутно, претенциозно и просто скучно. Или я не «дорос»? А вот и такие стихи:

*Я не хочу на карту звёздной ночи,
закопанный, хоть это ни к чему,
по мне идут империи и ноги,
я слышу орудийные шумы.
...Зачем мне тазобедренные кости,
и череп, и цветы посмертной лжи,
вот две ноги лежат, как водостоки,
при жизни я не помню, чтоб лежал...*

Читается как нечто почти пародийное. Холодно отмечаешь нарочитые «рифмы». Если бы не имя автора! Это Соснора.

Владимир Новиков пишет в буклете «Поэт», изданной к одноименной премии: «Соснора разработал в высшей (!) степени оригинальную художественную систему, сочетающую предельную (!) свободу самовыражения со сверхличным (!) ощущением трагизма бытия, раскованность языковых экспериментов со строгим ощущением меры и гармо-

нии, беспримерную (?!) для русской литературы 1960-1990-х годов семантическую сложность с пронзительной (?!) эмоциональностью.»

Пишет, кстати, один из самых умных критиков-литературоведов.

Не стал ли я отставать от текущей литературы? И да, и нет. Да, потому что пресытился прежней литературой и уже не «вмещаю» новую. Нет, потому что литература в кризисе, это видно всем. И всё таки. Наверное, многих я прозевал. Например, Александра Сопровского. Прочитал сейчас в «Новом мире» большую статью о нём Владислава Кулакова. Но прозевал ли? Мелькнула шальная мысль – а ведь можно было без него обойтись. Несмотря на категорический вывод автора статьи: «Александр Сопровский – из ключевых фигур русской культуры второй половины XX века... прежде всего он поэт, большой поэт, один из тех, кто вернул русской поэзии честь и достоинство после культурной катастрофы, постигшей нашу страну, один из создателей новой поэзии». В статье обилие стихотворных цитат. Виноват, ничего нового, свежего ни в интонации, ни в языке. А в остальном – нормальный крепкий стихотворец, как будто загодя знакомый (о других его ипостасях не сужу)... Вернусь к Бродскому. Именно он последний новый поэт прошлого века, действительно новый – за версту видно.

Бродский очень высоко ставил «Новогоднее» Цветаевой (к смерти Рильке). Когда-то не смог дочитать. Попробовал теперь. Опять увял на второй странице: уж больно натужно, косноязычно. Заглянул в конец – да, что-то сильное прорезалось... Тот же Бродский чуть ли не восторгался «Одой» Мандельштама (о Сталине). Чуждачество большого таланта, экстравагантность Иосифа. «Ода» еще мучительней, еще натужней. Да и сам Бродский не чурался экстремизма формы...

* * *

В «Литературке» Жорес Алфёров говорит удивительные вещи. «...была ликвидирована во время войны Республика

немцев Поволжья по вполне понятным причинам... С немцами у нас были хорошие отношения. Мы с ними работали бок о бок. В 1944 году привезли крымских татар. У меня среди них было много друзей. И они с пониманием относились к тому, что случилось».

Вот как. С пониманием относились к тому, что они все предатели (татары) или потенциальные предатели (немцы). И еще: «Я лично не знаю лучшей власти, чем власть Советская. Она одна из самых демократических по своей природе... Это был гигантский шаг вперед».

А была ли советская власть? Власть была, да еще какая, но совсем не у Советов, господин хороший.

* * *

По дороге домой думал, что, если бы Гитлер спасся в 1945 году, его физическое существование в подполье было бы хуже смерти. С тотальным поражением и отказом от имени он превратился бы в ничто. Раздавленная психика, дохлое тело... И зачем было Гитлеру «спасаться»? Да еще с риском попасть в руки врагов. Не тот тип, не тот характер.

Дома включаю компьютер и... там очередное «сенсационное» сообщение о Гитлере в Аргентине, дожившего якобы до 1962 года. До чего люди лишены воображения!

* * *

Читаю четвертую книгу Сарнова «Сталин и писатели». Похвальный труд (порой излишне растянутый). Жуткая цитата из Горького: «Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагу, как к существу низшего типа...» («Правда» 10 марта 1930). Как состыковались марксизм (классовость) с нацизмом (низший тип)!

И еще цитата из передовой Симонова в «Литгазете» от 19 марта 1953 года: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов – бессмертного Сталина».

Бедный Симонов! Перестарался. Помню, ему влетело за это. Вскоре его сняли с редакторского кресла...

Сарнов убедительно показывает, как при Сталине Фадеев перестал быть писателем, а Симонов – поэтом. Мог ли Маяковский жить, как они? Маяковский застрелился как поэт, а Фадеев – как банкрот. Похоже, нечто подобное случилось и с Павлом Боцу – не смог остаться только поэтом, утратив высокое номенклатурное положение.

Подумал и о себе, грешном. Какие-то мои способности были таковыми, что меня выдвигали. В 26 лет я уже был председателем русской секции и членом правления СП Молдавии, делегатом съезда СП СССР, потом председателем местного аппарата правления СП СССР, зам. председателя Инокомиссии и т.п. вплоть до главного редактора издательства «Московский рабочий». Но рано или поздно оказывалось, что я «белая ворона», потому что не стремился к власти, избегал интриг, не делал карьеру, был ориентирован не на начальство или инстанции, а на личную жизнь, дружбу с молодыми, на тех, кто во мне нуждался. И в своих сочинениях не стремился соответствовать моменту. Не случайно отзыв о моем романе Бунимович озаглавил «Не ко двору». Я не был диссидентом, просто по мере возможности сохранял независимость в литературе и тогдашней системе.

* * *

... Оказывается, по Сталину, никакой гражданской войны не было. 7 ноября 1941 года он сообщил: «Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год.. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов.. 14 государств наседали тогда на нашу страну.. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы...»

* * *

Наткнулся у Гумилёва на строки «И над красивым женским трупом/ Бродил безумный скоморох». Отдельно взятые,

они пародийны. Как весьма сомнительны и строки (опять же – вычлененные!) из знаменитого стихотворения Блока «На железной дороге»: «... Лежит и смотрит, как живая, / В цветном платке, на косы брошенном, / Красивая и молодая». Какая красота, если «она раздавлена»? Да и вообще – при чём тут «Не приставайте к ней с вопросами»? К мёртвой?

Самое замечательное, что в целом всё на месте, и это – поэзия. Тайна в смелости поэта напрочь вытеснить вульгарное «реалистическое» буквальное восприятие текста.

... Кручёных преуспевал в ловле блох, особенно у Есенина. Мне рассказывал Саша Себелев, что один поэт в своё время его учил: «В стихотворении прежде всего ищи недостатки!». И он, тот поэт, умел чуть ли не в каждом произведении находить изъяны. Он был профессионалом и писал «правильно». А толку?

* * *

Мелкое «хулиганство»: Из восьми строк Фета 1891-го года оставил бы половину и получилось бы здорово!

*Кляните нас! Нам дорога свобода.
В нас вопиет всемогущая природа.
Какой восторг – так говорить уметь!
И так живём, что нам нельзя не петь.*

(исключены вторая, четвёртая, пятая и седьмая строки).

* * *

В «Литературке» режиссер Меньшов (талантливый!) почему-то сочиняет небывлицы: «Слишком долгое время в разных формах декларировался тезис «стыдно быть русским»... Откуда он это взял? Бред какой-то. Следующий тезис не лучше: «мне стало совершенно ясно: вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии».

Ой ли?

С НУЛЯ?

В одной из своих статей Леонид Костюков пишет:

«... тип настоящего поэта содержит болезненную составляющую – страсть к письму, чересчур личное, заряженное отношение к продукту своего творчества, неврастеническое честолюбие.

Другое важное отличие любителя от настоящего поэта – арсенал выразительных средств в поэтическом творчестве. У любителя он *богат* – его устраивает весь опыт, накопленный отечественной поэзией. Настоящего поэта этот опыт решительно не устраивает – как и бытовая речь, как и дворовый жаргон и остальное. Арсенал настоящего поэта *пуст* – он начинается с нуля, с немоты, с жёсткого кризиса языка. И в мучительном процессе преодоления этого кризиса изредка находит действительно новые решения».

Это так и не так. Иннокентий Аннинский вовсе не страдал неврастеническим честолюбием, а Лермонтов вовсе не был пуст и т.д. Маяковский – другое дело, он подходит под определение Костюкова..

На мой взгляд главное, что отличает настоящего поэта от прочих, – это масштаб личности. Что с того, что Лермонтов начинает с освоения (присвоения?) пушкинского арсенала? Личность-то решительно другая и тоже великая!

Сегодня избыток мастеровитых поэтов, а личностей мало, очень мало. Крупной личности прощаешь многое (сколько ненужного у Некрасова, плакатного у Маяковского, натужного у Цветаевой, скучного у Бродского!), а ведь люблю каждого «не за это», а за мощное притяжение и неповторимость.

ПО СЛЕДАМ КЕНТАВРА

ПОЭТИЧЕСКОЕ, КЕНТАВРИЧЕСКОЕ...

*«Любое не поэтическое раскрытие
реальности не может быть полным».*
Дж.Барроу

Кажется, я об этом знал, но чего-то не хватало, чтобы осознать. Потребовалось всего одно слово – «кентавр», и все стало на свои места. Его произнес Даниил Семенович Данин – слово ключевое и на редкость плодотворное.

Я хочу в этой связи поговорить о поэзии, но начну изда-лека. С того, что мы воспринимаем мир кентаврически – с точки зрения одновременно и уникальной и всеобщей. Уникальное, сугубо личное, говорят, гнездится в правом полушарии мозга, где своя чувственная и образная логика. А отвле-ченное, обобщенное, внеличное – в левом, где, так сказать, логика в чистом виде. Это двойное зрение еще не имеет точного названия. Очевидно лишь, что сей кентавр состоит из внутренней точки (воистину точки) зрения и внешней сфе-ры (если можно так выразиться) зрения. Взгляд изнутри – это значит: я в центре мира, он всегда со мной, это моя конкрет-ная непреложная истина. Извне – это познание объективно-го мира, опыт, взгляд на себя со стороны, вернее – с многих сторон, чем больше их, тем лучше. Это помещение себя в контекст окружающего и оценка окружающего как такового, без себя. В правом полушарии главный в мире – я, в левом –

мир. Моя личность и есть кентавр, рожденный слиянием этих двух несоизмеримостей.

В точных науках не ищут себя (в математических, физических или химических формулах), в гуманитарных – как раз себя и ищут, обогащая свою особенность общим сходством. Каждое «я» действительно неповторимо, но находится во вполне тривиальном организме. Литература – тоже кентавр уникального и характерного. Что такое парадокс? Смысловой кентаврёнок. Как и другой озорник – анекдот. Он кроме (после) смеха достоин весьма серьезного внимания. Он – самый короткий, компактный способ передачи сути политической, бытовой и всякой иной информации. Сошлюсь хотя бы на один из дурацких анекдотов: На розовом небе плыла стая зеленых крокодилов. Плыла день, плыла другой, пока один из крокодилов не воскликнул: «Братцы, что же это такое? Мы плывем уже третьи сутки, а все понедельник!».

Каждый волен трактовать метафору как угодно, – в ней заложена модель, которая именно в силу своей абсурдности находит вполне конкретный отклик. Так один мой знакомый (дело было в брежневские годы) сразу «понял», что этот анекдот – про застой. Очень был доволен, долго смеялся и все повторял: сколько лет, а все понедельник! Другой увидел в анекдоте смешной образ эйнштейновского парадокса времени: при околосветовых скоростях время замедляется вплоть до полной остановки. Вот уж действительно: летишь, летишь, а все понедельник! Девочка же просто хохотала, радуясь нелепости: стая зеленых крокодилов в розовом небе! И т.д. и т.п. Поэтическая метафора тоже из семейства кентавров. Читатель может сам поупряжняться в их обнаружении (не путать с образом-сравнением), ориентируясь хотя бы на Мандельштама: «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...». Поэт словно намекает на то, что есть нежность «легче воздуха», пушинка, нечто эфемерное, уносимое ветром, а есть нежность выстраданная, выпестованная, как тот полет-усилие, что «тяжелее воздуха». Вот вам и приметы кентавра «тяжесть-нежность». Или строки из стихотворения нашего современника Константина Кедрова «Компьютер люб-

ви», где смысловые прорывы происходят как раз благодаря кентаврическим метафорам:

*Небо – это ширина взгляда
взгляд – это глубина неба...
конь – это зверь пространства
кошка – это зверь времени...
время – это печаль пространства
пространство – это полнота времени
человек – это изнанка неба
небо – это изнанка человека...
любовь – это набитое звездами время
время – это сплошная звезда любви...
расстояние между людьми заполняют звезды
расстояния между звездами заполняют люди...*

Но поэтический кентавр не исчерпывается текстом, он выходит за его рамки. Интересно проследить, как звучание стиха, его музыкальность и ритм влияют на сам смысл. А влияет столь же несомненно, как одежда на фотомоделю и на каждом из нас. Потому неудивительно, что при переводе на другой язык тот или иной поэтический образ вдруг теряет свою привлекательность, хотя передан точно. Например, стихи Пушкина, лишённые русской фактуры, неповторимости звучания выглядят порою обеднённо. Простите за утрированный пример, но это все равно что «Я помню чудное мгновение» передать «по смыслу» как «Я вспоминаю прелестную минуточку». Или вместо «Встань, пророк, и виждь и внеми!» – нечто вроде «Вставай, предсказатель, смотри и слушай...» (Не хватало еще – «прогнозист»!...) Но есть и особый контекст, не поддающийся переводу – кентаврическое соединение стихотворного текста с имиджем автора плюс время, когда стихотворение читается и воспринимается. Непосредственно текст – это что и как. А контекст – кто, когда... Для вящей убедительности приведу «крайний» пример. Попробуйте отвлечься от всего, что вы знаете о следующей песне и прочитать ее как бы впервые, вне всякого контекста:

*Мы смело в бой пойдём
За власть Советов
И как один умрём (?!)
В борьбе за это.*

Пародия да и только! Но восторженная часть кентавра, которая находилась в революционной душе заслоняла нелепость текста, преображала его.

Есть творения значимые только в «присутствии» творца. Что такое «Чёрный квадрат» Малевича без самого художника? Просто квадрат, увы. Напротив, частушка, анекдот, песня прекрасно обходятся без автора...

Если мы от стихов обратимся к творцу, к жизни самого поэта, то в нём без труда обнаружим кентавра, в котором неразрывно, неразрушаемо сочетается низкое и высокое, то, о чем с такой беспощадной смелостью написал Пушкин:

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен.*

Более того – тогда «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»...

*Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа внезапно встрепечется,
Как пробудившийся орел.*

Понимаю рискованность аналогии, но не напоминает ли нам эта способность творческой личности преображаться творение самой природы, имевшей поразительную смелость соединить в нашем детородном органе две решительно несовместимые функции! Не является ли вдохновение эрекцией таланта?

Резче, драматичней, но с горестным вызовом писал о несчастных и счастливых, двойственных и двоящихся поэтах Блок:

*Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и тряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно...
Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно все это!..*

Так называемый простой, «цельный» человек сильно уступает бедному поэту-кентавру – у того имеется четвертое измерение, сверх тех трех, которых достаточно для обывателя.

Вновь обращаюсь к Пушкину: он легко, как бы небрежно, но с гениальной меткостью схватывал глубинную суть явлений. Проскакивая длинную цепь рассуждений, выдавал сразу образную формулу, кентаврёнка, в котором угадывалась зрелая философская проблема. Сколько усилий истрачено, чтобы научно раскрыть связь необходимости и случайности, детерминизма и вероятности, наследственности и мутаций! А у Пушкина это – в зародыше – одной строкой:

...и случай – Бог изобретатель.

Блестяще! Лучше не придумаешь.

Метафора-кентавр мощным ударом пробивает стены застывших догм. Как мучительно бьется разум в тисках схемы «правда-неправда», «реальность-иллюзия», «вера-обман»! А кентавр указывает выход. Путешественница по Индии А. Давид-Неэль записывает две притчи:

Прохожему ночью что-то почудилось в кустах, он бросился бежать, потеряв шапку-ушанку, которая повисла на ветвях. Рассказал о своем ночном страхе другим и все стали пугаться той шапки – она казалась притаившимся в кустах чудовищем. Шли годы. И однажды шапка, рыча, погналась за убегающим путником!

Иллюзия «обработанная» людьми и временем, становится реальностью. В данном случае – злой силой. Но может быть и иначе:

Сын отправился в большой город. Мать попросила его принести ей какую-нибудь реликвию их храма Будды. Сын, погруженный в свои дела, забыл о просьбе матери. Лишь подходя к дому, спохватился. В смятении он поднял с земли какой-то зуб, кажется, собачий, и отнес его матери, сказав, что это зуб родственника самого Будды. Потом сын отправился в иные края, долго путешествовал, но всё его мучила совесть. И он решил повиниться. Вернулся домой, а ему говорят – мать в храме. Оказалось, неподалеку выстроен маленький храм, он вошел туда и увидел на каменной подставке тот самый зуб. Тот, да не тот: он, намоленный, светился изнутри!

Можно ли теперь сказать правду? И правда ли это? Что-то произошло, изменилось необратимо. Потому не трогайте кентавра!

Да, только сумасшедший не считается с объективной реальностью. Но как назвать того, кто признает только объективную реальность? Роботом или компьютером? В ученом перевешивает «компьютер», в художнике – «безумец», однако и тот и другой – кентавры.

Гремучая смесь компьютера с сумасшедшим – предпосылка гениальности. Чем кентавристее философ, тем лучше, ибо тот, кто строит исчерпывающе непротиворечивую систему, тот терпит поражение. Жив оставляющий систему приоткрытой – пусть в окно влетает птица поэзии, трепетная неоднозначность, тайна.

Кстати, о кратчайшем расстоянии между двумя точками. Планиметрия неоспорима, но наш мир – не двумерный. Если согнуть лист, на котором прочерчена прямая, соединяющая точки А и В, то они могут оказаться как угодно близко. В таком случае прямую следует считать самой длинной из всех кратчайших расстояний между двумя точками. Тоже кентаврик?

Яблоко разобрать на составляющие элементы, а собрать обратно – немислимо. Яблоко – оно тоже живой кентавр, хоть и кругленькое. Кроме реестра составных частей в нем есть еще что-то – то, что отрицает сами части... Я уж не говорю о том, что разборку можно довести до атомарного уровня – ненаро-

ком расщепишь ядро и взлетишь на воздух вместе со всеми учеными соседями...

Вряд ли прав ученик, который перечеркивает Птолемея Коперником: тем самым он губит живого кентавра Птолемей-Коперник. Ибо Земля для нас действительно неподвижна, ноги в этом не сомневаются. Орбита же нашей планеты умозрительна, хоть и верна. Так и рекордсмен скорости – свет воспринимается нами как поле неподвижного освещения. А что такое память как не самый что ни на есть кентавр – память умудряется сохранять в неподвижности само время и оперировать им как одновременностью – стоит только высветить направленным лучом нужное «место» – детство или вчерашний день. По порядку или вразброс...

Даниил Данин увидел «кентавра» и в Богочеловеке, в Иисусе Христе. Можно добавить: христианская Библия, Ветхий и Новый Завет – тоже кентавр. В духе консервативной революции Новый не отменяет Старый (дескать, «до основания, а затем...»), а внелогично (сверхлогично?) соединяет. Старый тезис гласит «око за око, зуб за зуб», а новый присокупляет – «если тебя ударят по левой щеке, подставь правую». Одномерный человек растерян: в голове не укладывается, так нельзя. Или – или...

В том-то и дело, что не «или-или», а два полюса, два способа борьбы со злом: от справедливого наказания до идеала добра. Одно не отменяет другого, недаром Иисус как бы надстраивает к первой истине еще один этаж: «сказано... а Я говорю вам». Живой человек, не выструганный догмой, вынужден каждый раз заново решать труднейшую задачу: в каком случае ответить добром на зло, а в каком – воспротивиться злу. Идеал добра не дает стать мстительным, а вынужденный отпор не становится отрицанием добра. Государство говорит «убей» (на войне), а вера – «не убий» – сей узел невозможно развязать или разрубить раз и навсегда: развяжешь или разрубишь в одном месте – завяжется в другом. Этот кентаврический узел трагичен. Но опасно, когда он перестает быть трагичным. Тогда вместо кентавра появляется либо убийца, либо блаженный.

Когда два полюса слишком разведены в разные стороны – кентавр подвергается усекновению. Вот, например, две крайности в истории русского христианства. В «Повести временных лет» Философ весьма своеобразно излагает князю Владимиру учение Христа: напирает на чудеса и совершенно обходит Нагорную проповедь. Незачем, дескать, смущать правителя идеей непротivления злу насилием.

Спустя тысячу лет Лев Толстой поступает наоборот: излагая своими словами христианское учение, он выдвигает на первый план Нагорную проповедь, а все чудеса старательно вычеркивает.

Лучше обращаться в первоисточнику, вечно живому «Кентавру»...

Кстати, Лев Николаевич пытался разделаться и с кентавром Поэзии. Дескать, взрослому человеку так же нелепо сочинять стишки, как землeпашцу приплясывать за плугом...

Поразительное недоразумение! Землeпашцу ведь п о с л е работы хочется и поплясать и попеть. Хоть труд и «создал» человека, но труд – далеко не весь человек! Человек – кентавр кентавров, он и то, и другое, и третье...

А Россия – не кентавр ли? Евразия!

Кентавристика – естественный и насущный способ познания соответствующий творческому методу Создателя.

ПОЛПРЕДЫ АПОЛЛОНА

«Полпред стиха» – это сказал Маяковский, искренне откликавшийся на злобу дня. А «Полпреды Аполлона» – означает, что поэзия действует не только в интересах сегодняшнего дня, она метит дальше. Так, например, мы вспоминаем пушкинское стихотворение «Клеветникам России» как образцовую классическую ноту, обращенную к европейским державам, ноту, написанную по конкретному поводу – в связи в польским восстанием 1830-ого года. Но если б это было только так, мы бы сдали эту стихотворную ноту в исторический архив. Однако прикосновение гения к временному при-

дает ему характер вневременной, уходящий далеко в будущее. Разве не читаем мы сегодня пушкинские строки как живые, написанные в нашем веке, в наши дни:

*От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая
Не встанет русская земля?..*

Тут нужно различать конкретно-историческое и поэтически-обобщенное. В плане конкретном с Александром Сергеевичем можно и поспорить. Эти стихи, а скорей «Бородинская годовщина», возмутили многих передовых людей России, которые понимали патриотизм иначе, не сводили его к имперским интересам, а повторяли вместе с поляками – «за нашу, и вашу свободу!» Но в плане поэтическом безусловно прав Пушкин, его стихи отрываются от конкретного повода (как стихи «Я помню чудное мгновенье» отрываются от Анны Керн) и переходят на другой, я бы сказал – самодостаточный уровень.

Мы знаем, эти стихи возбудили поэтическую полемику между Мицкевичем и Пушкиным, которые подружились за несколько лет до упомянутых трагических событий. Мицкевич бросил «Русским друзьям» горькие строки: «Пусть разъедает желчь – не вас, а ваши цепи. А если кто-нибудь из вас ответит бранью...» Но Пушкин не ответил бранью. Он и раньше говорил сострадательные и глубокие по-своему слова, обращенные к побежденным:

*Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.*

На гневные упреки Мицкевича глубоко уязвленный и огорченный Пушкин ответил спокойно и мудро (правда, что-то помешало ему дописать эти стихи до конца):

*Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили...*

<...> Нередко

*Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.*

Своеобразный обмен поэтическими нотами, словесная дуэль двух гениев? Нет, не дуэль – Пушкин не отвечает ударом на удар, он занимает достойную философскую высоту – откликается как бы из будущего. Пушкин приводит драгоценные слова Мицкевича о будущей гармонии человечества. Эти слова стали поэтическим образцом и ориентиром культуры, заветом сближения людей разных языков и верований. Если дипломаты обращаются прежде всего к государствам (в лице их правительств), потом налаживают экономические и культурные связи, то поэты как раз начинают с культуры, с духовности, с завоевания сердечных симпатий и понимания, и только таким путем приносят пользу дипломатам. Интересы государств со временем меняются, а миссия культуры (а тем самым и поэзии) всегда одна и та же. Мосты, которые наводят дипломаты, порою трагически рушатся. Мосты, которые наводит искусство, мосты между сердцами и умами, куда прочнее, они остаются и в пору вражды между государствами, ждут своего часа. Гёте с Пушкиным никогда не воевали и не будут воевать. Кстати, Пушкин в пору политического разрыва с Мицкевичем с любовью переводит на русский язык его стихотворения «Воевода» и «Будрыс и его сыновья». Урок достойный подражания.

Приходится различать жизнь поэта и его творчество. В жизни поэт, как и любой смертный, может ошибаться. Например, крупный поэт и профессиональный дипломат Федор Тютчев, проведший лет двадцать за рубежом, в Германии и Италии, тем не менее не раз ошибался в политической оценке европейских дел. Например, в статье «Россия и револю-

ция» он доказывал, что Европа – это колыбель безбожия и революции, а Россия – оплот православной государственности, и что России предстоит спасти Европу от революции. Увы, на самом деле получилось совсем не так... Россия испугала Европу революцией, разрушением храмов..

Но если посмотреть шире, в большой исторической перспективе, то, может быть, стоит вернуться к Тютчеву. Россия, выстрадав революцию, открывает в себе то духовное призвание, ту силу всемирной отзывчивости, о которой говорил Достоевский, возвращается к своей гуманистической роли. Тютчев верил в судьбу России, видел над ее головою «звезду в незримой высоте» и знал, что она «неуклонно за звездой идет к таинственной мете». Сказано и нам, и нашим потомкам.

Любопытно отметить, что многие политические стихотворения Тютчева читаются сегодня как злободневные. Вот несколько строк, перекликающихся с нынешними событиями на Балканах:

*Еще болит от старых болей
Вся современная пора:
Не тронута Коссово поле,
Не скрыта Белая гора!*

Или о черноморских проблемах: «...Бог рассудит, великий Севастополь будит от заколдованного сна» и «Отдашь ты нам и без урона бессмертный черноморский флот»...

Поэтическое слово, перешагнув столетие, касается наших нынешних ран. Век прошел и, к сожалению, перед нами те же проблемы: Россия и Европа, Россия и Балканы, Россия и славянский вопрос.

Антиох Кантемир, один из зачинателей русской поэзии, дипломат, человек широко образованный (мне приятно упомянуть, что он родом из Молдавии, мой земляк), он истово защищал интересы России как посол, но при этом не закрывал глаза на пороки общества – был талантливым сатириком. Иосиф Бродский в своих беседах с Соломоном Волковым назвал Тютчева прислужником царизма и совершенно зря. Верность монархической идее не мешала поэту видеть тяж-

кие изъяны тогдашней власти. Вот, что он писал в статье «О цензуре в России»:

«...правительственная мысль не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем ей суждено пасть под ударами злополучных событий».

Разве неприменимы эти пророческие слова и к закату царизма и к закату большевизма? Но, повторяю, перед внешним миром Тютчев выступает не просто как дипломат, но и как свободный гражданин. В статье «Россия и Германия» он обращается к зарубежным читателям:

«...мнение, которое я попытаюсь здесь высказать – мнение русское, но свободное и совершенно чуждое всяких расчетов ... мое письмо не будет заключать в себе апологии России... Истинный защитник России – это *история*; ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым она подвергает свою таинственную судьбу...»

Вот диалектическое единство, сопрягающее официальную патриотическую деятельность гражданина и поэтическое призвание, преходящее и непреходящее. Не социальный заказ, а истинная традиция русской поэзии вызывает к жизни такие произведения как «Скифы» Александра Блока, от имени измученной России:

*Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью и с любовью!..
...Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все – и острый гальский смысл,
И сумрачный германский гений.
...В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский мир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!*

Неистребима вера русских поэтов в будущее своей страны (слова Блока прозвучали в январе 1918-го года, в обстановке кровавого ужаса и распада). Я уже упоминал Маяковского, певца революции, ставшего «полпредом стиха», он же был автором резких сатирических пьес «Баня» и «Клоп». Горька была участь русских поэтов, оказавшихся в эмиграции, им выпала трагическая участь любить прошлое России и, минуя ее настоящее, верить в будущее. Оно настало и для них, их творчество вернулось в родную литературу. Я уже не говорю о поэтах-диссидентах недавнего времени. Они оказывались в остром противоречии с существующим режимом. Но, как точно сказал Маяковский, «стих дойдет через хребты веков и через голову поэтов и правительств». В конечном счете поэты всегда выигрывают спор с государством, потому что Родина, которой они верны, выше понятия сегодняшней политической конъюнктуры.

В начале нового тысячелетия не можем не мечтать о веке, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

ПАТРИОТЫ И ПАТРИОТИСТЫ

Хорошо словам, смысл которых не меняется. Например: гипотенуза. Вчера и завтра, здесь и там – гипотенуза. Всё, точка.

А демократия? Большевики пришли к власти под лозунгом именно демократии (потом, правда, это слово было исключено из названия партии). Сталинская конституция была «самой демократической в мире» (*«я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»*), но недаром им пришлось понятие демократии расщепить на буржуазную («лицемерную») и социалистическую («истинную»). Потом, после падения единовластия КПСС, оказалось, что для «наследницы» КПРФ демократия вообще стала ругательным словом («дерьмократия»), а место пролетарского интернационализма занял народный (чуть ли православный) патриотизм.

Как же быть с этим иноязычным названием нормального и естественного чувства любви к родине? Почему патрио-

тизм стал как бы монопольной принадлежностью определенных политических сил?

Патриотизму, как и демократии, не повезло. Нашим доморощенным реакционерам (как и большевикам) удалось извратить его смысл. Дескать, любить Россию и защищать ее интересы может только русский (и только православный). С ловкостью наперсточника патриотизм подменяется национализмом, потом нацизмом. Любовь разъедается ненавистью.

Извратить удастся, потому что патриотизм – понятие не такое уж простое и ясное, как кажется. Да, это любовь к своей стране, ее народу, языку, культуре. Но это живое чувство, не униформа.

Выходцы из разных стран Европы со временем стали американцами – можно ли им отказать в их новом чувстве патриотизма? А скольким инородцам благодарна Россия? Не славны ли в русской истории нерусские имена Баркляя-де-Толли и Багратиона?

И как быть с Екатериной Великой? Она сменила страну, конфессию, имя – из немки превратилась в русскую. При этом немцы не считают ее предательницей, а русские не считают ее немкой.

Значит, кроме первой любви есть другая, связанная с сознательным служением, верностью принятой на себя миссии. Патриотизм – дело всей жизни (которая от тебя зависит), а не только место рождения и этническое происхождение (которые от тебя не зависят).

Стечение обстоятельств может отнять у России Крым, но кто может отнять у нее Пушкина? Пушкин так много сделал для России, что уже неотделим от чувства Родины, – кому придет в голову называть его «писатель-патриот»? Или его «Современник» – «патриотическим изданием»? Россия побывала империей – и царской, и советской, но самое прочное ее завоевание – ее блистательная культура. Ее духовность, если хотите. Толстой, Достоевский, Чехов и им подобные – вот действительные завоеватели мира.

А что произошло с понятием Родины на наших глазах?

Я понимаю плач по утраченной Родине большого русского поэта Бориса Чичибабина. Он, харьковчанин, оказался «за

рубежом» России. Но с другой стороны – разве когда-нибудь эстонец включал Туркмению в свое понятие Родины?

Еще недавно был обязательным советский (наднациональный) патриотизм. вкупе с интернациональным долгом. Любит ли теперь патриот Проханов Литву или Грузию? Конечно, нет. Он любит империю, в которую должны опять «войти» Литва и Грузия. для него патриотизм – это политика, обозначение политической борьбы, установка.

Признаюсь, меня не заставишь считать минчан или одеситов иностранцами. Но я вижу будущее не в воссоздании имперского центра, а во взаимовыгодном сближении (поверх границ!) наподобие Евросоюза. . .

Нормальная, естественная любовь к родине не мешает человеку любить, скажем, Европу или «даже» человечество. А политический патриотизм решительно этому препятствует. Политические патриоты разных стран убивают друг друга. Верней, подбивают других умирать за их «государственные» интересы. Гитлер, например. Ставят ли теперь немцы ему патриотизм в заслугу? Лучше бы он был космополитом. Стоящие с ним «рядом» в Энциклопедии Гейне и Гёте тоже были патриотами. Но ведь не такими же! А сродни Пушкину, Байрону, Уитмену – вот с кем они стыкуются, а не с Гитлером и ему подобными. Короче, слово патриотизм не покрывает всей сложности и противоречивости этого понятия. Использование понятия в спекулятивных целях разрывают само слово.

Как-то в «Литгазете» мне попала фраза: «То, что многие своекорыстные деятели сделали из патриотизма кормушку, *выколачивая с помощью очень «нашенских» лозунгов политический и денежный капитал*, не может оправдывать антинациональную риторику отечественных демократов». Все правильно, только с осторожностью надо произносить «антинациональная»... Отказ отечественных демократов от имперских амбиций вовсе не является изменой национальным интересам. Националистические страсти – род безумия (видим, что произошло с несчастной Югославией). Хорошо сказал Есенин: «Если тронешь страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь!»

Политические деятели, которые любовь к Родине превратили в профессию, отличаются от нормальных патриотов так же, как влюбленные и любящие отличаются от профессионально занимающихся любовью. Потому последним к лицу понятие «патриотисты», а не «патриоты» (с надоевшими обязательными кавычками!).

Патриоты и патриотисты...

Патриот любит родину свободного человека; выше власти ставит закон – даже у заключенного преступника есть права. Патриотист обожествляет государство (а точнее – державные интересы) и требует для него бесконечных жертв. Патриотист ненавидит «чужаков», патриот может и чужих любить, как своих.

Христос учит любви.

ЕВРЕЙСКИЙ МАЛЬЧИК МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Одиссей был взрослый дядя, а Хаймек – маленьким подростком. На долю мальчика в двадцатом веке пришлось такое, что и не снилось взрослому дяде из древнего мира. Сциллой и Харибдой Хаймека были гитлеровская Германия и Советский Союз, а его Итакой стала земля обетованная.

Мировая война закрутила такой сюжет, что одного краткого изложения романа Шамая Голана «Последняя стража» было бы достаточно, чтобы завоевать читателя. Мемуары нынче в цене, им доверяют. Потому что правда, потому что пережито, выстрадано. Но Шамай Голан преподносит нам не автобиографическую картину, не просто память. Он – художник, и именно это я хочу прежде всего подчеркнуть. Подчеркнуть качества, придающие повествованию глубину и высоту.

Непринужденно и совершенно естественно в романе возникают моменты, над которыми, если помедлить и задуматься, откроется непростой и даже рискованный философский смысл.

... Глава «Лепёшку хочешь?». Узбекистан, война, голодное детство. Ваня, дружок Хаймека, обманом выпрашивает у старого узбека лепешку – талантливо изображает сироту, сына военного героя. Свою долю-то Хаймек съел, но, будучи воспитан в нравственной строгости, не удержался и спросил:

«–А ты... не боишься?»

Ваня подавился.

– Кх-кхт-кхх... кого?

– Бога, –сказал Хаймек.

Ваня посмотрел на Хаймека, как на сумасшедшего.

– С чего... с чего бы мне его бояться?

Хаймек попробовал объяснить.

– Ну, понимаешь... ты же всё время врёшь... .

Вот уж когда Ваня удивился по-настоящему.

– Я вру? Да я... вообще не вру. *Вообще*. Понял!»

И Ваня стал втолковывать Хаймеку: когда он говорил правду (отец его умер в больнице), никто ему не подавал, его даже гнали взащей. Война требовала другого языка, иного воздействия на слушателя. Ваня как артист это понял и научился с блеском разыгрывать соответствующую сценку. Простой эпизод легким поворотом приобрёл непростой смысл.

Так и просится обобщение: художник врёт? Но «над вымыслом слезами обольюсь». Потому художник, мастер эмоционального образа, «вообще никогда не врёт».

Ваня интуитивно чувствует, что он прав, голодный вправе разжалобить сытого.

Рискнём сказать: в искусстве цель оправдывает средства. Меру ответственности определяет талант художника.

Есть над чем подумать.

А высоту писатель набирает тоже совершенно органично, без всякого «форсажа».

Я имею в виду высоту поэзии, которая взмывает над прямой прозой.

В сибирском лагерном бараке умерла сестрёнка Хаймека – Ханночка.

«Мама всё обнимала могильный холмик. Худые пальцы её скребли мёрзлую землю. Папа наклонился к маме, тронул за плечи и попытался поднять.

– Ханночка мертва, – мягко сказал он. – Встань, Рива... ты не сможешь ей. Ей сейчас уже хорошо.

Хаймек мог бы это подтвердить. Худенькая, совсем без одежды, Ханночка парила в воздухе. С каждой минутой она поднималась всё выше и выше. Лицо у неё было грустное, но она не плакала. И вот что удивительно – у Ханночки не было рук. Вместо рук у неё выросли маленькие крылышки, еще совсем без перьев, как это бывает у цыплят. По правде сказать, *пока что* эти крылышки имели жалкий вид. Очень, очень медленно уходила Ханночка вверх, болтая маленькими ножками покрасневшими от холода. Она была совсем-совсем одна в огромном и пустом небе...»

Вот такой этот писатель – Шамай Голан. Его правда художественно объёмна, в ней сквозь бытовой приземленный ужас проглядывает то философская глубина, то поэтическая высота.

Всё это, так сказать, с объективной точки зрения.

Но я не могу отрешиться от субъективной. Потому что мы – ровесники, и в те же годы у меня была своя одиссея – пусть совсем другая, более благополучная.

Хотя границы и фронты дважды прошлись по моему детству – туда и обратно.

Поэтому читая Голана, я думал не только о писателе, о литературе, – я с острой бессильной болью думал о страшной еврейской судьбе: я видел опять, как в оккупированной Одессе осенью сорок первого года по Комсомольской (Старопортофранковской) улице нескончаемым потоком шли евреи – здоровые поддерживали немощных стариков, матери толкали впереди себя коляски, у всех были пожитки – узлы, сумки, чайники в авоськах... Евреи шли медленно, покорно (охранников я не помню, – наверное, были), и они, и одесситы на тротуарах думали, что евреев ведут в загородные бараки (слово «гетто» еще не знали). Евреи шли долго, час или два. Всех их в поле расстреляли.

Назавтра одесситы всё узнали, сначала не верили, не могли, не хотели верить...

Но еще трудней вспоминать, как посередине квадратного огороженного двора, где в одном его крыле мы, беженцы, я и мама приютились, вдруг, неизвестно как и откуда, оказалась седая старая еврейка с детьми (двое, трое?), она прижимала их к себе, просила «пустите нас, спрячьте», а соседи повыскакивали с разных сторон и выводили их за ворота:

– Вы что, хотите, чтоб всех нас... из-за вас...

И потом разошлись по своим закоулкам, друг на друга не глядя...

Что я мог в мои тогдашние одиннадцать лет? Но это произошло на моих глазах, и чувство вины навсегда со мной. Шамай Голан разбередил мою память.

Я был Яд Вашеме, где без конца и без устали звучат имена погубленных детей еврейского народа. Кто назовет имена тех детей из Одессы сорок первого года? Или, может быть, их спрятали в другом дворе?

Я видел в Иерусалиме Аллею праведников – ряды деревьев в память тех, кто спасал евреев от гибели.

Пишу эти строки в стране, где в одном и том же «дворе» живут и седые ветераны, победившие фашизм и бритоголовые поклонники Гитлера. И, к сожалению, порой они сходятся в любви к Сталину.

Призрак Сциллы и Харибды двадцатого века бродит по земле.

Потому мучительная книга Шама Голана делает доброе дело. Она заставляет сопереживать, тревожит совесть. Хочется верить, что современный читатель, который откликнулся на трагедию прошлого, никогда не склонится в сторону чело­веконенавистников, в какие бы «идеи» они не рядились..

ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ? (между Ньютоном и Эйнштейном)

Мы охотно соглашаемся, что время – величайшая загадка и при этом совершенно свободно пользуемся этим поняти-

ем, словно оно самое доступное и простое: сверяем часы, уславливаемся о встречах, хронологически сопоставляем события, планируем свою жизнь, забегая вперед...

Но как только начинаем вдумываться, попадаем в тупик: прошлое – это то, чего уже нет, будущее – то, чего еще нет, а настоящее неуловимо, ибо при малейшей попытке «поймать» настоящий миг, он уже оказывается в прошлом. Получается, что время состоит из трех нулей...

«Что такое время? – Если никто не спрашивает меня, з н а ю. Если хочу ответить спрашивающему – н е з н а ю» (Блаженный Августин).

В физике Ньютона время существует само по себе, оно ни с чем не связано и ни от чего не зависит. Течет себе в одну сторону, одинаково во всех частях Вселенной. Такая концепция очень логична, удобна. Однако невозможно себе представить пустое безграничное пространство, в котором что-то течет. Течет ли?

В физике Эйнштейна время теснейшим образом связано с движением и пространством, оно зависит от них и хотя по-прежнему течет в одну сторону, течет неодинаково в разных частях Вселенной – замедляется при скоростях, сопоставимых со скоростью света. Такая концепция тоже логична, но сложна. И тоже невозможно себе представить ЧТО собственно замедляется и почему...

А в наши дни уже путаница. Беру наугад одну из папки вырезок. В газете «Известия» от 30 июля 1994 года сообщалось (со ссылкой на американский журнал «News and word report»): «Физика вступает в новую эру и приступает к решению проблем, от одного упоминания которых великий Эйнштейн пережил бы жестокий шок...»

Имеется в виду новая теория мироздания Кип Торна и др., которая «позволит, например, решить проблему путешествия во времени»: туннели «в ткани пространства-времени» «соединяют по кратчайшей линии различные части Вселенной и даже ведут в прошлое.» Далее говорится о десяти измерениях новой модели Вселенной и о сосуществовании параллельных миров.

Частенько в научно-популярных изданиях упоминают и о потенциальной обратимости времени, причем эта обратимость всегда мыслится как кинолента, пущенная «наоборот»: пуля возвращается в дуло винтовки и т.п.

Странным образом никто не замечает, что в таком случае речь идет уже не о времени, а о самих событиях. Возникает вопрос: если нет никаких событий, можно ли заметить, что время поменяло направление и потекло вспять? Если кинолента пуста, какой смысл спрашивать пущена ли она от конца к началу или наоборот?

Охотно обращаются и к «эйнштейновскому» парадоксу близнецов»: если один из них остался дома, а второй мчится со скоростью близкой к скорости света, то при возвращении он окажется моложе брата-домоседа. Считается, что в ракете брата-путешественника время замедлялось... Какова же причина предполагаемого внешнего воздействия на внутренние процессы, приводящая к торможению их ритма (воздействия необратимого, ибо близнец при встрече оказывается моложе братца)? Неужели время не мера движения, а некая реальная «субстанция», подверженная изменениям?...

Почему? Отвечают: так получается по формуле. Однако не всё, что получается по формуле, имеет реальное содержание (например, мнимые величины).

Давайте рассуждать в рамках реальной физики. Отец теории относительности не сомневается: нет принципиальной разницы между покоящимся телом и телом, движущемся прямолинейно и равномерно. Если это так, то сколь угодно большая постоянная внешняя скорость никак не должна влиять на внутренние процессы в ракете. Они остаются тождественными самим себе. А со стороны? Предположим, покоящийся брат видит на экране часы удаляющегося брата. Они будут отставать от его часов (увеличивается время пробега радиоволн). Но на обратном пути разница компенсируется, при встрече братьев результаты хронометража совпадут. Как компенсируется изменение длины тела (по Эйнштейну оно становится «короче» при околосветовых скоростях) – негоже разрывать пространственно-временной континуум. Или брат не только моложе своего близнеца, но и – короче?!

Но если принять в расчет поля тяготения, то не они ли при возрастании скорости тела начинают влиять на его внутренние процессы? Сложный вопрос, потому что по сей день неясно, что такое тяготение. Если оно – искривление пространства (по Эйнштейну же), то тогда о его субстанциальном воздействии говорить не приходится...

Нелишне привести один пассаж из послесловия к «Опрокинутому миру» К. Приста:

«Простые вычисления показывают, что при сверке часов на двух движущихся относительно друг друга телах большее время всегда покажут те часы, которые в момент сверки считаются покоящимися. Но ведь любые из этих двух предметов с одинаковым правом могут считаться покоящимися! Здесь-то и кроется ошеломительная новизна теории, ее замечательный вывод. Отставание часов будет взаимным. И тем большим, чем ближе их относительная скорость к скорости света».

Но если это так, то оба близнеца будут моложе друг друга. Воистину замечательный (!) вывод...

Что же такое время? Предположим, что мы ничего о нем не знаем. Изучая действительный мир, мы наблюдаем тела, движущиеся в пространстве. Сопоставляя тела, мы узнаем их размеры, массу, вес. Сопоставляя движения тел в пространстве мы познаем скорости, направления, траектории. Одно из периодических, повторяющихся движений мы берем в качестве меры для всех остальных. Так вводится понятие общего времени. Вводится для нашего удобства, расчетов. Только и всего. Никакого другого времени, как «вещи в себе», не существует в мире, внешнем для данного наблюдателя. А для самого наблюдателя?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, придется потревожить понятие движения. По Эйнштейну абсолютного движения не существует, а его относительность популярно доказывается следующим образом: если имеется одно тело в пустом пространстве, то нет никакой возможности судить о том, покоится ли оно или равномерно и прямолинейно движется (наблюдатель предполагается прикрепленным к данно-

му телу), если имеются два тела и расстояние между ними меняется, то неизвестно одно ли из них движется и какое.

И так далее. Вводя все новые и новые тела, мы усложняем картину, но принципиально ничего не меняется: все движения относительны, все точки отсчета равноправны и взаимозаменяемы.

Но какое отношение имеет этот умозрительный мир к действительному? Весьма условное. Потому что реальный мир невозможно «составить» таким способом. Как нельзя из атомов составить яблоко. Потому исследование надо начинать с яблока, каким является наш мир. Он представляет собою целостную иерархическую систему, состоящую из множества систем. И у каждой есть две принципиально отличные стороны – внутренняя и внешняя, плюс граница взаимодействия между ними. Внутри замкнутой системы (например, ручные механические часы), все движения являются безусловными («точка» отсчета – вся система, в данном случае – сами часы), а внешние движения (например, полет мухи) – условными. Нелепо принимать муху за точку отсчета и пересчитывать движения всех часовых колесиков по отношению к ней. Между мухой и часами нет никакой причинно-следственной связи. Но если часы уронить или ударить, то тут внешние и внутренние движения вступают, мягко говоря, в новую качественную связь...

Человек меняет место, но его внутреннее «место» остается неизменным, он его носит с собой (сердце, печень, легкие не меняют своего взаиморасположения). Дерево не движется вокруг Солнца: оно в системе дерево-Земля, а не Земля-Солнце. Дерево «пренебрегает» движением Земли, так же как Солнце «пренебрегает» деревом. Системы отсчета неравноправны, как неравноправны реальный наблюдатель с воображаемым. Всё таки собака вертит хвостом, а не хвост собакой.

Познание предполагает множество наблюдателей, способных передавать и хранить информацию – оболочку точек зрения. Если учесть множество движущихся людей, то понятно, что не земля мечется под ними в разных направлениях! Земля неподвижна в своей системе, потому что скорость света «счи-

тает» ее неподвижной (опыт Майкельсона). Земля как бы вращается «на месте», вращение же – это движение отнюдь не относительное! У вращающегося тела все точки в движении (да еще по радиусу – с разной скоростью) и при этом они неподвижны относительно друг друга.

Парадоксы Зенона возникают в искусственной среде, которая почему-то считается моделью действительности.

Разве можно дробить шаг Ахиллеса? Можно ли прыжок через пропасть делить пополам? Движение при членении так же уничтожается, как свет при «торможении». И, наконец, если имеются два тела: я и планета, то ясно кто относительно кого движется: я не только знаю, что перемещаюсь, я еще иду куда хочу...

Но свобода воли – отдельная тема...

Пока достаточно отметить, что обобщенное понятие движения является умозрительным. Реально существуют движения безусловные, условные и их пересечения.

Рассмотрим три вида процессов в механике: случайные, повторяющиеся (циклические) и необратимые.

Случайные. Мы раз за разом бросаем игральные кости. Результат каждого бросания никак не зависит от всех предыдущих и не влияет на последующие. Наши шансы получить задуманное число не увеличиваются и не уменьшаются, временные интервалы между бросаниями не играют никакой роли. Мы имеем право сказать: в мире случайных явлений нет никакой необходимости вводить понятие времени. Как нет нужды говорить: «в понедельник дважды два четыре, во вторник – также».

Повторяющиеся. Это любые обратимые и циклические процессы (в идеале – неизменные). Причины и следствия равны и замкнуты на себя. Это царство необходимости и предопределенности. Например, движения планет, амплитуда маятника в часах. Здесь будущее повторяет прошлое, время замкнуто, оно круговое, не имеет «истории», поступательного движения.

И, наконец, необратимые явления. Здесь причины порождают варианты следствий. От самого простого (ваза упала –

разбилась или треснула) до самого сложного (жизнь человека). Здесь появляются возможности, выбор, степень свободы. Здесь время выступает во всей своей полноте, как разомкнутое, необратимое, векториальное – от прошлого к будущему (через настоящее).

«Машина времени» – такая же соблазнительная утопия, как вечный двигатель. Ни один серьезный ученый не интересуется и не будет интересоваться любыми новыми «открытиями» вечного двигателя, ибо его принцип – добывание энергии из ее отсутствия. Н.А.Козырев в пятидесятых годах тоже предлагал добывать энергию из времени:

«Процессы, увеличивающие энтропию... излучают время... «Очень важно, что время можно экранировать... и отражать...». «время распространяется с бесконечно большой скоростью». «Солнце и звезды черпают свою энергию из самого хода времени».

Мариэтта Шагинян отмечала «самые смелые теории о времени как форме энергии, выводимые из математических опытов Эйнштейна и астрономических прозрений советского физика Н.А.Козырева».

Но из времени ничего добыть нельзя, потому что физически время не существует, как не существуют числа сами по себе. Потому и путешествовать по времени никак невозможно «за отсутствием самого предмета»: не по чему путешествовать.

Если прошлое существует, оно должно где-то находиться. Укажите – где. Нет такого места. во внешнем мире. В памяти же нашей прошлое есть (в какой степени – другой вопрос), существует в виде живой или записанной информации.

Можно ли т у д а снарядить «экспедицию»? Если эти миры (в наших головах) называть параллельными, то это значит ломиться в открытые двери. Вестимо.

Существование времени является условным. Как числа, повторяю. Как слова, символы, понятия. Все это вносится нами во внешний мир и только потому существует. В нас-то время как раз есть, оно связано с жизнью, порождается ею, ее принципиальной необратимостью.

Мы разграничиваем прошлое, настоящее и будущее. Но если у тебя болит зуб так, что ты готов лезть на стену, можешь ли сказать: вот этот миг боли в настоящем, а остальная часть боли – в прошлом? Вся боль в непрерывном, невыносимо-растянутом настоящем, равным длительности боли. Боль захватывает и будущие миги, пока она есть.

Настоящее – время внутреннего или внешнего процесса. Сочетание коротких (я завтракаю) и длительных (я студент) процессов обуславливает понятие теперешнего состояния, которое, как опрокинутый конус, точкой вершины скользит по хронологической шкале. При этом весь «конус» с неограниченно широким «основанием» пребывает в настоящем. Человек относит к прошлому то, что завершено или оборвано. Длительное является настоящим, пусть растянутым, размыто уходящим в прошлое и будущее. Недаром глаголы несовершенного вида не имеют формы будущего, а совершенно – формы настоящего...

А еще оттенки, наложения, перетекания времен...

Если завтра тобой ожидаются два события – одно радостное, другое – пренеприятное, то до первого – как долго ждать! – а до второго – ох, как близко! Руины Колизея воспринимаются как свидетельство прошлого, а гора – как настоящее, хотя она «старше»... Если я уехал из Москвы, она для меня – в прошлом. Для того, кто едет в Москву – она в будущем, а для оставшихся в Москве – она в настоящем.

Одновременно могут топнуть сколько угодно людей («вместимость» мига безгранична!), но тот же человек не может топнуть дважды в один и тот же момент времени (миг предельно «узок!»).

Исполняется соната. Она звучит в настоящем, наша память удерживает ее целостность, не выделяя прошлое. Время сонаты, существовавшее до. исполнения, разворачивается и реализуется при исполнении...

В памяти отдельные события не воспроизводятся в собственной длительности и не связаны общим временем. Поэтому что общее время – удобная обобщающая абстракция.

Сделаем некоторую паузу в рассуждениях и заполним ее россыпью цитат:

Лукреций Кар: «Никем ощущаться не может Время само по себе, вне движения тел и покоя...»

Дж.Беркли: «Время есть ничто, если отвлечь от него последовательность идей в нашем духе.»

Томас Манн: «Время – это последовательность событий, невозможная без наличия тел».

Плотин: «Время есть жизнь души... Вечность не есть бесконечность во времени, а есть вневременное бытие истинно сущего, не меняющегося со временем».

Брахман Чаттерджи: «Время и пространство – не более как способы нашего восприятия. Время... означает действие счета; пространство... действие направления».

П.Чаадаев: «Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; Бог времени не создал; он дозволил его создать человеку».

Лев Толстой: «Нынче 5 сент. 1910 ясно понял значение вещества, пространства, движения, (времени). Пространство – мера вещества, время – мера движения...»

П.Антокольский: «Решающий признак времени: с т а н о в л е н и е».

Талмуд: «Вы говорите – время идет. Безумцы, это вы ходите».

И.Кант: «Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, т.е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния».

Багван Шри Раджниш (Ошо): «Время и ум – не что иное, как две стороны одной медали. Ум не может жить без времени, а время не может жить без ума. Время – это способ существования ума».

А.Н.Яковлев: «Маркс и Энгельс понятия не имели, что время есть искривление пространства, а Ленин, что время есть скорость передачи информации; материя в любом виде – это оболочка информации».

Ю.Кулаков: «Время – это универсальные устойчивые отношения между событиями. Без событий время невозможно».

С.Мейен: «Мы привыкли говорить о времени вообще, оно одно и для меня, и для цветов на окне. Однако скорее у нас

сходные часы (скажем, смена суток и сезонов, то есть астрономические часы), а времена разные, ибо я меняюсь по одним закономерностям, во мне одни ритмы, а у цветов всё своё».

Теперь вернемся к трем вопросительным знакам, расставленным по ходу наших рассуждений:

1). Возможна ли «машина времени»?

2). Возможно ли воздействовать на время и извлекать что-либо из него?

3). Возможно ли «видеть» недетерминированное будущее?

К сожалению, все три ответа должны быть отрицательными. К сожалению, потому что хочется иного... Недаром В.Каптаев в одном из своих интервью признавался:

«Проблема времени всегда волновала меня... Достоевский, например, считал, что такой субстанции вовсе не существует. Я как-то прочитал в его черновых записях: «Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношение бытия к небытию». Науке теперь известна теория обратного движения времени».

Обратного движения? Все-таки прав Достоевский...

Мы пронизываем мир временем, а не наоборот.

А если мы сами порождены высшим разумом, тогда следует внести «поправку»:

Бог на ладонях вечности держит временный мир...

P.S. А.Д.Сахаров о парадоксе расширяющейся Вселенной: уравнения допускают расширение и сжатие мира, а второй закон термодинамики запрещает это в изолированной системе. В 1980 году Сахаров предлагает разрешение парадокса: расширение – в обычном нашем времени, потом время меняет знак, ее бытие протекает в обратном направлении, происходит сжатие Вселенной. «Поворот стрелы времени снимает парадокс обратимости, в картине мира в целом восстанавливается равноправие двух направлений времени, присущее уравнениям движения» (стр.49).

Не вижу реального смысла в этом утверждении...

НЫНЕ И ПРИСНО...

Говорят, вопросы мешают вере. Посему читать Евангелие надо с верой, иначе оно не откроется тебе. Надо принимать всё, как есть, целиком и полностью. Да, но я не могу запретить себе размышлять и, наверное, не один я такой.

Помню, когда я впервые прочитал в Евангелии от Матфея, что «Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» (4,1), меня удивило это «для». Посмотрел параллельные места – там нет такой, что ли, заданности. У Марка (1,12-13): «...Дух ведёт Его в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаню...», и у Луки примерно также, без «для»...

Вообще трудно избежать вопроса, почему Иисус искушаем. Разве искустителю не ясно заранее, что Он неуязвим? И зачем Он общается с соблазнителем? Я спрашиваю, но при этом подсознательно чувствую, что всё правильно, всё на месте – некий глубокий смысл уже передался мне, вопрошающему. Как согласовать эти два уровня восприятия?

Дело в том, что искушению предшествовало событие решающего значения. Вне его осознания, осмысления невозможно понять и уход Иисуса в пустыню.

Кажется само собой разумеющимся, что Иисус всегда был Иисусом, хотя до тридцати лет он жил неприметной и, можно сказать, обыкновенной жизнью. Иисус предстает перед нами, в сущности, в завершенном и совершенном виде. Словно Адам – без детства и юности. Чудесное рождение Христа, эпизод во храме (когда он был подростком) определяют наше представление о божественности Иисуса, заведомо исключаящее развитие, изменение, преображение. Савл мог превратиться в Павла, но Иисус всегда был Иисусом. Как же иначе?

Тем не менее второе (духовное) рождение Иисуса прямо названо и указано – Крещение в Иордане. (В русском переводе «крещение» звучит неточно – словно понятия «крест, крещение» существовали ДО миссии Христа!) Первым человеком, который верил в его исключительную судьбу, была мать. С рождением Иисуса несомненно связано нечто нео-

быкновенное. Мария верила в особое предназначение сына и говорила ему об этом. От нее он знал о тайне своего рождения. Вторым был Иоанн Креститель, угадавший в Иисусе Иисуса, открывший Ему Его миссию. Ритуал Крещения внезапно и мощно преобразил Иисуса, как внезапно раскрывается цветок. Иоанн увидел над головою Иисуса небывалую ауру – Голубя, Духа Святого. Более Иоанна потрясен был сам Иисус, – охваченный смятением, он удалился в пустыню, где предстояло в предельном духовном напряжении постичь в себе себя самого и свое всемирное призвание. Сорок дней в пустыне, строгий пост – срок внутреннего борения, который на современном языке можно обозначить как скачок в иное качество, кристаллизацию личности. Иисусу открылась Его безграничная мощь. Как ею воспользоваться?

Вопрос предстает в образе искушения. Иисус рассказал об этом тем языком, который был единственно возможен и рассказал не ради самого события, а чтобы поведать людям о сути своей грядущей проповеднической миссии: вот с чем Я иду к вам. Ничем кроме силы Духа, силы Слова я пользоваться не буду. И только такой путь указую и вам...

У Матфея (гл.4, 8-10) сказано: «берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит Ему: все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и одному Ему служи».

Вряд ли плодотворны усилия отстаивать букву этого эпизода: дескать, все было именно так, буквально. Но сказать «не было» или глумиться (в духе Таксила) – дело уж вовсе недостойное. Посмотрим, как поступала в своих толкованиях «золотая середина» – от доброжелательных реалистов до просвещенных богословов.

Франсуа Мориак в «Жизни Иисуса», говоря о крещении, явно недоумевает: «покаянное омовение, будто у Него есть грехи». К искушению тоже относится снисходительно: «уходит в пустыню, где рыщет дьявол, неотступно преследуя этого опасного незнакомца. После сорока дней поста и созерцания Иисус вернулся...»

Коротко и... пустошато.

Куда ближе к истине Григорий Померанц: «Евангелие просто не говорит о пути Христа... Есть, впрочем, один намек на путь: сорок дней в пустыне». (Это может показаться всего лишь намеком, если отвлечься от Посвящения Иисуса, совершенного Иоанном Крестителем)

Ренан пишет в соответствующем месте о Христе, что «в его взглядах, самых определенных, все еще было много неясного. По временам в уме его пробегали странные сомнения. В пустыне Иудейской сатана предлагал ему земные царства».

В контексте получается, что сатана – нечто вроде видения, галлюцинации. Ренан не удерживается от «научности», конкретики и доходит в этом благом намерении «до упора». Он полагает, что Христос «не имея понятия о силах Римской империи <...> мог надеяться, опираясь на смелость и численность своих приверженцев, создать новое царство. И быть может, он не раз задавал себе вопрос, осуществится ли Царство Божие силою или кротостью, восстанием или смирением?»

Во-первых, к моменту удаления в пустыню у Христа еще не было приверженцев. Во-вторых, предполагаемые мысли о Римской империи – типичный историзм, упрощающий вечное слово о вечном. Удивительно, что ту же ошибку совершают и ревностные богословы. Они тоже как бы погружаются в обсуждение источника света, отвлекаясь от самого света, озаряющего путь...

Фаррар пишет: «Истощение вследствие долгого поста должно было тем сильнее сказаться на организме Спасителя, что оно не было для него обычным делом <...> Тут-то и приступил искушитель. В каком именно виде приступил он – в виде ли духа тьмы или ангела света, в образе ли человеческого или как неведущее внушение, – мы этого не знаем и не можем знать».

К чему этот мелочный реализм – истощение от поста? Это ли важно?

Недалеко ушел и Б.Гладков в «Толковании Евангелия»: «На какую именно гору взошел Иисус – Евангелисты не го-

ворят». Склонный к историко-географическому подходу, Б.Гладков отмечает, что по Луке «гора эта была в той же пустыне, в которой постился Христос», а по Матфею «могла быть и гора, не находившаяся в пределах пустыни». Далее он соглашается, что даже с самой высокой горы нельзя обозреть все царства – «можно было только мысленно». Тогда зачем рассуждать о самой горе? Гора-то была не в том измерении – это понятно сразу любому неискушенному ребенку, не успевшему стать близоруким аналитиком. Увлечшись толкованием, Б.Гладков продолжает от себя речь диавола, обращенную к Иисусу: «кому послушен, кому подвластен этот мир? Богу или мне? <...> Здесь все – мое, здесь – власть моя! Но я готов разделить с Тобою эту власть, я готов отдать Тебе все царства мира, если Ты будешь служить не Богу, а мне».

Такой комментарий не прибавляет глубины к тексту Евангелия, а убавляет, превращает в торг: «готов *разделить* с Тобою эту власть».

Даже Александр Мень считает себя обязанным сообразоваться с реалистами: «Назарянин стоял на высокой горе. У ног Его лежали пепельные зубцы скал, за которыми угадывались «царства мира сего». Где-то далеко двигались непобедимые римские легионы, плыли по морю корабли, волновались народные толпы <...> Стань таким, как повелители империй, и люди будут у Твоих ног...»

Тем самым опять то, что «на все времена», помещается в исторические рамки, наделяется излишними чертами конкретного места и конкретной эпохи. Ведь ясно же, что не «римские легионы» были показаны с горы Христу, а «все царства мира и слава их» (Матфей), «все царства вселенной во мгновение времени» (Лука). Все! Во мгновение времени!

Но вот случай посложнее – толкователь обращает свой критический ум на «очищение» поучительного текста от всего «наносного». Верующий реалист Л.Толстой переводит этот эпизод на свой наставнический язык, удаляя мистического сатану и заменяя его... «голосом плоти»:

«...он пошел в пустыню и там познал силу духа <...> И Иисусу представились все царства земные и все люди, как они

живут и трудятся для своей плоти, ожидая от нее награды. И голос плоти сказал ему: вот видишь, они работают мне, и я даю им все, чего они хотят. Если будешь работать мне, и тебе то же будет. Но Иисус сказал себе: отец мой не плоть, а дух. Я им живу, его знаю в себе всегда, его одного почитаю и ему одному работаю, от него одного жду награды».

Это не тот уровень. Текст Толстого вял, скучноват в тщетной попытке рационалистически воздействовать на читателя. Кстати, Толстой цитирует по Луке, где появляется ключевое слово «власть»: «и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими и славу их».

Как можно было не заметить главного: речь идет о власти над миром, а не о споре между плотью и духом! Борьба Христа с самим собой – это человеческое, да, но у Толстого – слишком уж человеческое. Библейский же язык выше житейского, у него больше измерений и он обращен ко всем и навсегда. Он не есть посредник, ведущий нас обратно к древним фактам, а, напротив, он – проводник, приводящий духовный «факт» оттуда – к нам. То есть это не информация о том, как было «на самом деле», а передача истины из рук в руки, вернее – от сердца к сердцу. Истины в образной форме – самой емкой, мгновенной, непосредственной.. Тем более, что всё рассказано со слов самого Иисуса (других свидетелей не было!).

Это момент принципиальный. Истина и факт – не одно и то же. Истина – для кого-то, факт – сам по себе. Истина активна, факт безразличен к нам. Духовная истина же – обращение к нам, это открытый мир, а не стена. Действие происходит не для тех, кто на там, перед нами, а для нас, которые здесь – вчера, сегодня, завтра. Ныне и присно и во веки веков.

Христос рассказывает об искушении в пустыне нам, для нас. Мы должны понять, что в мир пришел совершенно необычный Властитель – без земной власти, без атрибутов власти, без воинов и слуг. Пришел Тот, кто выше земных царей, но Он прост, бездомен и бос. Нет у Него ничего, кроме Слова и силы Духа. Он всемогущ, может повелевать всеми царствами мира, но не воспользуется своей властью, Он хочет по-

вернуть вашу совесть к Богу, чтобы она вела вас по жизни. Это переворот в массовом сознании: Божество сходит на землю в облике человека из народа, из низов. И не страхом побеждает, а любовью. Не так ли безошибочно чувствовал простодушный Христу?

Христос может стать царем царей, а Он сей соблазн отвергает. Он готов пройти земной путь до конца, пожертвовать собой, чтобы пробудить совесть мира. Он, который легко мог бы заставить всех подчиниться...

Обычно ссылаются на апостола Павла, учившего, что всякая власть от Бога. Не так это просто. Вот слова диавола по Луке (4,6): «Тебе дам власть... ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее» (в переводе Лутковского: «могу дать Тебе и полную власть над ними, потому что она мне передана». А у Мережковского эти же слова диавола о власти выглядят так: «ибо она принадлежит мне»). Посему ежели власть от Бога, то передана она миру как один из величайших соблазнов. Посему и Христос, приняв земную жизнь, не принимает чуждую Ему земную власть. Разве что соглашается отдавать Кесарю кесарево...

Такой Властитель способен вызвать любовь к себе в самом простом сердце. Любовь не требует логических доказательств. За таким можно пойти, такому можно служить – это не рабское подчинение, а нечто совсем другое...

Христос не творит историю. Он обращается не к массам (как оратор или вождь), а к каждому человеку в отдельности. Вот особенность его воздействия. В полицентрическом человечестве ни один «центр» (человек) не сливается «как капля с морем». В этом смысле капля равна морю, и Бог, как солнце, в ней отражается. Христос не ведет «массы», а берет за руку каждого лично.

У государства обезличивающая мощь, у Христа – любовь личностная.

Пусть на разных уровнях воспринимают искушение Христа неграмотный рыбак и премудрый богослов, это не имеет большого значения. Кто любит и хочет понять – понимает сразу. У Евангелистов все правильно.

Еще раз хочется повторить: правильно не в документальном смысле. Нам сообщаются не факты, а нечто большее. Установление факта вовсе не является наивысшим уровнем постижения действительности. Факт отвечает на вопросы «кто, где, когда», он располагается на плоскости, он поверхность, а не сущность. Истина же – это «все, везде, всегда», она принадлежит множеству измерений, именно в таких «координатах» расположены Ева, надкусывающая запретный плод, Каин, убивающий Авеля, Иуда, предающий Христа. И некто «искушающий» Иисуса. Все это происходило не когда-то, а происходит снова и снова на глазах узнающего. Происходит сейчас. Как вчера и завтра...

И в заключение вернемся к тому, с чего начали: к особой значимости Крещения.

Крещение – событие важнейшее, рубежное, судьбоносное. Встретились две веры: тайная (еще самому не открывшаяся) вера Иисуса в свое предназначение и (внезапная, как узнавание) вера Иоанна в Иисуса. Только этой капли и не хватало, чтобы свершилось преображение:

«С того времени Иисус начал проповедовать...» (Матфей 4,17). Лука (4, 16-20) поясняет: Иисус, раскрыв книгу пророка Исаяи, прочитал во храме:

«Дух Господен на Мне, ибо он помазал Меня благовествовать...» и прибавил: «ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».

И вот что важно вспомнить. Иисуса перед самым концом Его земного пути спрашивают первосвященники и книжники со старейшинами (Лука 20,2-4): в чем Его власть и от кого она. Иисус немедленно задает встречный вопрос, прямо указывая на то, с чем связана Его духовная власть над людьми:

«Крещение Иоанново с небес было или от человеков?»

Ясно, что Иисус такой власти не получил бы «от человеков». И ясно, что Христос начался с Крещения.

Еще Феодор Мопсуетский (V век) настаивал на том, что «именно со времени крещения Он признан был Сыном Божиим» (Жаль, что это утверждение дало повод Несторию, константинопольскому патриарху, для схоластических рас-

суждений: можно ли считать Марию Богородицей, если Иисус стал Сыном Божиим лишь со времени крещения?..).

Если определенный факт приобрел сакральный смысл, то вернуться обратно к факту как таковому и невозможно и не нужно. Между временем Христа и нашим находится Евангелие и горы истолкований. Попытка пробиться «напрямик» из нашего времени в тогдашнее ведет к нарушению или повреждению самого Евангелия, утрате языка его смыслов.

Определенное душевное состояние Моцарта привело к созданию музыки. Можно ли, минуя музыку, описать состояние творца? И можно ли воссоздать музыку и ее «причины» через истолкования, разъяснения и споры музыковедов?

Совершенно отчетливо Евангелие делится Крещением на две неравные части: малую – от Рождества до Крещения, хотя эта часть охватывает формально тридцать лет; и великую – от Крещения до Воскресения, хотя длится она всего три года. Рождество имеет сакральный смысл столь же значительный, как и Крещение. Что лежит между ними – мы не знаем, это тайна. Может быть, внешне жизнь Иисуса до тридцати лет была вполне обыкновенной. Но только внешне. Существуют предположения, что Иисус провел долгие годы в кумранских пещерах у эссеев или совершил путешествие в Тибет. Как бы то ни было, несомненно лишь одно: что-то в нем происходило, готовилось. Нам же явлен результат, а не процесс.

И слава Богу.

Содержание

Часть 1.

КАДРЫ, ЭПИЗОДЫ И МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ / 3

- Первое стихотворение / 3
Чёрный пёс / 4
Минидетектив / 4
Маленький цензор / 5
Незнакомка / 8
Уникальный сервис / 8
Весёлые пьяницы / 9
Застольники / 11
Злой сосед / 13
Шахматист / 14
Преферанс / 14
Тарма / 15
Идите к зубному врачу / 17
Лгунишка / 22
Фуражка / 26
Пани Халина – мудрая женщина / 30
Элен / 34
Надпись на обоях / 36
Три рубля / 39
Ташкент / 41
Мне 14 лет / 45

Часть 2.

РЯДОМ И ВСКОЛЬЗЬ (литературные портреты и эссе) / 50

- Александр Блок. Посредине пути / 50
Пушкин и Маяковский: «Почти что рядом...» / 60
Загадочное стихотворение Пушкина / 67

- А.О. Смирновой-Россет. Мистификация / 78
А.Тарковский: «Загореться посмертно, как слово...» / 81
Две Марины? / 99
У Анастасии Ивановны Цветаевой / 103
Паустовский рассказывает... / 111
Встреча с Твардовским / 114
Оргсекретарь Союза писателей СССР (К.В.Воронков) / 119
Долматовский в Литературном институте / 123
В одном лице (Лев Озеров) / 128
По склону (С.В.Смирнов) / 130
Андрей Лупан. Штрихи к портрету / 132
Друцэ отвечает на критику / 139
Венки от трёх столиц (Эмиль Лотяну) / 142
Слово о Никите а Стэнеску / 144
Смех сквозь слёзы (Марин Сореску) / 151
Трое из Петрозаводска, трое в Москве / 157
Свет её имени (Б.Ахмадулина) / 163
Его уже изучают... (Булат Окуджава) / 165
Умер Борис Никольский / 168
Татьяна Бек, Таня... / 172
Грань с гранью не враги (К.Кедров, Б. Чичибабин) / 174
Григорий Померанц и Зинаида Миркина / 182
Читая Леонида Рабичева / 184
Поговорим о поэзии (Г.Русаков) / 186
«Зрачок мира» (И.Волгин) / 192
Международный одессит (Р.Ольшевский) / 195
Металл поэта (Г.Поженян) / 197
Мы были друзьями (Р.Казакова) / 200
Пристальность взгляда (И.Жданов) / 205
Старт Алексея Парщикова / 210
Высоко её дом... (А.Харитонова) / 211
Молодость навсегда (М.Хлебникова) / 214
Гибель на взлёте (А.Кобенков) / 216
«Истекаю клюквенным соком» / 218

Часть 3.

МОЗАИКА.

(на полях беспорядочного чтения) / 225

Часть 4.

ПО СЛЕДАМ КЕНТАВРА / 432

Поэтическое, кентаврическое / 432

Полпреды Аполлона / 439

Патриоты и патриотисты / 444

Еврейский мальчик между Сциллой и Харибдой / 447

Что такое время / 450

Ныне и присно / 460

**Кирилл Владимирович
КОВАЛЬДЖИ**

**Моя мозаика
или
По следам кентавра**

Союз писателей Москвы,
“Academia”.

ISBN 978-5-87532-120-1

Подписано в печать 3.12.12. Формат 84x108/32. Тираж – 1000 экз.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л.21. Заказ 3727
Отпечатано в ГУП Академиздатцентр «Наука» РАН,
ОП «ПИК ВИНТИ-Наука». 140010, г.Люберцы, Октябрьский просп., 403



Это книга известного поэта Кирилла Ковальдж, который за долгие годы в этом мире, в Бессарабии до войны и после, в Кишиневе, Одессе, Бухаресте, Ташкенте, Москве, вспоминает, рассказывает, размышляет, смеется и спорит с друзьями и книгами, идеями и теориями, с самим собой и с временем.

Предлагается посетителю:

М Е Н Ю

Часть 1. Маленькие рассказы
(с улыбкой и без)

Часть 2. Литературеты, эссе, воспоминания
(молодые, старые, известные и не очень)

Часть 3. Мозаика
(всякая всячина - кое-что обо всем)

Часть 4. По следам хентавра
(о мире и вере)

Отражением
е

Пушкиным
Маяковским

Есениным

Блоком

Цветаевой

Твардовским

Окуджавой

Евгученко

Ахмадулиной

Кедровым

Чичибабиным

Парцвандым

Померанцем

Лениным

Сталиным

Титовым

Актонскому

Де Садам

и многим

другим...